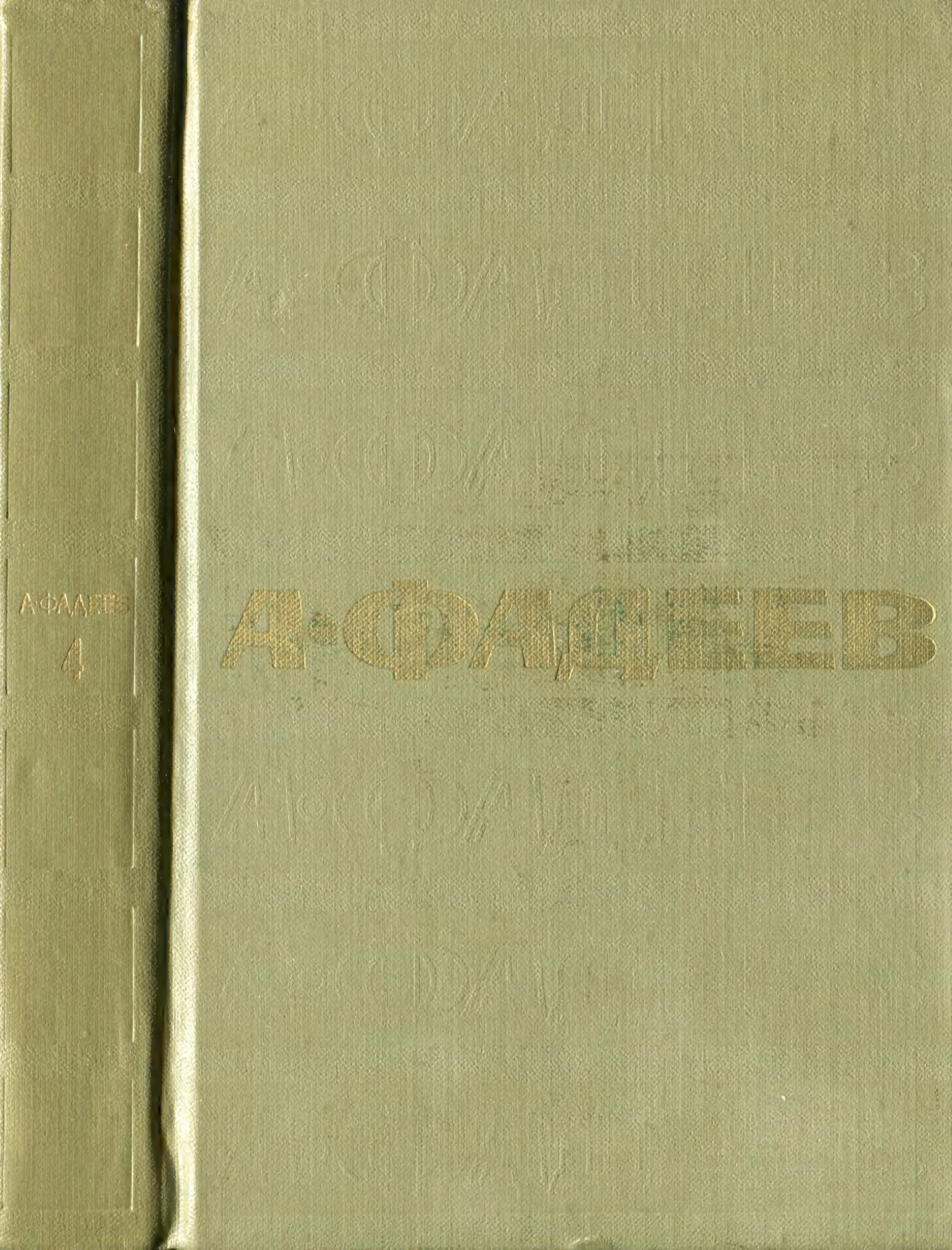

А·ФАДЕЕВ
4
А·ФАДЕЕВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

А · ФАДЕЕВ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В
СЕМИ
ТОМАХ



Под общей редакцией
Е. Ф. КНИПОВИЧ, В. М. ОЗЕРОВА,
Б. Н. ПОЛЕВОГО, С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

А·ФАДЕЕВ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ



ТОМ
ЧЕТВЕРТЫЙ



ОЧЕРКИ

«ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»

КИНОСЦЕНАРИИ

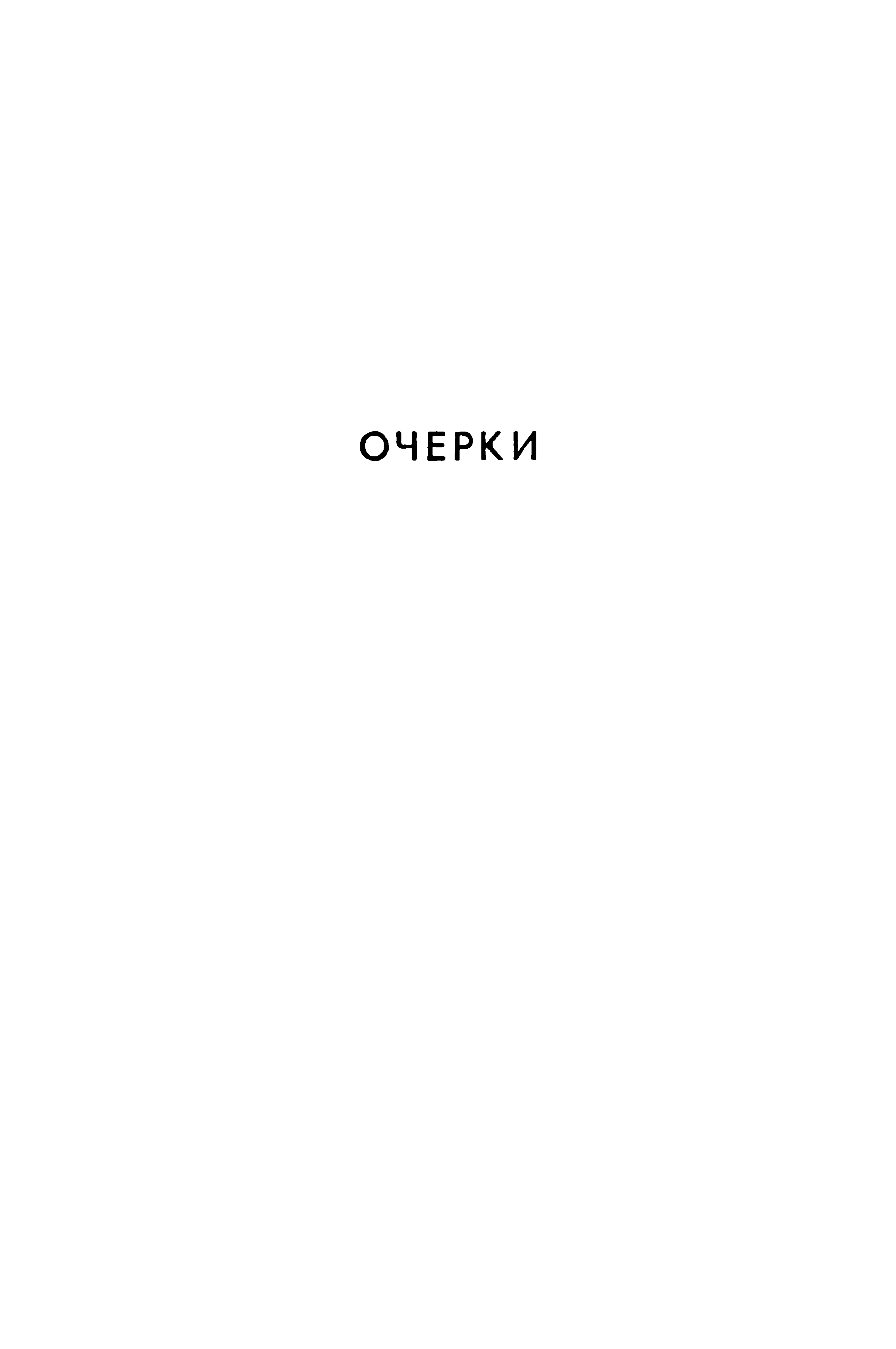
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

Р2
Ф15

Примечания *Б. Л. Беляева* (Очерки, Киносценарии),
В. М. Озерова («Черная металлургия»),
С. И. Преображенский («Семья Сибирцевых»)

7—3—2

Подп. изд.



ОЧЕРКИ

СЕРГЕЙ ЛАЗО

В январе 1919 года, в период колчаковщины, мне поручили проводить большевика Дельвига с квартиры в рабочей слободке, где он скрывался, на Первую речку, где жил железнодорожный рабочий-большевик по кличке «дядя Митя».

Дельвиг был работником Центросибири и расположения Владивостока не знал. Я был тогда очень молодым членом партии, работавшим главным образом по всяким техническим поручениям. Провожал я Дельвига уже поздно вечером. Было холодно.

У дяди Мити мы застали довольно много народу. Это был пленум Дальневосточного краевого комитета большевиков.

Я обратил внимание на одно совершенно примечательное лицо. Представьте себе молодого человека, лет двадцати трех, ростом выше всех на голову, с лицом поразительной интеллектуальной красоты. Овальное смуглое лицо, крылатые брови, волосы черные, густые, глаза темные, поблескивающие, черная вьющаяся бородка и необыкновенно умное лицо. А в движениях какая-то угловатость, характерная для людей застенчивых. Все были оживлены, давно не виделись друг с другом, а он чувствовал себя, как мне сначала показалось, неловко среди всего этого оживления. Но это впечатление рассеялось, когда он заговорил; голос у него был очень решительный, громкий, он чуть картавил — приятной такой картавостью.

Я обратил внимание на него не только потому, что у него была такая незаурядная внешность, а и потому,

что многие из присутствующих относились к нему по-особенному: нежно и уважительно.

К великому моему огорчению, мне как молодому члену партии нельзя было остаться на этом ответственном заседании. И уйти я не мог: я должен был после заседания отвести Дельвига обратно. Все стали шутить надо мной. Игорь Сибирцев, двоюродный брат мой, предложил мне выйти на улицу и ждать там «на свежем воздухе».

Тут одна добрая душа сказала:

— А что, если мы уложим его на постель дяди Мити и заставим в порядке партийной дисциплины спать?

Это предложение всем очень понравилось. Уложили меня спать. Разумеется, никто не думал, что я усну на самом деле. Я лег лицом к стене и, конечно, не уснул ни на одну минуту и прослушал все заседание.

Здесь я услышал доклад по текущему моменту, который меня поразил. Я много слышал до этого всяких докладов. Но этот доклад поразил меня своей необычайной логикой. Докладчик говорил точно, сжато. У меня было такое представление, будто он читает.

Я лежал лицом к стене, не мог видеть жестов, слышал только его твердый приятный картавый голос. И сейчас, закрыв глаза и сосредоточившись, я могу вновь услышать этот голос.

Примерно часа в три или четыре ночи меня «разбудили». Я отвел Дельвига обратно, а потом вернулся к себе на квартиру, где жил вместе с Игорем Сибирцевым. Он меня хотел проверить и все острил: проспал, мол, такое заседание! Я упорно утверждал, что я действительно спал. Тогда он достал из кармана несколько листков бумаги и сказал:

— Посмотри, какие тезисы!

Я взглянул. Эти листочки были исписаны очень ровным, четким, почти каллиграфическим почерком, химическим карандашом. Я начал читать и понял, что это тезисы того доклада, который я слышал. Они были так написаны, что любой человек мог и без автора разобрать каждое слово. Я еще не знал, чей доклад слышал и чьи это тезисы. Я не удержался и спросил, кто их написал. И тут я впервые услышал о Сергее Лазо.

— Какая логика, — сказал я брату, — как точно все сформулировано!

Он мне ответил:

— Это же изумительный человек: прекрасный математик, блестящий шахматист. И это, очевидно, у него сказывается во всем. Это один из крупнейших наших работников в Забайкалье. Он был командующим забайкальским фронтом и проявил себя как исключительно талантливый полководец в борьбе с атаманом Семеновым...

Более близко я познакомился с Лазо уже во время партизанского движения на Сучане.

Был конец мая или начало июня того же 1919 года. Почти весь Ольгинский уезд был очищен от белых. Я только что вернулся из агитационного похода на север, под Ольгу и Тетюхе, в село Фроловку, где был штаб партизанских отрядов, и застал здесь большую группу работников владивостокского подполья. Среди них был и Лазо.

Сергей Лазо был прислан комитетом как главнокомандующий. Впервые за все время партизанского движения революционный штаб назначил главнокомандующего. До сих пор все командиры выбирались. Главнокомандующего, по существу, не было. Были председатель революционного штаба, начальник штаба и командиры отрядов, такие же выборные, как и ротные, и взводные командиры.

Когда прошел слух, что приехал какой-то неизвестный человек, которого назначают главнокомандующим, наиболее отсталые из партизан, в том числе и некоторые командиры отрядов, заволновались, зашумели. Прямо с седла я попал на большой партизанский митинг, который происходил перед зданием революционного штаба во Фроловке. Митинг был такой, какой сейчас трудно себе представить. Все было как будто по правилам: и председатель, и секретарь, — но вокруг них ревело и бушевало море. Страсти разгорелись до того, что люди угрожали друг другу винтовками, шашками. На протяжении двух-трех часов шла борьба между организованным началом и этой стихией.

Здесь я познакомился с некоторыми удивительными качествами Лазо. Мало сказать, что ему присущи были исключительное хладнокровие и спокойствие: поражало то, что, будучи главным «виновником» всего этого переполоха, он совершенно не заботился о том, как все это может обернуться лично для него. Чувствовалось, что он совершенно не беспокоится о своей судьбе. Как я убедился потом, это качество было присуще ему и в боевой обстановке.

Ему свойственна была глубочайшая убежденность в том, что он говорит, убежденность такого рода, которая действует магически. Кроме того, он обладал незаурядным ораторским дарованием, умел находить простые слова, доходящие до сознания трудящихся людей. Несмотря на невероятное обострение отношений, он умел заставить массу слушать себя. Иногда отдельные партизанские вожаки начинали понимать, что он старается подчинить их себе, взять их в руки, и снова поднимали крик, но он стоял спокойно, ждал, пока они накричатся, и не уходил с трибуны. Когда они переставали кричать, он продолжал свою речь.

Митинг закончился нашей победой. Впервые широкие массы партизан узнали, кто такой Лазо.

После этого он с группой товарищей выехал в наиболее беспокойные партизанские районы. Там ему пришлось еще выдержать большую борьбу. Никакой вооруженной силы за ним не было, он действовал только авторитетом партии и своим личным обаянием. Были даже попытки его арестовать, но так как это происходило в боевой обстановке, он храбростью своей и умелым руководством в бою завоевал доверие партизан. Когда он вернулся во Фроловку, он был уже человеком признанным, авторитетным в массах, его слушались, как старшего товарища.

Не помню, в июне или в июле созвали мы повстанческий съезд трудящихся Ольгинского уезда. Это был очень интересный съезд. Во-первых, он был многонациональным: в Ольгинском уезде жили русские, украинцы, корейцы, китайцы, латыши, эстонцы, финны, молдаване и многие туземные народности. Во-вторых, на этом съезде стояли такие сложные вопросы, как земельный и как регулирование цен на хлеб, рыбу, мясо. Выхода на городской рынок не было, цены складывались неблагоприятно для той части населения, которая не занималась хлебопашеством.

Особенно сложно стоял вопрос о ценах на рыбу и на хлеб. Значительная часть населения Ольгинского уезда — рыбаки, но большая часть — хлебопашцы. Естественно, хлебопашцы могли обойтись без рыбы. А рыбаки не могли обойтись без хлеба. Поэтому цены на хлеб были очень высоки, а на рыбу — ничтожные. Этот вопрос на съезде приобрел огромное значение. Грозил раскол между двумя большими группами населения.

На этот съезд прибыл представитель правых эсеров. Известно, что, когда Колчак немножко прижал эсеров, они стали делать попытки заигрывать с партизанским движением.

Особенностью этого съезда было и то, что он происходил в условиях, когда против нас действовали уже не только колчаковцы, а и интервенты. Съезд происходил в деревне Сергеевке, а в двадцати километрах от нее, в деревне Казанке, уже шли бои с американцами, и вот-вот ожидался японский десант.

Здесь я узнал Сергея Лазо как страстного политического бойца и умного, практического политика. В несколько минут Лазо превратил представителя эсеров в ничто — в предмет всеобщего презрения, во всеобщее посмешище.

Но насколько тактичен был он, когда встал вопрос о ценах на хлеб и на рыбу! Крестьяне так уперлись, что долгое время мы ничего не могли с ними поделать. Нужно было подтянуть цены на рыбу и снизить на хлеб, и никак это нам не удавалось. Лазо агитировал спокойно, неутомимо.

Настолько разгорелись страсти, что я, будучи человеком молодым и горячим, выступил и сказал, что, упорствуя в этом жизненном для рыбаков вопросе, хлеборобы ведут себя не как трудящиеся люди, а как кулаки. Можете себе представить, как это было глупо и нетактично! Поднялось такое возмущение, что пришлось объявить перерыв.

Во время перерыва Лазо подошел ко мне, посмотрел на меня довольно выразительно своими умными глазами, ничего не сказал, только головой покачал. Я готов был уйти под землю.

В конце концов мы провели те цены, какие наметили.

На этом съезде Сергей Лазо был всем народом утвержден как главнокомандующий партизанскими силами Приморья.

Расскажу, как выглядел Лазо в боевой обстановке. Он был очень высок, ноги у него были длинные. Когда он ехал на лошади, стремена едва не касались земли, а он возвышался над крупом лошади, как каланча. Внешне он напоминал Дон-Кихота. Но это совершенно не соответствовало внутреннему его облику. В бою Лазо всегда умел найти неожиданные, смелые, стремительные ходы, но в то же время был расчетлив, распорядителен и абсолютно бесстрашен.

Мне много приходилось видеть смелых командиров. Я видел людей азартных, отчаянных, которые бросаются в бой первыми, полные страсти и боевого темперамента. Я видел просто хладнокровных, спокойно-храбрых людей. Но по поведению даже этих людей всегда можно видеть, что они находятся в бою, что их спокойствие необычно, не такое, как дома, в нормальной обстановке: это — спокойствие мужественного человека, который привык к боям и знает, что он должен быть хладнокровным. Сергей Лазо в бою оставался таким же, как всегда, — со своими приподнятыми бровями, с обычным внимательным и точно несколько удивленным выражением лица, безразличный к тому, что может лично с ним случиться и что о нем могут подумать. Он делал только то, что необходимо было для решения поставленной им боевой задачи.

Я тогда был рядовым бойцом и поэтому не был посвящен в план партизанской кампании, разработанный Сергеем Лазо. Знаю, однако, по личному опыту, что с его приходом мы буквально отрезали Сучанский рудник от города. Против нас были брошены намного превосходящие нас численностью и, конечно, вооружением японские части. Японские силы были так велики, что мы не могли с ними справиться и, отступая с боями, вынуждены были очистить Сучанскую долину.

Я остался в той группе партизан, которая не ушла с Сучана, а сделала попытку закрепиться здесь, в Сучанской тайге. Лазо с другими товарищами ушел в район села Анучина. Вскоре и нас выбили из Сучанской тайги, и мы попали в тот же район, в родное мое село Чугуевку, где сколачивались партизанские силы для новой борьбы. Но Лазо уже там не было. Он тогда сильно болел и был где-то спрятан в тайге.

Встретился я с ним уже после падения колчаковщины, в марте 1920 года, на дальневосточной конференции большевиков в городе Никольске-Уссурийском, куда был послан делегатом от партийной организации Спасско-Иманского военного района. Лазо был председателем Военного совета армии.

В это время в армии создавался институт политических комиссаров, или, как они у нас назывались, политических уполномоченных. Лазо обсуждал с нами, военными делегатами, кого назначить к нам в район полити-

ческим уполномоченным. Я при всяком удобном и неудобном случае бубнил, что надо назначить комиссаром Игоря Сибирцева. Это был мой первый партизанский воспитатель и учитель, и я очень любил его, так же как и его старшего брата Всеволода.

Лазо вдруг на меня посмотрел, засмеялся и сказал:

— А что, если мы назначим политическим уполномоченным Булыгу?

Булыга — это была моя партизанская фамилия. Я очень растерялся, замахал руками, стал говорить, что считаю себя слишком молодым для этой должности.

А он все смеялся:

— Нет, мы обязательно назначим Булыгу!

И вдруг завел со мной разговор о том, какое значение теперь, когда мы реформируем партизанские отряды в регулярную армию, имеет правильно поставленная политико-просветительная работа. Он развил передо мной целый план этой работы. Я и не подозревал, что он учит меня. Когда мы вернулись в свой район, оказалось, что политически уполномоченным назначен Игорь Сибирцев, а я — его помощником по просветительной части. Сейчас Игоря Сибирцева уже нет в живых: в 1922 году в бою с каппелевцами он был ранен в обе ноги и застрелился, не желая сдаваться в плен.

Последняя моя встреча с Лазо была уже недели за две до японского выступления, — говорю о японском выступлении против наших гарнизонов в ночь с 4 на 5 апреля 1920 года. По каким-то делам я был командирован во Владивосток и встретился с Лазо в частной обстановке; не помню, на чьей квартире собрались друзья по владивостокскому подполью времен колчаковщины. Было очень весело, многие из нас не видели друг друга около года, некоторые успели уже жениться. Была исключительно любовная и дружеская атмосфера. Лазо был центром этого общества, много смеялся, поблескивая своими красивыми, темными, умными глазами. Никто из нас и не думал, как скоро мы лишимся его.

Эта встреча осталась во мне особенно памятной потому, что здесь Лазо не только признал, а и разобрал по косточкам неправильность той позиции, которую он одно время занимал в вопросе о создании на Дальнем Востоке так называемого демократического буфера (вначале он

был против создания этого буфера, так блестяще себя впоследствии оправдавшего).

Я думаю, не будет преувеличением сказать, что Лазо принадлежал к очень незаурядным людям. Если бы он остался жив, он был бы сейчас очень крупным работником — и политическим и военным.

Какие качества ему это обеспечивали? Он был прежде всего пролетарским революционером, революционером до последней капли крови, и человеком лично одаренным, всесторонне талантливым. Он обладал исключительным трудолюбием и работоспособностью, любой вопрос изучал всесторонне и до конца. Он был на редкость скромен и лишен ложного самолюбия. Это был человек высокой рыцарской чести и благородства.

Когда произошло японское выступление, наш спасский гарнизон был выбит из города и на несколько месяцев отрезан от Владивостока. Прошло много времени, пока мы услышали, что Лазо, а с ним и Всеволод Сибирцев и Луцкий захвачены японцами. Не хотелось верить, что они убиты. Когда после перемирия я снова попал во Владивосток, еще все газеты выходили с аншлагом: «Где Лазо, Сибирцев, Луцкий?»

Японское командование «официально» заявляло, что ничего не знает об этих людях. Но все мы знали, что это неправда: в первые дни японского плена Сибирцева навещал его отец, а к Лазо приходила его жена. Мы были бессильны сделать что-нибудь. И все-таки никому не хотелось верить, что они погибли.

Я остановился у Сибирцевых на даче, в двадцати шести верстах от Владивостока, на берегу Амурского залива. Очень тяжелое настроение было. Тетку мою, Марию Владимировну, мать Сибирцевых, очень волевую и умную женщину, неотступно глодала мысль о сыне и его товарищах.

Мы с Игорем выйдем в лес, я спрашиваю:

— Ну, как ты думаешь, Игорь?

— Я думаю, их убили, — угрюмо говорил он.

Только год спустя, по свидетельским показаниям и косвенным документам, подтверждающим эти показания, удалось установить, что незабываемый героический друг наш Сергей Лазо и два его верных товарища сожжены японской военщиной в паровозной топке.

1937

ОСОБЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

(Из воспоминаний)

Осенью 1919 года остатки красных партизанских отрядов, действовавших в Сучанской долине и под Иманом, под давлением японских и белоказачьих частей сосредоточились в родном моем селе Чугуевке — глухом таежном селе за полтораста километров от железной дороги под отрогами хребта Сихотэ-Алинь. Я и двоюродный брат мой жили в нашей пустующей избе. Отца у меня не было, он умер на фронте еще в первую мировую войну, в 1917 году, а мать моя уже с год как выехала из села в город. Брат и я работали на водяной мельнице моего односельчанина Козлова. В конце октября или в первых числах ноября мы ремонтировали плотину на реке Улахэ. Работу кончили уже довольно поздно вечером. Было холодно. Было преддверие первых заморозков. Скоро ожидалась шуга на реке. Обычно после работы мы ужинали у Козлова. Мы работали у него за то, что он нас кормил и одевал.

Подходим мы вечером, когда уже зажигались огни в избах, к дому Козлова задами. Нас еще в огороде встречает перепуганная жена Козлова, очень взволнованная. Говорит: «К нам только что пришел отряд на село и что за отряд — понять невозможно. Шли строем, с ружьями на плечо. Все в военных шинелях. Складно пели песни, и шапки у всех одинаковые, а погонов я вроде и не заметила. Похоже — вроде колчаки, а погонов нет. Я уж вам

навстречу выбежала, чтобы упредить». Мы думаем, что за черт! По описанию регулярная часть, но если бы это были колчаковцы, пришедшие на село врасплох, не могло обойтись без перестрелки с партизанами, жившими в селе.

Я был тогда очень молодым человеком. Одет по-крестьянски. Похож на крестьянского мальчика. Пошел проверить, что за отряд, где остановился. Подхожу к центру села, вижу большое оживление на улице: мужики, бабы, много парней и девушек, шныряют ребятишки. В кучках людей — вооруженные в шинелях. Идет оживленная беседа. Я подошел к избе, возле крыльца которой было особенно много народа. Там сидел на ступеньках очень маленького роста, с длинной рыжей бородой, с маузером на бедре, большеглазый и очень спокойный человек и беседовал с крестьянами. Это был командир только что пришедшего на село красного партизанского отряда, действовавшего в районе города Спасска. Впоследствии образ этого командира много дал мне при изображении командира партизанского отряда Левинсона в повести «Разгром».

Здесь я впервые познакомился с бойцами партизанского отряда, который сыграл впоследствии огромную роль в гражданской войне на Дальнем Востоке. Все бойцы этого отряда, в тот период, когда партизанские отряды вливались в регулярную армию, стали коммунистами. Отряд этот был сохранен в том виде, в каком он существовал еще в период колчаковщины, в период партизанской борьбы, и назывался «Особый Коммунистический». Основным костяком этого отряда, душою его были рабочие лесопильного завода на станции Свиягино — небольшой станции неподалеку от города Спасска. Осенью 1919 года, когда я впервые столкнулся с этим отрядом в селе Чугуевке, он был уже самым дисциплинированным, самым неуловимым и самым действенным партизанским отрядом. Он совершенно был лишен черт «партизанщины». Это была настоящая, сплоченная, боевая, воинская часть.

Я побежал к мельнику Козлову и рассказал брату о том, что видел. Мы в тот же вечер пошли к «Левинсону», и он принял нас в свой отряд. В тот же вечер на деревенской вечорке, на которой участвовали бойцы Свиягинского отряда, пользовавшиеся благодаря своей чудесной военной выправке большим успехом у местных девчат, мы узнали, почему отряд так хорошо обмундирован и вооружен. Он пришел к нам в Чугуевку после исключительной

по смелости и изобретательности военной операции. От станции Свиягино, на несколько десятков километров в глубь тайги, идет железнодорожная ветка. Ее назначение — подвозить лес со Свиягинской лесной дачи на лесопильный завод. Вдоль этой ветки расположены бараки дровосеков. Рабочие Свиягинского лесопильного завода и дровосеки тесно связаны с железнодорожниками и благодаря этому хорошо знали порядок и расписание движения поездов как по основной Уссурийской магистрали, так и по Свиягинской ветке.

Свиягинский отряд жил под самым носом японских и белых частей. Он жил на Свиягинской лесной даче, очень недалеко от станции Свиягино и от города Спасска. Но этот отряд находился под специальным попечением свиягинских рабочих и дровосеков. Несколько раз колчаковцы и японцы предпринимали экспедиции для того, чтобы обнаружить этот отряд, но всегда безуспешно. Из большого коллектива рабочих, связанного круговой порукой, не нашлось ни одного предателя.

Недели за две до прихода в Чугуевку Свиягинский отряд получил через рабочих-железнодорожников сообщение о том, что должен пройти эшелон с оружием и обмундированием. Весь отряд вышел на линию. Между городом Спасском и станцией Свиягино были заложены на небольшом расстоянии друг от друга два динамитных фугаса. Техника у партизан в то время была еще очень слабая. Фугасы взрывались не электрическим индуктором, а тем, что дергали за длинный шнур, один конец которого был в руке у подрывника, а другой подвязан внутри фугаса за спусковой крючок короткого обреза, заряженного пулей. В нужный момент подрывник дергал за шнур, обрез стрелял внутри деревянной коробки, начиненной динамитом, — фугас взрывался.

В течение нескольких часов партизаны, лежа в кустах, поджидали поезда. Наконец из-за поворота показался дымок, вылетел паровоз и — о, незадача! Как и всегда в последнее время, из-за боязни обстрела воинских поездов, восемь или десять товарных вагонов с оружием, обмундированием и с сопровождавшим их конвоем, были прицеплены к пассажирскому поезду. Пассажирских поездов партизаны никогда не обстреливали. Однако подрывник не растерялся. Он сделал знак своему помощнику, на обязанности которого лежало взорвать первый фугас по ходу

поезда, чтобы он пропустил состав, а сам в тот момент, когда над его вторым фугасом промчались пассажирские вагоны и поравнялись первые товарные, — дернул за шнур. Раздался страшный взрыв; передние товарные вагоны покатились под откос; пассажирский состав, замедлив ход, отходил в сторону Свиягина. В этот момент подрывник сделал знак своему помощнику взорвать второй фугас; находившаяся в хвосте состава теплушка с конвоем взлетела на воздух. Так захватили свиягинцы большой запас обмундирования и вооружения. Оно было тотчас же погружено на спрятанные позади лесочка подводы и отправлено в тыл, а весь отряд, чтобы на время замести следы, ушел в село Чугуевку.

Места наши глухие, лесные, и за все время партизанской борьбы только один раз японцы и белые рискнули пройти в село Чугуевку и пробыли там одни сутки. Село Чугуевка во все время борьбы считалось самым глубоким тылом партизан.

Я никогда не забуду замечательного похода, который мы проделали вместе с Свиягинским отрядом, когда он возвращался из Чугуевки в свою базу на Свиягинскую лесную дачу. Мы тоже получили новенькие колчаковские шинели, новые трехлинейные винтовки, большой запас патронов. Ударили первые морозы. Выпал снег, но реки еще не стали. Шла шуга. Почти все дни похода не прекращалась метель. Свиягинский отряд вез с собой из Чугуевки зимний запас муки, собранный для него чугуевскими крестьянами. В наших краях очень много больших и маленьких речек, и везде уже не ходили паромы. На каждой переправе мы должны были перегружать нашу муку с подвод в лодки и плыть по шуге, по метели и снова грузить муку на подводы на той стороне реки. И так по многу раз в день. Ночью мы останавливались в небольших деревеньках. Мы шли небольшими трактами в долинах и самыми непроходимыми, глухими, таежными, зимними дорогами; выставляли дозоры. Крестьяне с удивлением смотрели на нас. Это было самое тяжелое время для всех партизанских отрядов области — начало зимы. И все удивлялись нашей выправке и тому, что мы не отходим от линии железной дороги, что делало в это время большинство отрядов, а наоборот, стремимся поближе к линии.

Метель не прекращалась и ночью. Мы почти не ложились спать. В избы, где мы располагались, набивался на-

род. До самого утра тянулись задушевные беседы. Мы пели старые русские песни и наши боевые партизанские. Наутро жители деревни или хутора провожали нас за несколько верст.

За время этого похода, а длился он десять дней, я подружился с замечательными ребятами Свиягинского лесопильного завода. Вся боевая жизнь последующих лет прошла у нас вместе. И сейчас, когда я вспоминаю свою юность, я вспоминаю и своих боевых товарищей. Там были чудесные ребята. Многие из них сложили свои головы в борьбе. Я никогда не забуду человека огромной физической и душевной силы — Федора Куницына. Это был богатырь, похожий на тех сказочных богатырей, образы которых сохранили для нас былины, — бесстрашный, спокойный, добрый, ненавидящий врагов, не знающий устали в борьбе, в походе. Я никогда не забуду братьев Кокорвичей, очень похожих друг на друга, чубатых, рыжих молодцов, очень друживших между собой. Веселье било в них через край. Тому, что мы, несмотря на суровые условия нашей жизни, много, очень много смеялись, мы обязаны прежде всего братьям Кокорвичам. Не забуду я невзрачного, вдумчивого, хилого Игоря Ситникова, всегда спокойного, бесстрашного и методичного в бою. И много, много других лиц и фамилий приходят мне на память, лиц и фамилий людей, с которыми мы не расставались в течение года, накрывались одной шинелью, ели из одного котла.

Когда наш отряд, сопровождая обоз с мукой, вступил в расположение Свиягинской лесной дачи, уже стояла настоящая зима. Последнюю реку мы уже переехали по льду. Ударили сильные морозы. Огромные кедры и пихты стояли все покрытые снегом. Снега за десять дней намело в рост человека. Когда мы вошли в лес, он стоял точно заколдованный. Мы шли по узкой тропинке в снегу. Муку везли теперь не на подводах, а на вьюках. И вот распахнулась небольшая, зимняя, таежная прогалина. В узком распадке гор я увидел два вкопанных в землю и уходящих задними стенами в гору партизанских зимовья, сложенных из кедровых бревен исполинской толщины, с небольшими застекленными прорезами окон. Над зимовьями вился дымок. Неподалеку, возле черного котла, над большим костром возился человек в ватнике. Это был повар. Мы подошли к базе Свиягинского отряда.

Свиягинцы построились так, что в самом крайнем случае, если бы их захватили врасплох, они могли дорого отдать свою жизнь. Стены зимовья не пробивали пули. Мы прожили здесь до 31 января 1920 года, когда в нашей области пала атаманщина. Японцы вынуждены были объявить нейтралитет, и мы вошли в город Спасск.

Наша жизнь слагалась из походов и после каждого похода долгой отсидки в бараках, потому что после каждого похода по всей округе рыскали отряды японцев и белых. Нет более замечательной силы на свете, как содружество передовых рабочих. Подумать только — вся Свиягинская лесная дача вдоль и поперек изрезана дорогами, по которым подвозили к железнодорожной ветке лес. Мы жили в сети этих дорог. Ближайшая из них проходила от нас не дальше, как в пяти-шести километрах. И часто бывало, что после нашего удачного набега на линию все эти дороги были наводнены вражескими разъездами, а мы сидели спокойно в своем зимовье, и из сотни людей, работавших на ветке, враг не имел ни одного, кто бы указал им наше местопребывание.

А каким прекрасным содружеством был наш коллектив — коллектив нашего отряда! Книг у нас не было. Как это ни смешно, единственной книгой, которая была зачитана до дыр и которая по духу своему меньше всего соответствовала тому, чем мы жили, была книга Пшибышевского «Homo Sapiens».

Чем же мы занимались? Мы издавали стенную газету. Номера стенной газеты писались от руки. Они выходили почти каждый день, если мы не были в походе. Эта газета была нашим политическим органом, но политическим органом особого типа. Это была прежде всего юмористическая газета. В ней участвовало подавляющее большинство бойцов. В сущности, над заметками этой газеты еще до их появления в номере ржали в обоих бараках до того, что сотрясались исполинской толщины стены. Тем не менее, когда вывешивался номер, вокруг него собирались все бойцы и могли смеяться еще несколько часов подряд. Все самое тяжелое, неприятное, неустроенное, суровое из того, что было в нашей жизни и во время походов и в пути, — все это предавалось самому безудержному, молодому и веселому осмеянию. Должен сознаться, что в силу однородного мужского состава отряда в нашей газете допускались иногда и «ударные» словечки. Газету приходилось

срочно срывать, когда появлялась в отряде сестра Ситникова, имени ее я не помню, — предположим, Вера. Это была единственная девушка в Свиягинском отряде. Через нее мы держали связь с рабочими Свиягинского лесопильного завода, через нее наши партизаны связывались со своими родными. В самом поселке Свиягино и рядом, в большом селе Зеньковке, стояли японцы и белые. Вера была удобным связистом, потому что никто бы из врагов не мог предположить, что эта скромная, застенчивая девушка может выполнять, такие ответственные задания. Все мы в отряде очень любили ее, очень любили, когда она приходила к нам. Обычно она жила у своих родных в поселке Свиягино. Иногда она могла задержаться у нас на несколько дней; тогда стирала нам белье, чинила одежду. Она была очень тихой и неразговорчивой. Я и сейчас помню ее сидящей на нарах, согнувшись над иглой. И все понемножку ухаживали за ней. А она — безответна. Разве только что на какой-нибудь уже очень удачный ход младшего Кокорвича она вдруг вскидывала на него свои темные ресницы, в глазах ее появлялось выражение лукавства, и она начинала тихо, тихо смеяться, показывая белые зубы. Я уже сказал о том, что все любили ее. Но отношение к ней было товарищеское в совершенно особом мужском смысле. Ведь нас было около сотни молодцов, оторванных от своих семей, от жен, невест. Но никогда ни один из нас не допустил себя по отношению к Вере до грубости или пошлости, и, в сущности, по молчаливому, неписаному какому-то соглашению не полагалось объясняться ей в любви. Позже, когда отряд вошел в город, она вышла замуж за младшего Кокорвича и уже не расставалась с отрядом.

Суровой зимой, примерно в ноябре или декабре 1920 года, когда я был уже совсем в другой части и местности, я встретил проездом в Нерчинск весь «Особый Коммунистический». Он к тому времени уже разросся. Люди только что погрузились в теплушки. Поезд уже разводил пары, но я успел обежать все вагоны и поздороваться со старыми друзьями. И в одном из вагонов я увидел, так же как когда-то у нас в тайге, Веру Ситникову сидящей на нарах и починяющей чье-то бельишко.

Когда пала атаманщина — это случилось в конце января 1920 года, — и мы вошли в город Спасск, ни один из Свиягинского отряда не покинул его, хотя многие по своим

годам могли бы не находиться в армии. Когда создалась в Спасске партийная организация, подавляющее большинство членов нашего отряда подало заявление в партию и подавляющее большинство в партию было принято. Потом мы добавили туда другие коммунистические ячейки. Так создался «Особый Коммунистический». Но его лицом и душою по-прежнему оставался коллектив рабочих Свиягинского лесопильного завода. Я сейчас понимаю, как это получилось. Люди вместе провели детство в поселке, вместе начали свой труд на заводе, вместе пошли в партизанский отряд. Вокруг их ядра, собственно, и сложился Свиягинский партизанский отряд. Они прошли в отряде большую жизнь, целую политическую школу, поэтому именно из их среды и вышли командиры и политические руководители отряда, когда он уже разросся и стал «Особым Коммунистическим».

Сколько труда, ума, политической сознательности, подлинного повседневного героизма проявили бойцы «Особого Коммунистического отряда» в период реорганизации армии, когда нам приходилось соединять вместе и превращать в регулярные полки партизанские отряды, реформировать перешедшие на нашу сторону колчаковские полки из мобилизованных насильно крестьянских парней! Мы стояли в одном гарнизоне с японцами. Охрана всех самых ответственных участков лежала на «Особом Коммунистическом». И совершенно исключительную роль сыграл «Особый Коммунистический» в ночь с четвертого на пятое апреля, когда японцы предательски и врасплох напали на наш гарнизон. Все поют песню о «штурмовых ночах Спасска». В этой песне поется о боях 1922 года, когда японцы были разбиты нами. А в то время, о котором я говорю, мы еще были слабы, плохо организованы. Наши части еще нельзя было назвать настоящей регулярной армией, и японцы выбили нас из города. Наименее дисциплинированные части ударились в панику. Связь между отдельными частями порвалась, и той силой, которая смогла выдержать до двенадцати часов следующего дня натиск японцев, организовать прикрытие для отступающих бригад и с честью выйти из боя, был «Особый Коммунистический». Бой был упорный, кровопролитный. Мы понесли много жертв. Особенно много было раненых. Все они были эвакуированы в деревушку, верстах в двадцати от Спасска.

Японцы в эту ночь выступили во всех городах приморской области за исключением Имана, где и создался штаб, руководящий обороной. Организовались фронты в сторону Хабаровска и в сторону Спасска. А наши части и раненые отступили из Спасска в противоположную сторону от фронта. Для того чтобы попасть на фронт, наши части должны были обогнуть японцев по глухим таежным тропам. Стояла очень дружная весна. Шло быстрое таянье снегов. А в ночь японского наступления валом валил густой мокрый снег. На другой день ударило яркое солнце. Все потекло. Дороги были размыты. Болота набухли водой.

Несмотря на тяжесть перехода, «Особый Коммунистический» взял с собой всех раненых. Их несли на носилках через реки и болота, иногда по шею в холодной, ледяной воде. Я тоже был ранен в этом бою, и мне хотелось бы, хотя и запоздало, выразить теперь то чувство благодарности за любовь и поддержку, которые я и каждый из нас, выбывших тогда из строя, испытал на себе. Нас несли бережно, укрывая шинелями. Часто, приподнимая, несли над головами, потому что люди брели иногда по горло в воде. Каждый чувствовал эти сильные руки, поддерживающие нас. Над нами склонялись на привалах улыбающиеся лица товарищей; все самое необходимое, что может иметь боец в тяжелом походе, все это в первую очередь предоставлялось нам. Я должен сказать, что нет более великого чувства, чем дружба смелых и сильных людей во время опасности, когда каждый верит своему товарищу, когда каждый может отдать за него свою жизнь и знать, что товарищ не пощадит своей. Именно это чувство согревало нас всех во время этого необыкновенного похода. Впоследствии весь «Особый Коммунистический» был брошен на фронт под Хабаровск, и там на его долю также выпала судьба стать главной силой сопротивления японскому продвижению в глубь области.

Рабочие Вяземских железнодорожных мастерских в исключительно короткие сроки соорудили бронепоезд. На этом бронепоезде «Особый Коммунистический» в течение месяца задерживал натиск японцев. Еще не оправившись от раны, я лежал в штабном вагоне на маленькой лесной станции Корфовская, неподалеку от Хабаровска. Время тянулось для меня невероятно медленно и, по существу, делилось по двум признакам: наши на броневике выезжают на фронт, наши на броневике вернулись.

Вот они сидят возле моей постели — Куницын, братья Кокорвичи, Ситников, Степан Комлев и другие, и вдруг доносятся орудийные выстрелы. Это движется японский бронепоезд. Ребята тут же затягивают патронташи, хватают винтовки и бегут. Я уже слышу грохот брони, пыхтение паровоза, на котором ездил бесстрашный седой машинист с гранатами на поясе. Я даже не могу увидеть своих друзей, потому что я не могу подняться с постели, я не могу помахать им на прощание рукой. И я вынужден иногда в течение нескольких часов лежать, слышать орудийную канонаду, трескотню пулеметов, и ни в чем я не могу принять участие. И все время томит мысль, кого мы не досчитаемся в этом бою?

Но вот пальба смолкает, и я уже издали по содроганию пути, по дрожанию вагона, в котором я лежу, слышу, что паровоз возвращается на станцию Корфовская. Бронепоезд с грохотом проносится мимо, не останавливаясь. Я слышу голоса на путях. Люди идут сюда. Вот они взбегают по ступенькам, вагон качается, и снова я вижу смелые, сильные, одухотворенные лица товарищей, еще полные страсти борьбы, черные в пороховом дыму.

«Ну, как? Все целы?» — взволнованно спрашиваю я. «На этот раз все», — весело отвечают мне и, перебивая друг друга, рассказывают мне все переживания боя. И рассказы их полны внутреннего огня и юмора, снова напоминающие мне заметки в стенной газете на свиягинском зимовье.

Многие из «Особого Коммунистического отряда» сложили свои головы. Нет в живых Куницына, нет младшего Кокорвича и многих и многих других. Но память об этом отряде и до сих пор живет в сердцах рабочих и крестьян Дальнего Востока. Я был в родных местах в 1934—1935 годах. Многие люди из этого отряда стали уже большими работниками, а некоторые работают на лесных заводах Дальнего Востока, работают, как стахановцы.

1937

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ФРУНЗЕ

Мы, коммунисты,— люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы — те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин. Не всякому дано быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии. Сыны рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны неимоверных лишений и героических усилий — вот кто, прежде всего, должны быть членами такой партии.

И. Сталин

Мать и отец

В 70-х годах прошлого столетия в поисках земли снялось с насиженного веками места государственное село Танцыри Воронежской губернии — снялось и двинулось походом в Среднюю Азию. Дошло оно до Семиречья и там осело.

В походе этом участвовала, еще десятилетней девочкой, Мария Ефимовна Бочкарева — мать Михаила Фрунзе.

Отцом его был участковый фельдшер Василий Михайлович Фрунзе, обрусевший молдаванин. Родом он был из крестьян Тираспольского уезда, Херсонской губернии,

но в качестве фельдшера отбывал военную службу в Туркестане, да так и остался в Семиречье.

Михаил Фрунзе родился в 1885 году, 21 января старого стиля в г. Пишпеке.

Никакого бога нет

Отец умер, когда ему было всего тринадцать лет. Содержание семьи пало на плечи братьев-подростков: старшего — Константина и младшего — Михаила. Они учились в гимназии, а подрабатывали тем, что давали уроки детям зажиточных семей.

Жили впроголодь. Экономили на всем: на мыле, на нитках, на спичках, — лишь бы учиться. Частенько не на что было купить сальную свечку, и они занимались при свете коптилки.

Под влиянием бабушки, нянчившей его, Михаил в детстве верил в бога. А в это время он увлекся естествознанием и прочел Дарвина. Целыми днями он точно спорил с самим собой.

— Вот, — начинал он обыкновенно, — некоторые говорят, будто бога нет...

И с жаром и очень убедительно доказывал, будто бог есть. А однажды остановился перед матерью, улыбнулся своей немного застенчивой улыбкой и сказал:

— Ну вот... Теперь, по крайней мере, твердо знаю, что никакого бога нет.

«Жребий брошен, Рубикон перейден!»

Шла русско-японская война. В гимназических кружках самообразования, в которых вращался молодой Фрунзе, все чаще звучали революционные речи.

Чуткий ко всякой несправедливости, немного восторженный, но настойчивый в достижении цели, он выступал во главе всех ученических протестов, — выступал открыто. Уже начальство начало коситься на него. Но весной 1904 года он блестяще сдал выпускные экзамены, получил золотую медаль и уехал в Петербург в Политехнический институт.

Долго не было от него вестей. Брат Константин был взят на войну и тоже пропал без вести. До матери стали

доползать слухи о «кровавом воскресенье» в Питере. И вдруг — письмо от Михаила:

«Жребий брошен, Рубикон перейден! У тебя есть сын Костя, который не оставит, а я...»

Он не мог сообщить в письме, что в столкновении с полицией ранен в руку, арестован, выпущен за недостатком улик и выслан из Петербурга.

Товарищ Арсений

В начале мая 1905 года в рабочих кружках Иваново-Вознесенского района появляется приземистый юноша на крепких коротковатых ногах, · полнолицый, с мягким ежиком волос, с застенчивой мужественной улыбкой и по-детски ясным, твердым, голубым взглядом — товарищ Арсений.

В нем нет ничего от показного «революционера». В быту, по одежде его не отличить от рядового рабочего. Куда бы ни забросили его условия подпольной работы — в рабочую казарму, в крестьянскую избу, везде он — свой человек, спит, как все, на полу, ест из общей миски кислые щи с кашей.

Но в первой же боевой схватке юноша с застенчивой улыбкой обнаруживает пламенный темперамент бойца и железную руку организатора.

В середине мая поднялась стачка шестидесяти тысяч текстилей, повергшая в панический страх всех местных купцов, промышленников и полицию. Во главе стачки встал товарищ Арсений. Старые шуйские ткачи до сих пор помнят речи его с помоста из лодок и бревен на берегу реки Талки.

Войска и полиция потопили первую стачку в крови. Но в течение лета Арсений (он же Трифоныч) совместно с товарищами создали окружную организацию большевиков, распространили свое влияние на деревню, и дело снова пошло на подъем.

С 1905 по 1907 год он держал в трепете власти Шуи. По одному его призыву останавливались фабрики и заводы. На собрания, где он выступал, тайком ходили солдаты. Было время, когда начальство отдало приказ при появлении Арсения запирать солдат в казармы. Однажды

вывели местную команду арестовать его, а солдаты присоединились к толпе.

Так заложил он великую нерушимую дружбу с иваново-вознесенскими ткачами.

Впоследствии они дрались под водительством Фрунзе в Заволжье и под Уфой, под Оренбургом и на Урале, у Каспия и в Крыму. И в трудные голодные годы он не раз навещал их, ходил по квартирам рабочих и расспрашивал о их нуждах.

Первая военная школа

Фрунзе всегда отличался пристальным вниманием к непосредственно-боевой работе партии большевиков. Он был одним из первых и лучших организаторов боевых дружин и неоднократно участвовал в массовых и одиночных столкновениях с войсками и полицией.

В декабре 1905 года с группой шуйских пролетариев он сражался на московских баррикадах. Он среди бела дня, во главе боевой дружины, захватил в Шуе типографию Лимонова и в течение двух-трех часов выпустил несколько тысяч большевистских листовок.

Как-то он был захвачен в бору казаками. Его избили, накинули аркан на шею и погнали за лошадью.

«Я бегу, — рассказывал он потом, — и обеими руками держу петлю веревки, чтобы не задохнуться. Бегу, — конечно, не успеваю за лошадью... Казаки кричат на меня, ругают матерно, я спотыкаюсь. Добрались до какой-то изгороди палисадника и предложили встать на нее. Я подумал, что мне предлагают сесть на лошадь. Как только я забрался на изгородь, казак стегнул плеткой лошадь. Ноги застряли в решетке, и я не смог их освободить, пока решетка не сломалась. Я потерял сознание и упал»...

На всю жизнь у него образовалась чуть прихрамывающая походка. Во время усиленной ходьбы, например, по горам, при сильных прыжках и неудачных поворотах у него иногда соскальзывала с места коленная чашечка, и он незаметно своими плотными руками вправлял ее на ходу.

Он был арестован — в который уже раз — 24 марта 1907 года. При нем было два маузера. Он бы не дался живым, но в доме, где он скрывался, были маленькие дети, и он пожалел их.

В кандалах

Долго разбиралось его дело. Только 26 января 1909 года состоялся первый суд над ним. Его приговорили к смертной казни через повешение за «покушение на жизнь» урядника Перлова. Дело велось настолько беззаконно, что его удалось кассировать. Ожидая подтверждения или отмены решения суда, «смертник» Фрунзе затребовал очередную пачку книг, среди них учебник английского языка, «Политическую экономию в связи с финансами» Ходского и «Введение в изучение права и нравственности» Петражицкого. Через два с половиной месяца пришло извещение о пересмотре дела. И все это время, не переставая учиться, он жил в ожидании, что его в любой момент могут повесить.

10 февраля 1910 года его судят по другому обвинению в принадлежности к РСДРП. Как и на первом суде, он больше заботился об участи других и спокойно и стойко несет честь принадлежности к организации. Его приговаривают к четырем годам каторги. А 22 сентября того же года снова судят по старому обвинению — в покушении на драгоценную жизнь урядника Перлова. И снова смертный приговор, который через некоторое время заменяют шестью годами каторги в дополнение к прежним четырем.

Фрунзе провел в каторжных тюрьмах — Владимирской, Николаевской, Александровской — более семи лет и год в Верхоленской ссылке. За это время он стал всесторонне образованным человеком, отрастил усы и внешне стал походить на умного мастерового или солдата, каким мы и знаем его по портретам.

Перед спокойным и мужественным его взором прошла полоса реакции — отход от революции «горе-революционеров», ликвидаторство. Потом новый подъем революционной волны в 1911—1912 годах, рост и укрепление большевистской партии и снова подавление этой волны в связи с началом империалистической бойни и новое предательство меньшевиков.

Ни на одном из этих этапов Фрунзе не знал колебаний и остался верным до конца знамени Ленина.

После выхода на поселение он был арестован за создание организации среди ссыльных. Через некоторое вре-

мя бежал в Читу, где организовал газету большевистского направления, и снова был обнаружен и снова бежал, и появился опять под фамилией Михайлова на Западном фронте, в качестве работника Земского союза.

Рождение большевистского полководца

К февралю 1917 года «работник Земского союза г-н Михайлов» создал большую подпольную революционную организацию с центром в Минске и отделениями в 10-й и 3-й армиях. Организация была раскрыта, но уже «поздно» — началась Февральская революция.

В 1925 году в английском ежемесячнике «The Aeroplane» была помещена редакционная статья «Новый русский вождь», посвященная Фрунзе, как военному руководителю. Мы приведем для курьеза и ту довольно своеобразную мотивировку, которой автор статьи подкреплял свою в общем высокую оценку военных качеств Фрунзе.

«...Карьера Фрунзе обращает на себя внимание, — писал автор статьи. — Прежде всего, надо отметить его румынское происхождение. Ныне румыны не являются, как это было доказано в 1914—1918 годах, великой боевой нацией. Но... румыны гордятся своим происхождением от той римской колонии, которая в древние времена являлась передовым постом Римской империи против скифских орд. Поэтому, возможно, что румыны в состоянии дать и в настоящее время великого военного гения...»

«С другой стороны, — повествовал автор статьи, — мать Фрунзе была крестьянской девушкой из Воронежа. В настоящее время Воронеж является городом, который дает имя области, граничащей с территорией донских казаков в Южной России, поэтому есть полная возможность предполагать, что в этой крестьянской девушке текла казачья кровь, а стало быть, в ней есть боевые качества. Соединение отдаленных римских предков с казачьей кровью очень легко может создать гения».

«Мы видим, как он в возрасте 31 года разбивает адмирала Колчака, который сам был весьма компетентной боевой личностью. Его разгром генерала Врангеля, который пользовался поддержкой британских и французских штабных офицеров и материальной частью этих держав, а также несколькими отрядами английских воздушных

сил, против которых Фрунзе ничего не мог противопоставить в воздухе, показывает, что он, во всяком случае, является вполне компетентным военным человеком».

Дальше автор статьи рекомендует «добывать всевозможную информацию о личности этого человека и усердно изучать операции этого нового русского вождя».

Почтенный автор, как видим, побаивался Фрунзе. Однако он очень слабо понимал, что Фрунзе являлся полководцем совершенно нового типа. Полководцем, военная стратегия которого сознательно исходит из политических задач рабочего класса, полководцем — политическим организатором масс, полководцем не завоевателем, а освободителем трудящихся людей и угнетенных народов. Короче говоря — большевистским полководцем.

Фрунзе созрел как крупный политический и военный руководитель в период подготовки Октябрьского штурма и в первый год закрепления Октябрьской победы. И созрел как бы «незаметно».

Известно, что все, решительно все вожаки разоблаченных ныне групп врагов народа, всегда любившие пошуметь о себе на весь свет, заколебались и изменили партии и революции в этот решающий период — *до* и *после* Октябрьского переворота.

Фрунзе на конкретных участках борьбы, без шума, всегда вместе с массами и во главе их, последовательно осуществлял великую программу социалистического переворота, начертанную Лениным в апрельских тезисах и в гениальных его статьях того времени и в решениях VI съезда партии. И неизменно рядом с Фрунзе-политиком идет Фрунзе-военный.

Фрунзе после Февраля — один из вождей революционного движения в Белоруссии, он руководитель, первый большевистский руководитель, созданного им Совета крестьянских депутатов в Белоруссии. Он был начальником гражданской милиции, когда надо было разоружать царскую полицию и жандармов; он работает среди солдат, во фронтовом комитете; и во время корниловского восстания его избирают начальником штаба революционных войск Минского района.

Перед Октябрем он возглавляет в родной Шуе Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, его избирают председателем городской думы и земской управы, он осуществляет Октябрьский переворот в родном городе.

И он же формирует двухтысячный отряд рабочих и солдат на помощь рабочим Москвы в Октябрьские дни, он выезжает в Москву выяснить обстановку и с оружием в руках принимает участие в уличных боях против юнкеров возле Большого театра и «Метрополя».

После переворота он — председатель губернского комитета партии и губисполкома и губсовнархоза. И он же в качестве губернского военного комиссара формирует первые вооруженные отряды республики.

«Председателем собрания был избран Фрунзе, — писал об этом периоде его жизни Фурманов в своей книге «Путь к большевизму». — Это удивительный человек. Я проникнут к нему глубочайшей симпатией. Большой ум сочетался в нем с детской наивностью взора, движений, отдельных вопросов. Взгляд — неизменно умен: даже во время улыбки веселье заслоняется умом. Все слова — просты, точны и ясны; речи — коротки, нужны и содержательны; мысли — понятны, глубоки и продуманны; решения — смелы и сильны; доказательства — убедительны и тверды. С ним легко. Когда Фрунзе за председательским столом, — значит, что-то будет сделано большое и хорошее».

После белогвардейского восстания в Ярославле в 1918 году Фрунзе был назначен военным комиссаром Ярославского округа. В это время уже развертывается кровавый поход Антанты. И Фрунзе, формируя части на фронт, развернул свой блестящий военно-организаторский талант.

Он получил назначение командующим 4-й армией и в конце января 1919 года, в ветхом салон-вагоне, находясь, как всегда, в состоянии подъема и энергической деятельности, всю дорогу обыгрывая своих спутников в шахматы, — выехал в армию.

Командарм IV

4-я армия обеспечивала правый (южный) фланг Восточного фронта. Она находилась в самом скверном состоянии. Части ее только что взяли Уральск. Но враждебные элементы разлагали армию изнутри. Только что закончилось восстание двух полков, во время которого был убит член Реввоенсовета Линдов. Полки были расхлябаны. А между тем противник сосредоточил главные силы в районе Щапово и форпоста Бударинского, куда перешло

войсковое правительство, и готовился к контрнаступлению.

В первых числах февраля Михаил Васильевич прибыл в Уральск и назначил парад гарнизона. Все недостатки и болезни армии открылись перед ним, и он тут же перед всей красноармейской массой объявил выговор командирам за плохое состояние частей. На другой день он получил «приглашение»: явиться на собрание командиров и объяснить свое поведение. Михаил Васильевич, склонив свой чуть начавший седеть ежик, подумал над бумажкой и пошел.

Комната во втором этаже деревянного дома была битком набита командирами. Было сильно накурено, шумно. Когда он вошел, все замолчали. Он поздоровался и сел на скамью. Никто не решался заговорить.

— В чем дело, товарищи? — спросил он.

После некоторого замешательства на него набросились с упреками: приезжают, дескать, «какие-то», учат заслуженных боевых командиров, подавай ему парады, маршировку. Чувства расходились, ему стали угрожать: «Мало вас учили, забыли Линдова!»

Михаил Васильевич встал и в напряженной тишине начал говорить своим спокойным, звучным, отчетливым голосом:

— Прежде всего, я заявляю вам, что я здесь не командующий армией. Командующий армией на таком собрании присутствовать не может и не должен. Я здесь член коммунистической партии. И вот от имени этой партии, которая послала меня работать в армию, я подтверждаю вновь все свои замечания по поводу отмеченных мною недостатков в частях... Вы делали угрозы по моему адресу. Вы меня не испугаете. Царский суд дважды посылал меня на смерть и не заставил меня отказаться от своих убеждений. Я безоружен, я в ваших руках. Вы можете сделать со мной, что хотите. Но я твердо заявляю по поводу сегодняшнего вызова меня сюда как командующего, что в случае повторения подобных явлений буду карать самым беспощадным образом, вплоть до расстрела... Имеете еще что-нибудь? — спросил он и сел.

Все молчали, но он понял, что слова его дошли до сердца.

Стоял ранний, мглистый зимний рассвет, в степи мела поземка, когда Михаил Васильевич в серой солдатской па-

пахе и в шубе, накинутой поверх шинели, в сопровождении адъютанта и ординарцев выехал в санях в расположение войск под Щаповом.

Кругом рыскали казаки. Едва сани съехали на лед реки Урала, послышались звуки выстрелов и пули завизжали вокруг. Михаил Васильевич высунул из кошевки свои заиндевевшие усы и закурчавившуюся от инея мягкую бородку и сразу как-то повеселел:

— Вон, вон они, казачишки! — говорил он, посверкивая голубыми глазами, указывая рукой в варежке.

Когда они подъехали к исходным позициям, бой уже начался. Скинув шубу, Михаил Васильевич поднялся на колокольню, где был артиллерийский наблюдательный пункт. По колокольне били шрапнелью.

— Каковы шрапнельки, а? — говорил он, поглядывая на круглые облачка дыма. Звуки стрельбы явно веселили его, хотя он ясно видел, что бой развивается неудачно. Полки откатывались на исходные позиции.

Своей чуть прихрамывающей походкой Михаил Васильевич обходил части и объяснял, почему получилась неудача.

— Но ничего, все образуется, — с улыбкой говорил он.

И он понравился красноармейцам, этот приземистый командарм в шинели, с лицом умного мастерового. Слух о том, что он был в самой гуще боя, прошел по всем полкам.

Первого марта Фрунзе по прямому проводу докладывал комфронтом: «...Задачу разгрома живых сил врага надеюсь осуществить в течение месяца».

Он выполнил эту задачу ко дню Парижской коммуны.

Фрунзе и Чапай

Еще во время организации армии вернулся в армию после своего неудачного поступления в Военную академию Чапаев. В академию его послало старое командование не столько из желания выучить Чапаева, сколько для того, чтобы избавиться от беспокойного партизана. Михаилу Васильевичу изрядно наговорили о нем плохого. Но в низах помнили и любили Чапая, и Михаил Васильевич тоже знал об этом.

Чапаев зашел в кабинет в валенках, в башлыке, был немного смущен. Михаил Васильевич с присущей ему необидной прямотой стал спрашивать: «А правда, что вы то-то и то-то?..»

— Было дело, — с улыбкой отвечал Чапаев. — Да, загнул, пожалуй... А уж это вот зря...

Через некоторое время они сидели на стульях друг против друга, с взъерошенными волосами, оба чем-то похожие на ребят, и смешливый Михаил Васильевич заходился до слез, слушая рассказ, как Чапаев поступал в академию.

Михаил Васильевич назначил Чапаева командиром 25-й дивизии.

Красный Яр

В марте Колчак, не закончив сосредоточения своих частей, внезапно ударил в стык 2-й и 5-й армий. 5-я армия понесла сильное поражение. Противник занял Уфу и был в шестидесяти верстах от Самары.

На южном участке Восточного фронта создалось своеобразное положение: 1-я, 4-я и Туркестанская армии и отступающие части 5-й армии сомкнулись тылами в тесном пространстве Самара — Оренбург — Уральск. Положение было опасным: противник, если бы он взял инициативу в свои руки, мог ударить по тылам всех армий, и Восточный фронт был бы разгромлен.

Тогда была создана Южная группа в составе всех этих армий и командующим ею назначен Фрунзе. И тут он проявил свой оперативный гений.

Он создал ударную группу под Бузулуком и нанес сокрушающий удар во фланг зарвавшегося противника. 4 мая был взят Бугуруслан, 13 мая — Бугульма, 17 — Белебей. Фрунзе, оставаясь командующим Южной группы, принял на себя личное командование Туркестанской армией и, не давая противнику возможности передышки, двинулся на Уфу.

Основные операции по взятию Уфы пали на 25-ю Чапаевскую и 31-ю дивизии, которые должны были переправиться через реку Белую, у деревни Красный Яр.

Седьмого июня Михаил Васильевич в летней красноармейской гимнастерке и фуражке защитного цвета, вер-

хом на гнедом дончаке прибыл к месту переправы у Красного Яра, где сосредоточились первая и вторая бригады Чапаевской дивизии. Противник развил сильный огонь из орудий. Над местом переправы то и дело появлялись аэропланы противника, строчившие из пулеметов.

На переправе работал только один пароходик. На большом протяжении реки видны были челны с красноармейцами, державшими ружья наизготовку. В носах челнов торчали хоботы пулеметов.

Ночью на том берегу сосредоточились 220-й Иваново-Вознесенский полк — краса дивизии — и 217-й. Они бросились на окопы противника и с боем заняли деревни Александровка и Нижние Турбаслы. Днем переправился еще и 218-й полк. Противник был вытеснен из деревни Турбаслы Старая, но к следующему утру, развив бешеный артиллерийский и пулеметный огонь, бросил против наших полков отборные егерские и офицерские части.

Очень трудно было доставлять боеприпасы. Наши бойцы остались почти без патронов. Командир все время повторял: «Не отступать, — помни, что в резерве только штыки...»

И был момент, когда наши части не выдержали и начали отступать к реке. В это время среди расстроенных цепей показались верхами только что переправившиеся через реку Фрунзе, Чапаев и с ними еще несколько всадников. Их сразу узнали. Фрунзе спешился и, взмахнув рукой и скомандовав: «Вперед, за мной!» — пошел на противника. Полки бросились за ним.

Чапай, не отстававший от Михаила Васильевича ни на шаг, все время сердился:

— Товарищ командующий! Право, уйдите отсюда! Право, не место вам здесь...

Но Фрунзе вышел из боя, только когда противник побежал. Против наших частей действовала авиация в составе целой эскадрильи. Когда Михаил Васильевич возвращался к переправе, возле него взорвалась брошенная с аэроплана бомба, и он был контужен в голову. В этом бою был ранен пулей в голову и Чапаев, но Уфа была взята, и судьба колчаковщины предрешена.

За эту операцию Михаил Васильевич был награжден первым своим орденом Красного Знамени. Потом он командовал всем Восточным фронтом вплоть до захвата красными Челябинска и перехода через Уральские горы.

В августе 1919 года, в связи с разделением Восточного фронта на два направления — Сибирское и Туркестанское, Михаил Васильевич был назначен командующим Туркестанским фронтом.

Несмотря на эпидемию и заторы в снабжении, в первой половине сентября красные войска взяли Орск, Актюбинск и окружили — и частью уничтожили, частью взяли в плен — южную армию Колчака. В эти дни самой тяжелой потерей была гибель Чапаева в волнах реки. Но 13 сентября на станции Мугоджарской соединились 1-я армия и туркестанские войска, и ворота в Туркестан были открыты.

Мы видим Фрунзе в распахнутой шинели и в папахе, смеющимся, он пилит с красноармейцами дрова на субботнике по дороге в Ташкент. Вот он сидит в штабе Туркфронта в белой гимнастерке, склонив над картой свой непокорный ежик, и решает очередные оперативные задачи. А вот — верхом на горной, приземистой, как он сам, лошадке он принимает парад Кушкинского гарнизона. И вот мы видим его уже в качестве военного дипломата, в черкеске с газырями, с кинжалом и кривой восточной шашкой у пояса, — он выслушивает хитрости министров эмира Бухарского и чуть заметный смешок застрял у него где-то в уголках глаз.

Рука Фрунзе везде. Только что ликвидировали последний оплот белых уральских казаков в г. Гурьеве, но остался еще Семиреченский белогвардейский фронт. Ликвидировали его, но надо идти на помощь ферганским декханам и громить басмачей. А там восстали против эмира трудящиеся массы Бухары. И доблестные войска Фрунзе спешат к ним на помощь. Приказы Фрунзе того времени — это не только военные приказы, точные, как математика, это и политические обращения, полные ума, это и поэмы, полные страсти.

А в то же время, как уполномоченный партии и советской власти по делам Туркестана, он возглавляет борьбу с великодержавным шовинизмом и местным буржуазным национализмом, создает и воспитывает кадры молодой партийной организации. Нужно создавать школы на национальных языках. А уже фабрики родного Иваново-Вознесенского района требуют: хлопка, хлопка! И нужно устра-

ивать по-новому всю жизнь миллионов и миллионов тружеников многих национальностей, придавленных веками колонизаторства и патриархально-феодальных отношений.

Во всей своей деятельности в Средней Азии Михаил Васильевич показал себя блестящим учеником Ленина и крупнейшим государственным умом. Имя его навсегда останется в памяти миллионов людей как имя великого друга угнетенных народов.

Когда в 1921—1922 годах он ездил чрезвычайным послом в Турцию, от самого Трапезунда шла молва о нем:

— Едет русский паша, алдаш Фрунзе, всем доступен, говорит с простым народом, очень красив, хорош...

Перекоп и Чонгар

Страна изнемогла от семи лет войны. Народ устал. Обнищавший крестьянин уже не в силах был давать хлеб. Много крови ушло на то, чтобы побить польских панов. Но еще оставалась на юге белогвардейская язва.

Летом 1920 года по указке своих иностранных хозяев Врангель вылез из Крыма и к осени стал непосредственно угрожать Украине и Донецкому бассейну. Был создан Южный фронт, на котором сосредоточены были крупные силы. Командующим был назначен Фрунзе.

Первая Конная армия форсированным маршем двигалась с Польского фронта на Южный. В пути было получено извещение о вызове либо Буденного, либо Ворошилова на совещание к главкому. Ворошилов на паровозе срочно выехал в Харьков.

Вагон главкома стоял на путях за вокзалом. Ворошилов энергично взбежал по ступенькам, вошел в салон. Он увидел склонившуюся над картой ежастую голову, чем-то очень знакомую. Фрунзе вскинул свои голубые глаза с сетью смешливых морщинок по уголкам, и Ворошилов едва не задохнулся от изумления:

— Арсений!

— Володя!

Взволнованно блестя глазами, они схватили друг друга за руки, потом крепко обнялись и снова посмотрели друг на друга. В 1906 году оба они были участниками IV съезда партии, вместе провели месяц в Стокгольме и очень подружились, но судьба развела их на четырнадцать лет. Мог

ли Климент Ефремович предполагать, что тот легендарный Фрунзе, о котором знает в стране даже малый ребенок, и есть «тот самый» товарищ Арсений?

«Мы начинаем обсуждать стратегический план нанесения решительного и последнего удара барону Врангелю,— вспоминает тов. Ворошилов. И вчерашний подпольщик-большевик Арсений с изумительной ясностью и поражающим авторитетом истинного полководца развивает в деталях предстоящие решительные операции Красной Армии...»

Силы Врангеля, находившиеся в Северной Таврии, были частью уничтожены, частью вытеснены за перешеек. В боях за Донецкий бассейн костьми лег 77-й полк. К вечеру 3 ноября 1920 года армии Южного фронта встали вплотную у берегов Сиваша, начиная от Геническа и кончая районом Хорлы.

Ясным морозным утром Михаил Васильевич из Мелитополя, где находился теперь штаб фронта, выехал в места расположения частей. «Все проселочные дороги, — вспоминал потом Михаил Васильевич, — шедшие в направлении с севера на юг, полны были следов только что разыгравшихся кровавых событий. Прежде всего бросалось в глаза огромное количество павших лошадей. Вся степь, и особенно вблизи дороги, буквально была покрыта конскими трупами. Я, помню, несколько раз принимался считать, — сколько трупов проедем мы в течение двух-трех минут, — и всякий раз насчитывал десятками. При виде этих кладбищ ближайших друзей нашего пахаря, как-то особенно больно становилось на душе, и перед сознанием вставал вопрос: каково-то будет впоследствии и как будем справляться мы с фактом такой колоссальной убыли конского состава?..»

Да, он видел все. Люди были полураздеты, без горячей пищи и питья — не было топлива. В конных частях не хватало фуража. Но никто не жаловался. Настроение было бодрое. Это была армия наступления. Шли титанические работы по подготовке штурма Чонгарского перешейка без всяких технических средств.

Михаил Васильевич подумал о том, как хорошо было бы повторить маневр фельдмаршала Ласси в 1732 году против крымского хана, то есть обойти противника по узкой Арабатской стрелке, идущей от Геническа к Керченскому полуострову. Но маневр этот нельзя было

повторить. Арабатская стрелка находилась под обстрелом судов противника со стороны Азовского моря, а наша Азовская флотилия не могла прийти на помощь из-за морозов, сковавших Таганрогскую бухту. Оставалось штурмом брать Перекоп и Чонгар.

В ночь с 7 на 8 ноября части 52-й дивизии переправились через Сиваш и с боем овладели укреплением Литовского полуострова. Форсирование Перекопского перешейка началось в ночь на 9 ноября частями 52-й, 15-й и, главным образом, 31-й дивизии, которая должна была атаковать в лоб Перекопский вал.

Михаил Васильевич лично руководил операциями из штаба 15-й дивизии. Он стоял на берегу. Багровый отсвет горящей позади деревни лежал на воде, на оружии, на лицах людей. Грохот орудий стоял такой, что все сливалось в один сплошной гул, — нужно было кричать, чтобы расслышать друг друга. Михаил Васильевич то отдавал распоряжения, то молча стоял, устремив взгляд туда, где буйствовал смертоносный огонь орудий.

Вдруг поступило донесение о том, что повышается уровень воды и вода постепенно затопляет брод. Полки 15-й и 52-й дивизий встали перед угрозой быть отрезанными по ту сторону Сиваша. Фрунзе отдал распоряжение о немедленной атаке Перекопского вала частями 31-й дивизии под угрозой самых суровых репрессий в случае оттяжки в исполнении. Одновременно он отдал приказ 7-й кавалерийской дивизии сейчас же садиться на коней и переправляться через Сиваш для подкрепления 15-й и 52-й дивизий.

Только к 5 часам утра было получено донесение о том, что части 31-й дивизии в 3 часа 30 минут пополуночи овладели Перекопским валом и противник отступил на Юшуньские позиции. Эти позиции были заняты после упорного боя 10 ноября, а в ночь на 11-е начался знаменитый штурм полками 30-й дивизии Чонгарских позиций. Утром после кровопролитного боя части дивизии были на том берегу и стремительно наступали на Джанкой по пятам противника.

Наши потери были чрезвычайно тяжелы — не менее десяти тысяч убитыми и ранеными, но героическая пехота и красная конница ворвались в Крым, и 15 ноября Фрунзе уже мог послать телеграмму Ленину о том, что части вступили в Севастополь.

Случай в Решетиловке

Михаил Васильевич был уже командующим вооруженными силами Украины, членом ЦК большевиков Украины и президиума ВУЦИК и членом ЦК ВКП (б). Он немного — по годам — погрузнел, сбрил бороду, носил остроконечную богатырку и военную гимнастерку того времени с тремя малиновыми «разговорами» по груди. В середине июня он выехал в район Полтавы для наблюдения за ходом ликвидации махновских банд.

В сопровождении начальника волостной милиции и ординарца он въехал в село Решетиловку. Из первой же группы вооруженных людей, к которой они подъехали, раздался оклик:

— Кто такие?

— Командующий Украины, — важно, хотя и не очень правильно сказал начальник милиции.

По мгновенно изменившимся лицам людей все трое сообразили, куда они попали, и, повернув коней, стали уходить наметом. Вслед им открылась пальба, через минуту ринулась погоня. Ординарец упал убитый, начальник милиции вырвался вперед. Двое махновцев на более машистых конях стали нагонять Михаила Васильевича. За поворотом дороги он соскочил с коня и, не выпуская узды, выстрелом из маузера убил одного из преследователей, а другой повернул обратно.

Смущенный тем, что попал впросак, Михаил Васильевич, приехав в штаб группы, старался держаться так, будто ничего не случилось. Но тут заметили, что бок у него в крови, а когда сняли шинель, она была пробита в семи местах.

Михаилу Васильевичу изрядно попало от ЦК большевиков Украины за эту неосторожность.

Вождь Красной Армии

Михаил Васильевич работал на Украине до 1924 года. Но, конечно, влияние его и в то время выходило далеко за пределы одной республики. Он был народным героем, легендарным Фрунзе, вождем из той железной ленинской когорты, которая после смерти Ленина, великого отца своего, сплотилась вокруг продолжателя его дела—Сталина.

... Как известно, в период, связанный с болезнью и смертью Ленина, партия вела непримиримую борьбу с троцкистами. В этой борьбе Фрунзе был в числе ближайших сподвижников Сталина.

Еще с 1921 года, когда начался мирный период строительства вооруженных сил страны, Михаил Васильевич последовательно и неустанно боролся с троцкистским отрицанием значения теории Маркса — Ленина в учении о войне, с передоверием всего дела строительства армии буржуазным специалистам, с пышным фразерством, а на деле вредительством. Троцкий не верил в возможность создания многомиллионной, технически оснащенной подлинно-социалистической армии, отстранился от всякой положительной работы и политически разлагал наименее устойчивые кадры. Как это вскрылось на процессе антисоветского право-троцкистского центра, Троцкий уже в то время, в 1921 году, вступил в контрреволюционную связь с генералом Сектом и за деньги германского рейхсвера давал шпионские сведения о Красной Армии.

В 1924 году правительство и партия поставили Фрунзе во главе вооруженных сил страны — вначале в качестве заместителя, а потом председателя Реввоенсовета и Наркомвоенмора СССР.

И здесь он развернулся во всю свою богатырскую силу, как один из крупнейших вождей народа.

Фрунзе работал под непосредственным руководством Сталина и положил начало осуществлению грандиозного плана создания мощной, технически-оснащенной социалистической армии. Многое по тогдашнему хозяйственному и техническому уровню страны еще нельзя было осуществить, о многом можно было только мечтать, но из года в год и этот план создания мощной социалистической армии осуществлялся уже под руководством товарища Ворошилова, ближайшего друга и преемника Фрунзе.

Фрунзе был поборником плана индустриализации страны, потому что только этот план обеспечил победу социализма, обеспечил техническую мощь армии и нашу независимость от капиталистов. Фрунзе делал при этом основной упор на химию и авиацию и на развитие морского флота. Это осуществлено сейчас, а в части флота осуществляется.

Фрунзе исходил из того, что будущая война будет

войной огромных масс людей, и искал организационные формы, охватывающие военным обучением миллионы. По тогдашнему уровню страны мы не могли иметь большой регулярной армии, и Фрунзе широко развил территориальную систему обучения. Но он говорил, что, если мы будем богаты, соотношение регулярных и территориальных войск должно быть в пользу регулярных. Это осуществлено сейчас в масштабе, о котором Фрунзе мог только мечтать.

Фрунзе исходил из того, что в будущей войне сильно изменятся понятия фронта и тыла. В особенности он настаивал на подъеме работы транспорта и военизации его. Известно, что это осуществлено сейчас. И немало трудов положил Фрунзе на дело военизации населения. Он развивал и поощрял военные добровольные общества и спортивные организации. Сейчас это дело получило огромный размах.

Фрунзе учил, что в основе тактики нашей армии должна лежать тактика наступления. И это положение Фрунзе действительно является основой тактики нашей армии.

Фрунзе говорил о том, что поднятие культурного и политического уровня армии — одно из условий нашей победы. Немало трудов вложил он в организацию этого дела в армии. И надо сказать, что наша армия является теперь самой культурной и сознательной в мире, и потому непобедимой.

Итак, во всем мы можем проследить преемственность нашей работы с работой Фрунзе, потому что это работы по осуществлению одного и того же последовательного плана.

Моральный облик Фрунзе

Михаил Васильевич был очень цельной натурой. Это был «подлинный сын рабочего класса, сын нужды и борьбы, сын неимоверных лишений и героических усилий». Трудящиеся массы, революция, партия были для него родной стихией, естественной средой. Всю жизнь он отстаивал только их интересы, ему нечего было прятать от них, и потому он был человеком очень принципиальным и правдивым. Можно сказать, что правде он смотрел в глаза так же открыто, как и смерти.

Ему несвойственны были «самовысказывание», ложное самолюбие, зависть, вообще мелочные чувства. И потому он всегда был очень жизнерадостен.

В нем гармонически сочеталась скромность, даже застенчивость, если речь шла о нем, с огромной силой воли и кремневым сердцем, когда он имел дело с опасностью или с врагом. Твердость его была не показная, но неподдельная. Она опиралась на теоретическое предвидение, знание фактов, безграничную веру в силы масс. А массы были для него не чем-то безличным, а борющимся, страдающим, ищущим лучшей доли и побеждающим препятствия человечеством.

За это вся партия и весь народ любили его. Он умер 31 октября 1925 года после продолжительной болезни и операции. И когда прах его хоронили в Кремлевской стене, не одна мужественная слеза таких же скромных и сильных людей, продолжающих его дело, скатилась в знак вечной памяти о нем.

На Красной площади в речи, посвященной памяти Фрунзе, товарищ Сталин сказал:

«В лице товарища Фрунзе мы потеряли одного из самых чистых, самых честных и самых бесстрашных революционеров нашего времени».

1937

ПО ЧЕХОСЛОВАКИИ 1938 ГОДА

Выборы в Братиславе

Небольшой старинный красивый город — центр Словакии. Островерхие древние домики под черепицей, солидные здания банков, контор, отелей, коммерческих жилых домов прошлого века и современный конструктивный стандарт во главе с призмой из стекла и бетона вездесущего обувного «короля» Бати — толпятся на узких средневековых уличках. Улички перестроить нельзя — не из любви к старине, а потому, что квадратный метр земли в городе стоит десять тысяч крон.

Романские темные подвалы и стремящаяся ввысь готика с дремлющими на папертях безработными. Байрон словацких крестьян — поэт Гвездослав в камне на площади. Еврейское гетто. Красавец Дунай, воспетый в народных песнях славян, мадьяр, румын, катит мутные воды свои, не раз мешавшиеся с кровью и, как видно, не в последний. Над Дунаем, на горе, повитой зеленью, старинный полуразрушенный замок — крепость. Чужие короли здесь возлагали на себя корону на право управлять словацкой землей. Потом они стали управлять этой землей без всяких церемоний, пока их не прогнали.

Одиннадцатилетняя девочка Оля Шандор говорит, что замок похож на стол, положенный ногами кверху. Мимоходом она деловито соскабливает со стены перочинным

ножичком листовку, агитирующую за список № 8, список словацких «автономистов».

Сегодня день муниципальных выборов. Оля сочувствует списку № 13, по которому идет ее отец, списку чешской и словацкой коалиции аграриев, социалистов, социал-демократов, партий, стоящих — одни более или менее твердо, другие более или менее нетвердо — на позиции единой Чехословацкой республики.

Небольшой город Братислава. Но за влияние в делах управления им борются четырнадцать списков, один из которых, как видит читатель, коалиционный — иначе списков было бы свыше двадцати. Кого тут только нет! Есть даже список внепартийных адвокатов, сквозь «программу» которых просвечивает, я бы сказал, элементарная мечта — воспользовавшись смутным временем, урвать кусок от сладкого пирога.

Читатель! Может быть, ты хочешь знать недостатки современной буржуазной демократии? Вообрази, что ты гражданин Чехословацкой республики. Республике твоей угрожает «добрый сосед» вроде Германии, который хочет съесть твою республику вместе с тобой, твоей семьей и твоими хорошими знакомыми. Для этой цели фашистская Германия создает на твоей территории и не только в Судетской области, а повсеместно — в Праге, в Брне, в Пльзене, в Братиславе — отделения национал-социалистической партии, руководимой гитлеровским марионеточным шутом Генлейном. Она помогает созданию на твоей территории фашистской агентуры в лице словацких «автономистов» во главе со старым клерикальным попом и пьяницей Глинкой, который «делает политику» в Праге, а его подручный г-н Исидор работает дубиной в Братиславе. Она же, фашистская Германия, помогает фашистской Венгрии создать на твоей территории венгерскую фашистскую агентуру, руководимую тоже каким-то выродком, фамилию которого невозможно запомнить.

Цель «работы» этих господ, поддерживаемых не только своими хозяевами в Берлине и Будапеште, но поощряемых еще и империалистическими кругами Англии и плетущимися за ней в хвосте империалистами Франции, которые с непонятной готовностью суют свою голову в петлю, расставленную Гитлером, — цель этих господ задушить твою республику, отдать тебя, ее гражданина, в кабалу

фашизму, да еще фашизму чужой страны. А «методы» работы этих господ таковы, что тебя могут ни за что ни про что избить на улице и выбросить в Дунай. Эти методы — террор, шпионаж и демагогия.

И вот если подобным господам позволяют выставлять своих кандидатов в парламент и муниципалитеты и позволяют отстаивать своих кандидатов вышеуказанными готтентотскими способами, это многие люди принимают за демократию.

Но все относительно на свете. В Чехословацкой республике живут и действуют не только фашисты, а и буржуазно-демократические и мелкобуржуазные партии, имеющие в парламенте большинство. Коммунистическая партия Чехословакии существует легально, имеет свою легальную прессу и легальные возможности отстаивать интересы рабочих и крестьян. Чехословацкая республика борется за мир и имеет пакт о взаимной помощи с Францией и СССР. В Чехословакии восьмичасовой рабочий день. Здесь не сжигают книг лучших умов человечества на площадях, а люди могут читать эти книги и учиться по ним. Дети разных национальностей могут учиться в школах на родном языке. На улицах городов вы можете купить «Правду» и «Известия». Иначе говоря, Чехословакия выделяется среди своих фашистских и полуфашистских соседей всеми преимуществами просвещенной буржуазной демократии перед голой варварской диктатурой финансовых олигархий и помещичьих клик с их человеконенавистничеством и мракобесием. И потому в современной европейской обстановке симпатии всех умных и передовых людей на стороне Чехословакии.

Итак, в Братиславе соревновалось четырнадцать списков — от фашистов до коммунистов. Я видел следы этого соревнования. Я видел остатки плакатов одних партий, сорванных и заклеенных их противниками, вновь сорванных и вновь заклеенных. Я видел номер генлейновского списка «4», выписанный на асфальте в форме свастики. Я видел чудовищные белые надписи на стенах домов: «Смерть чехам!» Я видел спокойных и веселых ребят из рабочих предместий, дежуривших у коммунистических плакатов, чтобы их не сорвали. Я видел шальную и жестокую политическую перебранку мелом на заборах, перебранку, не воспроизводимую из-за ее не совсем приличного содержания.

— Раньше жили беспечно, весело в Братиславе, — сказал мне поэт Новомеский, — а теперь каждый держит против другого нож.

Новомеский сказал это без чувства грусти. Это человек, чуждый сентиментальности, он просто констатировал факт. Да, времена переменились. В самый день выборов полиция обеспечила еще относительное спокойствие. Но в предыдущие дни на улицах происходили побоища с увечиями, жертвами и шутовскими церемониями. В кафе словацкие фашисты — глинковцы запели националистическую песню, которую они без всякого успеха стараются превратить в гимн. Один человек при исполнении песни не встал и был избит до полусмерти. Потом выяснилось, что это «союзник», венгерский фашист, который по незнанию языка не понял, что вокруг него происходит.

Да, времена переменились. И переменились они потому, что Братислава находится в четырех километрах от австрийской границы, на которой стоят теперь солдаты и пушки Гитлера. Все, что германский фашизм творит в Австрии, известно в Братиславе от живых свидетелей, — до Вены подать рукой. Однажды ночью жители небольшого городка, в сорока километрах от Братиславы, проснулись от неистовых воплей, доносившихся с близлежащего острова на Дунае. К утру выяснилось, что гитлеровские молодчики высадили на этот остров большую партию евреев из Австрии. Евреи сидели на островке между двух границ, взывали о помощи и молились богу.

В Словакии живут не только словаки, а и немцы, венгры, поляки, евреи. Многонациональный состав населения в условиях буржуазной, хотя и демократической страны, не могущей решить национальных противоречий, — удобная почва для фашистской националистической демагогии. А близость границы, из-за которой смотрит вооруженная до зубов Германия, придает зловещую реальность фашистским угрозам.

И вот «парадокс» № 1. В одном из избирательных участков Братиславы, населенном евреями, второе место после националистической еврейской партии получили генлейновцы. «Парадокс» объясняется очень просто — боязнью. Евреев сначала долго били, а так как деваться им некуда, им сказали: «Если будете голосовать за Гитлера, вас не выселят, когда Гитлер придет в Братиславу».

И вот «парадокс» № 2. Мы идем кварталами, населенными немецкими рабочими, безработными, нищими. Стоит карета скорой помощи. Не в силах вынести медленное умирание семьи, повесился безработный, оставив жену с пятью ребятами, беременную шестым. Весь квартал увешан плакатами генлейновцев, обещающими работу всем немцам на другой день после прихода к власти. На стене дома крупными, в метр, буквами написано известью: «Смерть чехам!» Несмотря на эту демагогию, при страшном нажиме генлейновцев — хозяев предприятий, хозяев квартир, лавок, столовых — на рабочих и безработных, жильцов и клиентов, генлейновцы в этом районе не имели успеха.

Под непосредственной угрозой военного вторжения Германии, при бешеном нажиме фашистов всех мастей выборы в Словакии принесли победу над фашистами чешской и словацкой патриотической коалиции (плюс голоса словацких, чешских, немецких, венгерских и еврейских рабочих, поданные за коммунистов). В Праге, как известно, победа над фашистами была полной и наглядной. Там на первое место вышли чешские социалисты, на второе — коммунисты. Чешский и словацкий народы и трудящиеся всех национальностей, населяющих Чехословакию, сказали этими выборами всему миру о том, что они не хотят идти в кабалу к фашизму и готовы защищаться до последней капли крови.

Солдатские разговоры

Мы едем на австрийскую... то бишь германскую границу. Спутники: 1) Эло Шандор — председатель словацкого общества культурной и экономической связи с СССР, писатель самобытного юмористического дарования, заместитель директора банка, аграрий, из тех редкостных в верхушке этой партии людей, которые пишут правду о СССР и не хотят договариваться с Гитлером. Словацкие фашисты зовут его за это «аграрным большевиком», что не соответствует действительности. 2) Г-н Творожек, заместитель председателя этого же общества, ликерно-водочный фабрикант, был в 1918—1920 годах в чешских легионах в Уссурийском крае (мой, так сказать, земляк), и, как подавляющее большинство бывших легионеров, убежденный друг СССР и враг фашизма. Это человек с

демократическими манерами и лицом солдата. Его друг, Эло Шандор, сам бывший солдат империалистической войны, зовет его запросто — Ванька Творожек, — обоим им уже под пятьдесят. 3) Поничан, известный словацкий революционный поэт, выходец из крестьян, адвокат трудовых низов, депутат братиславской городской думы, коммунист.

В этом оригинальном, но вполне естественном для современного чехословацкого положения, сочетании, в маленькой машине Ваньки Творожека, под его собственным управлением, палимые зноем, осыпаемые пылью, настроенные вполне дружественно друг к другу и вполне враждебно к фашизму, мы едем на германскую границу.

Мы едем берегом Дуная. Придорожная зелень поникла в пыли. Загорелые солдаты Чехословацкой республики купаются в реке. Шандор, обладатель полного комплекта песен красноармейского ансамбля под управлением Александрова, распевает их всю дорогу в честь СССР. Поничан, черный, как уголь, и сухой, как пламя, переводчик многих наших песен на словацкий язык, подпевает Шандору, а мы с Творожеком углубились в прошлое. Вот что говорит Творожек:

— Да, конечно, мы дрались друг с другом. Конечно, это была историческая ошибка. Нас обманули. Нам совсем не надо было драться с революционными русскими. Да, это была ошибка. Но дело прошлое. Кто сначала подрался, а потом подружился — это дружба крепкая...

Примерно к этому сводится наша общая с Творожеком точка зрения.

А вот и граница. Домик таможников, пограничной полиции и одновременно караульное помещение солдат. Немного левее — станция железной дороги между Братиславой и Веной. Для проезда на территорию бывшей Австрии и оттуда на территорию Словакии не требуется никаких документов и виз. Нельзя сказать, чтобы граница была «на замке». Но у ослепительно-белого шлагбаума, перегораживающего автостраду, стоит часовой. За шлагбаумом небольшое мертвое пространство, в котором, звонко смеясь, играют дети — мальчик и девочка. Пограничный столб, за столбом виден германский часовой.

Из пограничного домика выходит уже пожилой, сухой и подтянутый рыжий солдат, начальник караула — словак. Ему представляют меня.

— Из Советской России! — восклицает он по-русски с внезапной улыбкой. — Из каких мест?

— С Дальнего Востока.

— Как же, был там, знаю. Владивосток, Никольск, Спасск... Мы стояли в Спасске.

— Выходит, мы с вами, так сказать, встречались...

— То была историческая ошибка, — говорит он с мужественной улыбкой, махнув загорелой своей рукой. — Скажу вам так: что пережили мы, легионеры, знаем до конца только мы. Когда мы уезжали от вас, мы были уже другими людьми. А сейчас, могу сказать, самые большие други вашей страны здесь — мы, легионеры.

Это — правда. Газеты легионеров дают едва ли не самую полную и правдивую информацию о СССР. Я слушал в клубе «Манес» доклад руководителя парламентской комиссии по делам легионеров Давида, вернувшегося из СССР. Он с энтузиазмом говорил о нашей стране и о Красной Армии.

Мне приходилось много раз встречаться в Чехословакии с участниками чешской трагедии в Сибири. Однажды это был хозяин «пивницы» на окраине Праги. Узнав по говору, что я русский, он заговорил со мной, а когда я сказал, что я писатель из СССР, он пришел в радостное волнение. Он тут же вытащил из задних комнат свою жену, детей. Он представлял им меня, как давно пропавшего и вновь найденного родственника. Потом он послал сынишку, и тот привел другого легионера — парикмахера. Посовещавшись, они послали еще за кем-то, — это был старик, паровозный машинист. Я должен был рассказать все, что советская власть сделала в Сибири и на Дальнем Востоке, превратив эти ранее отсталые области в индустриальные.

Обрастая детьми, женами, тетками, останавливая громким говором и русской речью внимание прохожих, мы ходили по квартирам моих друзей. Я уже не говорю о том, что я был пострижен и побрит, и никакая сила красноречия не могла заставить парикмахера, чистого кудесника в своем ремесле, принять от меня плату.

Я помню, во время поездки по Чехословакии в 1935 году, мы в городе Оломоуце целую ночь проговорили с бывшими легионерами, участниками боев с нами в 1918 году на уссурийском фронте. Их было человек десять, все люди демократических профессий — от учителя до портного, в

прошлом рядовые солдаты. Мы говорили о многом, обсуждали современное политическое положение, вспоминали прошлое. И вдруг один, волнуясь, сказал:

— Простите... мы с товарищами говорили, что надо разъяснить вам один тяжелый случай, чтобы уже ничего не оставалось между нами. Мы хотим сказать вам, кто убил Суханова...

У меня кровь прихлынула к сердцу. Костя Суханов — председатель Владивостокского совдепа, большевик, расстрелянный в 1918 году якобы при попытке к побегу.

— Мы не хотим, чтобы кровь этого человека падала на нас, — при общем молчании глухо говорил легионер. — Распоряжение убить Суханова дал начальник гауптвахты, карьерист и подлец, гайдовец, — мы, солдаты, ненавидели его всем сердцем. Он выбрал в караульной команде самую сволочь, и они все сделали. Потом по всему гарнизону пошла молва, что Суханов никуда не бежал, и было такое возмущение, что этого офицера, гайдовца, и всю эту сволочь перевели в другое место...

Тут все заговорили наперебой, посыпались десятки подробностей. Они рассказывали все с волнением, обидой, страстным возмущением, особенно сильным потому, что Гайда, о котором шла речь, пытался в это время, правда без всякого успеха, создать чешскую фашистскую партию, и, судя по всему, на иностранные деньги. Я с чистой совестью мог ответить им, что наши рабочие и крестьяне пережили такую страшную вещь, как царская солдатчина, они знают и понимают все, и гнев их никогда не падет и не может пасть на чехословацких солдат. В крови Суханова повинны те, кто организовал мировую бойню, кто кровью чехословацких солдат пытался задушить свободу и братство народов бывшей Российской империи, кто грабит сейчас Китай и душит Абиссинию (тогда еще не было фашистской интервенции в Испании и войны в Китае), кто готовит нападение на свободный Союз Советских Республик и вновь хочет надеть ярмо национального порабощения на чешский и словацкий народы. И мы провозгласили общий тост за мир, за свободу и независимость больших и малых народов, против фашизма и агрессии.

Но возвращаюсь к шлагбауму на бывшей австрийской границе. Пока я разговаривал со старым легионером, нас окружили молодые солдаты.

— Кто же кого боится — вы их или они вас? — шутливо спросил я одного из них, указав в сторону германского часового. Легионер перевел.

— Они боятся... только не нас, а вас, — сказал паренек. Все засмеялись.

В это время подкатили двуколки с походными кухнями, и все мы — директор банка, ликерный фабрикант, словацкий поэт и советский писатель — с удовольствием отведали густого солдатского супа.

Сожжение Яна Гуса

Известно, что Чехословакия — страна высокоорганизованной крупной и легкой промышленности. Чехословакия является также страной передового сельского хозяйства — конечно, в тех пределах, в каких это возможно при частной собственности на землю, и притом — собственности не крупной, а мелкой и средней. В сельском хозяйстве Чехословакии не может быть такого широкого применения сельскохозяйственных машин и сложных севооборотов, как в социалистических совхозах и колхозах, но это страна культурного сельского хозяйства — химических удобрений, высокоразвитых технических культур, свеклы, хмеля и других, страна хороших урожаев хлеба, чистопородного скота, культурного садоводства и лесоводства. Здесь каждый метр земли использован под что-нибудь, в каждый метр вложено много человеческого труда, из каждого метра взято все, что он может дать в этих условиях. Сказанное справедливо главным образом в отношении Чехии и Моравии и меньше в отношении Словакии.

Аграрная реформа в Чехословакии, проведенная путем выкупа земель, а не их конфискации, «разукрупнила» большие земельные владения, но, конечно, не устранила и не могла устранить законов капиталистического развития. Земля продается и покупается, и, хотя законом установлен предел крупного владения, помещичий слой растет, а особенно растет кулачество. На другом полюсе растет сельскохозяйственный пролетариат, растет безработица.

Помещики и богатые крестьяне, организованные в аграрную партию, используя экономическую зависимость крестьянства от них, держат деревню через банки и кооперативы в своих руках и политически влияют на нее.

Известно, что в верхушке аграрной партии сильны элементы, склонные в своих корыстных интересах «договориться» с Гитлером в ущерб целостности и независимости республики. Но в массе чешского и словацкого крестьянства, в низах самой аграрной партии, такая политика не популярна. Я имел неоднократные возможности убедиться в этом.

Мне памятна ночь с 5 на 6 июля в чешской деревне под Прагой. В эту ночь жгут костры в память Яна Гуса, сожженного на костре в 1415 году по решению Констанцского собора. В глубокой памяти народа Ян Гус жив как вождь национально-освободительного движения, соединенного с крестьянской войной. Но усилиями гуситской церкви, канонизировавшей религиозную форму гуситского движения, и всякого рода буржуазных деятелей, превративших гуманистическое учение Гуса в некий абсолютный «дух чешского народа», празднование его памяти приобрело полурелигиозный националистический характер.

В празднование этого года властно вторглась политика.

Только что прошел проливной дождь, лужи на дорогах, мокрая трава, ветер, темные тучи бегут по небу. В маленьких сельских домиках во всех окнах горят свечи. По дороге на луг тянется процессия — подростки, женщины, старики, пожилые крестьяне в добротных праздничных пиджаках, батраки в рваных штанах, солдаты в форме, получившие отпуск на праздник, — все несут на палках колеблющиеся на ветру бумажные фонарики с зажженными внутри свечами. Процессия идет вдоль реки. Гирлянды огней отражаются в воде.

На лугу заготовлен высокий костер — стоячий хворост, перевитый сухим сеном. Процессия располагается полукругом вокруг костра. Выходит коренастый старик с висячими седыми усами, в грубоватых ботинках, черном пиджаке, с крахмальным воротничком и черной бабочкой. Это зажиточный крестьянин, председатель местного общества по украшению местности. Прекрасный оратор. Кратко изложив историю Яна Гуса, он переходит к сегодняшнему дню. Голос его повышается, под седыми бровями загораются искры, еще несколько мгновений, и он овладевает всей аудиторией.

О чем он говорит? Он говорит очень простые и правильные вещи. Чешский народ угнетали столетиями, но задавить не смогли. Теперь чешский народ имеет свое на-

циональное государство в содружестве с другими народами, но Гитлер хочет проглотить это государство и отдать чешский народ во власть немецких банкиров, мракобесов-фашистов. Чешский народ никогда не пойдет на это. Он будет биться за свою национальную независимость до последней капли крови и будет так же стоек и непреклонен в этой борьбе, как и его учитель Ян Гус перед мракобесами на Констанцском соборе.

Аудитория возбуждена, наэлектризована. Ей хочется кричать «браво», «правильно», бурно хлопать в ладоши, но это неприлично. Дружно, с подъемом исполняют национальный гимн, гуситскую песню и «Гей, славяне!».

Во время исполнения песен зажигают костер, пламя высоко поднимается в небо, и зарево отражается в реке. Другие костры уже полыхают на лугах вдоль реки и на горах, в лесу, слышны взрывы ракет, огненные нити переплетаются в небе. Старухи обнимают молодых солдат, старики крестьяне похлопывают их по плечу. Народ с шумным говором растекается по улицам. Доносится веселая музыка — будут танцы до утра.

Литература Чехословакии

Чешский народ имеет богатую историю. В течение многих столетий он боролся с германскими духовными и светскими феодалами, с австрийскими помещиками и буржуазией за возможность своего национального развития, за свою национальную независимость. Чешская национальная культура имеет глубокие корни в истории. Чешская литература времен гуситского движения (XIV и XV веков) была по своему социальному содержанию, боевому общественному темпераменту и совершенству литературного языка одной из самых передовых в Европе. Эта высокая культурная традиция была насильственно прервана в период Тридцатилетней войны, после поражения при Белой Горе в 1620 году, когда чешский народ на три столетия потерял свою национальную независимость.

Лучшие люди, подобные *Амосу Коменскому* (1592—1670), крупнейшему педагогу, философу и филологу, гуманисту, выдвигавшему идеи всеобщего обучения, всестороннего образования и самодеятельности учащихся, вынуждены были закончить свои дни в эмиграции.

Всякое проявление национального самосознания чешского народа, национальные черты его характера, самый язык его, подвергались гонению и уничтожению.

Когда Чехия была вовлечена в русло капиталистического развития, нарождавшаяся чешская буржуазия, ища места под солнцем, начала стремительно приспособляться к буржуазии господствующей нации. Но жажда свободы в народе неукротима, и родники его творчества неиссякаемы. И эти живые народные родники забили с невиданной силой в деятельности чешских просветителей XIX столетия — Шафарика, Юнгмана, Палацкого и других, прозванных в народе «будителями». Это было движение самобытное и демократическое — людей, вышедших из народа и связанных с ним. Недаром поэт Ганка, автор «Краледворской» и «Зеленогорской» рукописей, выдавал их за подлинные памятники древнечешской народной поэзии.

Это был век подъема национального самосознания и век литературного расцвета. Литературный расцвет связан с именами Ганки, Коллара, Челаковского, Эрбена, Карла Маха, он был оплодотворен европейскими революциями 1848 года и приобрел яркий национально-освободительный характер в творчестве таких писателей и поэтов, как Гавличек-Боровский, Божена Немцова, Галек и другие. Гавличек — крупнейший среди них, яркий сатирический талант. Спасаясь от гонений, он жил одно время в России и создал острую сатиру на русский царизм — «Крещение святого Владимира».

Последующее литературное поколение развивалось в двух направлениях. Одно — демократически-национальное — связано с именем замечательного поэта Неруды. Другое, так называемое «космополитическое», отражавшее культурный подъем чешской буржуазии, «враставшей» в систему европейского капитализма и породившей свою буржуазную интеллигенцию европейского типа, связано с именем *Ярослава Врхлицкого* (1853—1912) — поэта, критика, драматурга, редактора и академика.

Чешская литература второй половины и конца XIX века складывалась под перекрестным влиянием русской литературы и литературы западноевропейской. Под влиянием последней сложились поэты-импрессионисты А. Сова и О. Бржезина. Рабочие мотивы зазвучали в чешской поэзии только в начале этого века в «Песнях Силезии» рабочего поэта П. Безруча.

Таково прошлое чешской литературы.

Словацкий народ испил до дна горечь национального порабощения и унижения под пятой Габсбургов. Народ земледельцев-крестьян, угнетаемых помещиками иных национальностей, он, казалось его хозяевам, перестал существовать как национальность. Но трудовые низы не раз потрясали устои чужого и враждебного им австрийского государства, они бережно несли сквозь столетия родной язык и песни о повстанце Яношике — друге угнетенных, Стеньке Разине словацких мужиков.

И те же процессы, которые породили в Чехии движение «будительства» и свою национальную литературу, выдвинули из среды словацкого народа такие прекрасные литературные имена, как Штур, Янко Краль, Гвездослав, Краско.

Таким образом, современные чешская и словацкая литературы имеют богатое литературное наследство, сложившееся в хорошей традиции национально-освободительной борьбы.

По мере роста культурных и экономических связей между нашей страной и Чехословакией растет в народах Советского Союза интерес к культурному строительству Чехословацкой республики, к ее искусству, ее литературе. Ряд крупных чешских и словацких писателей стали известны в нашей стране по переводам их произведений на русский язык, по критическим статьям, рассказам друзей, по общественным выступлениям этих писателей в защиту мира и демократии, против фашизма.

Все самое лучшее и талантливое, что имеется в современной чешской и словацкой литературах, активно борется с силами войны и мракобесия, за мир и демократию. Наш советский читатель знает, любит и ценит чешских писателей Ярослава Гашека, Ольбрахта, Незвала, Марию Майерову, Пуйманову, Кратохвила, словацкого писателя Илемницкого за то, что они вместе со своими народами борются за мир и демократию и не оставляют свои народы в тот момент, когда им угрожает опасность.

Мы желаем успеха нашим чешским и словацким товарищам в их борьбе за независимость своей родины, против фашизма и агрессии. Мы можем заверить их, что они всегда найдут братскую поддержку среди писателей многонационального Советского Союза.

Ежегодно в июле антифашистские культурные организации устраивают в городе Либерце, пограничном с Германией городе Судетской области, праздник культуры. Это день смычки антифашистов, трудящихся немцев и чехов.

Я выехал поездом, битком набитым чешскими и немецкими рабочими, служащими, студентами, учителями, едущими из Праги. Они выехали с расчетом переночевать на свежем воздухе, а завтра помитинговать и потанцевать. Многие с походными мешками, чемоданчиками, постельными принадлежностями, бутербродами. Много женщин и девушек в красных платочках.

Только поезд отошел от вокзала Вильсона в Праге, как из всех окон были выпущены красные флаги, платки, ленты и затрепетали на ветру. И грянули песни, но какие! Это были наши, советские песни: «По долинам и по взгорьям», «Песня о родине», «Марш веселых ребят», «Москва моя», «Если завтра война» и многие, многие другие. Поезд идет в Либерец. На мгновенье мне показалось, что это экскурсия москвичей в наши подмосковные Люберцы.

Но вот запевают новую песню на чешском и немецком языках:

Пусть Англия лучше помолчит,
Мы и без нее разрешим вопрос...

Машинисты маневрирующих паровозов и встречных поездов, рабочие на перекрестках улиц, крестьяне на полях знают, что это за поезд и куда он мчится, приветствуют его знаком «рот фронт». В ответ им из окон тянутся сотни рук, сжатых в кулаки, несутся «наздар» и «рот фронт».

Через каждые пятнадцать — двадцать минут встречные поезда с соколами, едущими на слет. И снова несется мощное: «Здар, здар!» — и из обоих поездов тянутся руки навстречу друг другу. Сокольская низовая масса в Чехословакии — это демократический, живой, молодой народ, любящий свою родину, ненавидящий фашизм, дружески относящийся к Советскому Союзу.

На одной из станций сходятся сразу три поезда — поезд с солдатами, поезд с соколами и наш. Все выскакивают из вагонов, перрон и пространства между путями

заполняются пестрой, шумной толпой, происходит братание.

Так, с песнями и красными флагами, мы въезжаем в Либерец. На перроне никого, кроме полиции. Это хорошо: значит, генлейновцев не пустили на перрон. Полицейские делают строгие лица, но по всему видно — сочувствуют. Это полиция чешская.

Люди прячут красные флаги, выстраиваются в колонну и через вокзал выходят на улицы Либерца. Мы — иностранные журналисты — идем по тротуару как наблюдатели. Идти очень трудно. Тротуары кишат молодчиками в коротких штанишках и белых чулках, с обнаженными волосатыми коленями. Колонна с теми же песнями, что и в поезде, с поднятыми кулаками, криками «рот фронт» и «наздар» быстро идет по улицам Либерца, по направлению к месту празднования на окраине города — место это называется Кенигсбурш. Вслед колонне с тротуаров несутся враждебные, исступленные крики: «Хайль, Гитлер!», «Хайль, Генлейн!» Но можно видеть сочувствующие лица прохожих в штатском, которые не решаются подать голос. И все чаще то там, то здесь вздымаются из толпы сжатые кулаки и раздается приветственное «рот фронт». Тут же завязывается свалка, которую полиция немедленно укрощает.

Генлейновские штурмовые отряды считаются распущенными, ношение формы запрещено. Но и отряды и форма существуют совершенно открыто. Иные правоверные, то есть наиболее наглые генлейновцы, рискуют ходить в этой форме даже по Праге. Но я сам был свидетелем, как пражская улица раздевает этих молодцов. Делается это совершенно вежливо, я бы сказал, демократично — по-чешски. Молодца держат на руках, чтобы он, боже сохрани, не запачкал одежду об асфальт, ему расшнуровывают ботинки, снимают белые чулки, потом снова надевают ботинки и зашнуровывают их, а чулки суют ему в карман.

Мы не можем успеть за колонной, быстро забрасываем наши чемоданчики в гостиницу и вновь выбегаем, но улица уже приняла обычный вид. Где же искать этот Кенигсбурш? Подходим к полицейскому. По-чешски он называется «страж беспечности».

— Я вас направлю к следующему постовому, он вас к следующему, а тот еще к следующему, и так вы

доберетесь до Кенигсбурша, — вполне серьезно и вежливо говорит «страж беспечности». — А у прохожих лучше не спрашивайте, можете попасть на генлейновца, и будут неприятности.

И вот мы — в Кенигсбурше, переполненном антифашистами. По дороге мы оставили в стороне сад, в котором происходит сбор генлейновцев. Целые батальоны полиции разделяют два этих полюса, чтобы они не сошлись в битве. Уже стемнело. Площадь в Кенигсбурше забита народом — тысяч пятнадцать, в большинстве немцев. Наспех сколоченная сцена — вся в огнях. По окраине площади дощатые и палаточные киоски, тоже освещенные, бойко торгуют пивом, сосисками, бутербродами. Идет митинг, слышны взрывы рукоплесканий, крики «здар», «рот фронт». Внезапно вспыхивает овация, она длится минут десять: «Да здравствует Советский Союз!», «Да здравствует Красная Армия!».

Я замечаю в толпе группу чешских солдат. Подхожу к ним:

— Как дела на границе?

— Ничего, стоим пока.

— Задевают они вас?

— Каждый день что-нибудь.

— А вы?

— Разок мы им дали, теперь не велено, терпим. Неделю назад генлейновцы пошли с демонстрацией на самую границу, а крестьяне с той стороны кричат: «Мы вам отдадим нашего Адольфа, дайте нам три буханки хлеба!..»

В это время запевают чехословацкий гимн. Начинается концерт. Выходит актер во фраке, баритон Пражской оперы, и на русском языке исполняет «Полюшко, поле...». Его бурно приветствуют и заставляют бисировать.

Народное празднество длится всю ночь, чтобы с восходом солнца вспыхнуть с новой силой.

1938

ИЗВЕРГИ-РАЗРУШИТЕЛИ И ЛЮДИ-СОЗИДАТЕЛИ

От дальних подступов к Москве, где сломлено острие вражеского нашествия, и до самого Калининского фронта, далеко уже продвинувшегося от города Калинина, едешь по коренным, обжитым русским местам, едешь — и не узнаешь родного пейзажа.

То там, то здесь, вместо уютной, облитой морозным солнцем деревни, весело вздымающей к небу столбы кудрявого розового дыма, видишь одни остовы печей да заиндевевшие трубы над снежными полями.

Вот дедовская ветла, как молнией расщепленная снарядом... В развалинах древних церквей и новых фабрик, зияя выбитыми окнами домов, где среди груды кирпича и извести вдруг можно увидеть детскую кроватку с тюфячком, еще хранящим отпечаток детского тела, стоят старинные русские города. Закоптелые стены зданий с провалившимися крышами и полами, оборванные провода, остатки вывесок и дощечек, говорящих о том, что здесь была школа, музей или больница, квадраты белых полей с торчащими из сугробов обугленными запорошенными головнями вместо прежних домиков окраин — так выглядят в значительной своей части города Клин, Калинин, Старица. Вороны кружат и кружат над выжженными селами, над изуродованными городами, не узнавая знакомых мест.

Это — путь отступления гитлеровских армий, чудовищный путь зверства, грабежа и разрушения всего, что создано творческим разумом и чудесными руками нашего народа.

Едешь по родной бескрайней русской равнине, через сосновые леса, склонившие ветки под тяжестью искрящегося пушистого снега, едешь из деревни в деревню, и то, что ты видишь и слышишь, кажется иногда неправдоподобным, немыслимым с точки зрения простого человеческого разума и совести.

Вот деревня Шапкино, Солнечногорского района, Московской области. Деревня Шапкино сожжена немцами во время отступления. Немецкие солдаты стреляли в колхозников, пытавшихся тушить горящие избы, — из 50 дворов сгорело 32. За время пребывания немцев деревня была ограблена ими. Колхозница Федосья Ивановна Каверькина — мать летчика Красной Армии — с шестью круглоголовыми синеглазыми детьми, мал мала меньше, голодные, смотрели, как немцы жрут их кур и свиней. Добыв у соседки несколько картофелин, Федосья Ивановна сварила их детям, но немецкий офицер со смехом стал надкусывать картофелины и плевать в них и приказал делать тоже своему денщику. Как ни голодны были дети, Федосья Ивановна с отвращением выбросила картофель в ведро. Золовка Федосьи Ивановны, выходя из избы, не поняла оклика немецкого часового и была застрелена, — труп ее несколько дней лежал возле избы, и его не позволяли убирать.

В деревне Рубцово, Моркино-Городищенского сельсовета, Калининской области немцы выгнали за околицу все население, стариков, женщин и детей, и расстреляли из пулеметов. Раненая трехлетняя девочка, плача, пыталась поднять свою убитую мать, тянула ее за руку и все приговаривала: «Вставай, мама, вставай», — пока немецкий солдат не приколол девочку штыком.

Население деревень Даниловского, Некрасовского и Борисовского сельсоветов, общим числом до 2000 человек, немцы выгнали в лютый мороз за речку Тьмаку и стали расстреливать из автоматов и пулеметов. До полутораста человек было убито и ранено, остальные разбежались по лесу. За время скитаний 16 грудных детей замерзло на руках у матерей.

В подвалах города Калинина, под развалинами зданий, до сих пор обнаруживают трупы советских людей,

зверски замученных фашистами. В погребе дачной местности Рябеево найдено 35 трупов пленных красноармейцев, многие из них со следами пыток. В одном из подвалов города найдено 13 трупов молодых людей, из них двое 1925 года рождения, — все убиты тупым предметом, у некоторых выколоты глаза, некоторых пытали, подвесив за ноги. 4 девушки были сначала изнасилованы, потом убиты.

Виновники этих злодеяний, насильники и убийцы, жили в захваченном ими городе как грязные свиньи. Когда Красная Армия заняла город, нельзя было войти в квартиры, занимавшиеся немецкими офицерами, от нестерпимого зловония. Носители «нового порядка в Европе», как правило, превращали одну из комнат квартиры в офицерский нужник. В здании прекрасной хирургической больницы была устроена конюшня.

Господа германские офицеры, во главе с генералом фон Готт испражнявшиеся на пол в занятых ими чужих квартирах, для украшения своих квартир разграбили художественный музей города, вывезли ценные картины, мебель, фарфор, стекло.

Но гнуснее всего эти титулованные и нетитулованные подлецы поступили с городом Старица. Древний русский город Старица, родина первого русского путешественника купца Афанасия Никитина, город, славившийся своим монастырем — памятником русского зодчества, город расположенный по двум сторонам верховья Волги, необычайный по красоте своей, — разрушен и сожжен немцами почти целиком.

Вынужденные отступать под ударами Красной Армии, изверги и выродки пытались все сровнять с землей. Они разрушили, ограбили и истребили все, что смогли. Но не в их силах было истребить советский народ. Не в их силах было выкопать из-под снега озимый хлеб, посеянный этой осенью трудолюбивыми колхозниками-женщинами. Этот хлеб взойдет весной.

Советский народ глубокими корнями привязан к родной земле, к родному месту, куда вложен труд целых поколений, где впервые народ познал радость свободного труда и воспользовался благами этого труда.

На территории, занимавшейся немцами, в ряде сел, куда не проникли немецкие солдаты, продолжали свою работу органы советской власти, правления колхозов.

Люди, не испытавшие на себе фашистский гнет, не всегда могут оценить, что это значит, когда колхозники в тылу у немцев справляли 24-ю годовщину Октябрьской революции, в иных местах даже вывешивали красные флаги...

В самых тягчайших условиях, укрывшись в лесќе, в сараях, наши советские люди читали доклады товарища Сталина и потом передавали из уст в уста правдивое сталинское слово.

Многие и многие колхозные семьи, бежавшие от немцев, возвращаются теперь на родные места.

Враг успел сжечь деревни, расположенные главным образом вдоль шоссейных дорог. Колхозники сожженных деревень пользуются гостеприимством соседних сел, роют землянки на пепелищах, приспосабливают для временного жилья случайно уцелевшие хозяйственные постройки или восстанавливают полуразрушенные избы там, где это возможно.

Немало тягчайших трудностей придется преодолеть, чтобы восстановить разрушенное. Но в нашем народе — в передовых людях его — живет великая созидательная сила, воспитанная двадцатью четырьмя годами советского строя.

На всю жизнь сохранится в сердце волнующее впечатление от улиц города Калинина, от людей его, от школьников, с счастливыми лицами идущих в советскую школу, точно они впервые идут учиться.

Город в значительной части разрушен, наполовину изранен, но на лицах людей точно запечатлена радость первых дней, когда Красная Армия вернулась в город, и радость звучит в приподнятых голосах людей, сказывается в свободных движениях, в живой готовности рассказать, помочь, объяснить.

На заборах и витринах сохранились трогательные объявления первых дней, когда еще не возобновилась «Пролетарская правда», — эта газета, детище калининских рабочих, снова выходит. Эти объявленяи на зданиях и витринах можно читать подряд, как поэму восстановления. Они написаны чернилами от руки, их писали советские люди, взявшие на себя инициативу восстановления города. Ткацкая фабрика имени Ворошилова просит зарегистрироваться всех рабочих, работниц, мастеров и объявляет о найме рабочей силы. «Отдел здравоохранения возобновил свою работу, нуждается в строительных рабочих, кро-

вельщиках, стекольщиках, мастерах». Школа номер такой-то «просит всех учащихся и преподавателей явиться такого-то числа». «Просят зарегистрироваться профессоров, преподавателей и студентов педагогического института». Десятки и десятки объявлений учреждений, предприятий, школ, кооперативных артелей. Теперь многие из этих организаций уже работают.

Велики трудности впереди — особенно в деле восстановления предприятий, снабжения города топливом, продовольствием. Но город Калинин, переживший кровавый фашистский плен, уже живет кипучей советской жизнью. От Москвы к Калинину уже идут поезда, ткацкая фабрика имени Ворошилова скоро начнет работать.

На советский народ выпали испытания, которые под силу только великим народам. Но он вынес и вынесет их, великий могучий народ Л Е Н И Н А. За все разрушения, за кровь, за муки — он взыщет с бандитов и убийц полной мерой. Им еще предстоит испытать до конца переполненную чашу народного мщения. А на месте разрушенных сел и городов народ построит новые.

1942

ЛЁТНЫЙ ДЕНЬ

1

Над родными полями и лесами, московскими, смоленскими, калининскими, которые уже сутки гуляет ранняя, еще не злая метель. Она то ударит морозцем и завихрит сухой поземкой по жнивьям, по оврагам, по опушкам, то пахнет теплым ветром и пронесет по всему раздолью меж снежными полями и темным нависшим небом мокрые хлопья снега. Так, то подмораживая, то отпуская, гуляет она и днем и ночью, заметает дороги, свистит в березовых рощах, гудит под окнами изб притихших деревень.

Затерянный в метели, ты летишь над этими полями с торчащим из-под снега жнивьем, над сосновыми и еловыми лесами, над усыпанными снегом, точно заснувшими деревнями, летишь на вездесущей небесной лошадке У-2, или «уточке». Ее бросает справа налево, вверх и вниз. Но она упрямо продирается сквозь пургу, сквозь несущийся навстречу слепящий снег и бодренько пофыркивает своим моторчиком.

Все так замерло на земле, так притихло и прижалось, что кажется, — там внизу, под этой метелью, царит великий нерушимый мир, вековая неподвижность. Но это только кажется.

По нескончаемым дорогам войны, буксуя, вздымая тучи снежной пыли, ползут грузовики, могучие тягачи, оглашая воздух взрывами моторного рокота, волокут тяже-

лые пушки; танки, лязгая гусеницами, прокладывают себе путь через сугробы. И по всем направлениям с нешумным говором, меся снег, идет советская пехота.

На линии фронта и днем и почью стоит гул орудий, на снежных холмах зияют красные и черные внутренности вывороченной земли, ночами среди метели вдруг повисают в воздухе ослепительные солнца ракет, и в их нездешнем, марсианском свете становятся видными то ползущие, то передвигающиеся скачками по снегу, как морские львы по льду, бойцы наступающей Красной Армии.

Мороз леденит им руки, пурга слепит им очи, и снег, снег по колено, по пояс; неослабевающий ливень огня автоматов и минометов из-за вражеских укреплений; адова работа саперов, которые под огнем извлекают вражеские мины из мерзлого грунта или на сотни метров гатят непромерзшие болота для прохода наших танков; неистовые, бешеные контратаки врага — по десять, по двенадцать раз в сутки; переходящие из рук в руки селения; и все-таки упорное движение вперед — вот наступление на Центральном фронте.

2

Среди родных полей и лесов притаились аэродромы. В такую метель можешь сколько угодно кружиться над знакомыми лесами и так и не распознать своего аэродрома.

Нелетная погода. Что может быть отвратительнее для летчика?

Но на каждом аэродроме есть люди, для которых нелетная погода — это великая страда. Обыкновенные мирные люди давно уже спят в своих теплых избах, спят и летчики в таких же избах или в утепленных блиндажах и в землянках, а безымянный герой-тракторист от самых вечерних сумерок до мутной зимней зари укатывает аэродром.

Огромный темный мир природы бушует на сотни верст вокруг, свистит в лесу метель, морозно и ветрено в темном поле, снег, как хлыстом, бьет по лицу, а скромный труженик войны все ездит по аэродрому взад и вперед, взад и вперед. Он ездит с той самой ночи, как выпал первый снег, и так будет ездить до весны. Он довел ровную, чуть покатую поверхность аэродрома до блеска, до предельной твердой упругости, — снег уже не может

удержаться на этой скользкой поверхности и, гонимый ветром, несется пылью над аэродромом, а тракторист все ездит и ездит по аэродрому взад и вперед.

Он изучил уже каждый квадратный метр этого сверкающего косоугольника; очертания близлежащего леса, холмов, каждого кустика знакомы ему. Он привык к урчанию мотора на тракторе, к ровному гулу и скрипу по снегу катка за спиной, к зимнему небу, то ясному и высокому, блещущему, как в раннем детстве, чистым светом звезд, то низкому и темному, несущемуся и шуршащему во тьме, как сегодня, в метель.

Тракторист — это рядовой труженик БАО — батальона аэродромного обслуживания. Ни одна летная часть не может существовать и действовать без БАО. БАО снабжает ее горючим, смазочными веществами, боеприпасами, кормит ее и одевает, но редко можно услышать из чьих-либо уст ласковое слово по адресу БАО.

Мчатся поезда с горючим, боеприпасами, продовольствием, машинисты сутками не слезают с паровозов, прикорнут часик-другой в спальном мешке на тендере и снова сменяют своих помощников, на глухих полустанках сцепщицы отцепляют цистерны с горючим, вагоны, груженные бочками, ящиками, кулями. Скромные труженики БАО перегружают грузы в пятитонки, перекачивают горючее в автоцистерны, и в глубокой ночи, пробивая светом фар крутящую снегом мглу, мчатся машины по нескончаемым, заснеженным дорогам войны на притаившиеся среди родных полей и лесов аэродромы.

3

Но каково летчику в такие дни? Нелетная погода — это даже не отдых, это бездействие, томительное бездействие, выматывающее душу. Каждый летчик-штурмовик знает, что в это время там, на фронте, пехота прогрызает вражеские укрепления, отражает контратаки вражеских танков, в это время там, на линии фронта, в нем, в летчике-штурмовике, великая нужда.

Ночью в нелетную погоду можно еще спать. Но с самого раннего утра все собираются в бревенчатом утепленном бараке на аэродроме и ждут, ждут. Чего ждут? А вдруг прояснеет, а вдруг пехота потребует поддержки

штурмовой авиации. В таком случае они готовы превратить любую нелетную погоду в летную.

Такие случаи бывали. Позавчера, когда вот так крутило в воздухе, пришел внезапный приказ о вылете и старший лейтенант Кузин, маленький, русый человек с маленькими точеными руками и ясным и добрым взглядом, поднял в воздух свою восьмерку, и вскоре гул их моторов утонул в вое метели.

В момент вылета небо висело довольно низко, но снег не шел, крутила поземка и была кой-какая видимость; и командир части Михаил Арсентьевич Ищенко, старый опытный летчик, сорока лет от роду, и его заместитель по политической части Иван Тимофеевич Сотников, лет на пять помоложе командира, но тоже опытный летчик, не очень волновались за своих. Потом повалил снег, видимость пропала, и они все чаще стали поглядывать на часы и говорить о постороннем и покряхтывать.

Но когда прошло время, необходимое для операции, со всеми возможными накидками, а самолеты все не появлялись, командир и его заместитель вышли из блиндажа командного пункта и стали смотреть в небо и прислушиваться. И все летчики высыпали из своего барака и, тихо переговариваясь о постороннем, тоже стали поглядывать в небо и прислушиваться.

Командир полка Михаил Арсентьевич стоял высокий, сухой, темнолицый и молчал. Он был человек впечатлительный, и лицо его приобрело суровое и, как бы он этого не хотел, унылое выражение; а Иван Тимофеевич, его заместитель, как человек более молодой, здоровый и жизнерадостный, все утверждал, что ничего не может случиться. Но душа у него тоже болела. Они любили своих ребят отеческой любовью. Ищенко сам формировал эту часть в начале войны, а потом переучивал летчиков на ИЛы; и уже столько он и его заместитель перенесли и пережили вместе со своими ребятами, что мысль о возможных потерях терзала их. Смешанные чувства теснят в такие минуты душу командира: беспокойство за жизнь любимых людей, подчиненных и товарищей; беспокойство за материальную часть — сами-то, даст бог, целые останутся, а самолеты угробят; а не то, в лучшем случае, приземлятся благополучно, но каждый порознь, бог весть где, без бензина; и пока разыщутся, а вдруг назавтра боевой вылет, а самолетов нет дома и отвечай перед начальством.

Но в это время донесся отдаленный гул одиночного мотора. Он гудел где-то справа. Видно, летчик искал и не видел свой аэродром. Тогда Михаил Арсентьевич скомандовал:

— Давать ракеты, пока все самолеты не приземлятся!

Вот что происходило в это время с восьмеркой старшего лейтенанта Кузина. Из-за облачности они с самого начала шли не выше ста метров, потом повалил снег, и они пошли еще ниже. Все лежало в белом саване, все было похоже одно на другое.

Они только тогда поняли, что прошли линию фронта, когда ударили по ним вражеские зенитки и осколки снарядов застучали по плоскостям и фюзеляжам. Некоторое время они искали объект, потом старший лейтенант Кузин определил его, и самолеты пошли в первый заход.

По условиям видимости каждому пришлось действовать в одиночку. Среди восьмерки был летчик Козлов. Он прославился тем, что прошедшим летом, подбитый вражескими зенитками, дотянул самолет до своей территории, но там у него обрезал мотор, и самолет со всего маха влетел в овраг. Самолет рассыпался на утиль, осталась целой только бронированная кабинка, и из кабинки живехонький вылез Козлов, даже не поцарапанный, а только немного ушибленный.

Сегодня до вылета летчик Козлов, надвинув на лоб ушанку, уныло сидел в бараке за кирпичной печкой, — это было излюбленное его место, — и спал. Но теперь он разозлился на то, что немецкие зенитки имеют наглость бить по советским штурмовикам, и уже после того, как сбросил фугасные бомбы, сделал в крутящей метели еще два пике на зенитки, стреляя из пушек и пулеметов, и немецкие зенитки смолкли навечно.

Видели ли вы когда-нибудь, как кружит над лесом птица, ища разоренное гнездо, или как грачи по весне с криком носятся над вырубленной рощей, где испокон веков их бабки и мамки и они сами вили свои гнезда? Вот так в непогоду ищут стальные птицы свой аэродром — то покружат на месте, то бросятся на юг, на север, на запад, на восток.

Они приземлялись один за другим. Ищенко и Сотников и все летчики на аэродроме считали каждый про себя: «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь...» Седьмым приземлился Козлов. Восьмого не было.

Не было Пикаева. Пикаев — молодой летчик, молодой по годам. Но по опыту своему он старый авиатор, воюет давно. Человек он упрямый, непокорный и отчаянный. Если по самолюбию своему обидится за что-нибудь на друга — вдруг вскинет исподлобья такой мрачности взгляд, и такая сила чувствуется в этом мрачном взгляде его больших серых глаз, и в его тяжелом подбородке, и в своевольной складке губ, что лучше уж оставить его в покое. Что же сказать, когда дело доходит до немца! Тут его начинает душить такая ненависть, такой овладевает им азарт и беспредельное упрямство, что, черт его знает, чего он только не может вытворить.

И вот все начинают вспоминать: как заходили, как пикировали, не случилось ли в метели с самолетом Пикаева чего-нибудь такого, чего остальные не заметили; но нет, вроде ничего такого не случилось.

А время идет. Уже темнеет. Прошла уже и та предельная минута полета, когда по всем расчетам должен кончится бензин.

— Наверное, сел где-нибудь, — высказывает один из летчиков свое предположение. — Ничего, переночует, завтра найдется

— Это Пикаев-то сел где-нибудь? Не знаешь ты Пикаева. Это такой парень, который не может не искать свой аэродром! — отвечает другой.

И вдруг доносится издали гул мотора, могучая темная птица разворачивается над аэродромом и с грохотом проносится над головами на посадку.

Пикаев, плотный, мрачный, медвежеватый в своих толстых меховых унтах, переваливаясь, идет по аэродрому. Товарищи радостно приветствуют его, но он зол на себя и на весь свет. Он залетел в свой тыл, черт его знает куда. Только великое упрямство привело его на место: в баках самолета осталось бензина не более чем на полминуты полета.

Вот какие события развертываются иногда в нелетные дни.

Но большей частью такие дни проходят однообразно. Можно сыграть в «козла», можно спеть под гитару Королева. Этот могучий рослый парень, из тех, кого мальчишки кличут: «Дядя, достань воробушка», — играет как бог. Но ничто не веселит душу.

Нет, скорее бы летный день!

И вот он пришел, наконец, этот долгожданный день. Прояснило, небо раскрылось все в звездах. Ищенко еще с ночи получил задание, но велено было ждать приказа о вылете. Все самолеты находились в готовности № 2.

Солнце еще не выглянуло из-за края земли, но уже из-за темной мутной дымки на горизонте проступил розоватый свет, и все вокруг — снежные поля, серое небо, темные кусты и белый морозный туман, чуть всходивший над полями, — все больше окрашивалось этим розовым светом. Желтый шар медленно всплыл в мутной дымке над горизонтом, по всему пространству снегов точно заиграл далекий нежный отблеск тлеющих углей. И в это время небо наполнилось все нарастающим грозным гулом, и высоко над аэродромом проплыла в сторону фронта девятка Пе-2.

Истребители взвились с дальнего аэродрома. Мгновенно, чуть не по прямой, как жаворонки, они взяли немыслимую высоту и, оставив в поголубевшем небе ослепительно белые дорожки, уже невидимые пошли на сопровождение бомбардировщиков.

И как же затрепетали сердца штурмовиков, когда показались над их головами эти могучие птицы — свои, но из другой стаи. Когда послышался этот грозный гул, такой родной и веселящий, но не от своих ИЛов, — какой огонь заполыхал в их жилах!

Другие уже летят, а они еще на земле.

В это время солнце чуть высунулось из мутной дымки, и снег засверкал мириадами разноцветных искр. В небо взвилась ракета. Летчики бросились к самолетам. Чудовищный рев моторов, стремительный снежный вихрь, поднятый сверкающими дисками, образовавшимися от вращающихся пропеллеров.

Выстрелила красная ракета — сигнал к полету. Первым поднялся капитан Колесников, ведущий головной восьмерки, за ним — старший сержант Королев, за ним Баймаков, за ним Морозов. Набрав высоту метров в восемьсот, они построились ромбом, за ними таким же ромбом пошла следующая четверка — азербайджанец Вердиев, Щедров, Пикаев, Курилов, — и гул их моторов утонул в небе. Вскоре их нагнали истребители охранения.

Блистая снегами и инеем лесов, родная, прекрасная земля расстилалась под ними, снежный покров окутал ее

раны, но под ним еще теплилась кровь ее сынов, пролитая за нее. С материнским благословением приняла она в лоно братских могил бесстрашных бойцов и великих тружеников — сыновей своих. Тысячи трупов врагов, проклятых вдовами и сиротами, догнивали в ней без имени, без славы, без чести. Священные зерна озимых хлебов набухали в ее теплом лоне, чтобы с весной взойти зелеными, нежными, непобедимыми ростками новой жизни.

Кровавой бороздой пролег рубеж войны по лицу родной земли.

Здесь, по эту сторону рубежа, жили и трудились люди, здесь труд был священен, как священно имя матери, здесь брат значило брат, друг значило друг, товарищ — товарищ. Еще прошлой зимой здесь хозяйничал враг, но сейчас из труб новеньких деревенских изб уже вздымались столбы кудрявого дыма, как символ восстановления жизни.

Там, по ту сторону рубежа, гуляла смерть. Выродки в образе людском разрушали все, созданное трудом поколений людей, терзали и мучили людей за то, что они труже용ники, за то, что они братья и товарищи между собою. Там, на десятки верст в глубину и на сотни верст по фронту, простиралась мертвая снежная пустыня с торчащими из-под снега остовами труб и обугленных строений, и вороны клевали трупы людей, когтями докапываясь до них под снегом.

Выродки уничтожили все, что могло говорить о счастливой жизни и свободном труде на земле, и сами, коченея от стужи, боясь русского морозного ясного солнца, зарывались в землю, уродовали, коверкали и насиловали ее, чтобы как-нибудь зацепиться за нее и продлить свое скотское существование.

Обо всем этом не думали ни Колесников, ни кто-либо из его семьи летчиков, проносившиеся над родной землей. Все это они видели не в первый раз, и все это давно уже отложилось в глубине их сердец страшной болью и страшной местью. Теперь все помыслы их были направлены на то, чтобы выполнить задачу: сразу найти цель и так раздолбать ее, чтобы все фрицы с выскочившими из орбит глазами и помраченным разумом вывернулись из земли, чтобы все их орудия, минометы, пулеметы и все их проклятые блиндажи со всем наворованным и запрятанным в них добром полетели вверх тормашками.

Подлетая к линии фронта, восьмерка Колесникова перестроилась и пошла гуськом. Грохот орудий доносился с земли, покрывая шум моторов. Наша пехота, обратив к небу благодарные и счастливые лица, смотрела на несущиеся в реве моторов распластанные крылья своих штурмовиков. Но летчики-штурмовики не думали и не могли думать об этом.

Звено братских штурмовиков, шедшее справа, впереди от восьмерки Колесникова, уже неслось среди разрывов зенитных снарядов. Они вспыхивали вокруг самолетов, как черные молнии.

Восьмерка Колесникова должна была обработать небольшой участок вражеских укреплений, насыщенных артиллерией и минометами, какой-нибудь пятачок земли. На карте у Колесникова здесь показаны были два селения, но никаких селений уже не было на поверхности земли. Однообразные холмы, рощи и леса простирались вокруг, вплоть до горизонта. Но Колесников хорошо знал свой участок. Он уже летал в тыл противника, и местность вокруг была ему знакома.

Зенитки ударили по ним еще на подходе. Не обращая внимания на зенитки, Колесников обрушился с высоты на цель, и все воздушное пространство под ним наполнилось ужасающим ревом его мотора. Колесников не сбросил груза, а только прострочил из пушек и пулеметов. Он хотел получше рассмотреть цель. Он взмыл в высоту, и за ним низринулся на цель Королев, за ним — Баймаков и другие. Первый заход вся восьмерка сделала, не сбрасывая груза, а только высматривая цели и стреляя для устрашения.

Нельзя передать то чувство удовлетворения и торжества, которое овладевает летчиком, когда он видит, как враг, заслышав победный клекот его мотора, одурев от огня пушек и пулеметов, в ужасе бросается по щелям и блиндажам. Но еще больше воспламеняет летчика сопротивление врага, когда враг продолжает стрелять из зенитных орудий и пулеметов. Машина Курилова, шедшая последней, только вышла из пикирования, как капитан Колесников обрушился на цель во второй раз и со страшным грохотом положил бомбу. За ним положили бомбы Королев, Баймаков, Морозов, Вердиев, Щедров, Пикаев, Курилов и опять Колесников, и так они пошли страшным хороводом, сметая все, что лежало под ними.

Они ходили так низко, что истребители охранения остались барражировать высоко над ними: ИЛы бронированы, и им менее страшен огонь зениток и пулеметов; для истребителей на малой высоте этот огонь смертелен.

Налет был так внезапен, что противник не успел подбросить свои истребители. Сделав шесть заходов и сбросив весь груз, восьмерка Колесникова без единой потери уже направлялась домой, как слева от них показалась в синем сверкающем небе идущая на ту же цель восьмерка старшего лейтенанта Кузина. Она шла звеньями: Кузин, Авалишвили и Улитин, штурман части Зиновьев, Коломийцев и Береснев и пара — Молодчиков и Козлов. Но, подходя к цели, они также перестроились гуськом и таким же страшным хороводом стали обрабатывать цель.

5

Тишина стоит на аэродроме. Людей убавилось, правда, немного. Большинство — техники, механики, работники БАО — остались здесь. Но соколы улетели.

Бывает ли бо́льшая радость на свете, чем возвращение соколов в родное гнездо после большой удачи и когда все живы, целы, невредимы?

Еще крутят по аэродрому снежные вихри от вращающихся пропеллеров, а уже вокруг самолетов работают техники, механики, оружейники, мотористы, радисты, приборники. Одни залезли в кабину, другие под брюхо, третьи лазают по плоскостям — высматривают, завинчивают, выстукивают.

Здесь царят великие мастера своего дела — инженер по эксплуатации Адамович и инженер-оружейник Руев.

Адамович влюблен в свои ИЛы. Это — машина-богатырь, и это — машина-красавица, машина-умница. В каком бы виде ни дотащил летчик свою машину до аэродрома, как бы ни была она изувечена, но раз он ее дотащил — машина возродится к новой жизни. Порукой тому — такие мастера, как старшие техники Кондратьев, Троян или механики Рожков, Изотов, Зайцев.

А посмотрели бы вы на руки инженера Руева — оружейника, когда в кругу своих лучших техников, таких, как Цупаченко, Бабкин, Гребелкин, он сам проверяет

неисправность поврежденного осколками механизма, подающего снаряды в пушку, или своими точными сильными пальцами откручивает пропеллерчик стокилограммовой бомбы, проверяя его ход по нарезам!

Безмерны подвиги летчиков, священен безыменный труд техников, чьими золотыми руками живет наша авиация.

Пока техники и оружейники осматривают самолеты, летчики, сбросив шлемы или шапки-ушанки, в своих медвежьих унтах, с вспотевшими лбами от быстрого перехода с воздуха в теплое помещение, заполнив барак степенным говором, закусывают перед следующим полетом.

Разве им нужно лететь опять? Конечно, нужно, сегодня большой летный день. Несмолкаемый гул стоит в небе. Необъятные пространства неба весь день бороздят металлические птицы.

6

Во второй вылет они должны были обработать тот же участок, но больше в глубину. Они знали, что теперь дело будет посерьезней. Противник подтянул свои истребители, к тому же погода начала портиться. Солнце еще играло на снегу и в небе, но там, из-за горизонта противника, надвигалась какая-то муть.

Все тот же пейзаж расстилался под ними, только уже пробрызнули вечерние красные краски. Зимний день короток. Они могли видеть плоды утренней бомбежки: вывороченную наружу красную и черную землю, побитые и поваленные деревья в лесу. Снова их встретили зенитки. Машины одна за другой ринулись к цели, и над развороченным пятачком земли и по соседству с ним пошел чудовищный по реву и грохоту хоровод в четырнадцать машин.

В этой адской работе трудно уследить за всем, что происходит вокруг. Летчик-штурмовик — один в своей бронированной кабине. Он должен видеть свою цель, вести машину, сбрасывать бомбы, стрелять из пушек и пулеметов, иногда одновременно принимать радиоприказания. Летчик Морозов ухитрился и в первый и во второй вылет еще сфотографировать плоды труда своего и товарищей.

На этот раз они должны были сбросить свой груз в четыре захода. Они сделали один заход, потом другой, но в надвинувшейся облачности не видели, что происходит с каждым из них и вокруг них. В это время истребители, барражировавшие на высоте, заметили мчавшиеся к месту штурма двойки вражеских «мессершмиттов». С частью из них они завязали бой на высоте, а часть вражеских истребителей низом ринулась на штурмовиков.

Вслед за капитаном Колесниковым, ведущим, шел Баймаков — опытный боевой летчик, в прошлом рабочий Челябинского тракторного завода. Уже после первого захода он почувствовал, что по самолету что-то изрядно стукнуло. Вскоре в кабинке отвратительно запахло горелой резиной, но мотор работал безотказно, управление действовало, и он продолжал свою работу.

После третьего захода Баймаков увидел, что к хвосту самолета Колесникова пристроился вражеский «мессер» и обстреливает его с тыла. Баймаков устремился на «мессера» и ударил по нему из пушек и пулеметов. «Мессер» отвалил и низом-низом ушел куда-то в сторону. В это время Колесников пошел в четвертый заход, сбросил последний груз и, набрав высоту, вдруг закачался на крыльях, точно падая. Баймаков подумал, что вражеский истребитель все-таки повредил его. Но самолет Колесникова выровнялся, и Баймаков понял, что это была команда:

— Уходить!

В кабинке все удушливей воняло паленой резиной. Баймаков сбросил свой последний груз и взял курс на аэродром. Колесников, кружась на высоте, собирая свою восьмерку, видел, как один из них уже пошел домой.

Летчик Пикаев, уже знакомый нам как человек предельного упрямства, в свой последний заход решил разделаться с зенитками, которые все время били по штурмовикам с опушки леса. Со сдержанной яростью он спикировал на зенитки и сбросил последнюю бомбу. Вряд ли что-нибудь осталось от этих зениток, но какая-то еще успела тявкнуть на него почти в упор. Самолет рвануло, и он стал падать на крыло. Зенитный снаряд вырвал из середины правой плоскости чуть не половину.

С огромным самообладанием, которое было отличительным свойством Пикаева в минуты смертельной опасности, он выровнял самолет и, держа его на обратном

крене (чтобы выровнять крен от вырванной плоскости), взял курс на свой аэродром вслед за остальными штурмовиками.

Последним в этом хороводе штурмовиков оказался летчик Авалишвили, из шестерки Кузина, уроженец Тбилиси, самый молодой из всех летчиков, но уже бывалый. Он добровольно пошел в авиацию со школьной скамьи.

После третьего захода он почувствовал, что его сзади обстреливают из пушек и пулеметов. В зеркальце, устроенном на верхнем бронированном стекле, он не мог разглядеть вражеский истребитель, бивший по нему. Но через боковое стекло он увидел второй, пристроившийся сбоку, позади и немного пониже первого. Они били по Авалишвили посменно. Один отваливал, прицеплялся другой, а тот шел на очередь. Когда Авалишвили пошел на последний заход, они отвалились от него, а потом прицепились снова.

Штурмовики, отбомбившись, один за другим уходили домой. Авалишвили пошел за ними, но в это время снова затарахтело и застучало в хвосте, и он понял, что ему уже не избавиться от своих преследователей.

Последним впечатлением Авалишвили было, как из нашего горящего штурмовика, падавшего над самой линией фронта, выбросился на парашюте летчик, и ветер понес его.

7

Уже темнело, и облака заволокли небо, и мела поземка, предвещая пургу, когда штурмовики стали приземляться на своем аэродроме. Снова, не показывая этого друг другу, Ищенко, Сотников и все люди на аэродроме считали про себя: «Один, два, три, четыре...»

Техники, механики, оружейники обступили машину: большая, большая работа предстояла им. Но из четырнадцати самолетов вернулось одиннадцать, трех самолетов не было. Не было Баймакова, Авалишвили и Курилова. Дотащился даже Пикаев, весь потный от внутреннего напряжения. Нужно было быть Пикаевым, чтобы не сесть на любой подходящей площадке, а тащить свой самолет, с вырванным чуть не наполовину крылом, до родного дома. Спасибо конструктору Ильюшину за его чудесный самолет!

Но этих троих не было.

Знаете ли вы что-нибудь более прекрасное на свете, чем отношения смелых, связанных общими интересами людей во время опасности? Здесь радость — настоящая радость, а горе — настоящее горе.

Многие видели, как падал горящий самолет, но кто в нем был? Баймаков? Авалишвили? Курилов? Опять воет, крутит метель. Глубокая ночь. Летчики отпущены в деревню. Они устали, но не расходятся, а грудятся в одной-двух избах. Нет товарищей!

Михаил Арсентьевич и Иван Тимофеевич висят на полевом телефоне, названивают по всем частям и аэродромам: не приземлились ли у них чужие летчики, не знают ли они чего-нибудь?

Часов в двенадцать ночи раздается телефонный звонок.

— Здравствуйте, товарищ командир. Говорит Авалишвили. Разрешите доложить...

Счастливая детская улыбка внезапно освещает длинное, под темным ежиком суровое лицо мужественного солдата.

— Авалишвили нашелся! Ах ты, голубь! Вот черт, да говори, что с тобой случилось?

Авалишвили с мальчишеским воодушевлением рассказывает все с самого начала.

— Привязались, понимаешь, никак не отстают. Били, били, пока весь хвост не разбили. Слава богу, сел в поле. Немножко, правда, пеньки были. Самолет спинку поломал. А я ничего, жив, здоров. Этот Ильюшин, ей-богу, настоящий человек, дай бог ему здоровья.

В душе Ищенко просыпается рачительный хозяин:

— Где самолет-то угробил?

Он уже решил: завтра чуть свет отправить на «уточке» к самолету техника и выслать за ним грузовик; раз мотор в порядке — значит, самолет будет жить.

— Сам-то ты где?

— Я здесь, в одной братской части; конечно, пехота. Да я на главное шоссе выйду, меня какой-нибудь грузовик подхватит.

— Не знаешь, чей это загорелся там у вас?

— Чей загорелся — не знаю, видел, как падал, видел, как летчик выбросился на парашюте.

— На чью территорию?

— Падал вроде на чужую, а ветер на свою тащил. Наверно, ветер вытащил на свою, не может быть, чтобы не вытащил.

Весть о том, что нашелся Авалишвили, и что летчик из горящего самолета выбросился на парашюте, и что ветром его могло вынести на свою сторону, мгновенно облетает всю деревню. Кто это — Баймаков? Курилов?

Никто не спит.

Ближе к утру усталость берет свое. Но уже надо вставать, завтракать, идти на аэродром и ждать летной погоды. Чуть свет приезжает Авалишвили — черноглазый, здоровый, веселый, хотя за это время, пока его не видали, он ухитрился угробиться, пройти десять километров пешком, проехать несколько десятков километров в пургу на открытой пятитонке и не спал всю ночь.

Снова все на аэродроме. Все в том же бревенчатом бараке ждут летной погоды. Но нет Курилова и Баймакова.

И вот на командном пункте раздается звонок. Звонит врач Мария Алексеевна из медпункта в деревне:

— Привезли Баймакова.

— Привезли? —упавшим голосом говорит Ищенко. — Разбился?

— Не волнуйтесь, товарищ командир, он ходит на собственных ногах, — отвечает .Мария Алексеевна. — Ему сейчас трудно говорить по телефону, у него вышибло четыре зуба. Конечно, сильный ушиб, и все лицо опухло, и лбом он ударился, рассек кожу, но это пустяк.

— Как это с ним случилось?

— Он предполагает, что пробило бак с бензином. Резина протектора загорелась. Пока он бомбил, бензин частью поступал в мотор, а частью — в воздух. Он был уже над своей территорией, когда мотор стал сдавать. Он стал нажимать, чтобы достичь поля впереди, и вдруг мотор заработал во всю силу, его перенесло через поле, и тут мотор сразу отказал. Он сел на лес. В общем, дешево отделался.

Снова метет метель. Вторые сутки, третьи. Летной погоды нет, и нет Курилова. Теперь ясно, что это его самолет загорелся, что это он выпрыгнул с парашютом. Конечно, ветер нес его на нашу сторону, но он выбросился с такой малой высоты, что его могли застрелить в воздухе.

Жизнь входит в свои права. В бараке идет политбеседа. Летчики играют в «козла» и поют под гитару Королева, но у всех болит душа за Курилова.

Уже заделали крыло самолета Пикаева, уже привезли самолет Авалишвили. Он будет летать. У самолета Баймакова сняли мотор в полной сохранности, а остальное, видно, пойдет в утиль.

И вдруг прилетает У-2 с линии фронта. Все обступают летчика, и выясняется, что он привез самые последние вести о Курилове.

Курилов жив и здоров. Летчик вчера с ним обедал. Дело в том, что немцы не стреляли в Курилова. Он падал на их сторону, и они надеялись взять его живьем. Но так как был ветер, Курилова перенесло через проволочные заграждения противника в «ничейную» полосу, а парашют зацепился за проволоку. Пока Курилов освобождался от ремней, противник открыл по нему огонь. Ему бы, конечно, несдобровать, но красноармейцы, с замиранием сердца следившие за приземлением своего летчика, устроили для него такую огневую завесу, что он благополучно дополз до своих. Нет бо̀льших друзей у летчиков-штурмовиков, чем наша великая пехота.

Лица у всех летчиков преобразились. Напряжение всех этих дней разрешилось взрывом веселья. Одни схватились бороться, другие просто стояли и хохотали, и даже Пикаев вдруг улыбнулся широкой, доброй мальчишеской улыбкой.

1942
Центральный фронт

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

В конце ноября части Красной Армии прорвали сильно укрепленную за полтора года немецкую оборону в районе восточнее Великих Лук. В первые же дни они с боями продвинулись в глубину вражеской обороны на 20—30 километров и перерезали железные дороги Великие Луки — Невель, Великие Луки — Новосокольники.

Великие Луки — крупный железнодорожный узел и аэропорт международного значения, недалеко от границы Латвийской ССР. За время советской власти город сильно разросся. Построены были новые предприятия, жилые дома, школы, здания учреждений, аэропорта, военного городка. Окраины города расширились за счет прилегающих деревень, совхозов. Все это было превращено немцами в опорные пункты и укрепления, соединенные ходами и траншеями. Немецкий гарнизон составляли отборные части, имевшие полуторагодичный опыт войны в России.

Великие Луки были взяты частями Красной Армии решительным ударом.

Благодаря исключительному героизму наших бойцов и умелому командованию, организовавшему правильное взаимодействие стрелковых подразделений и танков, и особенно стрелковых подразделений и артиллерии, наши части ворвались в город.

Мне довелось близко познакомиться с тов. Чесноковым, Василием Константиновичем, командиром одного из

подразделений в части тов. Дьяконова. Это спокойный, смелый, распорядительный командир, скромный русский человек. Подразделение его ворвалось в город и, расширяя зону своих действий, первым вышло на реку Ловать, разрезающую город на две части — восточную и западную.

Нужно представить себе систему укреплений в большом, расположенном на возвышенностях городе, минные поля, проволочные заграждения вокруг него, сплошной ливень автоматического, минометного и артиллерийского огня, который обрушился на головы наших наступающих подразделений, чтобы оценить всю меру героизма наших бойцов и командиров. В таких боях, как бой за Великие Луки, сотни и тысячи людей достигают исключительных вершин духовного подъема и не щадят своей жизни.

В подразделении, где командиром тов. Коняшев, человек большой отваги, первой ворвалась на окраину города штурмовая группа во главе с лейтенантом тов. Кулагиным. Они забросали гранатами немецкий дзот, яростно строчивший из пулемета по наступающим подразделениям, убили офицера и несколько солдат, и вот первый окраинный дом оказался в их руках. Невиданный подъем овладел их сердцами.

Старший сержант тов. Винатовский вытащил из кармана свой красный кисет, распорол его и водрузил на первом занятом доме, как знамя.

— Город будет навеки наш! — сказал он торжественно, и четыре его товарища, за ними другие, ринулись в глубину города.

На другом участке города, куда наступала часть под командованием тов. Кроника, подразделение тов. Корниенко тоже зацепилось за окраину и развивало успех. Немецкие солдаты бежали, лавируя между домами, в закрашенных белых касках и белых маскировочных халатах, другие отстреливались из домов. Начались бои за отдельные дома. Вышибив немцев из одного домика, группа бойцов ворвалась внутрь его. Боец поднял дверку в подвал и заглянул, нет ли там немцев.

Из темноты вдруг показалось изможденное, страшное лицо старухи, за ней другие лица женщин, детей. Старуха поднялась по лесенке и вдруг, не выдержав, обняла бойца трясущимися, высохшими руками.

В эти дни мы пробрались в западную часть города. Навстречу нам по дороге из города тянулись мирные

жители — женщины, дети, старики, страрухи, таща свой скарб.

До войны город насчитывал около 80 тысяч жителей. С приближением врага большинство населения эвакуировалось в глубь страны. Жители с опасностью для жизни продолжали выходить из города всевозможными путями в течение всех полутора лет сидения немцев в городе. Тысячи людей были угнаны в рабство в Германию, тысячи были расстреляны, замучены, умерли от голода. Немало людей дали Великие Луки в партизанские отряды. Ко времени штурма в городе оставалось около 7 тысяч жителей, влачивших рабское, полуголодное существование.

С того момента, как начались бои на улицах города, население стало выходить в соседние деревни. Советские люди, освободившиеся от немецко-фашистского ярма, помогали нашим командирам уточнить расположение немецких дзотов и артиллерийских пунктов.

На подразделение, которым командует тов. Стариков, выпала нелегкая задача — ликвидировать укрепленные пункты врага в монастыре, на винокуренном заводе и в военном городке. Это подразделение захватило бургомистра города Чурилова, прятавшегося в одном из подвалов и разоблаченного населением.

При советской власти господин бургомистр был землемером, а потом продал свою родину и самого себя за немецкие марки и за право власти над беззащитными людьми, которых можно было обдирать, карать и тоже продавать немцам.

Он был в крепких хромовых сапогах и добротной одежде конского барышника, изрядно загрязнившейся от скитаний по подвалам. Должно быть, по поговорке «Бог шельму метит», он имел как раз ту самую наружность, какую на плакатах чаще всего придают провокаторам и предателям: остренькая козлиная черная бородка и необыкновенно подло закрученные усики на упитанном лице.

Когда мы вошли в город, во многих местах дымились пожары, гул орудий и трескотня автоматов наполняли воздух. Немцы обстреливали западную часть города из минометов и изредка бросали термитные снаряды. Бойцы хозяйственных команд вывозили из города трофейное немецкое оружие и имущество. Навстречу нам попался известный всей части мальчишка-артиллерист, ведший на поводу двух упирающихся крупных немецких лошадей.

— Егорка, ну как лошади? — окликнули его бойцы, сопровождающие нас.

— Хороши лошади, да ничего по-русски не понимают, ни тпру, ни но! — презрительно сказал Егорка.

В иных местах траншеи, дзоты и подвалы, превращенные в дзоты, были завалены замерзшими немецкими трупами, скрюченными в тех позах, в каких застала их смерть. Кое-где еще видны были трупы наших бойцов, которых не успели убрать и похоронить. Мы остановились у одного из них. Это был казах, он лежал на спине, выложив по снегу широкие, смуглые кисти рук. Он был убит прямо в сердце. Застывшее лицо его с опущенными веками и черными стрельчатыми ресницами было спокойно.

Метрах в двухстах от командного пункта подразделения, к которому мы вышли, стоял могучий черный танк КВ и почти в упор бил из пушки по большому каменному зданию, видному нам только одним своим углом и крышей. Оттуда звенели стремительные и яростные пулеметные очереди. Танк стоял один, неподвижный и черный от боевого труда, и, не обращая внимания на ливень огня, стучавший по его броне, методически проделывал свою справедливую и страшную работу.

Немцы надеялись, что нашим частям не удастся взять восточную часть города через реку Ловать с крутыми эскарпированными берегами, но наше командование перехитрило немцев. Восточная часть города была взята с севера частью Дьяконова, совершившей перегруппировку.

В солнечные дни над Великими Луками развертывались крупные бои в воздухе. В иные дни бывали сотни самолетовылетов с обеих сторон. Высоко в синем и чистом морозном небе сражались истребители. Наши истребители преследовали немецкие бомбардировщики, а вражеские «мессершмитты» атаковали наши ИЛы. Рев машин, звуки пушечной и пулеметной стрельбы весь день стояли над головой и долго не расходились в небе после воздушного боя.

Но вражеская авиация уже не могла остановить подразделений тов. Дьяконова, все глубже входивших в город — к самому его центру. Можно без преувеличения сказать, что главным героем боя за Великие Луки была советская артиллерия. Она не только показала всю мощь

своего огня при сокрушении вражеских укреплений, она показала, каких гигантских успехов может достичь пехота, если вместе с ней колесами наступают пушки и гаубицы, бьющие прямой наводкой. Командиры-артиллеристы тт. Меленчук, Засовский, Пономарев, Удалов показали себя в этом бою настоящими мастерами своего дела. Что же сказать о командирах более мелких артиллерийских подразделений и о младших командирах-артиллеристах — этом цвете нашей армии? Мощь их оружия как бы переплавилась в мощь их сердец. Под огнем пулеметов и минометов, не замечая, как пули и осколки мин решетят полы их полушубков и шинелей, могучие и веселые, потные на морозе, они поистине творили чудеса со своими пушками.

Младший лейтенант тов. Айтмуханбетов, казах, руководил орудием, приданным одной из наших штурмовых групп. Орудие, наступая вместе с бойцами, подавило пять блиндажей. В ходе боя был убит командир штурмовой группы. Айтмуханбетов взял на себя командование всей группой и ворвался в штаб одного из вражеских подразделений. Будучи ранен в руку, тов. Айтмуханбетов продолжал командовать и успешно продвигался с группой вперед.

Группа наших артиллеристов во главе со старшим лейтенантом тов. Гуриным, наступавшая вместе со стрелковым подразделением, атаковала 150-миллиметровую пушку врага, из которой немцы стреляли прямой наводкой по штурмовым орудиям. Началась артиллерийская дуэль, перешедшая на такое сближение, что артиллеристы взялись уже за ручные гранаты. Немцы не выдержали, бросили пушку и убежали.

Артиллеристы мгновенно повернули захваченную пушку в обратную сторону и стали бить по немцам. У пушки повреждена была панорама, и лейтенант тов. Косолапов наводил ее на глазок, ложась на ствол. В это время налетели вражеские бомбардировщики, но расчет продолжал стрелять, не обращая внимания на бомбежку.

Бой шел за одну сильно укрепленную слободу. Нужно было взорвать решающее укрепление, но как добраться до него? И вот саперный инженер тов. Лебедев и капитан тов. Чичканенко с бойцами ночью, привязав веревками к саням щит от орудия в качестве прикрытия, нагрузив на сани 170 килограммов тола и толкая сани перед собой,

подобрались к самому укреплению. Они подожгли бикфордов шнур и убежали. Укрепление было взорвано, и слобода взята.

Она была взята под командованием старшего лейтенанта тов. Ничкова, только что назначенного командиром батальона. Немцы настолько не ожидали, что этот укрепленный пункт будет взят, что Ничков и его бойцы застали на столе в блиндаже немецкого штаба аккуратно разлитый по тарелкам горячий суп.

Бои за отдельные здания бывали исключительно упорны. В подразделении тов. Коняшева был случай, когда наши бойцы, воспользовавшись пожарной лестницей, овладели двумя верхними этажами зданий, а в нижнем сидели немцы. Наши бойцы вышибли немцев гранатами.

Ломая сопротивление врага, овладевая одним зданием за другим, часть тов. Дьяконова прошла через весь город. И красное знамя Советов взвилось над многострадальными Великими Луками.

Едва были заняты первые кварталы города, как наши воинские части уже выделили, каждая на своем участке, временных представителей советской власти. Я присутствовал при назначении такого первого советского представителя в части тов. Кроника. Это происходило глубокой темной ночью в тесном блиндаже, под говор орудий и непрерывные звонки полевых телефонов, при свете коптилки.

— Значит, ты у нас, товарищ Сметанников, будешь вроде первый советский мэр в городе, — шутили командиры. Они шутили и смеялись, но на лицах у всех было торжественное выражение.

Через несколько часов первый советский мэр города сообщил по телефону, что советская власть начала работать в подвале дома на Садовой, 29.

Теперь, когда я пишу эти строки, в освобожденных Великих Луках начали работать обычные партийные и советские организации. Вышел первый номер газеты «Великолукская правда». Бойцы железнодорожных батальонов ремонтируют подъездные пути. И скоро первый советский поезд с грохотом подкатит к советским Великим Лукам.

г. Великие Луки, январь 1943

БРАТСТВО, СКРЕПЛЕННОЕ КРОВЬЮ

На одном из участков фронта успешно действует сформированная в СССР чехословацкая воинская часть под командованием полковника Свободы. Южнее города Н. бойцы этой части были атакованы 60 танками и автоматчиками противника. Бойцы чехословацкой части в течение дня и ночи самоотверженно вели борьбу с противником и отразили все атаки гитлеровцев. В результате боя было подбито и сожжено 19 немецких танков и уничтожено до 400 немецких автоматчиков.

Из сообщения Совинформбюро от 2 апреля

15 марта 1939 года немецко-фашистские войска вступили в Прагу.

В глубоком безмолвии, с потемневшими от безысходной ненависти глазами смотрели чехи, как по улицам родных городов и селений, где каждый камень, каждая пядь земли освящены были трудом поколений чехов, катились орды поработителей и их танки и пушки грохотали по асфальту.

Обманутые мюнхенским соглашением, чехословаки встретили врага обезоруженными. А между тем никогда еще чехословацкий народ не был так готов к сопротивлению. Я помню лето 1938 года в Чехословакии. Как клокотали Прага и Брно, Кладно и Моравска-Острава, каждый даже самый захолустный городок среди сиреней и жасминов и самая маленькая деревушка над Влтавой в предчувствии беды!

Костры в память Яна Гуса, зажигавшиеся каждый год в ночь с 5 на 6 июля на горах, поросших вековыми липами, и среди усеянных цветами долин по берегам рек, горели в этом году по всей стране, как призыв к борьбе. И старые чешские крестьяне с вислыми седыми усами, какие, может быть, носили их прапрадеды — славянские воины из легионов Жижки, рассказывали у костров среди ночи о многовековой борьбе чехов за свою свободу и звали народ на страшную битву с немцами Гитлера.

Аудитории старейшего в Европе Пражского университета ломились от студенческой молодежи. Лучшие ученые страны, цвет чешской интеллигенции, писатели и академики, многих из которых теперь уже нет в живых, воскрешали в памяти молодежи славные имена людей, чьей борьбой и трудами жив чешский народ.

Рабочие люди с завода Шкода, с заводов Витковице, рабочие, чьими умелыми руками создавалось самое совершенное оружие, готовы были сделать все для защиты родной земли.

Поезда, переполненные чешскими рабочими, учителями, артистами, украшенные знаменами и словно увитые песнями, льющимися из окон, мчались из Праги в Судеты на антифашистские митинги, а по всем направлениям к Праге летели поезда с юношами и девушками на сокольский слет, и воздух дрожал от мощных приветственных криков: «Здар! Здар!..»

Кто мог думать тогда, что через несколько месяцев лучшие из соколов будут казнены, а остальным свяжут крылья и кинут их за решетку?

21 мая страна призвала под ружье резервистов. Старые солдаты и молодые чешские парни, где бы ни застал их призыв — на поле за плугом, в шахте у перфоратора, за кафедрой в университете или за конторкой банка, молча, со спокойной решимостью во взоре откладывали орудия своего труда, целовали жен, детей, невест, матерей и шли на призывной пункт. Через несколько часов, вооруженные и обмундированные, сопровождаемые приветственными криками народа, они уже шагали в колоннах к вокзалам, и десятки поездов, точных, как часы, развозили их по границам родной земли.

Весь народ знал, что Советский Союз, верный договору с Чехословакией, выполнит свой братский долг до конца,

если чешское правительство окажет вооруженное сопротивление насильнику.

Вращаясь в этом кипении народа, я гордился тем, что я — русский. В те дни двери каждого сельского домика, рабочей квартиры, жилища писателя, даже крепко завинченная крышка любой походной солдатской кухни где-нибудь на Дунае или в Судетах гостеприимно открывались предо мной, потому что я — русский.

— Говорите с нами по-русски, — просили солдаты на границе за Братиславой, где в десяти шагах за шлагбаумом стоял немецкий часовой. — Говорите по-русски, пусть немцы знают, что русские с нами.

Чехословакия могла двинуть в бой сорок дивизий. Будь проклят Мюнхен! Немцы беспрепятственно вступили в Прагу, и чехословацкий народ ввергнут в бездну мучений, равных которым не было за всю историю трехсотлетнего господства немцев над чехословаками.

Великую трагедию пережила чехословацкая армия. Она хотела драться и вынуждена была сложить оружие без боя. Кадры ее были разгромлены. От руки палача Гейдриха пал семидесятилетний ветеран, командующий армией генерал Иосиф Билый. Пал командующий 7-м чехословацким корпусом в Братиславе дивизионный генерал Гуго Войта. Десятки видных офицеров казнены и тысячи воинов брошены в тюрьмы и концлагери.

В дни, когда немцы оккупировали страну, Людвик Свобода командовал батальоном. И, как все солдаты и офицеры, он выпил до дна чашу унижения своей армии, своего народа.

Он был уже опытным, закаленным воином. Он родился в 1895 году. Он окончил австро-венгерскую офицерскую школу, но, как и большинство чешских юношей, он ненавидел немцев и мечтал о тех днях, когда чешский народ станет свободным. В начале прошлой войны он вместе со своими товарищами перешел на сторону русских и дрался с немцами в рядах русской армии.

Он прошел сложный путь надежд и заблуждений, прежде чем понял, что только новая Россия, возникшая в огне Великой Октябрьской революции, будет верной опорой свободы и независимости народов Чехословакии. Но когда он понял это, он стал другом нашей страны и нашего народа.

Вряд ли кто-нибудь, когда-нибудь узнает у этого сдержанного, рано поседевшего чешского воина, исполина с ясными светлыми глазами, какие чувства бушевали в его душе в те ужасные дни, когда немецко-фашистская армия, как смерч, прошла по безоружной Чехословакии. Но одно чувство, несомненно, покрывало собой все остальные: месть. Одно было ясно ему: нельзя сдаваться врагу, подлейшему из подлых врагов. Надо драться до конца. Надо искать верных союзников в борьбе и собирать силы для решающей битвы.

На родине ему грозили смерть или концлагерь. Собрав разрозненные группы солдат и офицеров, готовых на любые лишения, лишь бы драться с немцами, Людвик Свобода нелегально перешел границу Чехословакии. Отныне вся его жизнь была отдана делу борьбы за освобождение своей родины.

За все эти годы скитаний, в сложнейшей международной обстановке, пройдя через горнило многих испытаний, везде, где бы он ни был, он терпеливо, настойчиво собирал кадры для борьбы за свою родину. Но только в период Великой Отечественной войны советского народа здесь, на территории СССР, полковник Людвик Свобода достиг того, о чем он мечтал. Он стал организатором и командиром первой чехословацкой части, сформированной на территории СССР.

Среди жителей той местности, где формировалась эта часть, навсегда останется светлая память о трудолюбивых, жизнерадостных и мужественных чешских солдатах.

В колхозной страде лета 1942 года солдаты чехословацкой республики пришли на помощь колхозникам и работали так, точно на своих полях, на родной земле.

Наша страна вооружила солдат Чехословацкой республики первоклассным оружием. С некоторыми видами оружия, например с противотанковыми ружьями, они имели дело впервые. Но это оружие попало в золотые руки. Командиры и солдаты делали все, чтобы сократить сроки обучения, — всем хотелось скорее попасть на фронт.

Ничто так не подымало солдат, как вести, которые они получали с родины. Изо дня в день там шла борьба, жестокая, исступленная, не на жизнь, а на смерть. На террор гитлеровских палачей народ отвечал саботажем, диверсиями. А враг все туже и туже затягивал на шее народа кровавую петлю террора.

Сегодня приходило известие о том, что казнен крупнейший чешский писатель Владислав Ванчура. А завтра — о том, что в городе Таборе поголовно истреблена вся интеллигенция, все профессора сельскохозяйственной академии во главе с директором ее, все врачи, адвокаты, учителя, чиновники. Уже более ста тысяч чехов томилось в тюрьмах и концлагерях. Тысячи рабочих и крестьян вывезены в рабство в Германию, расстреляны, заморены голодом. Пали видные деятели рабочего движения. Крупнейшие профессора — юристы, историки, зоологи, — казнены или заключены в концлагери. До двух тысяч человек казнил «протектор» Гейдрих за первый месяц своего господства. Он казнил до тех пор, пока сам не был сражен рукою мстителя. А после того еще казнено было более десяти тысяч чехов и сожжены дотла деревни Лидице и Лежаки.

И каждое такое известие ранило сердце солдат. «Когда же? Когда же?» — говорили солдаты.

Бойцы уже спали, когда было передано по радио сообщение Информбюро об окружении немцев под Сталинградом. Свободник (ефрейтор) Гутман и боец Вайнер, слушавшие сообщение, вбежали в помещение минометных подразделений.

— Победа! Победа! — кричали они.

Бойцы вскочили, весть сразу распространилась по всей части. Везде кричали «ура» Красной Армии.

— А мы? — спрашивали бойцы у своего командира Свободы. — Когда же? Когда же?

Вот что писал в эти дни полковник Свобода Главному Командованию Красной Армии:

«По окончании тактико-технического обучения в прифронтовой полосе, продолжительность которого я оцениваю в 2—3 недели, прошу немедленно отправить часть на фронт для использования ее по вашему усмотрению». И еще он писал: «Героический и многострадальный народ дома на родине требует от чехословаков, находящихся за границей, мести, выраженной в активной боевой деятельности, за все страдания и злодеяния, совершенные по отношению к нашему и другим народам мира. Мы хотим и должны это требование нашего народа с честью выполнить. Это диктуется нам чувством долга перед родиной и сознанием интересов прогрессивных народов. Союз и

дружба советского и чехословацкого народов станут еще более непоколебимыми, когда они будут скреплены кровью, пролитой в общей борьбе вместе с Красной Армией. Прошу не отказать в моей просьбе».

Так первая чехословацкая часть, сформированная на территории СССР, выехала на фронт, провожаемая всем населением. В знак братской связи и дружбы русская женщина от имени всего населения повязала на древко боевого знамени части ленту с девизом: «Смерть немецким оккупантам!»

Чехи попали на один из участков фронта, где в это время крупные немецкие силы, поддержанные танками и авиацией, предприняли контрнаступление. Части полковника Свободы выпал участок обороны, имевший серьезное значение.

Все расположение части находилось под непрерывным артиллерийским обстрелом и ожесточенной бомбежкой. В самый разгар бомбежки сторожевое охранение донесло, что движутся вражеские танки числом до шестидесяти, а за танками — автоматчики на транспортерах.

Вся сила главного удара немцев пришлась на деревню, где расположено было подразделение надпоручика Яроша — очень требовательного и справедливого командира, любимого своими солдатами.

Как ни велики были силы наступавших немцев, полковник Свобода знал, что по характеру занимаемого им участка он не имеет права дать ни одного подразделения на помощь надпоручику Ярошу.

— Отходить нельзя. Ты слышишь, брат Ярош?—спросил Свобода по телефону.

— Не будем отходить, брат мой полковник, — сказал Ярош.

А в это время чешские солдаты из противотанковых расчетов и автоматчики, окопавшиеся на окраине деревни, видели перед собой громадное поле и лес за полем, с опушки которого били по деревне вражеские минометы и из которого вот-вот должны были показаться танки. И вот они вырвались из лесу со страшным ревом моторов и грохотом пушек и помчались по полю.

Впервые в современной войне в Европе сошлись в смертельной битве грудь с грудью немцы и чехи. Бронированные чудовища, обгоняя один другого, наступали широким фронтом по полю. Все новые и новые выкаты-

вались из лесу, а за ними, стреляя из автоматов, шла вперебежку немецкая пехота.

В течение нескольких часов подразделение надпоручика Яроша отбивало яростные атаки танков, выводя из строя то один, то другой. Но на смену им появлялись новые. Отдельные танки прорвались вплотную к передней линии обороны и брызнули из огнеметов. Значительная часть противотанковых расчетов выбыла из строя, и около двух десятков танков прорвались в глубину обороны надпоручика Яроша.

Несмотря на всю тяжесть танковой атаки, оставшиеся в живых солдаты из пулеметных расчетов и автоматчики не бросили своих позиций, отсекли немецкую пехоту от танков и заставили ее залечь метрах в пятидесяти от деревни. В это время в глубине обороны завязался бой между немецкими танками и чешскими стрелками, действовавшими гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Неравный и страшный бой этот длился в течение дня и ночи. В этом бою смертью храбрых погиб надпоручик Ярош, раздавленный гусеницами. Но немцы были отбиты, оставив на поле боя девятнадцать танков и около четырехсот трупов немецких солдат.

Перед отъездом на фронт полковник Людвик Свобода писал Верховному Главнокомандующему вооруженными силами СССР товарищу Сталину:

«... С этим девизом и твердой волей последовать прекрасному примеру героической Красной Армии мы пойдем в бой. Мы сделаем все, что будет в наших силах, чтобы заслужить доверие Верховного Главного Командования Красной Армии и жизнь в свободной Чехословацкой республике. В этом своем решении мы будем неустанны до тех пор, пока не победим».

Полковник Свобода и воины его части доказали, что на слово чешского воина можно положиться. В боях против гитлеровских разбойников чехословацкая часть покрыла себя неувядаемой славой. Народы Советского Союза и Чехословакии побратались кровью. В своей борьбе они будут неустанны, пока не победят. Да живет во веки веков их дружба!

1943

БОЕЦ

Мы возвращались на командный пункт части из селения, только что с боем занятого нашими войсками. В деревне, вернее, бывшей деревне, так как от нее осталась только одна обгорелая банька, мы нагнали группу раненых. Бойцы расположенного здесь подразделения, находящегося в резерве, расспрашивали раненых о ходе боя.

— Вы что здесь толпитесь? — спросил, вылезая из машины, мой спутник Белов, заместитель командира части.

— Санчасть ищут, да они ее прошли, она вон куда, влево... — пояснил сержант подразделения, находящегося в резерве.

Среди раненых бойцов были раненные тяжело, в голову, в ноги, так что они едва передвигались, и были раненные легко.

— Ты куда ранен? — спросил Белов, опытным взглядом выловив среди раненых наиболее здорового вида бойца, молча стоявшего позади своих товарищей.

На красном лице бойца мгновенно появилась гримаса боли.

— В спину ранен... Ай-я-яй! — сказал он жалобным голосом.

И только он так сказал, бойцы резервного подразделения и тяжело раненные кто презрительно, кто насмешливо посмотрели на него. А на лицах легко раненных появилось виноватое выражение.

Возле стоял боец с забинтованной головой, — одни сверкающие глаза да черные запекшиеся губы видны были на его лице, — обе руки его были тоже в бинтах. Нельзя было не удивляться силе воли этого человека, который с таким тяжелым ранением не просил машины или подводы, а передвигался сам. Он угрюмо посмотрел на бойца, пожаловавшегося Белову, и отвернулся.

— Отвези-ка его и еще кому там трудно идти, — сказал Белов шоферу.

Пока шофер усаживал тяжело раненных в машину, боец с оцарапанной осколком спиной перестал хныкать и робко, вопросительно смотрел на Белова.

— Чего же ты смотришь? Иди лечись. Коли ранен, лечись, — насмешливо сказал Белов и, оглядев бойцов, подмигнул им.

Бойцы засмеялись. И снова на лицах других легко раненных появилось виноватое выражение.

— Увидишь, эти обратно в свою часть вернутся, — посасывая в полутьме трубочку, смеясь, говорил Белов, когда мы пешком тронулись к командному пункту, — вернутся, не то товарищи засмеют.

Я не сомневался, что это так и будет. Не было и нет на свете армии, где бы мужество бойца в преодолении физических и душевных страданий, где бы презрение к ранению и скрытая гордость за кровь свою, пролитую в бою, были бы так широко распространены, как в Красной Армии.

Это только одно из проявлений той нравственной силы, которую социалистический строй воспитал в самых обыкновенных людях. Она, эта нравственная сила, подымает наших людей до таких вершин человеческого духа, когда сама смерть в бою за справедливое дело уже не страшна им.

В той же части, из которой ушел боец с оцарапанной осколком спиной, был красноармеец Падерин, посмертно получивший звание Героя Советского Союза. В 1941 году, в боях за Калинин, у вражеского дзота, не дававшего продвинуться вперед и много унесшего жизней наших людей, Падерин был тяжело ранен и в порыве великого нравственного подъема закрыл амбразуру дзота своим телом.

Велика сила отваги и готовности к самопожертвованию. Но и она сама по себе еще не делает настоящего бойца, если он не учится владеть своим оружием и не накапливает навыков поведения бойца в современном бою.

Часть, которой командует тов. Кроник, действует в местности, которую враг превратил в так называемую «зону пустыни». Десятки деревень, обозначенных на карте, существуют только как названия, их нет на земле. Они сожжены, а жители их частью выселены глубже в тыл, частью угнаны в рабство в Германию. На территории, еще занятой немцами, сохранились, хотя и в сильно разрушенном виде, редкие населенные пункты, которые по своему расположению и устройству показались немцам удобными для расквартировки своих гарнизонов. Жителей таких селений под угрозой виселицы заставляют работать на постройке укреплений и по обслуживанию немецких гарнизонов. Сотни и тысячи людей буквально вымирают от голода.

Сложное чувство владеет советским человеком, одетым в красноармейскую шинель, перед сражением за освобождение такого населенного пункта Эн, освященного в памяти наших людей двумя с лишним десятилетиями свободной, трудовой, счастливой жизни... Чувство подъема от того, что мы освобождаем свое, кровное. Чувство жалости к жителям, к матерям и малым детишкам, попрятавшимся в холодные подвалы, мерзлые, мокрые щели. Чувство ожесточения против врага, который, от сознания своих преступлений и предстоящей расплаты, сопротивляется с удвоенной и утроенной силой.

Много и других невысказанных чувств, скрытых буднями войны под веселой улыбкой, под грубой шуткой, теснится в это время в сердце бойца Красной Армии.

И все дни перед штурмом идет невиданная работа сверху донизу, от высшего командования до рядового бойца, работа творческая и будничная, политическая и организационная, хозяйственная и педагогическая, и просто физическая. Перед самым штурмом, часа в четыре утра, командир части Кроник и его заместитель Белов обязательно выедут в подразделения — проверить их боевую готовность. А в это время бойцы, которым предстоит решить задачу, еще спят.

Часов в пять утра их разбудят дневальные. Бойцы съедят по полкотелка мясного супа, засыпанного крупой, и по доброй порции пшенной каши, которую они называют «блондинкой» в отличие от гречневой, которую, впрочем, называют не «брюнеткой», а «нашей строевой» или «кадровой». И под прикрытием тумана, ложбинами и

кустарниками, станут накапливаться на исходных для атаки рубежах.

Первый признак неопытного бойца в наступательном бою — он забывает о том, что винтовка дана ему затем, чтобы стрелять. Красноармейская винтовка, великое русское оружие! Какой грозной силой являешься ты в руках опытного воина! Широко известно имя снайпера Серафима Григорьевича Опарина, родом из республики Коми. Серафим Григорьевич бьет врага из винтовки с оптическим прицелом. Зимой 1942 года он сбил немецкий самолет. По последним, дошедшим до меня сведениям, он убил 432 немца, но, наверно, этот счет уже возрос.

Неопытный боец первое время все свои надежды возлагает на огонь автоматического оружия, огонь минометов и артиллерии. Он лежит, когда все лежат. Когда раздается команда «Вперед!», он передвигает свое тело вперед — бежит или ползет, как другие. Он честный боец. Он пойдет всюду, куда ему прикажут. Винтовка у него вычищена, он никогда не бросит ее, как не бросит ничего из вверенного ему военного имущества. Он кричит «ура». Но он не использует как следует оружие, пока не приобретет опыт.

Умение обращаться с оружием, какое бы оно ни было, и любовь к своему оружию — первый признак настоящего бойца.

В бою за населенный пункт Эн станковый пулемет комсомольца Новикова поддерживал наступление стрелкового взвода. Немцы засекли пулемет. Осколками вражеской мины был выведен из строя весь расчет. Остался один Новиков. Сменив огневую позицию, он один продолжал вести огонь по врагу. Немцы вторично обнаружили пулемет Новикова и открыли по нему минометный огонь. Но, верный военной присяге, Новиков продолжал бить по врагу. Вражеская мина разорвалась около пулемета, и Новикову оторвало пальцы на левой руке. Продолжать вести огонь он не мог. Тогда Новиков пополз и вытащил из-под обстрела свой пулемет. Комсомолец Новиков любит свое оружие, как боевого товарища.

Успех дела, в конечном счете, решает настоящий, опытный боец, изучивший навыки врага, умеющий его перехитрить, боец инициативный, могущий решать самостоятельные задачи и искусно взаимодействующий со своими товарищами. На таких бойцах зиждется мощь Красной Армии и ее великий наступательный дух.

Одним из таких бойцов был и красноармеец Ладно. Он понял, что замедление движения на его участке вызвано шквальным огнем трех немецких дзотов, искусно расположенных один возле другого, а обойти их с фланга мешает немецкая пулеметная точка. Ладно поставил целью прежде всего погасить эту вражескую точку огнем своего автомата. Он потратил немало времени, чтобы осуществить эту задачу, и осуществил ее. И тогда ему открылся путь к трем вражеским дзотам. Открылся путь! Конечно, вся эта местность была под огнем. Но одно дело, когда враг бьет прицельным огнем, и другое дело, когда он с дальних позиций бьет по местности на всякий случай. Искусно маскируясь, Ладно один подполз к дзотам и стал забрасывать их гранатами. Все три дзота были разрушены. Ладно убил свыше двадцати немцев. Подразделение ворвалось в населенный пункт.

Отважный и опытный боец — завтра уже сержант, младший командир, а подучившись — офицер Красной Армии.

В одной из частей было поручено взводу младшего лейтенанта Василия Позднякова блокировать дзот, обстреливающий подступы к деревне. Во взводе находился боец Прудников, человек с боевым опытом, уже немолодой, коммунист.

Перебежками, группка за группкой, взвод лейтенанта Позднякова начал приближаться к вражескому дзоту. Как только достигли первого рубежа, Прудников опытным движением скользнул на бок, извлек из чехла лопатку и очень ловко и скоро заработал ею. Справа от него лежал боец Кезиков и не окапывался.

— Так, брат, ты скоро провоюешь, — спокойно сказал Прудников, продолжая окапываться.

Когда окопчик был готов, Прудников отер рукавом пот с бровей и черных своих усов, улыбнулся Кезикову и сказал:

— На войне больше поту, меньше крови.

Кезиков тут же начал зарываться — и вовремя: по ним открыли огонь. Прудников, тщательно прицеливаясь, методически вел огонь из винтовки, Кезиков во всем подражал ему.

Послышалась команда:

— Вперед!

Бойцы побежали к следующему рубежу. Неподалеку бежал красноармеец Визюков. Он то и дело поправлял съезжавшую на глаза каску, а потом, разозлившись, отбросил ее. Каска упала на землю. Прудников поднял ее.

— Лучше возьми, брат, пригодится, — сказал он Визюкову.

Огонь из вражеского дзота был так силен, что взвод не мог подняться. Лейтенант Поздняков приказал молодому бойцу Смородину подползти и забросать дзот гранатами. Смородин оробел.

— Страшно? — с улыбкой спросил Прудников. — Разрешите мне вместо него? — обратился он к командиру.

— Нет, я все сделаю, — сказал оправившийся Смородин.

— Тогда ползите вдвоем, крепче получится, — решил лейтенант.

Так у Прудникова появился первый боец Смородин, признавший его как своего командира. Они с честью выполнили свою задачу, и часть заняла деревню.

Боец Прудников — это будущий командир.

Такова роль опытного бойца в современном бою. Опытные командиры знают, что они только тогда сильны и могут выполнить любую задачу, когда они успевают воспитать таких бойцов, заботятся о них, берегут и вовремя выдвигают их из массы на командные должности.

1943

БЕССМЕРТИЕ

«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной, многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:

Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем.

Хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в «Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания.

Если же я нарушу эту священную клятву под пытками ли, или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей.

Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Эту клятву на верность родине и борьбу до последнего вздоха за ее освобождение от немецких захватчиков дали члены подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне, Ворошиловградской области. Они давали ее осенью 1942 года, стоя друг против друга в маленькой горенке, когда пронзительный осенний ветер завывал над порабощенной и опустошенной землей Донбасса. Маленький городок лежал затаившись во тьме, в горняцких домах стояли немцы, одни продажные

шкуры-полицейские да заплечных дел мастера из гестапо в эту темную ночь обшаривали квартиры граждан и зверствовали в своих застенках.

Старшему из тех, кто давал клятву, было девятнадцать лет, а главному организатору и вдохновителю Олегу Кошевому — всего шестнадцать.

Так в дни тягчайших испытаний нашего народа самое юное поколение борцов за свободу и счастье родной земли повторило бессмертную клятву, прозвучавшую много лет назад с трибуны Второго съезда Советов.

— Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих сил для того, чтобы выполнить с честью и эту твою заповедь!

Сурова и неприютна открытая донецкая степь, особенно поздней осенью или зимой под леденящим ветром, когда смерзается комьями черная земля. Но это наша кровная советская земля, заселенная могучим и славным угольным племенем, дающая энергию, свет и тепло нашей великой родине. За свободу этой земли в гражданскую войну сражались лучшие ее сыны во главе с Климом Ворошиловым и Александром Пархоменко. Она породила прекрасное стахановское движение, преобразующее лик всей нашей земли. Советский человек глубоко проник в недра донецкой земли, и по неприютному лицу ее выросли мощные заводы — гордость нашей технической мысли, залитые светом социалистические города, наши школы, клубы, театры, где расцветал и раскрывался во всю свою духовную силу великий советский человек. И вот эту землю топтал враг... Он шел по ней, как смерч, как чума, повергая во тьму города, превращая школы, больницы, клубы, детские ясли в казармы для постоя солдат, в конюшни, в застенки гестапо.

Огонь, веревка, пуля и топор — эти страшные орудия смерти — стали постоянными спутниками жизни советских людей. Советские люди были обречены на мучения, немыслимые с точки зрения человеческого разума и совести. Достаточно сказать, что в городском парке города Краснодона немцы живьем зарыли в землю тридцать человек шахтеров за отказ явиться на регистрацию в немецкую «биржу труда». Когда город был освобожден Красной Армией и начали отрывать погибших, они так и стояли в земле: сначала обнажились головы, потом плечи, туловища, руки.

Ни в чем не повинные люди вынуждены были уходить с родных мест, скрываться. Рушились семьи. «Я распрощалась с папой, и слезы ручьями потекли из глаз, — рассказывает Валя Борц — член организации «Молодая гвардия». — Какой-то неведомый голос, казалось, шептал: «Ты его видишь в последний раз». Он пошел, а я стояла до тех пор, пока он скрылся из глаз. Сегодня еще этот человек имел семью, угол, приют, детей, а теперь он, как бездомная собака, должен скитаться. А сколько замучено, расстреляно!»

Молодежь, всякими способами уклонявшуюся от регистрации, хватали насильно и угоняли на рабский труд в Германию. Поистине душераздирающие сцены можно было видеть в эти дни на улицах городка. Грубые окрики и брань полицейских сливались с рыданием отцов и матерей, от которых насильно отрывали дочерей и сыновей.

И страшным ядом лжи, распространяемой гнусными немецкими газетенками и листовками о падении Москвы и Ленинграда, о гибели советского строя, стремился выродок-немец разложить душу советских людей.

Люди старших поколений, оставшиеся в городе Краснодоне, для того чтобы организовать борьбу против немецких оккупантов, были скоро выявлены врагом и погибли от его руки или вынуждены были скрыться. Вся тяжесть организации борьбы с врагом выпала на плечи молодежи. Так осенью 1942 года сложилась в городе Краснодоне подпольная организация «Молодая гвардия».

Это была наша советская молодежь — та самая, которая растет вокруг нас, воспитывается в советской школе, пионерскими отрядами, комсомольскими организациями. Враг стремился истребить в ней дух свободы, радость творчества и труда, привитые советским строем. И в ответ на это юный советский человек гордо поднял свою голову.

Вольная советская песня! Она сроднилась с советской молодежью, она всегда звенит в душе ее.

«Один раз идем мы с Володей в Свердловку к дедушке. Было совсем тепло. Летают над головами транспортные немецкие самолеты. Идем степью. Никого кругом. Мы запели «Спят курганы темные... Вышел в степь донецкую парень молодой». Потом Володя говорит:

— Я знаю, где наши войска находятся.

Он мне начал рассказывать сводку. Я бросилась к Володе и начала его обнимать».

Эти простые строки воспоминаний сестры Володи Осьмухина нельзя читать без волнения.

Организаторами и руководителями «Молодой гвардии» были Кошевой Олег Васильевич 1926 года рождения, член ВЛКСМ с 1940 года, Земнухов Иван Александрович 1923 года рождения, член ВЛКСМ с 1938 года и Тюленин Сергей Гаврилович 1925 года рождения, член ВЛКСМ с 1941 года. Вскоре три патриота привлекают в свои ряды новых членов организации — Ивана Туркенича, Степана Сафонова, Любу Шевцову, Ульяну Громову, Анатолия Попова, Николая Сумского, Володю Осьмухина, Валю Борц и других. Олег Кошевой был избран комиссаром. Командиром штаб утвердил Туркенича Ивана Васильевича, члена ВЛКСМ с 1940 года.

И эта молодежь, не ведавшая старого строя и, естественно, не проходившая опыта подполья, в течение нескольких месяцев срывает все мероприятия немецких поработителей и вдохновляет на сопротивление врагу население города Краснодона и окружающих поселков — Изварино, Первомайка, Семейкино, где создаются ответвления организации. Организация разрастается до семидесяти человек, потом насчитывает уже свыше ста человек — детей шахтеров, крестьян и служащих.

В характере организации, в методах, в общем духе ее сказывается преемственность с великой бессмертной революционной школой Ленина. «Молодая гвардия» сотнями и тысячами распространяет листовки — на базарах, в кино, в клубе. Листовки обнаруживаются на здании полиции и даже в карманах полицейских. «Молодая гвардия» устанавливает четыре радиоприемника и ежедневно информирует население о сводках Информбюро.

В условиях подполья происходит прием в ряды комсомола новых членов, на руки выдаются временные удостоверения, принимаются членские взносы. По мере приближения советских войск готовится вооруженное восстание и самыми различными путями добывается оружие.

В это же время ударные группы проводят диверсионные и террористические акты.

В ночь с 7 на 8 ноября группа Ивана Туркенича повесила двух полицейских. На груди повешенных оставили плакаты:

«Такая участь ждет каждого продажного пса».

9 ноября группа Попова Анатолия на дороге Гундоровка — Герасимовка уничтожает легковую машину с тремя высшими немецкими офицерами.

15 ноября группа Петрова Виктора освобождает из концентрационного лагеря в хуторе Волчанске семьдесят пять бойцов и командиров Красной Армии.

В начале декабря группа Машкова на дороге Краснодон — Свердловск сжигает три автомашины с бензином.

Через несколько дней после этой операции группа Тюленина совершает на дороге Краснодон — Ровеньки вооруженное нападение на охрану, которая гнала пятьсот голов скота, отобранного у жителей. Уничтожает охрану, скот разгоняет по степи.

Члены «Молодой гвардии», устроившиеся по заданию штаба в немецкие учреждения, предприятия, умелыми маневрами тормозят их работу. Сергей Левашов, работая шофером в гараже, выводит из строя одну за другой три машины; Юрий Виценовский устраивает на шахте несколько аварий.

В ночь с 5 на 6 декабря отважная тройка молодогвардейцев — Люба Шевцова, Сергей Тюленин и Виктор Лукьянченко — проводят блестящую операцию по поджогу немецкой биржи труда. Уничтожением биржи со всеми документами молодогвардейцы спасли несколько тысяч советских людей от угона в Германию.

В ночь с 6 на 7 ноября члены организации вывешивают на зданиях школы, бывшего райпотребсоюза, больницы и на самом высоком дереве городского парка красные флаги. «Когда я увидела на школе флаг, — рассказывает жительница города Краснодона Литвинова М. А., — невольная радость, гордость охватили меня. Разбудила детей и быстренько побежала через дорогу к Мухиной. Ее я застала стоящей в нижнем белье на подоконнике, слезы ручьями расползались по ее худым щекам. Она сказала: «Марья Алексеевна, ведь это сделано для нас, советских людей. О нас помнят, мы нашими не забыты».

Организация была раскрыта полицией потому, что она вовлекла в свои ряды слишком широкий круг молодежи, среди которых оказались и менее стойкие люди.

Но во время страшных пыток, которым подвергли членов «Молодой гвардии» озверевшие враги, с невиданной силой раскрылся нравственный облик юных патриотов

нашей советской родины, облик такой духовной красоты, что он будет вдохновлять еще многие и многие поколения молодежи.

Олег Кошевой. Несмотря на свою молодость, это великолепный организатор. Мечтательность соединялась в нем с исключительной практичностью и деловитостью. Он был вдохновителем и инициатором ряда самых героических мероприятий. Высокий, широкоплечий, он весь дышал силой и здоровьем и не раз сам был участником самых смелых вылазок против врага. Будучи арестован, он бесил гестаповцев непоколебимым презрением к ним. Его жгли раскаленным железом, запускали в тело иголки, но стойкость и воля не покидали его. После каждого «допроса», в его волосах появлялись седые пряди. На казнь он шел совершенно седой.

Иван Земнухов — один из наиболее образованных, начитанных членов «Молодой гвардии», автор ряда замечательных листовок. Внешне нескладный, но сильный духом, он пользовался всеобщей любовью и авторитетом среди молодежи. Он славился как оратор, любил стихи и сам писал их (как, впрочем, писали их и Олег Кошевой, и многие другие члены «Молодой гвардии»). Иван Земнухов подвергался в застенках самым зверским пыткам и истязаниям. Его подвешивали в петле через специальный блок к потолку, отливали водой, когда он лишался чувств, и снова подвешивали. По три раза в день били плетьми из электрических проводов. Полиция упорно добивалась от него показаний, но не добилась ничего. 15 января он был вместе с другими товарищами сброшен в шурф шахты № 5.

Сергей Тюленин. Это маленький, подвижный, стремительный юноша-подросток, вспыльчивый, с задорным характером, смелый до отчаянности. Он участвовал во многих самых отчаянных предприятиях и лично уничтожил немало врагов. «Это был человек дела, — характеризуют его оставшиеся в живых товарищи. — Не любил хвастунов, болтунов и бездельников. Он говорил: «Ты лучше сделай, и о твоих делах пускай расскажут люди». Сергей Тюленин был не только сам подвергнут жестоким пыткам — при нем пытали его старую мать. Но как и его товарищи, Сергей Тюленин был стоек до конца.

Вот как характеризует четвертого члена штаба «Молодой гвардии» — Ульяну Громову Мария Андреевна Борц,

учительница из г. Краснодона: «Это была девушка высокого роста, стройная брюнетка с вьющимися волосами и красивыми чертами лица. Ее черные, пронизывающие глаза поражали своей серьезностью и умом... Это была серьезная, толковая, умная и развитая девушка. Она не горячилась, как другие, и не сыпала проклятий по адресу истязателей... «Они думают удержать свою власть посредством террора, — говорила она. — Глупые люди! Разве можно колесо истории повернуть назад...»

Девочки попросили ее прочесть «Демона». Она сказала: «С удовольствием! Я «Демона» люблю. Какое это замечательное произведение. Подумайте только, он восстал против самого бога!» В камере стало совсем темно. Она приятным, мелодичным голосом начала читать... Вдруг тишину вечерних сумерек пронизал дикий вопль. Громова перестала читать и сказала: «Начинается!» Стоны и крики все усиливались. В камере была гробовая тишина. Так продолжалось несколько минут. Громова, обращаясь к нам, твердым голосом прочла:

Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем? Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!

Ульяну Громову подвергли нечеловеческим пыткам. Ее подвешивали за волосы, вырезали ей на спине пятиконечную звезду, прижигали тело каленым железом и раны присыпали солью, сажали на раскаленную плиту. Но и перед самой смертью она не пала духом и при помощи шифра «Молодой гвардии» выстукивала через стены ободряющие слова друзьям: «Ребята! Не падайте духом! Наши идут. Крепитесь. Час освобождения близок. Наши идут. Наши идут...»

Ее подруга Любовь Шевцова по заданию штаба работала в качестве разведчика. Она установила связь с подпольщиками Ворошиловграда и ежемесячно по нескольку раз посещала Ворошиловград, проявляя исключительную находчивость и смелость. Одевшись в лучшее платье, изображая «ненавистницу» советской власти, дочь крупного промышленника, она проникала в среду немецких офицеров и похищала важные документы. Шевцову пытали дольше всех. Ничего не добившись, городская полиция отправила ее в уездное отделение жандармерии

Ровеньки. Там ей загоняли под ногти иголки, на спине вырезали звезду. Человек исключительной жизнерадостности и силы духа, она, возвращаясь в камеру после мучений, назло палачам пела песни. Однажды во время пыток, заслышав шум советского самолета, она вдруг засмеялась и сказала: «Наши голосок подают».

7 февраля 1943 года Люба Шевцова была расстреляна.

Так, до конца сдержав свою клятву, погибло большинство членов организации «Молодая гвардия», — в живых осталось всего несколько человек. С любимой песней Владимира Ильича «Замучен тяжелой неволей» шли они на казнь.

В их подвиге, во всем их моральном облике выразились с огромной силой лучшие черты людей ленинской закалки. В них словно повторились черты лучших людей нашего народа — Дзержинского, Кирова, Орджоникидзе и многих других славных большевиков.

«Молодая гвардия» — это не одиночное исключительное явление на территории, захваченной немецкими оккупантами. Везде и повсюду борется гордый советский человек. И хотя члены боевой организации «Молодая гвардия» погибли в борьбе, они бессмертны, потому что их духовные черты есть черты нового советского человека, черты народа страны социализма.

Вечная память и слава юным молодогвардейцам — героическим сынам бессмертного советского народа!

Пусть трепещут кровавые немецкие псы перед расплатой, она настигнет их везде, куда бы ни пытались они скрыться от своих преступлений!

1943

ЛЕНИНГРАД В ДНИ БЛОКАДЫ

(Из дневника)

Город великих зодчих

На всю жизнь останется в моей памяти этот вечер конца апреля 1942 года, когда самолет, сопровождаемый истребителями, низко-низко шел над Ладожским озером и под нами на растрескавшемся, пузырившемся и кое-где уже залитом водой льду открылась взору дорога, единственная дорога, в течение зимы связывавшая Ленинград со страной. Ленинградцы назвали ее Дорогой Жизни. Она уже сместилась, расползлась и местами тоже была залита водой. Самолет шел прямо на дымный, багровый, расплывшийся шар солнца, а позади, на всем пространстве оставленного нами берега, лежал на верхушках хвойного леса весенний, нежный свет заката.

«Ленинград! Каким я увижу его? Каким он стал после всех трудностей первой военной зимы? Как выглядят его дома, улицы? Что передумали и перечувствовали за это время его люди? И каковы они теперь, эти люди?»

Такие мысли и чувства теснились в моей душе.

По сообщениям советской печати и по рассказам очевидцев я знал, сколь жестокой была зима 1941—1942 года для ленинградцев. В самую тяжелую ее пору норма хлеба для рабочих доходила до 200 граммов, а для служащих и не работающих членов семей —до 125 граммов.

Норма продовольствия была крайне скудной и недостаточной для жизни. Люди голодали и умирали от голода. Топлива едва хватало для поддержания наиболее важных промышленных предприятий, наиболее крупных госпиталей и совершенно необходимых учреждений. Весь город стоял без света, обледеневший. Трамвай не ходил. Водопровод и канализация не действовали. Улицы поросли толстой, в метр толщиной, ледяной корой, были завалены снегом и отбросами.

Вид пешехода — мужчины, женщины или подростка, везущего детские санки с прикрученным к ним телом покойника, обернутым в одеяло или кусок полотна, — стал обычной принадлежностью зимнего ленинградского пейзажа. Вид человека умирающего от голода на заснеженной улице, стал не редкостью в Ленинграде. Пешеходы проходили мимо, снимая шапки или сказав два-три слова участия, а иногда и совсем не задерживаясь, потому что помочь было нечем.

В течение осени 1941 года Ленинград подвергался сильным бомбардировкам с воздуха. Этой весной они возобновились. В течение осени и зимы Ленинград находился под систематическим артиллерийским обстрелом.

Всему миру известно, что при всех этих неимоверных трудностях и лишениях ленинградцы не только выстояли, не только отразили натиск вооруженной до зубов гитлеровской армии, но нанесли врагу огромные потери в людях и технике, проложили по льду Ладожского озера дорогу и благодаря этой дороге освободились от тисков голода.

Как совершилось это чудо истории? Где нашли люди Ленинграда эти силы?

Спутником моим по самолету был поэт Николай Тихонов, постоянный житель Ленинграда. Эту суровую зиму, так же как и зиму войны с Финляндией 1939—1940 года, он провел в Ленинграде, в рядах армии. На короткое время он был вызван в Москву Союзом писателей для выполнения некоторых работ литературного характера и сейчас возвращался в родной город. Он получил Сталинскую премию 1941 года за поэму «Киров с нами» и стихи, посвященные Отечественной войне советского народа против германского фашизма. Целая группа писателей, в том числе и Тихонов, пожертвовали свои премии на строи-

тельство танков. Дорогой Тихонов волновался, хватит ли их премий на постройку настоящего большого танка и попадет ли он в руки опытного боевого командира.

Была уже глубокая ночь, чуть подморозило, дул холодный пронизывающий ветер, доносивший до нас раскаты дальних одиночных орудийных выстрелов, когда на грузовой машине мы въехали в город.

И в неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами величественные и прекрасные перспективы Ленинграда: Нева, спокойно и величаво катившая свои холодные воды, набережная, каналы, дворцы, громада Исаакия, Адмиралтейство и Петропавловская крепость, вознесшие острые шпили к ночному небу.

В иных местах, зияя темными провалами окон или полностью обнажив развороченные внутренности, стояли дома, обрушенные фугасными бомбами или поврежденные снарядами. Но эти то одиночные, то более частые следы разрушений не могли изменить облика города великих зодчих. Он раскинулся передо мной совершенно такой же, каким я много раз видел его до войны. В его стройных перспективах, в его цельных ансамблях, в его строгости и размахе было что-то бесконечно прекрасное.

Николай Тихонов стоял на грузовике, покачиваясь на своих цепких ногах старого кавалериста. Сняв фуражку, горящими глазами он смотрел на родной город. Ветер развевал его рано поседевшие волосы.

— Смотри, смотри! — говорил он, схватив меня за руку. — Это необъяснимо... Я не узнаю его. Как это случилось?

Никаких следов обледенения или остатков слежавшегося почерневшего снега, никаких завалов мусора не было на чудесных улицах Ленинграда. Город был необыкновенно чист. Он был даже более чист, чем до войны. Его площади, набережные, улицы поблескивали в ночи, как стальные.

И тут же, на машине, из уст старого рабочего-грузчика мы услышали волнующую повесть о том, как жители Ленинграда очистили свой город от страшных следов зимней блокады.

— Надо было видеть, каким он был! — рассказывал старик. — Никто из людей не верил, что это можно убрать. А как стало пригревать солнце, навалились все, как один. И кого только не было на улицах! И домашние

хозяйки, и школьники, и ученые — профессора, и доктора, и музыканты, старики и старухи. Тот с ломом, тот с лопатой, тот с заступом, у того метла, тот с тачкой, тот с детскими саночками. Иные чуть ноги волочат. А то впрягутся человек пять в детские саночки и тащат, тащат — на большее силы нет. И что же? Посмотри, как убрали! — сказал старик, сам точно удивляясь, с улыбкой гордости на изможденном лице. — Ну-у, теперь мы оперились, — сказал он, продолжая какую-то свою мысль. — Дай только срок, мы еще взмахнем крылами. Пускай *он* не надеется! — закончил старик с той ровной, устоявшейся ненавистью, которая не нуждалась уже ни в какой аффектации, и кивнул в ту сторону, откуда доносились раскаты орудийных выстрелов.

И мы невольно посмотрели в ту сторону, а потом снова на город. Несокрушимый, он стоял, мощно раскинувшись в пространстве, строен и величав.

Рыбинская, 5

Название этой улицы и номер дома — вымышленные; я пишу эти строки в дни, когда город еще доступен артиллерийскому обстрелу. Это — квартира Тихонова.

Сколько нас, работников пера из всех республик и городов Советского Союза, ночевало под ее гостеприимным кровом! Сколько стихов прочитано здесь на всех языках наших народов, — стены этой квартиры опалены стихами. Сколько поэтической молодежи прошло через эти стены! И сколько людей всех профессий из разных концов нашей необъятной земли — от кочевника-скотовода до мастера завода и командира Красной Армии — побывало здесь!

Дом № 5 по Рыбинской улице находится на одном из участков города, излюбленном врагом для артиллерийского обстрела. Почему? Этого никто не может объяснить. Здесь нет ни крупных предприятий, ни каких-либо важных учреждений. Но изо дня в день враг шлет и шлет сюда снаряды. Одна из улиц, параллельная Рыбинской, почти разрушена артиллерийским обстрелом.

— Это наш передний край, а мы — во втором эшелоне, — шутя, сказал мне Тихонов, когда мы подъезжали к его дому.

Улица была пустынна и тиха. Я стоял с вещами у подъезда большого темного здания, такого тихого, что оно казалось вымершим и слышал, как звучат шаги Тихонова по темной лестнице до самого верхнего этажа.

Я слушал, как он стучал в дверь. Некоторое время постояла тишина, потом послышались женские возгласы, дверь распахнулась, и женские возгласы, радостные и возбужденные, покатились по лестнице.

И вот я снова, после года войны и блокады, был на Рыбинской, 5, среди сваленных как попало узлов и чемоданов, окруженный взволнованными смеющимися лицами, оглушенный множеством голосов. Все говорили сразу, каждый о своем, и я тоже что-то говорил.

— Скажи — ты свежий человек, — скажи, как мы выглядим? Похожи мы на дистрофиков? — спрашивала Мария Константиновна, жена Тихонова.

Впервые я слышал это слово «дистрофик», производное от слова «дистрофия», обозначающего страшную болезнь истощения.

— Нет, я думаю, мы не похожи на дистрофиков. Главное — работать и работать, тогда ничто не страшно. Вы посмотрите на моих оленей, — указывая на картину, изображающую оленей, говорила дочь умершего зимой художника Петрова, жившая теперь у Тихоновых.

— Ты обязательно должен сходить в наш детский дом, — говорила мне свояченица Тихонова, Ирина Мерц.— Ты знаешь, мы выходили всех детей, мы ни одному не дали умереть. Ты знаешь, ведь я и Оля, — она указала на дочь, — работаем теперь в детском доме.

— Нет, мама я так волнуюсь о Ясике! — одновременно с матерью говорила дочь. — Ясик — сиротка, отец у него на фронте, мать умерла, и он такой слабенький, — все повторяла она, обращаясь ко мне.

Тут же стояла молодая женщина, видимо, из крестьянок. Я узнал, что она колхозница, бежавшая в Ленинград при приближении немцев и нашедшая приют у Тихоновых. Она была на восьмом месяце беременности. Муж ее был на фронте.

— А что ему нужно, маленькому Ясику? — спросил я.

— Ему нужна манная кашка.

Я раскрыл чемодан и достал кулек манной крупы.

— Чудесно! Мама, я завтра же с утра пойду к нему и сварю ему манную кашку, — восторженно говорила

девушка. — Это ему надолго хватит. Теперь Ясик будет жить. Вот это чудесно!

На ней, как и вообще на людях ее возраста, и прежде всего на девушках и молодых женщинах, в первую очередь сказалось общее улучшение в продовольственном положении Ленинграда. Это была здоровая, краснощекая и, на первый взгляд, веселая девушка. Но я заметил в ее глазах, как замечал впоследствии в глазах многих ее сверстниц, особенное, взрослое выражение, возникавшее в минуты, когда она молчала. Этой зимой она потеряла отца.

Мы привезли с собой некоторое количество масла, сыра, икры, сахара и, конечно, тут же хотели всем поделиться и стали все выкладывать на стол.

— А это вы зря, — спокойно сказала Мария Константиновна. — Нам столько не надо: вам многое придется раздать товарищам. А кроме того, вам самим придется здесь пожить некоторое время, и это вам еще пригодится. Завтра я все это приведу в порядок, а сейчас я напою вас чаем и накормлю с дороги рисовой кашей.

Мария Константиновна отсыпала из кулёчка рисовой крупы, сполоснула ее водой и поставила на железную печку вариться.

Потом необыкновенно быстро и ловко, точно она всю жизнь занималась этим, она финским ножом расколола мелкое поленце на щепочки и побросала их в печурку.

— Настоящие дрова у нас появились только сегодня, — говорила она, не прекращая своей работы. — Здесь неподалеку от артиллерийского обстрела пострадал маленький деревянный домик, и районный совет разрешил нашему кварталу использовать его на дрова. Мы с Ирой и Олей сами пилили бревна и сами носили сюда, на шестой этаж. Я даже не знала, что мы такие сильные. А до этого мы мебелью топили, мебель прекрасно горит, замечательные дрова! — говорила она, полная презрения к истинному назначению мебели и с искренним уважением к ней, как к одному из видов топлива. — Ты знаешь, что мы никогда не имели пристрастья к барахлу и не украшали своей квартиры красным деревом. Но только этой зимой обнаружилось, сколько за двадцать лет накопилось в доме ненужной мебели. Я сожгла уже целый гардероб, несколько кресел, этажерок, рам для картин и вижу, что еще хватило бы на целую зиму.

Мы сидели в полумраке. Электричества не было. Лампы не зажигали из экономии керосина. Чуть мерцали, дымя, две коптилки — по случаю нашего приезда, обычно горела только одна.

Я не узнавал обстановки, привычной и неизменной на протяжении полутора десятка лет, в течение которых я ее знал. Все было сдвинуто и перемещено или, как выражаются кинематографисты, перемонтировано, применительно к новым условиям быта. Основой этого быта могла быть только одна комната и именно та, в которой мы сидели, потому что в ней помещалась единственная в квартире печка. Комната была приспособлена под кухню, спальню, рабочий кабинет. В квартире было холодно: дом сильно промерз за зиму и все не мог отогреться.

По общему облику квартиры можно было видеть, что хозяева делают все, чтобы она имела жилой вид. Но независимо от их воли вся квартира потемнела, точно закоптилась. Паркетный пол давно не натирался, — некому и нечем было натирать. Часть стекол в окнах вылетела от артиллерийской стрельбы и была заменена фанерой. Водопровод не действовал, воду приходилось носить снизу ведрами.

Я много лет знал людей, которые окружали меня. Это были все те же люди. Все те же, но и другие. Да, в них было что-то новое. Что? Я не мог сразу уловить, понять.

Я помнил Марию Константиновну большой, физически сильной женщиной, всегда просто и со вкусом одетой. Теперь она была в домашнем рабочем комбинезоне, в повязанном поверх него синем фартуке. Она сильно похудела, черты ее лица обострились, но в нем обозначились энергия и какая-то новая моральная сила. Внешне она походила теперь на долговязого рабочего парнишку. По ее свободным широким движениям и по тому, как выглядела ее одежда, можно было видеть, что ей пришлось в течение этой зимы выполнять много черной физической работы.

Об этом, прежде всего, говорили ее руки. По профессии Мария Константиновна — художница, художница в специфической области. Она делает куклы тончайшей работы для кукольных театров, для выставок, для театральных макетов и просто для себя. Ее руки были словно приспособлены для этой работы, с длинными кистями, нервными, сильными и точными в движениях пальцами. Это

были все те же руки, пальцы стали еще тоньше, но в складках рук и на суставах пальцев отложились неистребимые следы тяжелой физической работы. За эту зиму ей пришлось выполнять много такого, от чего до войны и блокады были свободны женщины интеллигентного труда: носить дрова и воду на верхний этаж по обледеневшим ступеням, скалывать лед и колоть дрова, топить печурку, стирать, стряпать, мыть полы, ухаживать за чужими детьми, выносить из дому умерших родственников и вместе с другими очищать свой квартал от снега и мусора с наступлением весны.

Я не осудил бы ее как художницу, если бы она при постороннем человеке, видевшем ее в лучшие времена, стала стесняться этих своих рук. Еще большее право имела бы она гордиться передо мной этими своими руками после всего пережитого. Но она не стеснялась своих рук и не гордилась ими. Она стала другой женщиной, женщиной осажденного Ленинграда и, как все женщины этого города, спокойно, свободно и естественно выполняла то, что надо было. И если в выражении ее лица и в ее словах проскальзывали иногда черты и нотки гордости, это была гордость за Ленинград, которая так характерна для всех ленинградцев, перенесших трудности военной зимы и блокады.

— То, что мы все здесь пережили, это было испытание характера, — говорила Мария Константиновна, сидя на маленькой низенькой скамейке возле печурки и то подбрасывая в нее щепки, то помешивая рисовую кашу. — Если не считать стариков, людей больных или от природы слабых здоровьем, из нормальных здоровых людей прежде всего умирали те, кто был слаб характером, кто морально опускался, утрачивая волю к труду, и слишком много внимания обращал на желудок. Я уже видела — если человек перестает мыть себе шею и уши, перестает ходить на работу и сразу съедает свой паек, лежа под одеялом, — это не жилец на белом свете. Но мы, русские люди, — трехжильные. О ленинградцах можно сказать, что они выжили назло врагу. Николай сколько раз предлагал мне уехать, а я не уезжала, потому, что знала, что я и ему нужна, и такие, как я, нужны в городе, потому что я все могу перенести. Если залезть на крышу нашего дома, а мы там всю осень дежурили и тушили зажигалки, — оттуда видно все расположение немецких частей. И если бы

они знали, с кем имеют дело, они давно бы бросили все и убежали. Ведь любая домашняя работница, любой сопливый мальчишка давно уже не боятся их и презирают их и не сомневаются в том, что им не только Ленинграда никогда не взять, но что они не уйдут отсюда живыми.

И снова я заметил эту черту, характерную для подавляющего большинства ленинградцев, переживших блокадную зиму: ощущение города как своего единого большого дома и всех ленинградцев как единой большой семьи, прошедшей через общее для всех тяжелое испытание. Как и во всякой семье, одни члены семьи обнаружили свои наиболее сильные стороны, а были и такие, что повернулись наиболее слабыми сторонами. Были отдельные члены семьи, которые повели себя дурно, но зато столько выдвинулось героев — гордости всей семьи! И при всем сложном переплете личных и иных отношений дом от врага отстояли, а семья в подавляющем своем составе оказалась крепкая, сплоченная, удивительная семья. И когда ленинградец рассказывает о перенесенных им испытаниях, он всегда говорит как представитель этой удивительной, крепкой семьи и как хозяин этого большого удивительного дома.

Когда разговариваешь с ленинградцами, это чувство единого дома и единой семьи сразу включает свежего человека в строй самых больших и важных мыслей о войне, о смысле ее, о нашем народе, о родине, о ее прошлом, настоящем и будущем. Эту первую ночь в Ленинграде мы совершенно не ложились спать и все говорили, говорили, и мы знали, что мы должны говорить и не можем расстаться, пока не выговорим всего. Мы пели старинные русские песни и без конца читали стихи. Уже можно было поднять темные занавеси на окнах и потушить коптилки.

— Только подумай! Фашисты стоят под городом, а мы вот сидим здесь, переговорили о всей нашей жизни, о всей нашей истории и вот поем песни — и плевать хотели на фашистов! — весело говорил Тихонов. — Они все сгниют в земле, а город наш все будет стоять и мы будем в нем жить, трудиться, писать стихи и петь наши русские песни.

Да, несмотря на то, что враг стоял под самым городом, Рыбинская, 5 по-прежнему оставалась несокрушимой цитаделью поэзии и жизни.

Я был разбужен грохотом зениток. Апрельское солнце стояло в окне, и с моего дивана видно было, как вспыхивают в небе круглые, белые, сверкающие тугие облачка.

Тихоновы пили чай; видно, они и не ложились.

— Воздушная тревога? — спросил я, входя в комнату.

— Может быть, — отвечала Мария Константиновна, — у нас в квартире нет радио.

— Тебе надо идти в убежище.

— Кто же из ленинградцев ходит в убежище?

— Вот и глупо. Можно погибнуть из-за случайности.

Мария Константиновна вдруг прямо взглянула на меня, хотела что-то сказать, но не сказала и стала молча пить чай, мелко прикусывая сахар. Я понял, что после всего, что она пережила, трудно запугать ее бомбежкой.

— Как я узнаю, когда отбой? — спросил я.

— Ты это узнаешь по трамвайным звонкам. Если пошел трамвай, значит, отбой.

— А давно у вас возобновился трамвай?

— Недавно. Это было такое чудо, что люди со всего города сбежались его смотреть. Некоторые плакали. И в первый день все уступали друг другу дорогу и даже уступали места в трамвае. В этом было что-то... — она подумала, подыскивая слово, и неожиданно сказала: — дистрофическое. Теперь, слава богу, на трамвайных остановках уже давка, все уже ругаются по-прежнему, и это первый признак, что люди оживают.

Ленинградская улица была особенной улицей, непохожей на улицу любого другого города СССР.

Дома, как старые ветераны, несли на себе следы то больших, то меньших ранений. У иных выбиты стекла, у иных стены исковерканы осколками снарядов, а иные стоят вовсе словно без ноги или без руки. Но среди этих домов-ветеранов на улице продолжалась живая, неумирающая жизнь большого столичного города.

Стены зданий, заборы, киоски, витрины взывали к ленинградцам десятками и сотнями воззваний, плакатов, обращений. Среди них были оставшиеся от первых дней войны или от осени 1941 года. Потемневшие от времени, они для приезжего человека являлись наглядными свидетелями истории. Да, осада Ленинграда уже имела свою историю, запечатленную на стенах города.

Среди этих молчаливых свидетелей грозных дней я увидел свежие афиши о том, что в зале Филармонии состоится бетховенский концерт под управлением К. И. Элиасберга, а в Музыкальной комедии готовится премьера «Лесная быль».

В течение всей войны происходила эвакуация населения из Ленинграда. Даже в течение зимы 1941—1942 года по Ладожской дороге было вывезено из Ленинграда свыше семисот тысяч человек. Нечего скрывать, что известная часть населения Ленинграда вымерла от холода и голода. И все-таки в Ленинграде было еще очень много народа.

Прежде всего это был город военных и моряков. Армия и флот, их защитное и синее обмундирование давали основной тон улице Ленинграда. И — это был город в осаде, где гражданское население в значительной своей части было военизировано. Через ряд переходных звеньев гражданское население незаметно превращалось в военное и сливалось с ним: милиция, ПВО, работники госпиталей, Всевобуч, работники связи, военизированные работники советских, партийных, общественных организаций. То там, то здесь на улицах и площадях шло военное учение. Здоровый вид этих людей, их военная выправка, их жизнерадостность и юмор давали тон всей улице. По тому, как много в этой ленинградской толпе было женщин и девушек в военной и полувоенной и даже флотской форме, можно было судить, насколько выросла роль женщины во всем деле обороны Ленинграда.

По внешнему виду толпы можно было судить и о перенесенных ленинградцами лишениях, и о том, что эти лишения остались позади.

Еще очень много было изможденных лиц. Изредка попадались сидящие на приступке у подъезда или бредущие на тонких ногах настолько высохшие люди и с такими черными лицами, что видно было: этих уже вряд ли спасти. Но это были одиночки. Большинство в толпе составляли люди здоровые, энергичные, деятельные, и люди, точно оправившиеся после тяжелой болезни, находящиеся на той ступени физического становления и духовного подъема, когда уже видно, что жизнь в человеке восторжествовала.

Вот двое, муж и жена, уже совсем здоровые, оживленные, ведут под руки пожилую женщину, должно быть

мать одного из них. Она тихо передвигает слабыми ногами, конфузливо улыбается, точно стесняясь своей слабости. А они ведут ее медленно, ласково, бережно. Иногда — это две пожилые подруги ведут третью, иногда — это жена ведет под руку более слабого мужа.

Некоторые вещи, обычные в любом другом месте, приобретают характер значительности в Ленинграде. Я видел, как красноармеец помог сесть в трамвай измождённой маленькой старушке. Он подхватил ее сзади под мышки сильными руками и поднял через все ступеньки прямо в тамбур. Она обернулась к нему и вдруг сказала с глубокой серьезностью:

— Спасибо, сынок... За то ты останешься жив. Запомни мои слова — пуля тебя не возьмет.

Ленинградская толпа этого первого дня моего пребывания в городе не была яркой весенней уличной толпой. Несмотря на солнечный день, было еще прохладно, да, видно, в ленинградцах еще жива память о зимних холодах, — холод гнездился в их костях. Люди ходили в осенних пальто, а многие, особенно из старых людей, еще в зимних шубах и шапках.

Во весь уличный пейзаж необыкновенно трогательное оживление вносили дети. Их вывели на солнце из детских домов. Они, щебеча, играли в скверике или катались по панели на трехколесных велосипедиках, или возились с игрушками на солнечной стороне улицы. А иные, более слабые, тихо и серьезно, нахохлившись, сидели на солнышке в своих белых капорах. Они еще только отогревались, только приходили в себя.

Со времен гражданской войны Ленинград сохранил традицию расклеивать на улицах газеты как местные, так и московские. Московские газеты доставлялись в Ленинград в матрицах и здесь печатались. «Ленинградская правда» выходила теперь на двух полосах. Я подошел к группе людей, столпившихся у свежего номера «Ленинградской правды». На первой полосе было извещение об итогах двух массированных налетов врага на Ленинград. Враг совершил две попытки массированных налетов — в начале апреля и накануне того дня, когда мы прилетели в Ленинград. Враг пытался повторить то, что он безнаказанно делал осенью. Но он не знал, что Ленинград владеет теперь сильной авиацией. Во время обоих налетов врагу удалось сбросить на город известное количество

бомб, но он понес сильное поражение в воздухе. Нашей авиацией и зенитной артиллерией были сбиты десятки самолетов. Ленинградцы живо комментировали это сообщение.

— А ну-ка, посмотрим, что пишет товарищ Андреенко! — значительно и весело сказал пожилой гражданин, протиснувшись к газете.

Я пробежал глазами полосы, ища статью за подписью Андреенко, но такой статьи не было. Тогда я проследил, куда устремлены глаза пожилого гражданина, и увидел, что он читает извещение отдела торговли Ленинградского совета. Оно было подписано начальником отдела товарищем Андреенко.

Это было извещение о выдаче продовольствия для всех категорий населения к предстоящему празднику Первого мая. К выдаче была объявлена повышенная норма мяса, пшена, гороха, сельдей, сахара. Кроме того, по случаю праздника была объявлена выдача водки и пива. Я понял, что именно этим объясняется такое количество женщин на улицах с сумками и сетками для продуктов и то оживление, которое я читал на всех лицах.

Идя по улице, я заглядывал в булочные и продовольственные магазины. В этот первый день, как и все последующие, я нигде не встречал очередей, — магазинов было вполне достаточно, чтобы обслужить население. Очереди образовывались у газетных киосков, у молочных, где получали соевое молоко для детей, и у столовых усиленного питания. Столовые эти должны были в относительно короткие сроки, в несколько очередей, пропустить наиболее ослабевшую часть населения Ленинграда. Естественно, в городе не хватало достаточного количества оборудованных помещений.

Когда со стороны проспекта Карла Либкнехта я подошел к Тучкову мосту, послышался визг снаряда, — он разорвался где-то на Васильевском острове. За ним — другой, третий. Снаряды ложились за домами по той стороне моста. Видны были внезапно вставшие над домами столбы разрывов.

Никто и никак не отозвался на этот артиллерийский обстрел. Большая кучка народа, ожидавшая трамвая у Тучкова моста, продолжала так же стоять, и так же извивалась по тротуару очередь в столовую усиленного питания на углу. Пешеходы, переходившие по Тучкову

мосту с Петроградской стороны на Васильевский остров, продолжали свой путь, хотя они шли в сторону падающих снарядов. Трамваи проходили с Васильевского острова и уходили туда же. Жизнь города ни в какой степени не нарушалась.

Я перешел Тучков мост и по Первой линии вышел на угол проспекта Пролетарской победы. Я увидел, что снаряды ложатся в глубине проспекта, но не на самом проспекте, а где-то в районе 11-й линии и глубже — в сторону 13-й, 15-й, 17-й и т. д. Где-то там что-то горело, и черный дым вздымался к небу. По проспекту движение прекратилось. Но люди никуда не прятались, они просто стояли у стен домов или в подъездах и подворотнях, дожидаясь, когда обстрел кончится.

Из ворот одного из ближайших зданий вышла группа девушек в белых халатах и косынках с сумками с красным крестом. Две из них несли пустые носилки. Я пошел вместе с девушками.

Мы шли по свежим следам разрушений. Один снаряд попал на самый проспект в районе 11-й линии, разворотив мостовую. Осколки снаряда сильно побили окна и стену здания по одной стороне проспекта, но, судя по тому, что ни в здании, ни вокруг не было никакого оживления, здание это было пустым.

Мы прошли немного дальше и в глубине 14-й линии, в сторону к Неве, увидели группу народа, окружившего и рассматривавшего что-то на панели. Девушки побежали в том направлении — и я за ними. Здесь лег тяжелый снаряд, разворотив панель и фундамент здания. Осколки камня, кирпича и известковая пыль покрывали панель. Блестящий осколок лежал среди известки. Я поднял его, он был еще теплый.

На панели лежала пожилая худощавая женщина. В скрюченной руке ее зажата была сетка, в которой виднелся хлеб, хвост селедки, торчащей из газеты, и какие-то кулечки. Несколько кровавых пятен расплылось на пальто возле бедра и плеча. Но погибла она от осколка, попавшего ей в голову. Ярко-красная, слепящая на солнце лужа крови растекалась по асфальту.

— Этой уже ничем не поможешь, — спокойно сказала одна из девушек-санитарок.

— Все равно надо убрать, — сказала старшая среди них.

Она быстро склонилась над женщиной и, стараясь не запачкаться кровью, стала осматривать карманы ее пальто.

— Вот видишь — паспорт и деньги. Зина, посмотри ее адрес, отнесешь продукты и скажешь домашним... А где ж карточки? — рассуждала она сама с собой. Она расстегнула женщине кофточку на груди, запустила пальцы за лиф и извлекла засаленные хлебные и продовольственные карточки. — Ну вот они, слава богу. Отдашь и карточки. А то подумай, какое несчастье в семье — остаться без карточек...

Я вернулся на проспект и пошел к горящему дому. Снаряды ложились уже где-то в районе гавани. Горел деревянный, бревенчатый дом: его тушила не городская пожарная команда, а группа женщин и молодых людей из местной противопожарной дружины. Они, видно, не в первый раз занимались этим делом. Работало несколько брандспойтов. Парнишки, бесстрашные, полные презрения к огню, ловко растаскивали домик по бревнам и тут же окатывали их водой. Поразительно было не то, что обычные гражданские люди так споро и умело ликвидировали пожар, а то, что решительно никто, кроме меня, не наблюдал за этим зрелищем. Не было зевак возле пожара. Обстрел ушел дальше, люди, не занятые тушением пожара, просто шли по своим делам.

В течение этих первых дней моего пребывания в Ленинграде мне приходилось часто бродить по его улицам. На стенах зданий, на заборах, на дощатых обшивках окон подвальных этажей можно было встретить рукописные или отпечатанные на машинке объявления. Это были предложения обменять костюм, или обувь, или золотые и серебряные предметы, или дорогую мебель на хлеб или продукты.

Было бы странным, если бы в блокированном городе не было попыток спекуляции. Но, как я впоследствии узнал, спекуляция в Ленинграде не приобрела и не могла приобрести широкого распространения. Спекулировать в ленинградских условиях мог только человек, обладающий хлебом и продуктами питания, то есть преступник, обкрадывающий государство, ибо только государственные органы обладали запасами хлеба и продуктов. Но преступника, изобличенного в такого рода преступлении, могла ждать только одна кара — расстрел.

В Ленинграде был и сохранился до нынешних дней рынок. Это рынок обмена вещей на хлеб и продукты питания. Это своеобразный «рынок неимущих»: обмениваются люди, которые решили отказаться от чего-нибудь одного по необходимости приобрести другое. Если мне нужны ботинки, я решил сегодня поступиться своим хлебным пайком. Но, конечно, меновая стоимость хлеба и продуктов питания настолько высока на этом рынке, что можно, к примеру, за кило хлеба приобрести часы, а за стакан клюквы дамскую рубашку.

В некоторых случаях такие меновые операции узаконены и регулируются государственными органами. Так, на рынке в Лесном я видел колхозниц, с разрешения местной власти меняющих натуральное коровье молоко на хлеб из расчета пол-литра молока за шестьсот граммов хлеба.

Но для того чтобы понять Ленинград и ленинградцев, нужно знать еще один факт. В течение всей блокадной зимы, весны и по сей день никто не торгует так продуктивно в Ленинграде, как книжные магазины. Тогда, в апреле, я был поражен количеством книжных киосков и просто вынесенных из магазинов на тротуар столиков со стопками книг, вокруг которых с утра до вечера сменялись покупатели. Известно, что до войны хорошая и даже не очень хорошая книга в нашей стране шла нарасхват. Книгу трудно было найти, ее почти невозможно было купить индивидуальному покупателю. Книги, издающиеся в Ленинграде, поступают теперь только на внутренний городской рынок: их не на чем и некуда вывезти. В течение зимы Ленинградское отделение Государственного издательства художественной литературы выпустило «Войну и мир» Л. Толстого, «Красное и черное» Стендаля, «Цитадель» Кронина и некоторые другие книги. Они разошлись немедленно.

Из Ленинграда эвакуировались сотни тысяч людей. Они не могли вывести с собой свои библиотеки и продавали их в государственные букинистические магазины. Появилась возможность приобрести книги, которые раньше почти невозможно было достать. И букинистические магазины торгуют очень бойко.

И все-таки самое сильное впечатление в эти первые дни производил внешний облик Ленинграда. Его сады, скверы, пустыри взрыты под блиндажи, щели, окопы,

убежища. Он обладает зенитной артиллерией неслыханной огневой мощи, и, где бы ты ни шел, ты снова и снова натыкаешься на зенитки, замаскированные от наблюдения с воздуха, и вокруг них — обучающиеся расчеты то в армейской, то во флотской форме. Город обнесен сетью баррикад. Он покрыт дотами и дзотами, в домах его бойницы и пулеметные гнезда. Дети так же привыкли к проезжающим через город танкам, как к легковым и грузовым машинам. И только обилие газогенераторных машин свидетельствует о том, какую Ленинград соблюдает экономию в бензине. И днем и ночью над Ленинградом барражируют наши самолеты. Ленинградец привык к их звуку и так же легко, как опытный боец, различает звуки вражеского самолета, когда он появляется в воздухе.

Так выглядела ленинградская улица в апреле.

На трамвае на фронт

В Союзе писателей я застал политрука, молодого загорелого парня в пилотке и сильно пропыленных сапогах. Он, видно, попал сюда издалека и очень торопился. Пот катил с него ручьями, и сквозь его суконную гимнастерку зимнего образца под мышками и на груди проступили темные пятна. Выражение глаз его было очень утомленное, он едва подымал почерневшие от бессонницы веки.

Группа молодых писателей окружала его, он записывал на бумажку их имена и фамилии.

— Куда вы собираетесь? — спросил я, здороваясь со своими товарищами, которых не видел еще с весны 1941 года.

— Поедемте с нами. Это политрук из части истребителей танков. Мы должны у них сегодня выступать.

— А где вы стоите? — спросил я политрука.

— Сейчас я вас запишу чтобы заказать вам пропуск в Политуправлении, поедемте к нам на фронт,—отвечал он.

— Это так внезапно. Пожалуй, я не успею собраться.

— А чего, собственно, собираться? Сядем на трамвай — и там. А завтра поутру вернетесь.

Не прошло и получаса, как мы уже ехали на трамвае к одному из участков Ленинградского фронта. Возглавляла нашу группу писательница Вера Кетлинская, все наиболее тяжкие дни блокады выполнявшая

с исключительной твердостью и мужеством работу секретаря Ленинградского отделения Союза писателей. Мы проезжали одной из исторических окраин Ленинграда. Здесь разрушения, причиняемые ежедневным артиллерийским обстрелом, были заметнее. И улицы, и дома несли на себе следы более частых попаданий. Улицы опоясаны были сетью баррикад. В различных пунктах, на перекрестках, у мостов выстроены были орудийные доты и дзоты. Почти во всех подвальных помещениях были поделаны пулеметные гнезда и бойницы.

Но район жил той же жизнью, что и весь город. Население никуда не переселилось и не стремилось переселяться из своего района. Так же работали магазины, булочные, столовые усиленного питания. На улицах так же были расклеены газеты, воззвания, афиши, так же играли дети. И трамвай был полон народа, возвращавшегося с работы домой. Негде было сесть. Наш политрук почти засыпал стоя.

— Вы устали? — спросил я его.

— Да, мало приходится спать. Часть наша разбросана по фронту. Я работаю как начальник клуба. Политико-просветительную работу приходится вести и в подразделениях, которые находятся на переднем крае, и на нашей основной базе, там где штаб и где мы обучаем резервы. Каждые сутки десятки километров исходишь пешком.

— Но вы удовлетворены своей работой?

— Еще бы! Так приятно доставить радость бойцу. К нам приезжают из города и лекторы, и докладчики, и писатели, и артисты. Вы увидите, как бойцы будут вам рады.

Мы доехали до конечного пункта трамвая. Здесь была военная застава, где проверяли документы. Но это еще не был конец жилой зоны. Километра два мы шли еще по населенным улицам, жители этого района имели постоянные пропуска. Но этот участок района отличался от предыдущего тем, что здесь повсеместно стояли воинские части. Здесь было больше военных, чем гражданских людей. Этот район был уже густо укреплен и обнесен сетью различных противотанковых препятствий.

Мы прошли еще несколько застав, где у нас проверяли документы, и наконец подошли к последней заставе почти за городом, где уже не было ни одного гражданского человека. Мы попали в дальние эшелоны одного из участков фронта.

Уже вечерело. На переднем крае началось боевое оживление — предвестник ночных боевых действий. Доносились звуки пулеметной и ружейной стрельбы, то смолкавшие, то возникавшие снова с удвоенной и утроенной силой. Где-то на правом фланге развертывалась артиллерийская дуэль.

Часть, в которую мы прибыли, была своеобразной и разносторонней школой истребителей танков. Инициатором этой школы был командир части майор Заводчиков, старый кадровый командир, участник гражданской войны, широкодушный, полный народного юмора, русский хлебосол, охотник, сабаковод и любитель природы.

Пока шел наш литературный вечер, наступила ночь. На различных участках на переднем крае завязалась ожесточенная перестрелка. Наша артиллерия и артиллерия противника тоже вступили в дело, и под конец уже трудно было расслышать выступающих на вечере литераторов.

Майор Заводчиков, комиссар части и я расположились спать во временном бараке среди лесочка. Потушив свет, мы открывали окна. Ночь была ясная, звезды мерцали в небе. Пушки били так близко, что казалось — барак вот-вот рассыплется.

Спать не хотелось. Майор Заводчиков все расспрашивал о писателях, которых знал и почитал. Он очень любил Пришвина, как знатока природы и охоты, а вместе с детским писателем Чарушиным, умевшим так просто и хорошо рассказать детям о природе и о животных, он не раз охотился.

Я всегда люблю эти ночные разговоры на фронте, когда люди естественно и просто раскрывают свою душу и оборачиваются друг к другу самыми лучшими своими сторонами.

— Да, был я совсем молодым парнем, когда сражался здесь же, в этих местах, — говорил майор Заводчиков. — Это мои родные места, сколько раз я охотился тут... Тогда, в восемнадцатом году, мы дрались с Юденичем. Это была гражданская война, она шла по всей стране, и не было ничего странного в том, что вот мы сражаемся здесь с белогвардейцами. Могли ли мы думать тогда, что немцы... Немцы! — воскликнул он вдруг с заклокотавшей в его голосе ненавистью, — будут под самым Ленинградом, будут топтать наши родные земли, рушить наши

памятники, наши святыни. Видели бы вы, что они сделали с Пушкиным, Павловском, Гатчиной, Петергофом!.. Сволочи, сволочи!..

Эти слова майора Заводчикова, вернее, это чувство, владевшее им, я вспомнил много времени спустя, в совершенно иных условиях. Я находился на артиллерийском наблюдательном пункте в городе Колпино вместе с подполковником артиллерии Шубиным. Город Колпино, где находится знаменитый в истории России Ижорский завод, прославился своей величественной обороной, выделяющейся даже среди многих славных дел ленинградцев. Когда немцы подошли к Колпину, рабочие-ижорцы решили лечь костьми, а не сдавать ни завода, ни города. И вот фронт пролег под самым городом, город и завод подвергались систематическим бомбежкам с воздуха и не прекращающемуся ни днем, ни ночью артиллерийскому обстрелу. Ижорцы нескольких поколений, от грудных детей до глубоких стариков и старух, гибли от осколков вражеских бомб и снарядов. Но Колпино по-прежнему находится в руках ижорских рабочих, а завод работает несмотря ни на что.

Колпино сильно разрушено. В то время, когда мы с подполковником Шубиным находились на артиллерийском наблюдательном пункте, враг методически, бесцельно, бессмысленно бил из полевых пушек по деревянным домикам и баракам. В нескольких километрах перед нами, почти на окраине города, пролегал наш передний край, — там шла оживленная перестрелка. Но мирная жизнь в городе не прекращалась. Женщины на пруду полоскали белье. Две девушки на перекрестке что-то говорили друг другу, смеясь. Старуха в черном платке медленно шла по улице, неся на руках полугодовалого внучонка. Внучонок спал.

Я понял, что наши женщины не то что привыкли к варварскому разрушению их жилищ, к гибели близких, — к этому привыкнуть нельзя, — но они относятся к врагу с презрением. Да, то, что они испытали, было чувство глубокого, органического презрения к врагу.

С подполковником Шубиным мы рассматривали на карте расположение всего Ленинградского фронта, и по моей просьбе подполковник Шубин, указывая рукой в пространство, помогал мне понять по местности то, что мы видели на карте.

— Ну, Петергоф, — вы знаете, он где. Его, конечно, отсюда не видать. Вот в том направлении будет Стрельня, — в Стрельне немец. Вон Пулково, в Пулкове — немец, а высота наша. Там вон будет Пушкино, видите лесок? В Пушкине — немец. А это вот уже Колпино. В Колпине, как видите, мы... — Вдруг он обернулся ко мне и с сердцем сказал: — Говорю вот — Стрельня, Пулково, Пушкино и точно сам себя бью ножом в сердце. Ведь это же все наши родные места! В этих местах мы росли, учились, любили. А для человека, который не жил здесь, все равно одни названия этих мест звучат, как Россия, как мать, как колыбельная песня... Все загадили, осквернили. Обрекли на муки голода наших детишек, жен, матерей! Ну, да ладно, — вдруг махнув рукой, с волнением сказал он, — раз уж зашли к нам, не уйдут от нас живыми.

Это было точно продолжение ночного разговора с майором Заводчиковым. Подполковник Шубин говорил даже почти теми же словами. Видно, это чувство одинаково жило в их душах, как и в душах сотен тысяч и миллионов русских людей.

Командиру батареи, находившемуся здесь же, на наблюдательном пункте, было не до наших разговоров. Он был занят своим делом. И пока говорил подполковник Шубин, в речь его все время врывалась артиллерийская команда, которую командир батареи кричал в трубку резким фальцетом. Наши орудия гремели где-то за нашей спиной, и видно было, как на переднем крае немцев ложились гулкие и черные разрывы наших снарядов.

«Хорош блиндаж, да жаль, что седьмой этаж»

Вечером первого мая вместе с другими ленинградскими писателями я выступал по радио. В Ленинграде, как и во всей стране, Первое мая было рабочим днем. Но, несмотря на то, что все учреждения и предприятия работали, ленинградцы ощущали этот день как праздник. Днем на солнечных улицах чувствовалось повышенное оживление. На вечер не назначили никаких собраний и внеочередных работ, чтобы дать возможность по рабочей ленинградской традиции отметить праздник хотя бы у себя дома.

Надо представить себе всю тяжесть ленинградской зимы в период блокады, чтобы понять, какое значение для ленинградцев имело радио. В самую жестокую пору зимы, — когда ленинградец, отрезанный от всего мира, разобщенный со своими товарищами отсутствием транспорта в обледеневшем городе, сидел у себя в холодной квартире, греясь у железной печурки, — радио связывало его со всей страной, со всем миром и включало его в общую боевую и трудовую жизнь блокированного города.

Он слышал по радио голоса своих политических деятелей, прославленных командиров и героев обороны, голоса известных ему писателей и артистов. По радио он узнавал, когда городу угрожает наибольшая опасность, и подымался на призыв рупоров; радио информировало его обо всем, что делается в стане врагов и какой отпор врагу дают сыны Ленинграда на фронте.

Но, для того чтобы радио могло выполнять эту свою роль, его должны были обслуживать, поддерживать люди, находящиеся в таких же суровых условиях жизни, как и все остальные ленинградцы. Что же это за люди, нашедшие в себе силы вести, не прекращая ни на минуту, эту работу исключительного интеллектуального напряжения?

С такими мыслями поднимался я по каменным ступеням промерзшего здания Ленинградского радиокомитета.

На простенке одной из лестничных площадок висел свежий первомайский номер местной стенной газеты с любовно и наивно раскрашенным заголовком. Среди прочего материала я увидел портрет девушки с прямым и ясным взглядом крупных глаз и ниже портрета — обведенный черной каймой некролог, посвященный этой девушке. Некролог скупо говорил о том, как эта девушка в тяжких условиях зимы день за днем, недоедая, недосыпая, коченея за письменным столом, вела свою редакторскую работу. Потом, по заданиям Радиокомитета, она выехала на фронт и была убита. Это была одна из тех юных дочерей нашего народа, память о которых будет вечно жива в народном сердце. Рядом с некрологом было помещено наивное, трогательное и теплое стихотворение, посвященное ей, — одно из тех стихотворений, которые в иных случаях действуют с более разительной силой, чем стихи мастера.

Здесь меня перехватил один из редакторов художественно-литературного вещания.

— Ты пришел слишком рано, поднимемся к нам, — сказал он, с необыкновенной энергией подхватывая меня под руку.

В этом молодом человеке решительно не было ничего «дистрофического». Он почти вознес меня на шестой этаж, но это было еще не все: промчавшись какими-то коридорами и закоулками, мы по темной узкой лестничке поднялись еще выше. Фактически это был уже чердак, но чердак, когда-то раньше хозяйственно превращенный в жилое помещение с множеством комнатушек «для одиноких».

— Видишь ли, я тебе все объясню, — столь же стремительно, как он двигался, говорил редактор литературного вещания. — Когда началась вся эта блокада и вся эта чертовская зима, мы все думали, что это через две-три недели кончится, и жили и спали там, где захватит работа... Я хотел было сказать — и ели там, где захватит работа, — со смехом перебил он себя, — но вовремя вспомнил, что мы тогда ничего не ели. Так вот, завалишься где-нибудь в кабинете на диване, укроешься шубой, да и пересчитываешь зубы всю ночь. Потом нам это надоело. Черт с ней, с блокадой! А может, она продлится еще год? А может быть, два? Надо жить. И тогда мы оборудовали себе этот пустой этаж под жилье... Так и живем здесь коммуной. Вот изволь-ка посмотреть!

Он вытащил меня на балкончик, и с этого балкончика я увидел, что все здания и крыши вокруг Радиокомитета исковерканы снарядами. Их упало здесь несколько десятков, и потому, с какой методической целесообразностью они ложились, видно было, что враг целился именно в это здание Радиокомитета, но так ни разу и не попал.

— Вот это был единственный недостаток нашего жилья, — уж слишком близко к господу богу, — весело говорил редактор. — Но, поскольку мы сволокли сюда всякую изящную мебель и оборудовали кровати, мы уже отсюда не слезали. Только, бывало, ляжешь ночью вздремнуть, а он и начинает грохать. Наше жилье ходуном ходит. Мы даже поговорку сложили: «Хорош блиндаж, да жаль, что седьмой этаж». Но ничего, живем. Впрочем, в наших комнатах ужас до чего безобразно, а я тебя сведу к Ольге Берггольц, у нее, по крайней мере, уютно...

В этом блиндаже на седьмом этаже мне и привелось отпраздновать Первое мая 1942 года. После наших вы-

ступлений собралась в комнатке у поэта Ольги Берггольц группа писателей и работников Радиокомитета на товарищескую вечеринку.

Вокруг меня сидела молодежь — бесстрашная, веселая, деятельная, энтузиастическая ленинградская молодежь, которую не могли сломить ни голод, ни холод, ни бомбардировки, ни артиллерийский обстрел, и вообще никакая сила в мире. Я возьму на себя смелость сказать, что из всех вечеринок в моей жизни эта была одной из самых жизнерадостных и одухотворенных. Она началась с тоста: «За человечество и за отечество!» И уже не спускалась с этих высот.

— Рассказывайте мне, как вы жили и работали, рассказывайте, сколько хотите и в каком угодно порядке, — все просил я своих собеседников.

— Ну что ж, сначала у нас, как полагается, был большой штат, все было очень импозантно, были артисты, оркестры, докладчики, пропагандисты, лифт работал, все было, как у людей, все было великолепно, — рассказывал все тот же редактор литературного вещания. — В сентябре замкнулось кольцо блокады. Ну и черт с ним, замкнулось — так разомкнется! Никто из нас не верил, что это может быть длительным. Нас тогда сильно бомбили с воздуха и начала обстреливать артиллерия. Ну и черт с ним! На то война! Еще можно было зайти поужинать в «Асторию», и там, черт побери, еще играл джаз! Потом все это внезапно кончилось, и пришлось потуже затягивать пояса. Но в конце концов все мы были здоровые люди, работы хоть отбавляй. Никто о желудке не думал. Стало меньше хлеба, нет мяса, есть только каша, каши становится все меньше, — ну что же поделаешь, на то война. И вдруг на глазах стали выбывать люди, один работник за другим. Мне сейчас трудно назвать тот день, когда я сам почувствовал впервые, что у меня закружилась голова и что я не могу свободно подняться с этажа на этаж. И я впервые подумал о том, что надо очень расчетливо и экономно расходовать свои силы, чтобы сделать все, что тебе положено.

— Главное было в том, чтобы заставить себя забыть о голоде и работать, — сказала Ольга Берггольц, — работать и поддерживать в твоем товарище этот постоянный огонь работы, который в наших условиях был главной жизненной силой. И все мы, кто мог работать, стали ра-

ботать на началах полной взаимопомощи и взаимозаменяемости. Все, что мы получали, мы соединяли вместе. Главное было в том, чтобы незаметно поддержать наиболее слабого. Отсюда началась и окрепла наша дружба. Я, как женщина, может быть, выдержала бы дольше других, но у меня умирал от голода муж, все приходилось относить ему, а товарищи мои отдавали мне все, что могли. Посмотри, какую записку написал мне в январе вот этот господин, — указала она на бледного, застенчивого юношу с умными карими глазами, сидевшего вместе с нами за столом.

Ольга Берггольц подошла к письменному столу и, порывшись в ящике, вынула клочок бумажки, на котором было нацарапано карандашом: «Оля! Я достал тебе кусок хлеба и еще достану. Я тебя так люблю».

— Пойми, что это было не объяснение в любви! — с глубоким душевным волнением сказала Ольга Берггольц.

Да, я понимал, что это было не объяснение в любви, а это было проявление той самой высшей человеческой любви, которая только может соединять людей на земле.

Я должен сказать здесь несколько слов о самой Ольге Берггольц.

Она писала до войны. Она писала лирические стихи, стихи и рассказы для детей. Видно было, что она человек с дарованием, но голос у нее был тихий и неоформленный. И вдруг ее голос зазвенел по радио на весь блокированный город, зазвенел окрепший, мужественный, правдивый, полный лирической силы и неотразимый, как свинец. У нее умер муж, ноги ее опухли от голода, а она продолжала ежедневно писать и выступать. И в ответ на ее стихи к ней посыпались письма от рядовых ленинградцев — товарищей по горю и борьбе. Ею была создана поэма «Февральский дневник» — одно из самых правдивых и проникновенных произведений о Ленинграде и о ленинградских временах блокады. Сила этой поэмы в том, что она говорит не о выдающихся людях Ленинграда, а о самом обыкновенном, рядовом ленинградце. В поэме есть выражение: «слезы вымерзли у ленинградцев». Да, слезы вымерзли у ленинградцев! Я ни разу не видел ленинградца, плачущего о смерти близкого человека и вообще в тяжелые минуты жизни, но я не раз видел слезы на глазах ленинградца, большого и малого ра-

ботника, сурового бойца и юной девушки, когда кто-нибудь по справедливости оценивал их великий безыменный труд.

— Яша! Расскажи, как ты организовал симфонический оркестр, — обратились все к бледному, застенчивому юноше.

— Чего ж тут рассказывать, — засмущался Яша.

— Нет, ты расскажи.

— Ну, вот, можешь себе представить, — обратился он ко мне, — обледеневший город, немец под городом, ежедневно обстрел, трамвай не ходит, время суровое — мы думали, музыка неуместна в такие дни. И всё агитировали с утра до вечера. Ну, агитаторов тоже не хватало, выпадали целые часы молчания, когда только один метроном стучал: тук... тук... тук... тук... Представляешь себе? Эдак всю ночь, да еще и днем. Вдруг нам говорят: «Что это вы эдакое уныние разводите? Хоть бы сыграли что-нибудь». Говорят, это Жданов сказал. Тут я и стал искать по городу музыкантов. В городе было много прекрасных музыкантов, но все они не могли найти себе применения и изрядно голодали. Можешь себе представить, как оживились эти люди, когда мы стали вытаскивать их из темных квартир. Боже, до чего многие из них отощали! Это было трогательное до слез зрелище, когда они извлекли свои концертные фраки, свои скрипки, виолончели, флейты и фаготы и здесь, под обледеневшими сводами Радиокомитета, начались репетиции симфоний Бетховена и Чайковского. Мы могли их организовать и платить им деньги, но не могли их кормить, потому что у нас самих ничего не было. Тогда мы пошли в Комитет по делам искусств, у которого была своя столовая. Мы сказали: «У нас есть оркестр, он может выступать не только по радио, но и в зале Филармонии. Давайте так: наш оркестр, а каша — ваша, и он будет выступать за совместной маркой». Так начались в Филармонии знаменитые симфонические концерты под управлением Элиасберга. Кстати, нельзя ли добыть партитуру Седьмой симфонии Шостаковича?

Я присутствовал при том самом первом разговоре, когда возникла мысль о возвращении Седьмой симфонии Шостаковича на ее родину, в Ленинград. Эта симфония теперь утвердилась на своей родной почве и с успехом исполняется в ленинградской Филармонии.

— А сейчас что вы готовите? — спросил я Яшу.

— А сейчас, назло фашистам, мы готовим мировой джаз. Джаз будет — во!

— Да, черт побери, главное, что мы ни на минуту не сомневались, что мы вылезем, обязательно вылезем из этой проклятой блокады, — сказал редактор хроники. — Я помню, как в самые страшные времена мне чудом удалось раздобыть бутылку водки. Вот мы и собрались вокруг нее. Только что вышел семьдесят седьмой выпуск хроники. Я поднял тост — за сотый выпуск. Тогда этот тост казался верхом оптимизма и самонадеянности. Но все были настроены так же, и все с энтузиазмом выпили.

— Позвольте, а какой у нас сегодня был выпуск? — спросил кто-то.

— Двести сорок четвертый.

— Так выпьем, черт возьми, за пятисотый!

И все мы, писатели и работники радио, выпили за пятисотый номер хроники.

Моя сестра

Утром следующего дня я был разбужен Тихоновым по совершенно неожиданному поводу:

— Пришла девушка, называет себя твоей племянницей. У тебя есть здесь племянница?

Я быстро оделся и вошел в комнату к Тихоновым. Меня действительно ждала племянница, дочь моей двоюродной сестры, которую я никак не предполагал встретить в Ленинграде. Ее муж, штурман дальнего плавания, давно уже плавал в дальневосточных водах. Девушка была очень худа и бледна, очень просто одета, и, видно, ей стоило большого самообладания не показать, что она очень смущена.

— Как вы нашли меня?

— Мы услышали твое выступление по радио, и в Союзе писателей я узнала твой адрес.

В одно мгновение я представил себе, как тяжела могла быть жизнь в блокированном Ленинграде одинокой, не служащей женщине с дочерью, ученицей школы. У меня еще оставались кое-какие продукты, я быстро собрал все, что мог, и мы отправились на квартиру к сестре.

Двоюродная сестра моя является последней представительницей семьи Сибирцевых — известных дальневос-

точных революционеров. Ее старший брат Всеволод был вместе с крупнейшим военным и политическим деятелем Дальнего Востока, вождем дальневосточных партизан, Сергеем Лазо, сожжен японской военщиной в паровозной топке в 1920 году. Другой ее брат, Игорь, погиб в бою с белояпонскими войсками в декабре 1922 года, погиб смертью героя: будучи ранен в бою в обе ноги, преследуемый кавалерией, он застрелился, не желая сдаваться в плен.

Двоюродная сестра моя не была революционеркой, как ее братья, она была обыкновенным, рядовым советским служащим: служила на телеграфе, работала корректором в газете, работала в качестве счетовода, а в последние годы перед войной была домашней хозяйкой — воспитывала дочь и несла обычную, рядовую общественную работу.

Именно потому, что жизнь моей сестры и ее дочери типична для жизни любого рядового служащего и так называемого «иждивенца», то есть неработающего члена семьи, я позволю себе рассказать здесь, как прожили моя сестра и племянница зиму 1941—1942 года в Ленинграде.

Поскольку ни сестра, ни ее дочь нигде не служили, они получали каждая обычный хлебный и продовольственный паек иждивенца, то есть самый минимальный паек в Ленинграде. У них не было никаких связей и знакомств, благодаря которым они могли бы получить что-нибудь дополнительно. В самые тяжелые времена они получали по 125 граммов хлеба, к которому были примешаны суррогаты. В то время, когда я встретился с ними, они получали по 300 граммов хлеба (в это время служащие получали уже 400 граммов, а рабочие — 500). Для того чтобы вскипятить чай и сварить свою скудную пищу и немного обогреться, они вынуждены были из этого скудного хлебного пайка экономить некоторое количество для того, чтобы на хлеб выменять немного дров.

Человек, привыкший к обычным нормальным условиям жизни, может не поверить мне, что при этих условиях и сестра моя, и ее дочь остались живы. Да, они остались живы, как сотни и сотни тысяч ленинградцев, находившихся в одинаковом с ними положении.

Они остались живы прежде всего и главным образом потому, что это были уже не обычные рядовые люди в обычных нормальных условиях жизни. Сестра моя жила в новом громадном ленинградском доме, население кото-

рого равно было населению иного города районного значения. С войной значительная часть этого населения была эвакуирована. В течение зимы некоторая часть вымерла от голода и холода. Но все же это был громадный дом, или «объект», как стали называть во время войны все здания, могущие быть подверженными бомбардировке, артиллерийскому обстрелу или пожару. Сестра моя всю зиму была начальником этого объекта, то есть начальником противовоздушной и противопожарной обороны всего этого здания. Иными словами, сестра моя была уже одним из сотен тысяч сознательных защитников родного города, человеком исключительной моральной стойкости, самодисциплины, человеком, знающим, что виновником ее тяжелого положения является бешеный враг, стоящий у ворот города, человеком, полным ненависти к этому врагу и неукротимого желания жить, работать и бороться наперекор и назло этому врагу.

Я свидетельствую, что дом, в котором жила моя сестра, когда я попал в него, находился в абсолютном порядке. Конечно, в нем, как и в большинстве ленинградских домов, не было электрического света, не действовала канализация, и воду нужно было брать из кранов во дворе. Но дом и двор содержались в абсолютной чистоте. Сестра с гордостью показала мне газету, в которой был ее портрет, портрет домашней хозяйки, объект которой вышел на первое место в районе. Вокруг дома, по удобству местности, были густо расположены зенитки. Сестра знала в лицо большинство зенитчиков, как и они знали ее, — они были уже товарищами в общем деле обороны города.

И выжили они, моя сестра и дочь ее, еще потому, что при всех мучениях голода они жили по строгому режиму питания. Как бы мал ни был паек, он делился на три части, и надо было приучить себя к тому, чтобы съесть утром, в обед и вечером не больше того, что положено.

Должен сказать, что при всем том я застал свою сестру в очень тяжелом положении. Я знал ее красивой, физически развитой женщиной, в расцвете зрелых сил. Передо мной была почти старуха, с подпухшими веками, высохшим, почерневшим лицом и опухшими ногами. В ее черных, гладко причесанных волосах сильно пробрызнула седина. Красивые руки ее огрубели, стали тяжелыми, узловатыми руками чернорабочего.

Первое, что она мне сказала, это то, что она по слабости сил вынуждена была сама сложить с себя несколько дней назад звание начальника объекта. Мысль эта была, очевидно, так ей горька, что слезы выступили ей на глаза, но она тотчас же убрала их платком, и лицо ее приняло то каменное выражение, которое я видел на лицах многих и многих ленинградцев.

Сестра моя, как и большинство ленинградцев, была определена через несколько дней в столовую усиленного питания, где она питалась в течение шести недель. К концу этого срока она стала заметно поправляться. Прежде всего ожили ее глаза, в них снова появился молодой блеск. Спала опухлость век, улучшился цвет лица, она начала чуть-чуть прибавлять в весе, и голова ее перестала кружиться. Я понял, что она вышла из беды и внешне станет такой же, какой была до войны. И только в душе ее останется незабываемый след от этого времени. Иных людей такие лишения ломают, но сотни тысяч ленинградцев, подобных моей сестре, стали от этих лишений несгибаемыми, стальными людьми. И горе врагу, когда эти люди потребуют от него расплаты за все, содеянное им!

Племянница моя, как и большинство молодых людей, особенно девушек, легче перенесла эту блокадную зиму. Когда я увидел ее, она уже поправлялась, хотя была еще бледна и худа.

Когда мы с племянницей вошли в квартиру, сестра моя с подругой, такой же истощенной женщиной, обедали. Учитывая, что к Первому мая продукты были выданы по повышенным нормам, этот обед можно было бы назвать по ленинградским условиям роскошным. В нем участвовали даже пиво и водка, настоенная на старых апельсиновых корках. В числе блюд был знаменитый блокадный ленинградский студень, вываренный из столярного клея. Как известно, столярный клей варится на костях. Это процесс обратимый. Надо выварить клей, пока не останется один костяной навар, вернее, бывший костяной навар, потом добавить к нему желатина, а потом остудить.

Студень этот совершенно безвкусен, и питательность его сомнительна, но он служил подспорьем для многих ленинградцев.

Во время нашего обеда в дверь постучались, и вошла подруга моей племянницы, девушка ее возраста, в сопро-

вождении военного моряка. Они стали звать мою племянницу в театр.

— В какой же театр? — спросил я подругу моей племянницы.

— В Музыкальную комедию.

— Где она подвизается?

— В Александринке.

— А что идет сегодня?

— «Сильва».

— Уж не Кедров ли поет? — спросил я.

— А вы его знаете? — вспыхнув, спросила девушка.

— Конечно.

— Можно вас на минуточку? — совсем уже покраснев, сказала девушка, отзывая меня в соседнюю комнату.

Мы вышли с ней в другую комнату.

— Вы никому не скажете то, о чем я хочу попросить вас? Только не смейтесь.

— Безусловно, не скажу.

— Если вы знаете Кедрова, попросите у него автограф для меня. Вы знаете, если бы у меня был его автограф, что бы там ни случилось с Ленинградом и со всеми нами, потому что мы ни за что, ни за что не расстанемся с Ленинградом, — что бы там ни случилось, мне тогда не страшно и умереть.

Пусть эта девушка не сердится на меня за то, что я обнародовал ее тайну. Пусть она знает, что ее просьба не только украшает ее молодость, но утверждает неистребимые силы жизни в блокированном Ленинграде. Немцам, зарывшимся в землю под Ленинградом, действительно еще предстоит сгнить в этой земле, а Ленинград жил, живет и будет жить во веки веков бессмертной жизнью.

Я ночевал у своей сестры и ранним утром был разбужен невероятным грохотом зениток. Их было так много и стреляли они так близко, что казалось, будто они бьют прямо из-под кровати. Сестра моя стояла у раскрытого окна и смотрела на улицу.

— Мои зенитки! Это мои зенитки! — сказала она, обернувшись ко мне с прекрасной улыбкой, сразу преобразившей ее изможденное лицо.

То, что она несколько дней тому назад передала руководство над «объектом», было мгновенно забыто ею. Она была в платке, в теплом жакете, с противогазом через

плечо. Какая-то сила преобразила ее, звуки стрельбы действовали на нее, как звуки трубы на боевого коня.

— Давай полезем на крышу, — сказала она мне.

Пользуясь тем, что у меня был уже пропуск на хождение во время воздушной тревоги, я пошел домой.

Несмотря на расклеенный по всему городу приказ, грозящий самыми свирепыми карами гражданам, нарушающим правила поведения во время воздушной тревоги, все ленинградские граждане спокойно по всем направлениям шли на работу.

У Троицкого моста через Неву милиционер стал все же усовещивать одну юную гражданку и убеждать ее идти в убежище, грозясь не пустить ее через мост.

— В убежище! Вот еще новости взяли! — с удивлением говорила юная гражданка.

Милиционер попробовал было удержать ее под руку.

— Отчепитесь! — сказала она, ловко хлопнув его по руке. — Вот еще новости взяли! — сказала она с еще большим удивлением и бодро застучала каблучками по мосту.

Милиционер был, несомненно, прав, а юная гражданка не права. И все же не было никаких сил сердиться на эту неисправимую ленинградку. Как видно, этих сил не было и у милиционера. В СССР нет другого такого города, где бы милиция и частные граждане так понимали друг друга, как в Ленинграде.

Дети

Ленинградцы и прежде всего ленинградские женщины могут гордиться тем, что в условиях блокады они сохранили детей. Значительная часть детей была эвакуирована из Ленинграда, — речь идет не о них. Речь идет о тех маленьких ленинградцах, которые прошли все тяготы и лишения вместе со своим городом.

В Ленинграде создана была широкая сеть детских домов, которым голодный город отдавал лучшее из того, что имел. За три месяца я побывал во многих детских домах в Ленинграде. Но еще чаще, присев на скамейке где-нибудь в городском скверике или в парке в Лесном, я, не замечаемый детьми, часами наблюдал за их играми и разговорами. В апреле, когда я впервые увидел ленинградских детей, они уже вышли из самого трудного периода

своей жизни, но печать тяжелой зимы еще лежала на их лицах и сказывалась в их играх. Это сказывалось в том, что многие дети играли в одиночку, и в том, что даже в коллективную игру дети играли молча, с серьезными лицами. Я видел лица детей, полные такой взрослой серьезности, видел детские глаза, исполненные такой думы и грусти, что эти лица и эти глаза могут сказать больше, чем все рассказы об ужасах голода.

В июле таких детей было уже немного, главным образом из числа сирот, родители которых погибли совсем недавно. У подавляющего большинства детей вид был вполне здоровый, и по своему поведению, по характеру игр, по смеху и веселости они не отличались от всяких других нормальных детей.

Это результат великого святого труда ленинградских женщин, многие из которых добровольно посвятили свои силы делу спасения и воспитания детей. Рядовая ленинградская женщина проявила здесь столько материнской любви и самоотверженности, что перед величием ее подвига можно преклониться. Ленинградцы знают примеры исключительного мужества и героизма, проявленного женщинами — работниками детских домов во время опасности.

Утром в Красногвардейском районе начался интенсивный артиллерийский обстрел участка, где расположены ясли № 165. Заведующая яслями Голуткина Лидия Дмитриевна вместе с сестрой-воспитательницей Российской и санитаркой Анисифоровой под огнем стали выносить детей в укрытие. Обстрел был так силен и опасность, угрожавшая детям, была настолько велика, что женщины, чтобы успеть снести всех детей в укрытие, сваливали их по нескольку человек в одеяло и так кучами и выносили. Артиллерийским снарядом выбило все рамы и внутренние перегородки тех домиков, в которых были расположены ясли. Но все дети — их было 170 — были спасены.

Сестра-воспитательница Российская лишь после того, как все дети были укрыты, попросила разрешения пройти к своему собственному дому, где находились трое ее детей. Приближаясь к дому, она увидела, что он горит. На помощь детям Российской пришли другие советские люди и вынесли их из огня.

Я не преувеличу, когда скажу, что я видел сотни женщин, молодых и старых, показавших такое знание детской души и такой педагогический талант, какие

могут сравниться со знаниями и талантами величайших педагогов мира.

Я предоставляю слово одной из них.

«Двадцать четвертого февраля 1942 года в суровых условиях блокированного Ленинграда начинает свою жизнь наш дошкольный детский дом № 38 Куйбышевского района.

У нас сто детей. Недавно, совсем недавно перед нами стояли печальные сгорбленные дети. Все, как один, жались к печке и, как птенчики, убирали свои головки в плечики и воротники, спустив рукава халатиков ниже кистей рук, с плачем отвоевывая себе место у печки. Дети часами могли сидеть молча. Наш план работы первого дня оказался неудачным. Детей раздражала музыка, она им была не нужна. Детей раздражала и улыбка взрослых. Это ярко выразила Лерочка, семи лет. На вопрос воспитательницы, почему она такая скучная, Лерочка резко ответила: «А почему вы улыбаетесь?» Лерочка стояла у печки, прижавшись к ней животиком, грудью и лицом, крепко зажимая уши ручками. Она не хотела слышать музыки. Музыка нарушала мысли Лерочки. Мы убедились, что многого недодумали: весь наш настрой, музыка, новые игрушки — все только усиливало тяжелые переживания детей.

Резкий общий упадок был выражен не только во внешних проявлениях детей, это было выражено во всей их психофизической деятельности, все их нервировало, все затрудняло. Застегнуть халат не может, — лицо морщит. Нужно передвинуть стул с места на место — и вдруг слезы. Коля, взяв стул в руки, хочет его перенести, но ему мешает Витя, стоящий у стола. Коля двигает стул ему под ноги. Витя начинает плакать. Коля видит его слезы, но они его не трогают, он и сам плачет. Ему трудно было и стул переставить, ему так же трудно и говорить.

Девочка Эмма сидит и горько плачет. Эмме пять лет. Причину ее слез мы не можем выяснить, она просто молчит и на вопросы взрослых бурно реагирует — все толкает от себя и мычит: «М-м-м»... А позже узнаем, что ей трудно зашнуровать ботинок, и она плачет, но не просит помощи. У детей младшей и средней группы все просьбы и требования выражаются в форме слез, капризов, хныкания, как будто дети никогда не умели говорить.

Мы долго боролись с тем, чтобы дети без слез шли мыться. Дети плакали, обманывали, ссорились и прята-

дись от воспитателя, объясняя это тем, что вода холодная. Валя тоже плачет, объясняет это тем, что она чистая. Она сквозь слезы говорит: «Меня мама не каждый день мыла, я совсем чистая». Шамиль из средней группы после сна садился за стол, и только вместе со стулом можно было его перенести к умывальнику. Исключительно бурную реакцию проявили дети, когда была организована первая баня в детдоме. Все малыши, как один, криком кричали, не желая купаться. Коля кричит: «Мылом не хочу мыться, не буду мыться!» Валя: «Мне холодно, не буду мыться!»

Дети очень долго не хотели снимать с себя рейтузы, валенки, платки и шапки, хотя в помещении было тепло. Дети украдкой ложились в постель в верхнем платье, в чулках, в рейтузах. Трудно было отучить детей от привычки спать под одеялом, закрываясь с головой в позе спящего котенка. Странная поза, излюбленная у детей, — лицо в подушку, и вся тяжесть туловища держится на согнутых коленях, попка кверху. «Так теплее», — говорят дети.

Больно было видеть детей за столом, как они ели. Суп они ели в два приема, вначале бульон, а потом все содержимое супа. Кашу или кисель они намазывали на хлеб. Хлеб крошили на микроскопические кусочки и прятали их в спичечные коробки. Хлеб дети могли оставлять, как самую лакомую пищу, и есть его после третьего блюда, и наслаждались тем, что кусочек хлеба ели часами, рассматривая этот кусочек, словно какую-нибудь диковину. Никакие убеждения, никакие обещания не влияли на детей до тех пор, пока они не окрепли.

Но были случаи, когда дети прятали хлеб и по другой причине. Лерочка обычно и своей нормы не поедает, — оставляет на столе и часто отдает детям. И вдруг она спрятала кусок хлеба. Лерочка сама огорчена своим поступком, она обещает больше этого не делать. Она говорит: «Я хотела вспомнить мамочку, мы всегда очень поздно в постельке кушали хлеб. Мама нарочно поздно его выкупала, и я хотела сделать, как мамочка. Я люблю свою мамочку, я хочу о ней вспоминать».

Лорик пришел к нам на второй день после смерти мамы. Ребенок физически не слабый, но его страдания, его печаль ярко выражены во всем его поведении. Лорик не отказывается ни от каких занятий, но нужно видеть,

как трудно ему сосредоточиться, как ему не хочется думать по заданию, ведь он живет своими мыслями, а задание педагога мешает ему думать о своей маме. Лорик никому не говорит о маленькой пудренице, которую он приспособил для медальона и носит на тесемочке на шее. Одиннадцать дней Лорик прятал ее, и вот в бане он не знал, как ее уберечь, куда спрятать, он бережно держал эту вещь, смутился страшно, когда заметил, что я наблюдаю за ним. Я ничего ему не сказала, не спросила ни о чем. Сам Лорик раскрыл мне свою тайну. «У меня моя мама, я берегу ее, — шепотом сказал он мне. — Я сам это сделал, сам тесемочку привязал». Он открыл крышку круглой пудреницы, посмотрел, крепко поцеловал и не успокаивался, пока сам не увидел место, где будет храниться эта пудреница, пока он вымоется в бане. После этого случая Лорик стал более откровенным. В этот же день он подробно все рассказал и о смерти мамы, и о смерти тети, и о том, почему не хотел никому показывать портрет. «Я хотел только один... только один... — и больше не нашел слов сказать. — Этот портрет мне сама мама дала перед смертью». И у Лорика на глаза навертываются слезы.

Одиннадцать дней страданий, воспоминаний о маме не давали проявиться богатейшим его качествам: логичной речи, богатому разнообразному творчеству, исключительной способности в рисовании. Лорику стало легче после того, как он открыл свою тайну, он ожил, сам берет материалы, быстро увлекается работой и увлекает товарищей.

Леня, семи лет, отказывается снимать вязаный колпак, даже не колпак, а бесформенную шапку, которая сползает ниже ушей и уродует его. Мы долго не могли узнать причины, почему Лене нравится эта шапка. Причина оказалась та же — Леня хранил ее как память об умершем брате. Леня говорит: «Я берегу ее, это память мне от брата, и картинки тоже я берегу. Они у меня спрятаны, а когда мне скучно, я их вынимаю и смотрю».

Женя, шести лет, пришел в детский дом и в этот же день показал всем портрет мамы и мелкие фотоснимки ее же, но сказал: «Рассказывать не буду, пускай папа рассказывает». Женя скучает, ночью долго не засыпает, лежит с открытыми глазами молча. Ночью просит няню поднести свет, чтобы посмотреть на портрет мамы. На вопрос няни, почему он не спит, Женя отвечает: «Я ду-

маю все о маме. А вот Вова (его младший брат, трех лет) спит, он, наверное, забыл про маму. Разрешите мне к Вовочке на кроватку лечь, тогда я засну, а так я до утра не засну. Я сам не хочу думать, а все думаю да думаю».

Лера — девочка глубоких и устойчивых переживаний. Лишенная полноценной семьи (отец уже до войны имел другую семью и навещал Лерочку лишь изредка), она была страстно привязана к матери. Тридцатилетняя женщина, нежно любившая дочь, увлекавшаяся рисованием, пляской, рукоделием, сделалась для Леры идеалом всего прекрасного. Горе своей потери девочка переживает чрезвычайно тяжело и упорно. Она болезненно цепляется за все, что хотя бы немногим напоминает ей мать и былую жизнь дома. Проникается симпатией к тем людям, которые случайно назовут ее так, как называла мать. Может целый день рисовать: она занималась этим с мамой.

С ребятами Лера скрытна, замкнута, ко многим относится с пренебрежением, подмечая их недостатки и давая им прозвища: «Я презираю Леню, он ест так противно, да и вообще мямля какая-то, просто петух бесхвостый». Или: «Этот Боря ходит, как крадется, он по шкафам лазает, а говорит так, что ничего не поймешь... крыса». С избранными взрослыми Лера любит поговорить и рассказать про свои переживания. Она сообразительна и наблюдательна. Ее рассуждения и рассказы всегда последовательны и логичны. Ее рисунки и аппликативные работы оригинальны по замыслу. В своих эмоциях Лера сильна и страстна. Она способна утром поколотить девочку, которая мешала ей спать ночью.

Но Лера честна и в своих поступках всегда сознается, причем их обосновывает — не в оправдание себя, а скорее желая сама выяснить причину. Она сильна и страстна не только в злом, но и в хорошем. Это милая девочка, с большими вдумчивыми, полными печали, серыми глазами. Она дичилась нас первое время, пряталась в угол, опустив головку, что-то переживала про себя, но никому ничего не говорила. Но после того как она поделилась своим горем в первый раз, ей стало легче. На Леру легко влиять лаской, разумной беседой.

Вот перед нами чудный мальчик, его имя Эрик. Дети и взрослые любят его за исключительную нежность, которую он проявляет ко всем. Но Эрик не любит никаких занятий. Он говорит: «Что-то не хочется», или: «Я

плохо себя чувствую». Молчаливый, он часто подходит к окну или выходит на балкон. Его взоры сейчас же устремляются на противоположный дом, откуда его привели и где он потерял маму. Однажды во время дневного сна Эрик, закрывшись с головой, тихо плачет. Воспитательница встревожена — не болен ли ребенок, но Эрик объясняет: «Я вспомнил, как у нас мама умерла, мне жалко ее, она ушла за хлебом рано утром и целый день до ночи не возвращалась, а дома было холодно. Мы лежали в кроватке вместе с братом, мы все слушали — не идет ли мама. Как только хлопнет дверь, так и думаем, что это наша мамочка идет. Стало темно, а мама наша все не шла, а когда она вошла, то упала на пол. Я побежал через дом и там достал воды и дал маме воды, а она не пьет. Я ее на кровать притащил, она очень тяжелая, а потом соседки сказали, что она умерла. Я так испугался, но я не плакал, а сейчас не могу, мне ее очень жаль».

Я привел здесь эти отрывки из официального отчета заведующей детского дома № 38 для того, чтобы показать, какой высоты понимания детской психики и любви к детям достигли лучшие женщины Ленинграда, посвятившие себя делу спасения детей-сирот и делу их воспитания. Я должен сказать здесь, что детский дом № 38 примечателен именно тем, что через него прошли в подавляющем большинстве дети, оставшиеся без родителей, и что к тому времени, когда этот отчет попал мне в руки, все эти дети были уже нормальными детьми!

В то же время этот официальный отчет заведующей детским домом № 38 является одним из тех великих и страшных счетов, которые наш народ должен предъявить и предъявит врагу. Пусть позор преступления против жизни, счастья и души наших детей навеки ляжет проклятьем на головы убийц. Вся подлая животная жизнь всех этих гитлеров и герингов и сотен тысяч немцев, развращенных ими и доведенных ими до последней степени вырождения и зверства, не стоит единой слезинки нашего ребенка. За каждую эту слезинку они должны заплатить и заплатят потоками своей черной крови.

А в памяти человечества навеки сохранится прекрасный и величественный облик ленинградской женщины — матери, как символ великой и бессмертной всечеловеческой любви, которая — придет время! — будет господствовать над всем миром.

Школа

В начале мая я видел такую сцену: на панели Лиговской улицы, зажав в горсти сетку с учебниками, полулежала девочка в белом беретике, сложив тонкие ножки на мостовую, склонив набок головку, как раненая голубка. Она шла вместе с подружками и товарищами с уроков домой и вдруг ослабела. И они все стояли вокруг нее с серьезными лицами, держа в руках сумки и сетки с учебниками и тетрадками, и молча смотрели на нее. Они не могли оставить ее одну и боялись поднять ее и отвести, боялись, что она умрет от лишних физических усилий.

На лице девочки не было выражения ни грусти, ни физического мучения. Лицо ее было бледно, спокойно, сосредоточено в себе. Без всякого внутреннего испуга она пережидала, пока пройдет слабость. Но нет слов, чтобы передать выражение лиц и глаз подруг и товарищей, окружавших ее. Все они прошли через то, что испытывала она теперь, они хорошо знали, что грозит ей, они хорошо знали цену жизни и смерти. И теперь, когда смерть уже не грозила им, на их лицах было выражение такого понимания и такого серьезного и глубокого сочувствия товарищу, что я впервые понял: это не дети, но это и не взрослые, — это просто новые люди, люди, каких еще не знала история. Мера их любви равна мере их ненависти. Если бы видели, какой мрачный огонь горел в глазах некоторых из них!

Ленинградцы могут гордиться тем, что они сохранили детей. Здесь я могу сказать, что дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами.

Великий труд охраны и спасения города, обслуживания и спасения семьи выпал на долю ленинградских мальчиков и девочек. Они потушили десятки тысяч зажигалок, сброшенных с самолетов, они потушили не один пожар в городе, они дежурили морозными ночами на вышках, они носили воду из проруби на Неве, стояли в очередях за хлебом, ловили шпионов и диверсантов. И они были равными со своими отцами и матерями в том поединке благородства, когда старшие старались незаметно

отдать свою долю пищи младшим, а младшие делали то же самое по отношению к старшим. И трудно сказать, кого больше погибло в этом поединке.

И самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились. Да, они учились, несмотря ни на что, а вместе и рядом с ними навеки сохранится в истории обороны города прекрасный мужественный облик ленинградского учителя. Они стоят одни других — учителя и ученики. И те и другие из мерзлых квартир, сквозь стужу и снежные заносы, шли иногда километров за пять-шесть, а то и десять, в такие же мерзлые, оледеневшие классы, и одни учили, а другие учились. Они впервые познали цену друг другу, когда и те и другие умирали друг у друга на глазах на заснеженных улицах города, за партой или у классной доски.

В Ленинграде есть школы, которые не прекращали своей работы в самые тяжелые дни зимы. А большинство школ, не работавших в эти наиболее тяжелые месяцы, возобновили свою работу с 1 мая и дали выпуск к осени.

Мне пришлось часто соприкасаться с жизнью и работой 15-го ремесленного училища в Ленинграде. Ремесленные школы были созданы в СССР за год до войны. Они ставят своей целью подготовку квалифицированных рабочих и мастеров для всех видов промышленности и транспорта. Училище, о котором идет речь, было преобразовано из старой школы фабрично-заводского ученичества и ставило своей целью подготовку рабочих для электропромышленности.

Училище это за время блокады стало известным всему Ленинграду. Оно прославилось тем, что в равных условиях со всеми другими в самые тяжелые дни дало выпуск в несколько сот человек и продолжало работать на оборону города в своих мастерских и сохранило от смерти подавляющее большинство своих учеников.

Этими своими достижениями училище обязано директору его, Василию Ивановичу Анашкину, бывшему ленинградскому мастеровому, а теперь крупнейшему практику-педагогу, к которому десятки и сотни молодых людей навек сохранят любовь и благодарность.

Как достиг Анашкин того, что в замороженном здании училища, при скуднейшем пайке, сотни учащихся не только не умерли, но даже трудились? Вот что отвечает на этот вопрос сам Анашкин — маленький худенький че-

ловек, с выпуклыми глазами, то и дело вспыхивающими пламенем, — маленький человек со стремительной речью и нервными тонкими кистями рук, секунды не могущими пробыть без движения.

— Они не умерли потому, что трудились, — говорит Анашкин. — А трудились они потому, что я внедрил в сознание ребят чувство дисциплины. Я внедрил его не только убеждением, но и самым суровым принуждением, зная, что только в этом спасение. Это чувство дисциплины заставляло их трудиться. В ленинградских ремесленных школах· большинство детей — дети ленинградцев. Когда в городе стало плохо с питанием, многие руководители, боясь ответственности за детей, отпустили их из общежитий по домам. Я поступил наоборот: не останавливаясь ни перед чем, я забирал в общежитие всех детей, которые жили у своих родителей. Из скудных пайков я создал столовую с железной дисциплиной питания. В самые страшные дни, когда стояли лютые морозы, не действовали ни водопровод, ни канализация, я добивался того, чтобы в столовой была абсолютная чистота, чтобы на столах стояли бумажные цветы, оправленные белоснежной бумагой, и во время обеда играл баянист. Я добивался того, чтобы ребята вставали точно в назначенный час, обязательно мылись, пили чай и шли в мастерскую. Некоторые были так слабы, что они уже не могли трудиться, но все-таки возились у своих станков, и это поддерживало в них бодрость духа. Когда из-за отсутствия электроэнергии мастерская стала, мы выходили чистить двор или занимались военным строем. Я все время стремился к тому, чтобы с минуты пробуждения и до сна ребята были бы чем-нибудь заняты. Конечно, по обстоятельствам семейной жизни не всех ребят удалось изъять из их семей. Но и эти ребята чувствовали, что училище — это их жизнь. Катя Иванова жила в районе Смольного. Для того чтобы попасть к нам на Васильевский остров и вернуться обратно, она должна была ежедневно сделать около пятнадцати километров. Я понял, что ее придется освободить от занятий и прикрепить к столовой в ее районе. Через два дня она пришла и сказала, что она просит снова разрешить ей посещать училище и прикрепиться к его столовой. «Скучно без училища, — сказала она, — никакой жизни нет». И вот, представьте себе, она все перенесла и сейчас живет и работает.

Василий Иванович Анашкин — человек, сам не прошедший никакой школы. Но, идя путем жизненного опыта и самообразования, он поднялся до самых больших вершин педагогической мысли. Будучи директором школы и известным общественным деятелем в своем районе, он в блокированном Ленинграде, в районе, который наиболее часто подвергается артиллерийскому обстрелу, пишет большой научно-художественный труд о своей педагогической работе.

В июне месяце я был приглашен в одну из школ на собрание учащихся и преподавателей десятых классов этой и соседних школ. Весь фасад здания школы был побит осколками снарядов. Стекла наполовину вылетели и были заменены фанерой, парадный вход закрыт. Весь двор школы был разделан под огород, зелень только всходила. Помещение школьной библиотеки было полно учащихся и преподавателей. Молодые люди, семнадцатилетнего возраста, особенно девушки, были уже то, что называется в полной форме, некоторые из юношей еще несли на себе следы лишений. Но это была уже обычная наша молодежь — цельная, жизнерадостная, пытливая. У учителей, особенно у стариков, вид был не то что изможденный, но усталый, они медленно, я бы сказал, экономно двигались, и только глаза с их живым и умным блеском, вдруг точно освещавшим худые темные лица, говорили о том, какая великая сила духа управляла поступками этих людей.

В беседе возник вопрос о так называемом «новом человеке». Нельзя было без волнения слушать, как мои собеседники старшего и младшего поколений говорили о новом человеке как о мечте будущего, как о чем-то таком, чего еще нужно достичь, не подозревая, что они-то и есть живые новые люди, каждый шаг которых в Великой Отечественной войне нашего народа освещен светом самых больших мыслей и дел, какие только знало человечество.

Дорога Жизни

Она растаяла, эта дорога, и когда тяжелые льды Ладожского озера покатились по Неве к морю, на отдельных льдинах еще можно было видеть ее почерневшие следы. Дорога растаяла, ее заменила другая, водная, еще более

могучая. Но на веки веков останется в памяти людей беспримерная по мужеству и выносливости и по человеческому благородству работа десятков тысяч людей — в сорокаградусную стужу, под бомбами и снарядами противника, — великая работа по спасению Ленинграда.

Надо знать Ладожское озеро, такое бурное осенью, замерзающее страшными торосами, знать, как частые северные штормы разражаются над озером зимой, чтобы представить себе всю силу и размах человеческого труда, вложенного в эту ледовую трассу через Ладожское озеро.

Майор Можаев, пионер трассы, мог бы рассказать о том нечеловеческом волнении, какое испытал он, когда глухой ночью проехал с одного берега озера на другой на лошади по только что проложенной, еще не законченной трассе.

Ее освоили не сразу. Стремясь сделать путь наикратчайшим и как можно лучше обеспечить его от авианалетов и артиллерийского обстрела, строители трассы меняли ее направление много раз.

Первое время не были уверены в крепости льда. Груз возили на лошадях. Первые машины брали не больше четырехсот килограммов груза. Впоследствии по трассе проходили тяжелые танки КВ.

Люди, обслуживающие трассу, отбирались и закалялись на трудностях. Они добились того, что ни природные условия, ни деятельность врага не прекращали работу на трассе ни на минуту.

Немецкая авиация сделала попытку уничтожить трассу двумя-тремя массовыми налетами. Но наша авиация зимой была уже значительно сильнее, чем осенью. В нескольких воздушных боях немцы потеряли до пятидесяти самолетов, и попытки массовых налетов прекратились. Тем не менее на протяжении всей деятельности трассы продолжалась борьба нашей авиации и зенитной артиллерии с немецкой авиацией, пытавшейся бомбить трассу и обстреливать машины и части, обслуживавшие ее.

Фашистские самолеты гонялись за машинами, прошивая кузовы и кабины свинцовым дождем и выводя из строя водителей. Вражеские бомбежки портили полотно дороги. И днем и ночью трасса была под артиллерийским обстрелом. Подъездные пути проходили по заснеженным лесным участкам и были так узки, что двум машинам трудно было разъехаться. Разгрузочные площадки были

тесны. Ремонтные базы в первое время были не налажены. Все это создавало дополнительные трудности в работе водителей и грузчиков. Но за ними неотступно, как совесть, стоял Ленинград.

И вот загремели по всей трассе имена ее героев, память о которых навсегда останется в сердцах людей.

Стало известно, что водитель машины ГАЗ-АА Александр Данилович Тихонович, работая без сменщика, делает в любых условиях два рейса в смену и не имеет ни одной аварии. Значит, это могут делать и другие! И по всей трассе развернулось соревнование водителей за два рейса в смену. Два рейса стали обычным, рядовым делом. Делать меньше двух рейсов было уже совестно. Не то что плохая работа, но обыкновенная работа уже вызывала волну общественного осуждения.

Десятки людей перестали считаться с временем. Доселе никому не известный водитель Е. В. Васильев, работая бессменно сорок восемь часов, сделал на машине ГАЗ-АА 1029 километров — восемь рейсов! — и перевез двенадцать тонн груза. После обычного отдыха он снова пустился в путь, сделал в смену три рейса, и эта норма — три рейса в смену — стала его обычной нормой. Так развернулась борьба за три рейса в смену. Про водителей говорили — это двухрейсовик, это трехрейсовик. Это были почетные звания. Трехрейсовик — это звучало, как лауреат. Говорили: «Вот это Родионов, трехрейсовик, ни одной аварии, ему сорок девять лет». Или: «Смотри, брат, это Корнетов. В тысяча девятьсот восемнадцатом году он дрался с немцами под Нарвой и Псковом. А в этой войне у него погиб сын — балтиец. Ему пятьдесят лет, а он делает регулярно три рейса за смену».

Но число трехрейсовиков все множилось и множилось. На первые места стала выходить молодежь. Сержант Ильющенко, делавший три рейса в смену, попробовал сделать четыре. На это потребовалось тридцать шесть часов. Как рекорд — это можно было повторить два-три раза, но так нельзя было работать нормально. Но после рекордов Васильева и Ильющенко борьба за четыре рейса в смену все разгоралась. Стали известны имена молодых водителей-трехрейсовиков: Салухвадзе, Шичкова, Круглова, которым все чаще удавалось сделать четыре рейса нормально в одну смену.

И вот загремели имена водителей Кондрина, Гонтарева, делавших регулярно четыре рейса в смену. Так появилось на трассе звание «четырехрейсовик». Теперь оно звучало, как лауреат. Но за Кондриным, Гонтаревым появлялись все новые и новые имена, и оказалось, что четыре рейса тоже не предел, после того как Гонтарев, совсем еще молодой водитель, сделал пять рейсов в восемнадцать часов. Так работали люди на трассе.

От водителей не отставали грузчики. Здесь тоже борьба шла за время: нагрузить машину не в шесть минут, как полагалось по норме, а в пять минут, в четыре, в три, в две. Выполнить план погрузки и разгрузки на 115, 130, 180% — это было уже естественным и обычным делом на трассе. Двадцать девятого января всей трассе стала известна бригада Быковского, выполнившая 250% плана, но вскоре и эта норма — 200—250% стала очень распространенной. Дело было не в том, чтобы поставить рекорд, а в том, чтобы регулярно вдвое, втрое перевыполнять план погрузки, не отставая от водителей. Пятерка грузчиков, во главе с молодым бригадиром Басаря, ежедневно повышая план погрузки, достигла 3 и 4 февраля 250% выполнения, а 5 февраля 320% и работала, уже не снижая этой нормы.

Нетрудно видеть, что работа водителей и грузчиков стимулировала одна другую. Если отставали грузчики, водители-двухрейсовики и трехрейсовики не могли выполнить своей нормы и ругали грузчиков на чем свет стоит, и наоборот: грузчики, достигшие тройной и четверной нормы погрузки и разгрузки, самыми страшными словами обзывали отстававших водителей. Так, подобно героям-четырехрейсовикам, появились на трассе герои погрузки, выполнявшие норму с превышением ее в четыре раза: Сбарский — 425%, Никитин — 436% и другие.

Я не имею возможности подробно останавливаться на работе других профессий на трассе. Ни пурга, ни страшные морозы, ни темные ночи не могли остановить их героического труда. И днем и ночью грейдеры разгребали снег, и днем и ночью работали метельщики. Ни в метель, ни в стужу регулировщики не покидали своих постов, и фонари «летучая мышь» освещали дорогу в ночи.

Трудовая доблесть на трассе была одновременно воинской доблестью. Молодой водитель Кошелевский, родом из Белоруссии, где немецкие оккупанты зверски

замучили его отца, мать и сестру, преследуемый «мессершмиттом», раненный, довел машину до места назначения.

Однажды фашистский истребитель, вырвавшись из-за туч, напал на машину, которую вел Иван Дмитриевич Иоакимов, и обстрелял ее из пулемета и пушки. Пули пробили баллоны, смотровые стекла, осколками снарядов были повреждены стенки и дверь кабины. Но Иоакимов не покинул машины и не вернулся на базу. В этот день в его путевом листе, как всегда, значилось: «Два с половиной рейса за смену».

В другой раз Иоакимов вел головную машину эшелона. Рядом с ним в кабинке сидел начальник эшелона — Варламов. Воздушный хищник погнался за машиной, осыпая ее градом трассирующих пуль. Иоакимов резко затормозил. Вражеский истребитель пронесся вперед, но в это время второй истребитель, сделав заход, взял курс на машину. Иоакимов быстро перевел машину на полную скорость, но было уже поздно, — стальная струя прошила стенки кабины. Враг попал в цель. На плечо водителя тихо склонилась голова начальника эшелона.

— Товарищ командир, вы живы? — спросил Иоакимов.

Варламов не отвечал. Он был тяжело ранен. По боковому стеклу побежала струйка крови. Иоакимов взял руку раненого, — пульса не было слышно. Быстро развернув машину, Иоакимов отвез начальника в санитарную часть, а сам тотчас же вернулся на трассу и завершил свой второй рейс.

Вражеские самолеты атаковали колонну машин. Могучий ладожский лед не выдерживал ударов фугасных бомб, — на пути образовались воронки. Попав в одну из воронок, груженая машина, которую вел комсомолец Борис Богданов, начала медленно оседать. Вот-вот кромка льда могла обломиться, и машина уйдет под воду. Борис Богданов, выскочив из кабинки, бросился спасать груз. Вымокнув в ледяной воде, он успел выбросить на лед весь груз и даже снять с тонущей машины ценные части.

Водитель Кондрин, четырехрейсовик, несколько раз спасал свой груз и машину. Однажды неприятельский снаряд зажег сарай, где стояла машина Кондрина. Кондрин вбежал в горящий сарай и, вскочив в машину с баками, полными бензина, вывел ее из сарая. А в другом случае машина его провалилась в воду, и он при двадца-

тиградусном морозе вытаскивал из воды груз на лед, пока не спас весь груз. Он был подобран товарищами, весь обледеневший и без сознания, но, отоспавшись и отогревшись, продолжал ежедневно выполнять четыре рейса.

Над озером пылал зимний закат, когда водитель Еримак заканчивал свой третий рейс. Он очень устал и, выехав на озеро, опустил стекло кабины, чтобы ветер освежил его. Мелькали мимо знакомые лица регулировщиков, неслись навстречу знакомые места, знакомые льды. И вдруг впереди машины взметнулся клуб черного дыма. Водителя оглушило взрывом, и лицо его залилось кровью. Он понял, что попал под артиллерийский обстрел, но не растерялся и продолжал вести машину вперед. Над машиной, свистя, пролетали снаряды. Еще один с грохотом разорвался рядом. Осколок пробил кабину и тяжело ранил водителя. Это была уже вторая рана. Но и теперь не сдался Еримак. Преодолевая страшную боль, с трудом удерживая штурвал, он продолжал мчаться вперед и вперед. В нем было силы ровно настолько, чтобы вывести машину из зоны обстрела. Если бы эта зона была еще протяженнее, он все равно вывел бы машину. Но когда разрывы остались далеко позади, силы оставили его. У него еще хватило силы воли остановить машину, и тут он потерял сознание. Товарищи подобрали его и отвезли в госпиталь.

Вот на столе в палатке начальника участка раздается телефонный звонок. Спокойный женский голос говорит:

— Докладывает Писаренко. Немец опять начал. Все в порядке.

Это со своего ледового поста военная фельдшерица Писаренко сигнализирует о том, что начался артиллерийский обстрел. Палатка, в которой она живет и работает, установлена на льду на том самом километре, который изо дня в день обстреливается дальнобойными орудиями фашистов. Четыре месяца живет на льду эта отважная женщина. В штормовые ночи, когда неистовый ветер рвет парусину, грозя унести легкое сооруженьице, в буран и вьюги, когда снежные вихри заметают пути, в оттепели, когда талая вода заливает пол и подбирается к койке, — она ни на минуту не оставляет своего поста.

Однажды на тот участок дороги, где работает Писаренко, налетело шестнадцать фашистских бомбардировщиков. Под разрывами тяжелых фугасных бомб трещал

и дыбился лед. Писаренко оказалась между тремя большими воронками, ее завалило осколками льда. Бойцы бросили ей канат, она обвязала себя вокруг пояса, и ее вытащили. Даже не обсушившись, не сменив обледеневших валенок, она бросилась перевязывать раненых и не ушла до тех пор, пока не перевязала всех.

Над озером разразился снежный шторм. В слепящей пурге люди сбивались с пути, обмораживались, попадали в трещины. Трое суток, не смыкая глаз, Писаренко бродила по своему участку, разыскивая тех, кто нуждался в помощи, перевязывала раненых, обогревала замерзших.

Темной зимней ночью идут по трассе машины. Ледяной ветер захватывает дыхание, обжигает лицо. Скорей бы добраться до берега! А в стороне от дороги, в ледяной пустыне, чуть заметно теплится огонек в крохотном оконце занесенной снегом палатки. И каждый водитель знает: там живет фельдшерица Писаренко. Она никогда не спит.

На трассе господствовал неписаный закон взаимопомощи и выручки. Дорога Жизни — это дорога героев, заключивших между собой великий союз братства, братства тысяч и тысяч людей — водителей, летчиков, грузчиков, регулировщиков, метельщиков, работников Эпрона, работников медицины — великий союз братства по спасению Ленинграда. Сами они не знали, что то, что они делают, это уже история. Но их дела и подвиги запечатлены на полосах печатной газеты, выходившей на льду. Она называлась «Фронтовой дорожник». Ее адрес: Полевая почтовая станция, 347. На трассе работал художник Захарьин. Он, правда, работал не как художник, а как младший лейтенант, он сражался, защищая трассу. Но то, что он увидел и в чем сам участвовал, заставило его вспомнить, что он художник. Так была им создана на трассе, на льду, среди разметенного снега, «Аллея героев», галерея портретов передовых людей трассы, и все работники трассы, сами герои, приходили ее смотреть.

Жизнь этих людей, полная опасности и лишений, была пронизана светом невиданных в мире человеческих отношений. Нет ничего более прекрасного на свете, чем отношения смелых и связанных интересами общего дела людей во время опасности. Сколько необыкновенных по мужеству и самоотверженности поступков и дел знала эта дорога! Какие проявления великодушия, сколько брошенных на лету дружеских слов, мимолетных рукопожа-

тий где-нибудь на льду под вой пурги, сколько задушевных бесед в каком-нибудь уголке отдыха, где можно добыть горячую воду, шахматы и книги, или просто у камелька в палатке!

Но самым душевным другом людей была в часы досуга русская гармонь, когда великий мастер и душа этого дела водитель Бахмин, гармонист и запевала, в тесной палатке, окруженный кольцом бойцов, разводил ее говорящие бархатные мехи. Враг, потерявший человеческий облик, озверевший и обовшивевший, стремился задушить многомиллионный город страшной петлей голода. А эти люди, несшие городу жизнь и жизнь всему человечеству, с ясными, мужественными глазами и обветренными лицами, пели задушевные русские песни о счастье и о любви.

Они стояли вокруг гармониста в заиндевевших шапках, и хотелось, чтобы ни на минуту не прекращались звуки родной гармонии.

— Играй, товарищ Бахмин, — говорили они с растроганными лицами, — играй, играй, товарищ Бахмин!..

Дорога Жизни! Люди твои на веки веков прославили себя своей самоотверженностью и благородством перед лицом всемирного человечества.

Носящий имя Кирова

Вот что рассказывал нам товарищ Мужейник, старый рабочий знаменитого в истории России Путиловского завода, теперь более известного в стране под именем Кировского.

— Говорят, крестьянин сильно привязан к земле и к своему родному месту. Это, конечно, верно. Но я так скажу: никто так не пристрастен к своему заводу и своему производству, как наш брат, русский рабочий. Я на заводе с тысяча девятьсот четырнадцатого года, с малых лет. Тут и отец мой работал, и другие Мужейники, и я с завода не уйду до самой смерти, если меня, конечно, советская власть не прогонит. Когда немец стал подбираться к нашему Ленинграду, сколько мы, кировцы, дали народу в ополчение? Дивизию! Немало народу полегло, а и сейчас в армии есть части, где большинство — мы, кировцы...

То, что рассказывал Мужейник, было только одной из глав великой истории ленинградского народного ополчения. Да, именно оно, великое ленинградское ополчение, в самую решающую минуту прикрыло город телами своих воинов. Вооруженная первоклассной техникой, в течение десятилетий готовившаяся к войне, прошедшая двухлетний опыт войны в Западной Европе и на Балканах, германо-фашистская армия была остановлена ополчением ленинградских рабочих, служащих и интеллигентов. И не только остановлена, — она понесла неслыханные потери в людях и технике, вынуждена была зарыться в землю и, несмотря на это, на ряде участков фронта потеснена. Это исторический факт, которого нельзя скрыть, перед которым с благоговением снимут шапки будущие поколения людей.

— Выслали мы свой народ в ополчение, а сами думаем: «А ежели враг прорвется в город и отрежет наш завод, как быть?» И решили. Завода не отдавать. Будем вести круговую оборону. И мы всю нашу местность так укрепили, чтобы, в случае чего, обороняться самим. И, помимо ополчения, создали еще свои дружины. Там уж пусть кто как хочет, а мы, кировцы, со своего завода не уйдем... Иногда задумаешься: а сколько нас всего, кировцев? Нас куда больше, чем числится на заводе. Здесь, за Нарвской заставой, целые поколения кировцев-путиловцев, все мы от завода живем, все мы одной семьи. И нам числа нет. Возьмите сами: дали столько народу в ополчение, а завод все работает. Эвакуировали все оборудование и всю основную рабочую массу в глубокий тыл, а завод все работает.

— А не хотелось, наверно, уезжать рабочим из родного города в тыл? — спросил я. — К тому же, как известно, несколько тысяч рабочих эвакуировано самолетами, ведь они могли взять с собой очень мало пожитков?

— Разное бывало, — с улыбкой ответил Мужейник. — Но все-таки я так скажу: народ легко поднялся. Вы спросите — почему? А потому, что кировские рабочие знают, что никогда ни Ленинград, ни завод не будут под немцами и что кого-кого, а уж кировцев обязательно возвернут на родные места. Мы и сейчас эвакуируем кого можем, — детей, стариков, больных. Когда они упираются, говорим: «Не бойтесь, возвернетесь, когда можно будет. Завод стоял, стоит и будет стоять», — с глубокой

внушавшей уважение убежденностью сказал Мужейник. — А потом мы говорим: «Вы едете к своим, там тоже кировцы. И мы и они — одно». И мы гордимся здесь, что они, наши ребята, работают там не только на полную мощь, а вдвое, втрое мощнее, чем работали здесь. Гордимся ими и завидуем им. Вон видите цех? Гигант! А стоит пустой, — с грустью сказал он. — Это, знаете, что за цех? Это турбинный цех. В четырнадцатом году я начинал в нем работать... Вон ведь какой цех, — сколько они его не долбают, а он все стоит! — с гордостью сказал Мужейник и вздохнул.

Все это он рассказывал нам, группе литераторов, из которых большинство было литераторов-армейцев, когда мы осматривали завод. Это был завод-город, раскинувшийся на необъятной территории. Величественное и трагическое зрелище являл собой этот ветеран русского рабочего класса. В течение блокады он беспрерывно подвергался налетам вражеской авиации, тысячи снарядов упали на его территорию. Он стоял весь в ранах и рубцах. Но он стоял, он сражался! Он стоял как бы во втором эшелоне фронта, но во втором эшелоне такой важности, что весь огонь неприятеля был направлен на него.

Весь в укреплениях, он был чист и прибран. По всей огромнейшей территории тянулись цехи, часть из которых пустовала, а часть работала. Всюду, куда хватал глаз, видны были следы разрушения: проломленные стены и крыши, вылетевшие стекла, воронки в земле, стены, выщербленные осколками снарядов. Но дым труда стлался над заводом. Конечно, по сравнению с прежним временем жизнь завода не была и не могла быть полнокровной, но он продолжал работать как крупнейший оборонный завод с многотысячной массой рабочих. И звуки жужжащих станков, рев печей, грохот прокатных станов и повизгивание маленького паровозика, маневрирующего по заводским путям, ласкали наш слух нежнее, чем самая прекрасная музыка.

Чугунолитейный цех, один из наиболее мощных цехов завода, несет на себе следы многих и многих попаданий тяжелых снарядов — то более давние, то совсем свежие. Но это мощнейший цех, работа которого не прекращается ни днем, ни ночью.

Был случай, когда цех загорелся. Константин Скобников, директор цеха, сорокатрехлетний мужчина,

не прекращая работы цеха, с группой рабочих кинулся тушить пожар. С ловкостью юноши он забрался на крышу, за ним другие. Они работали, не чувствуя себя, не зная, сколько времени длится эта работа. Когда цех был спасен, Скобников увидел, что руки его изранены и окровавлены, и почувствовал, что лицо его обожжено.

— Да ведь я же, черт возьми, этот цех строил! — сказал он нам с умной улыбкой на энергичном загорелом лице. — Это, можно сказать, родной мой цех. Да, я строил его двенадцать лет назад, и с той поры все время работаю здесь. Тут, можно сказать, прошли мои лучшие, зрелые годы.

— А помнишь, Константин Михайлович, как мы его чистили с весны? — сказал седенький-преседенький старичок мастер, сопровождавший нас во время осмотра цеха.

— И мусору же было, — засмеялся Скобников, — и в цехе, и вокруг. И все обледенело — жуть! Сознаюсь, как начали мы это дело, у самого в душе сомнение было: да уж очистим ли мы его? Целые горы мусора вывезли!

— Значит, был период, когда цех стоял? — спросил я.

— Был. Было такое время, когда я жил в цехе один.

— Как в цехе?

— Да я тут при цехе и живу. Семья у меня эвакуирована. Зимой была у меня печка-буржуйка, я возле нее и грелся. В цехе тишина такая, только ветер подвывает. Окна выбиты, кругом снегу намело, все в инее, — казалось, никогда он не оживет, мой цех.

— Что же вы поделывали в эти долгие дни и ночи?

— Да дни были заняты, мало ли у нас работы в Ленинграде! А вечером сидишь один, думаешь или читаешь.

— О чем думали, что читали?

— Подумать было о чем, — серьезно сказал Скобников. — В эти тяжелые дни люди так раскрывались! Никогда еще, наверно, не видели люди таких проявлений величия духа и таких проявлений морального падения... Я помню — в декабре цех работал, несмотря на страшный холод, на голодовку. Был у нас замечательный старик, земледел, тот, что делает формовочные земли, — великий мастер своего дела, из тех старых мастеров, которые работают как артисты и сами не знают, как у них получается. Так и он. Такую умел делать землю! А когда спросят его, по каким пропорциям делает он смесь, он говорит: «Постоянной пропорции нет, я, говорит, руками

ее, на ощупь чувствую, что и сколько надо прибавить». Про таких думают, что он «секрет знает», а весь секрет у него в руках. Нам по необходимости пришлось заменить привозные пески своими, с пригородных ленинградских карьеров. Все говорят: «Не годятся». И правда, ни у кого не выходит. Он попробовал — вышло... И вот стал он у нас слабеть. С каждым днем, видим, меняется, а работу не бросает, только все учит свою старуху, как землю делать. Все ей что-то рассказывает, а то покажет, а то заставит самое сделать. Рассердится вдруг: «Экая, мол, ты непонятливая», — а потом опять учит, учит. И вот один день прибегает ко мне паренек, говорит: «Зовет...» Я уже понял, кто зовет. Прихожу, лежит он на той самой земле, которую так хорошо умел делать, рядом старуха его стоит, не плачет. Еще тут стоят рабочие-старики. Он уже совсем слабый стал. «Вот, говорит, Константин Михайлович, умираю... А вместо меня — будет старуха моя...» И уже перестал смотреть на нас и все старуху наставляет, чтобы она того и того не забыла, как, дескать, замешивать и что... Она все перенимает, повторяет за ним: «Не забуду, говорит, не бойся». Не плачет. Можно было со стороны заплакать, да уж правду говорят, что слезы вымерзли у ленинградцев. Так вот он ее наставлял, фразы не договорил и умер... Вот какие вещи приходилось видеть. А другой опускался до того, что мог у товарища кусок хлеба украсть... — Он помолчал. — А что я читал? Читал я Бальзака, Стендаля и очень многое узнал у них о людях.

Константин Скобников, сын паровозного машиниста, в 1917 году окончил реальное училище и в 1925 году технологический институт. Это образованный инженер большого практического опыта. Он рассказал нам, какую величайшую изобретательность должен проявлять инженер в ленинградских условиях, когда не хватает многих и многих материалов, без которых, по прежним представлениям, производство казалось немыслимым: как переделать топки в паросиловом цехе, чтобы можно было топить и углем и дровами, в зависимости от того, какое топливо налицо; как получить чугун без кокса; что употреблять в качестве крепителя, если нет растительных масел? Это самые элементарные из тех больших и мелких вопросов, которые были решены живой мыслью ленинградских инженеров и хозяйственников.

Мне довелось наблюдать за работой многих хозяйственников Ленинграда. Это люди незаурядные. Если война учит хозяйственников всей нашей страны строжайшему расчету и экономии, то с точки зрения хозяйственника-ленинградца многое, достигнутое в этом направлении в других пунктах страны, кажется верхом расточительности. Ленинградцы — это самые экономные, расчетливые и изобретательные хозяева, каких только знает наша страна.

Тысячи снарядов легли на территорию Кировского завода, а Кировский завод продолжает выпускать самые разнообразные виды современного вооружения — от мин и снарядов до танков.

Главная сила на производстве — женщина. Нет той профессии от самой физически тяжелой до самой сложной, какой не овладела бы ленинградская женщина.

В цехе Константина Скобникова мы видели работу знаменитого на весь завод бригадира формовки — девушки Румянцевой. Она совсем не была знакома с производством, когда поступила на завод, она освоила свою профессию буквально в три недели. Беседуя с нами, она ни на минуту не прекращала работы, ее ловкие маленькие руки работали точно и споро, и во всех ее движениях была такая легкость, точно она танцевала возле своих форм.

— За нами дело не станет, товарищи военные, — весело играя глазами, сказала она в ответ на нашу похвалу ее работе, — за нами дело не станет, дело за вами — скорее гоните немцев от Ленинграда.

Как я уже сказал, многие из нас были в военной форме. Глядя на нас, Румянцева лукаво улыбнулась.

— Мы вас очень даже любим, — сказала она, — да уж больно близко вы от нас стоите. Чем дальше вы от нас уйдете, тем больше будем вас любить...

Работавшие женщины засмеялись, а мы, признаться, смутились.

В одном из отделений цеха, под его темными сводами, группа женщин, осыпаемая искрами, стоя у громадных точил, обтачивала мины; они, еще горячие, грудами лежали за ними. Я остановился возле одной из женщин. Она стояла в профиль ко мне. Темный платок был надвинут ей на лицо, — я не мог определить ее возраст. Руками, одетыми в громадные рукавицы, она брала из кучи мину за концы и потом, навалившись всем телом, прижимала ее к стремительно вращавшемуся колесу. Сноп искр

обдавал ее. Это была первоначальная грубая обточка мин перед тем, как сдать их в механическую обработку. Не обращая на меня внимание, она брала мину за миной и снова наваливалась всем телом на колесо. Видно, удержать эту мину на вращающемся колесе стоило такого напряжения, что все тело женщины сотрясалось.

Это был тяжелый мужской труд. Мне все хотелось увидеть лицо женщины, и я стоял до тех пор, пока она не обернулась ко мне. Ей было на вид лет сорок, лицо у нее было необычайной красоты — тонких черт и строгое — лицо подвижницы.

— Это очень тяжело? — спросил я.

— Да, поначалу было очень тяжело, — сказала она, взяв мину и прижав ее к вращающемуся и брызжущему искрами колесу.

— Где ваш муж? — спросил я в том незначительном промежутке, пока она клала обточенную мину и брала другую.

— Умер зимой.

Я не стал спрашивать, от чего он умер, это было понятно само собой.

— Дети есть?

— Есть. Девочка одна учится, а другая, маленькая, здесь на заводе, в детском саду, а сын на войне...

Женщина Ленинграда! Найдутся ли когда-нибудь слова, способные передать все величие твоего труда, твою преданность Родине, городу, армии, труду, семье, твою безмерную отвагу? Везде и на всем следы твоих прекрасных умелых и верных рук. Ты у станка на заводе, у постели раненого бойца, на наблюдательной вышке, в учреждении, в школе, в детском доме и яслях, за рулем машины, в торфяном шурфе, на заготовке дров, на разгрузке баржи, ты в одежде работницы, в форме милиционера, бойца противовоздушной обороны, железнодорожника, военного врача, телеграфиста. Твой голос слышен по радио, твои руки возделывают огороды по всем окрестностям Ленинграда, в его садах, скверах, пустырях. Ты охраняешь целостность и чистоту здания, ты воспитываешь сирот, ты несешь на своих плечах всю тяжесть быта семьи в осажденном городе. И ты озаряешь своей улыбкой всю жизнь Ленинграда, как солнечным лучом.

А сколько вас, прекрасных дочерей Ленинграда, на боевых рубежах — в качестве санитарок, медсестер,

политруков медсанбата! С какою застенчивостью показывала мне на одном из участков Ленинградского фронта санитарный инструктор Ольга Маккавейская свой комсомольский билет, пробитый пулей. Она была ранена в грудь навылет. Маленькие расплывшиеся капельки крови запечатлелись на той стороне билета, которой он прилегал к груди. Ольга Маккавейская, поправившись от раны, вернулась в свою любимую роту, роту автоматчиков. Членские взносы были аккуратно вписаны в этот пронзенный пулей и окропленный кровью комсомольский билет. «Теперь у меня есть уже и другой», — с застенчивой и ясной улыбкой сказала она, показывая мне новенький партийный билет.

Кировский завод был и остался гордостью Ленинграда. Как и в былые дни, он издает собственную печатную газету. Ее редактирует Алексей Соловьев, рабочий завода и любимый поэт завода. Газета называется «За трудовую доблесть». Но в Ленинграде больше, чем в каком бы то ни было другом месте страны, трудовая доблесть — воинская доблесть.

Кировские рабочие живут и работают на фронте. Они живут в своих квартирах, как в блиндажах, причем блиндажах малонадежных, и идут на работу, как на боевую позицию. За полчаса до нашего прихода на заводе разрывом артиллерийского снаряда убило шесть электросварщиков. Как и на фронте, кировские рабочие привыкли к опасности, они работают, шутят, справляют свои бытовые дела. Но на их лицах, как и на лицах бойцов на фронте, есть неуловимая складка, которая образуется от подспудного сознания постоянной опасности. Это — мужественная складка, она и суровая и озорная одновременно, более строгая у людей постарше и более озорная у тех, кто помоложе.

В цехе сборки танковых моторов, которым руководит прекрасный, предельной изобретательности инженер Старостенко, мы познакомились с молодым бригадиром Евстигнеевым. Вот что нам рассказали о нем.

Евстигнеев более трех суток не уходил из цеха, работая над закатом для фронта. Время было голодное, силы начали покидать его. Товарищи в один голос заявили:

— Ты бы, Евстигнеев, отдохнул маленько.

Он рассердился не на шутку и наотрез отказался покинуть свое рабочее место.

— Пока я у вас бригадиром, командую я, а не вы, ваше дело исполнять да работать...

Но нехитрый слесарный инструмент не слушался его рук. Пришлось все-таки покинуть работу.

«Как это могло случиться? — рассуждал он, лежа дома на койке. — Я — такой молодой парень и вдруг заболел...»

Вечером к нему пришли товарищи.

— На-ка, посмотри вот, про тебя пишут, — сказал самый молодой из пришедших слесарей и протянул Евстигнееву газету.

Евстигнеев отмахнулся, но, когда за ребятами захлопнулась дверь, он прочел, что было написано о нем в газете. А в газете было написано, что бригада Евстигнеева лучшая на заводе. Тогда он оделся и, покачиваясь от слабости, отправился на завод. Его почти насильно стали выгонять из цеха.

— Не допущу я его с больничным листом до работы, — решительно заявил начальник цеха.

— А я, товарищ Старостенко, работать не буду, я посмотрю маленько, — робко возразил Евстигнеев.

Так он приходил и «смотрел» целую неделю. А 26-го числа этого месяца, на четыре дня раньше срока, его бригада выполнила месячную программу.

Если бы меня спросили — какое наиболее ярко выраженное чувство владеет кировскими рабочими, я не колеблясь ответил бы: чувство мести. Здесь очень много людей, потерявших близких на фронте, и еще больше людей, потерявших близких и дорогих сердцу от трудностей и лишений блокады. Кировские рабочие хорошо знают виновника этих лишений, с заводских вышек они могут видеть его простым глазом, и они относятся к нему с ненавистью, глубоко устоявшейся, личной, смертельной ненавистью. Иногда это кажется преувеличением, будто можно мстить в труде. А между тем сотни и тысячи кировских рабочих, в труднейших условиях перевыполняющих свою норму в два, в три, в четыре, в пять раз, не только понимают разумом, а почти физически ощущают, что все, что они делают, тут же, прямо с завода, идет на истребление бешеного врага.

Рабочие Кировского завода пригласили нас устроить на заводе литературный вечер. В вечере приняли участие ленинградские поэты Николай Тихонов, Александр Прокофьев и я.

В подвале одного из зданий, под бетонированным полом, оборудован зал для заседаний и вечеров, со сценой и кулисами. Зал, рассчитанный на семьсот человек, не мог вместить всех желающих. Слушатели заполнили все проходы, пришлось запереть наружную дверь, но в течение всего вечера в нее ломились снаружи, хотя как раз в это время начался артиллерийский обстрел завода.

Николай Тихонов читал свою поэму «Киров с нами». Сюжет этой поэмы в том, что Киров, вождь и любимец ленинградских рабочих, павший 1 декабря 1934 года, обходит морозной, черной, железной ночью блокированный Ленинград.

Сила этой поэмы, прекрасной самой по себе, удваивалась оттого, что она была написана Николаем Тихоновым этой жестокой зимой в промерзшей квартире при свете коптилки и тем, что читал он ее сам кировским рабочим в подвале одного из зданий Кировского завода в то время, когда шел сильный артиллерийский обстрел завода. Все слушали поэму, точно окаменев. В лицах слушателей было что-то суровое и трогательное.

В поэме есть глава, в которой Киров проходит мимо завода своего имени:

Разбиты дома и ограды,
Зияет разрушенный свод,
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
Боец, справедливый и грозный,
По городу тихо идет.
Час поздний, глухой и морозный...
Суровый, как крепость, завод.
Здесь нет перерывов в работе,
Здесь отдых забыли и сон,
Здесь люди в великой заботе,
Лишь в капельках пота висок.
Пусть красное пламя снаряда
Не раз полыхало в цехах,
Работай на совесть, как надо,
Гони и усталость и страх.
Мгновенная оторопь свяжет
Людей, но выходит старик,—
Послушай, что дед этот скажет,
Его неподкупен язык:
«Пусть наши супы водяные,
Пусть хлеб на вес золота стал,
Мы будем стоять, как стальные,
Потом мы успеем устать.
Враг силой не мог нас осилить,

Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.
Такого вовеки не будет
На невском святом берегу,
Рабочие русские люди
Умрут, не сдадутся врагу.
Мы выкуем фронту обновы,
Мы вражье кольцо разорвем,
Недаром завод наш суровый
Мы Кировским гордо зовем».

Когда Тихонов читал эти строки, по мужественным лицам кировских рабочих, мужчин и женщин, покатились слезы. Прокофьев и я тоже не выдержали. Тихонов сам был взволнован. По окончании чтения автору устроили овацию, его вызывали несчетное число раз.

Сопровождаемые группами молодежи, мы шли через всю территорию завода к главному входу, где ждала нас машина. Это было в середине мая, в преддверии белых ночей. Было часов девять вечера, но солнце еще только заходило. Гигантские корпуса цехов, побитые и израненные, казались еще более величественными в вечернем красном свете. Осколки артиллерийских снарядов то и дело попадались под ноги, — завод был усыпан ими. Молодежь, сопровождавшая нас, расспрашивала о судьбе и работе писателей и поэтов, своих любимцев. Молодежь шутила и смеялась. Из цехов доносился разнообразный и торжественный в этот вечерний час шум работы.

У самого входа в завод стоит громадный памятник Кирову. Киров изображен здесь таким, каким народы СССР не раз видели его на трибуне. В кожаной фуражке, он стоял на крепких, сильных ногах с рукой, откинутой свободным и широким ораторским движением, с мужественной, уверенной улыбкой на сильном, широком русском лице. Распахнутые полы его пальто были все изрешечены осколками, следы попаданий видны были по всему его могучему корпусу. Но он стоял со своей откинутой рукой, зовущей к борьбе, с этой уверенной и обаятельной улыбкой сильного и простого человека. Его нельзя было убить теперь, как не был он убит 1 декабря 1934 года, потому что Киров, как и дело, за которое он боролся, — бессмертны.

Сколько раз германское радио и печать извещали о его гибели, но нет — он жив, красавец старик. Мы всходим по его трапу, точно взбираемся на стену крепости. Я напрасно назвал его стариком, — я вспомнил его историю, историю линкора «Октябрьская революция». Но он модернизирован. Это вполне современный корабль, оснащенный новейшими машинами и могучей артиллерией. Он точно рожден наново. И потому не только моряки, но и все ленинградцы любовно зовут его «Октябриной».

Мы всходим по трапу, и контр-адмирал Москаленко встречает нас, такой же сухой, энергичный, смуглый до черноты, огненноглазый и громогласный, как всегда. Если действительно существуют на свете морские волки, то контр-адмирал Москаленко несомненно первый среди них. Его сухое, резко очерченное лицо сожжено южным солнцем и прокалено северными морозами. Голос его продут и прополоскан ветрами всех широт до предельной сиплости, и все же, если он гаркнет, осердясь, это слышно по всему кораблю. Во внезапной ослепительной улыбке его, так соответствующей его седым вискам, в черных глазах, вдруг вспыхивающих огнем, в стремительных движениях, в чуть заметном украинском акценте речи, во внешней грубоватости обращения есть что-то необыкновенно обаятельное и цельное.

На корабле нет того вида оружия или механизма, действия которого контр-адмирал не мог бы показать своими руками. Моряки верят ему безгранично. Для них это не только справедливый, требовательный, образованный начальник, но и свой брат моряк, моряк с детства, начавший свою службу с самых низших ступеней флота и избороздивший на торговых и военных судах все моря и океаны.

В каюте, строгой по убранству и в то же время такой комфортабельной по сравнению с любой ленинградской квартирой (ванна, электричество!), контр-адмирал показал нам карту бомбардировки корабля с воздуха за все время войны. На карте возрастающими эллипсами, внутри которых по оси расположен корабль, показаны зоны падения бомб; места падения бомб обозначены кружочками разных цветов; все бомбы, упавшие такого-то числа, окрашены в одинаковый цвет.

Вся карта была испещрена кружочками всех цветов. Иногда бомбы падали почти впритирку к кораблю, но подавляющее большинство их легло на расстоянии, не могущем принести кораблю никакого вреда. И было одно попадание, которое принесло кораблю незначительное повреждение.

— Почему они так плохо попадали? Они бомбили вас с большой высоты?

— Нет, они неоднократно пикировали на нас, — насмешливо посверкивая на собеседников своими черными глазами, говорил контр-адмирал Москаленко, — но они пикировали не точно, они нервничали из-за наших зениток.

— А зенитки стреляли хорошо?

— Сбили один самолет, — сказал Москаленко с улыбкой. — Правда, береговая зенитная артиллерия утверждает, что это она сбила, этого никогда уже сам черт не разберет.

— После того как бомба упала на корабль, вы ушли на ремонт?

— Нет, мы сами сделали ремонт на ходу. Особенность этой кампании в том, что, какие бы ни были повреждения, ни один корабль Балтийского флота не становился в доки на ремонт. Все корабли, от подводных лодок до линейных кораблей, ремонтировались своими силами. Вот извольте посмотреть...

Разрушения, причиненные фугасной бомбой, упавшей на корабль, заделаны были с профессиональной тщательностью и умением.

— Этого мало! — блестя глазами, с свободным энергичным жестом сухой мускулистой руки сказал контр-адмирал. — Мы получили несколько новых видов вооружения, и мы устанавливали и монтировали его сами, без помощи каких бы то ни было инженерных сил. Вот извольте поглядеть...

Он подвел нас к группе зенитных пулеметов, возле которых дежурил краснофлотец с ярко выраженным монгольским типом лица.

— По некоторым причинам, связанным с трудностями доставки через Ладогу, мы получили части этих пулеметов в разрозненном виде и без всякого указания, как их собрать и монтировать. Знаете, кто их собрал? Вот кто их собрал... — И он указал на краснофлотца, спокойно смотревшего на нас умными карими глазами.

— Как вы сообразили?

— Да ведь видно, что к чему, — отвечал краснофлотец.

— А кто вы по национальности?

— Узбек.

В то время, пока мы разговаривали, слева от корабля послышался характерный свист и метрах в полутораста — двухстах от корабля лег снаряд тяжелой немецкой артиллерии. Все пришло в стремительное движение. В течение нескольких минут корабль стал неузнаваем, все были на своих местах, корабль грозно затих. Немцы стреляли с суши, стреляли плохо, снаряды ложились на далеких расстояниях от корабля. Нам очень хотелось посмотреть действие мощной судовой артиллерии, но линкор презрительно молчал.

— Почему вы не отвечаете? — спросили мы контр-адмирала.

— Не наше дело бороться с ними. Сейчас их засечет наша сухопутная артиллерия и откроет огонь, и они сразу замолчат. Ведь это хищники: выпустят второпях десятка два снарядов и — молчок: боятся.

Действительно, не прошло и десяти минут, как обстрел линкора прекратился. Ни один снаряд не упал ближе, чем на полтораста — двести метров.

В том, что Ленинград выдержал бешеный натиск немцев в сентябре 1941 года, он многим обязан балтийским морякам. На флот десятилетиями подбирались отборные кадры. Славные традиции флота передаются из поколения в поколение. Жизнь на кораблях сплачивает людей. Этим объясняется, что, несмотря на отсутствие подготовки к войне на суше, моряки показали чудеса отваги и героизма. В их поведении было много наивноромантического, за что немало моряков поплатилось своей жизнью. На фоне осеннего золотого пейзажа так выделялись черные матросские бушлаты и фуражки-бескозырки с развевающимися лентами Балтийского флота! Но моряки гордились тем, что враг видит, что против него сражаются военные моряки-балтийцы. С беззаветной отвагой не раз и не пять бросались они в атаку на численно превосходящего и лучше вооруженного врага и отбрасывали его. Не было случая, чтобы немцы выдержали штыковой бой с балтийскими моряками. Даже в тех случаях, когда успевали переодеть моряков в обычную военную форму, мо-

ряки, идя в наступление, распахивали шинели и вороты гимнастерок, чтобы из-под них видны были полосатые матросские тельники. Из карманов вдруг появлялась бескозырка с лентами и заменяла собой красноармейскую пилотку. Жестокий опыт показал им, что так воевать нельзя. Но кто найдет в своем сердце слова осуждения павшим и кто не снимет благоговейно шапку перед их памятью?

Впоследствии военные моряки-балтийцы влились в части Красной Армии, прошли суровую школу современной войны и до сих пор являются надежнейшими кадрами Красной Армии. Я должен сказать, что во время пребывания в частях Красной Армии, в которых находятся военные моряки-балтийцы, я никогда не замечал с их стороны какой-либо кастовой замкнутости или пренебрежительного отношения к армейцам, столь характерных в дореволюционное время. Единственное, что отличает моряков, — они продолжают считать себя моряками, считают свое пребывание в армии временным и сохраняют моряцкую терминологию. Где бы они ни были — в лесу, в поселке, в поле, — они называют кухню камбузом, столовую — кают-компанией, уборную — гальюном и т. п. И все они держат письменную связь со своими кораблями. Краснофлотцы линкора «Октябрьская революция» показывали нам обширную переписку со своими товарищами, сражающимися на суше. Письма эти необыкновенно трогательны по выраженным в них чувствам дружбы к товарищам и привязанности к своему кораблю.

«Подполковник Ф. никуда не уйдет»

Моряки-балтийцы поддержали Ленинград не только живой силой, но и своей мощной дальнобойной артиллерией, действующей как крепостная. Кто бывал когда-нибудь в орудийной башне современного линкора, тот знает, что орудие на корабле — это целая фабрика. Вот такие фабрики расположены то там, то здесь по Ленинградскому фронту и бьют по далеким тылам противника.

С поэтом Николаем Тихоновым и писателем Всеволодом Вишневским мы провели памятные в нашей жизни часы на одной из таких фабрик, прочно покоящихся на своем бетонном основании уже девять месяцев.

Моряки-артиллеристы давно одеты в красноармейскую форму. Конечно, они продолжают считать свое пребывание здесь, на суше, временным, — но это единственное, что отличает их от всех прочих артиллеристов: они чувствуют себя моряками. В этом ощущении их поддерживает одним своим видом командир части, старый балтийский моряк, капитан второго ранга, он же подполковник Ф. Да, он капитан второго ранга, но на суше он подполковник артиллерии. Он никак не может расстаться с синим, с золотыми нашивками, флотским мундиром, и, когда красноармейцы-моряки видят его, они чувствуют, что все в порядке.

За время войны расположение части неоднократно подвергалось налетам с воздуха, сотни бомб и десятки тысяч снарядов легли на территорию части. Но за все время войны она потеряла убитыми и ранеными не более десяти человек. На расположение одной из батарей, где мы находились, легло за время войны восемь с половиной тысяч снарядов. Вся местность вокруг покрыта их осколками. Мы попали в несчастливый день, когда во время очередного обстрела осколок снаряда впился под ребро краснофлотцу Курбатову. Он приложил к груди большую загорелую ладонь. Кровь хлынула между пальцев, и его летняя гимнастерка мгновенно густо окрасилась кровью. Послышался возглас:

— Носилки!

— Я дойду, — говорил Курбатов, смущенно поглядывая на окровавленную ладонь.

— Да ты сядь вот на шинельку, — заботливо говорили моряки.

— Ничего, я дойду, — говорил Курбатов, покачиваясь: он не понимал, что он уже не может идти.

— Болит?

— Больно дыхнуть... да я дойду.

Когда его уже положили на носилки, он подозвал к себе подполковника Ф. и попросил его, чтобы тот позаботился о его возвращении в эту же часть, после того как он поправится от раны.

— Не забудьте, товарищ капитан, — говорил он, незаметно для себя и для других переходя на морское звание подполковника.

— Я не забуду.

Курбатов закрыл глаза, и его унесли.

— Скажите, если обстоятельства так сложатся, что наша оборона будет прорвана и вам придется уходить, ведь вам уже никак не удастся вывезти эти орудия? Вам придется их уничтожить? — спрашивали мы подполковника Ф.

— Уходить? — Он сердито фыркнул. — Это пусть там другие подполковники считают возможным уходить, а подполковник Ф., — подчеркнул он, давая понять, что мы имеем дело с капитаном второго ранга, — а подполковник Ф. никуда не уйдет.

— Как же вы будете?

— Организуем круговую оборону и будем стоять, пока не выручат.

— А если не выручат?

— Об этом что уж говорить, — сказал подполковник Ф. и выбил трубку. — Я так и дочку свою предупредил. Здесь у меня дочка работает медицинской сестрой. Я ее предупредил.

— Что же она?

— Она, как все, — сказал подполковник Ф.

Катерники

Мы в гостях у моряков торпедных катеров — «катерников», как называют они себя. В их повадке и манерах, в дружеской простоте обращения и скромности, под которыми чувствуется мужественная гордость за свою профессию, есть что-то объединяющее их с летчиками.

В условиях современной войны на Балтийском море войну ведет так называемый «москитный флот» — и прежде всего торпедные катеры и подводные лодки. Десятки немецких судов погибли благодаря отчаянным действиям торпедных катеров и подводных лодок. Их деятельность, сопряженная с постоянной смертельной опасностью, требует необычайной отваги, выдержки и исключительно умелого обращения с той техникой, которая дана в руки морякам-катерникам и подводникам.

Главную опасность для торпедных катеров и подводных лодок представляют мины. В Балтийском море развертывается жестокая минная война. Море так начинено минами, что моряки называют Балтийское море «суп с клецками».

Отвага моряков торпедных катеров беспримерна. На вопрос:

— Как живете?

Мы слышим веселый ответ:

— Живем хорошо. Будем жить еще лучше.

Капитан-лейтенант Гуманенко — Герой Советского Союза. Это совсем еще молодой человек. Несколько месяцев назад, когда ему присвоено было звание Героя Советского Союза, он был еще в звании старшего лейтенанта. Это стройный, крепкий, загорелый, застенчивый, умный, сероглазый парень с русыми, золотящимися волосами — любимец катерников-краснофлотцев.

Свою первую боевую операцию Гуманенко провел на двадцать третий день Великой Отечественной войны. Нагруженные войсками, танками, артиллерией, корабли противника готовились высадить десант на советское побережье. В ночь на 13 июля 1941 года торпедные катеры Гуманенко вышли в море. Часа в четыре утра показался огромный караван неприятельских судов в сорок восемь вымпелов.

Восемь миноносцев, семь сторожевых кораблей, полдюжины крупных транспортных барж, торпедные катеры, застилая дымом небо, шли в чуть брезжущем свете раннего утра.

Гуманенко дал сигнал к атаке, катеры развернулись и, вспенивая море, понеслись на сближение с караваном. Чудовищной силы огонь открыли немецкие корабли по советским торпедным катерам. Снаряды сыпались в море, как град, оно побелело от всплесков. Поставив дымовую завесу, катеры врезались в самую гущу фашистской флотилии, в середину трех вражеских кильватерных колонн, и выпустили свои торпеды. Почти одновременно раздалось несколько взрывов. Взметнулись столбы огня и дыма. Два больших транспорта с войсками и миноносец противника тонули на глазах всей эскадры.

Однако катеры не уходили. Вот пошла на дно неприятельская баржа с боеприпасами. Огонь вражеской артиллерии бушевал вокруг смельчаков. Катер, на котором находился Гуманенко, получил два прямых попадания. Ранило моториста. Из строя вышел мотор. По катеру, потерявшему скорость, начали бить все вражеские корабли. Море кипело вокруг.

Гуманенко спокойно отдавал распоряжения, наблюдал за тем, как заделывают пробоины, и отвечал врагу пуле-

метным огнем. Ему на выручку пришли другие катеры. Они поставили дымовую завесу, укрыли товарища и, отбиваясь пулеметами от вражеских кораблей, увели его в базу.

Не прошло и трех недель, как два торпедных катера Гуманенко вместе с двумя катерами капитан-лейтенанта Осипова с такой же беззаветной отвагой атаковали пять вражеских миноносцев. После короткого молниеносного боя немцы лишились трех боевых кораблей.

Но самой яркой и крупной операцией, проведенной Гуманенко на Балтике, явился разгром вражеской эскадры у острова Эзель.

— Расскажите нам о ней, — попросили мы его.

Гуманенко смущен.

— Я расскажу немного погодя, — говорит он с улыбкой, — право, расскажу. Вот чайку попьем — и расскажу. А вы пока расскажите про писателей.

Видно, что Гуманенко не скромничает, а просто не приготовился к рассказу. Некоторое время спустя, без всякого нового побуждения с нашей стороны, он рассказывает нам всю операцию у острова Эзель, рассказывает естественно и свободно, без жеста, без улыбки, без всякого упоминания о себе.

Вот в чем состоял подвиг Гуманенко, бывшего тогда старшим лейтенантом. Гуманенко командовал отрядом торпедных катеров, в который входило четыре катера. Двадцать седьмого сентября 1941 года к острову Эзель подошли немецкий крейсер типа «Кельн», быстроходный лидер и пять миноносцев. Они залпами начали бить по линии нашей обороны. Гуманенко решил ворваться в их расположение и потопить их.

Для того чтобы подойти к судам неприятеля, катеры должны были пройти некоторое расстояние. Движение катеров было замечено авиацией противника, которая во все время движения катеров беспрерывно атаковала их, пикируя на катеры, сбрасывая бомбы и подвергая их пулеметному обстрелу. Юркие катеры, искусно маневрируя и отбиваясь от самолетов, храбро мчались вперед.

Немецкие корабли встретили катерников шквальным артиллерийским огнем, но катеры приблизились настолько, что выпустили свои торпеды наверняка. В результате торпедной атаки пошли ко дну немецкий крейсер типа «Кельн», два эсминца и был подорван вражеский лидер.

Во время этого неравного боя один наш боец был убит. От прямого попадания неприятельского снаряда один катер опрокинулся и стал тонуть, но Гуманенко и лейтенант Ушев под артиллерийским огнем неприятеля, подвергаясь атакам самолетов, подошли к потерпевшим и спасли экипаж.

— Как жизнь? — приветствовали их на базе.

— Жить можно, — отвечали катерники.

Владимир Поликарпович Гуманенко — бывший рабочий симферопольского завода. В 1933 году он добровольно пошел служить на флот. Имя его среди Героев Советского Союза может быть отмечено не только как имя отважного человека, — отважных людей у нас очень много, — а прежде всего как новатора морского боя, смело опрокинувшего все нормативы в использовании такого оружия, как торпедный катер. Гуманенко — признанный мастер торпедных атак. Он доказал, что катеры могут самостоятельно вести бой против численно превосходящих сил противника, атаковать с предельно коротких дистанций и добиваться точного попадания во вражеские корабли.

Подводная лодка Маяковского

Внимательный читатель сводок Советского информбюро обратит внимание на то, что начиная с весны 1942 года и по сей день часто появляются сообщения о потоплении военных кораблей и транспортов противника в Балтийском море. Это работа подводных лодок, работа, о которой не принято писать подробно, работа героическая, если принять во внимание, что Балтийское море — «суп с клецками» и что транспорты противника конвоируются военными судами.

Я возьму на себя смелость сказать, что командиры нашего подплава, наряду с командирами торпедных катеров, — это наиболее культурные, смелые и опытные командиры флота, а краснофлотцы-подводники — наиболее грамотные и дисциплинированные моряки.

За время жизни в Ленинграде я побывал на многих подводных лодках, завязал длительные дружеские связи с моряками подплава. И самыми волнующими воспоминаниями для меня являются воспоминания о том, как лодки направлялись в поход со своих баз, и те мужест-

венные слова прощания и дружбы, которые люди говорили друг другу, отправляясь в поход.

Нет ничего более ненавистного для моряка, когда он заперт, когда залив скован морозами и моряк вынужден бездействовать. Всю зиму моряки подводного флота жили мечтой похода на запад, и вот это время пришло. И молодые люди, с счастливыми лицами, бесстрашно и мужественно ринулись лавировать в «суп с клецками».

С писателем Всеволодом Вишневским, старым балтийским моряком, участником четырех войн, мы провожали в поход подводную лодку «Комсомолец», типа «Щука».

История этой лодки необыкновенна. В дни, когда зачинался советский военно-морской флот и строились первые его суда, поэт Владимир Маяковский обратился к комсомолу с предложением построить подводную лодку за счет добровольных отчислений из заработка молодежи. Тогда только начинали строить первые подводные лодки. Средства были собраны, и лодка была построена. Она была построена, когда Маяковского уже не было в живых.

Экипаж ее был сформирован из московских комсомольцев.

Они были безусые юнцы, когда впервые вступили на борт подводной лодки. А в тот день, когда писатель Всеволод Вишневский и я спустились в лодку, это были уже опытные «старые» моряки и знаменитые воины. Их осталось уже не так много от того, первого, набора. Другая безусая молодежь приняла традиции боевого корабля, построенного по предложению великого Маяковского. А «старики» почти все уже были на командных должностях. Мы приехали проститься с ними: лодка готовилась в поход на запад.

Конечно, это была уже не та подводная лодка, которую построили по предложению Маяковского. Она была модернизована — все ее механизмы были заменены новейшими современными механизмами.

Ничто не заставляет так преклоняться перед человеческим гением, как вид подобных совершенных механизмов, давших человеку власть над самыми непокорными стихиями и являющихся осуществлением самой фантастической мечты человечества. И в то же время — какая сила привычки и любви к этому совершеннейшему из орудий войны нужна для того, чтобы чувствовать себя естественно внутри этого механизма, сродниться с ним, жить в нем.

Часы естественно носить в кармане, но неестественно жить внутри часового механизма.

И ничто так не свидетельствует о колоссальном промышленном перевороте, происшедшем в нашей стране за последние двенадцать лет, как вид этих сложнейших и тончайших машин и приборов, сделанных до последнего винтика на наших отечественных заводах. Невольно вспоминалось на этой подводной лодке, что ведь были же в стране такие «политики», которые считали нецелесообразным и невозможным создать в нашей аграрной стране крупную машинную индустрию, а хотели форсировать легкую промышленность. Это означало бы променять наши самолеты и наши подводные лодки на галантерею. Хороши бы мы были в этой войне!

Дело не только в том, что мы являемся теперь обладателями совершенной передовой техники. А дело в том, что в стране родились поколения людей, понятия не имеющих о том, что их деды и даже отцы были рабами природы, родились поколения людей грамотных, волевых, уверенных в своей власти над стихией. Было радостно и весело смотреть, как ловко девятнадцатилетние парни управлялись с тончайшими и сложнейшими механизмами, такими механизмами, которые для большинства людей моего, еще далеко не старого поколения, казались существующими только в фантазии Жюля Верна.

На лодке было то состояние возбужденной деятельности и приподнятого веселья, какое всегда возникает на военных судах и в воинских частях, уже обжившихся в войне, в предвкушении битвы. Эти молодые люди были счастливы тем, что они идут в море, счастливы тем, что они идут на запад — сражаться. Наконец-то они погрузятся в этот «суп с клецками» и будут топить фашистов! Они настолько верили в свою звезду, в свое счастье-удачу, что нельзя было не преклониться перед ними. И все же глубокое волнение охватило нас, когда наступила минута прощания. Я никогда не забуду этих рукопожатий.

Все советские люди любят Москву. Но экипаж «Комсомольца», где в большинстве были москвичи, в течение нескольких лет не видавшие родного города, относился к Москве с сыновней страстной любовью.

— Будете в Москве, кланяйтесь Москве! Поклонитесь улицам Москвы! Скажите ЦК комсомола, товарищу Ми-

хайлову, что мы свой долг выполним! Скажите — пусть не забывает нас.

Только что звучали эти молодые, страстные, счастливые голоса. И в представлении моем встает тишина над водой, плеск волны и то появляющееся, то исчезающее в солнечной ряби узкое, длинное стальное тело «Щуки», — она все плывет на запад, она все меньше и меньше, уже кажется иглой. И вот уже нет ничего на водных просторах.

О первых шагах «Комсомольца» в море я расскажу в следующей главе.

Балтийский почерк

Я подружился в Ленинграде с двумя моряками подплава — Петром Грищенко и Михаилом Долматовым. Петр Грищенко командовал подводной лодкой и был награжден за Отечественную войну орденом Красной Звезды. Михаил Долматов, его товарищ и ровесник, был когда-то комиссаром на его подводной лодке, а когда мы познакомились, работал в Политуправлении флота.

До чего же это были разные люди! И все-таки их тянуло друг к другу. Петр Грищенко — красивый черный моряк со сросшимися бровями, сосредоточенный в себе, организованный, целеустремленный — человек с самостоятельным, независимым мышлением. В сущности, у него только один самый задушевный друг — это дневник, который он ведет, и еще один хороший товарищ — это Михаил Долматов. А Михаил Долматов — широкая русская натура, с настоящей русской повадкой, выходкой и хитрецой, которая помогает ему ладить с Грищенко.

По потребностям работы их развели, и одной из тем наших разговоров было постоянное желание обоих вновь соединиться на одной подводной лодке.

Любимое выражение Михаила Долматова — «балтийский почерк». Этим выражением он определяет все героическое, выдающееся, удивительное и прекрасное из того, что происходит на флоте. Балтийский почерк — это деятельность торпедных катеров и подводных лодок в море, балтийский почерк — это Герой Советского Союза Гуманенко, это контр-адмирал Москаленко, это капитан второго ранга, он же подполковник Ф. И если моряк хорошо

танцует — это тоже балтийский почерк. И знаменитая балтийская краснофлотская самодеятельность — это тоже балтийский почерк. И то, как Петр Грищенко и Михаил Долматов пикируются друг с другом, нанизывая самые обидные, остроумные, самые веселые и соленые словечки и поговорки, — это тоже балтийский почерк.

И вот мне пришлось провожать подводную лодку капитана второго ранга Петра Грищенко в море. И, конечно, Михаил Долматов был вместе с ним. Случилось это так: как только Долматов узнал, что подводная лодка Грищенко выходит в море, он, что называется, упал в ноги к начальнику, и его отпустили.

— А «Комсомолец»-то, а? — встретили меня Грищенко и Долматов торжествующими возгласами. — Вот это балтийский почерк!

— А что «Комсомолец»?

— Да только что вышел в море и сразу потопил немецкий транспорт в двенадцать тысяч тонн — получена радиограмма...

— Ну, Петька, смотри, брат, — вдруг сказал Долматов, погрозив пальцем своему товарищу, — смотри, брат!..

— Уж как-нибудь, — спокойно отвечал Грищенко, не удостаивая друга даже взглядом.

Видно было, что в его непокорной черной голове роятся такие планы, перед которыми потопление транспорта в двенадцать тысяч тонн — просто детская забава.

Так проводил я их в море. А о действиях их подводной лодки я прочел уже на нынешних днях в газете «Известия». Я приведу целиком эту заметку: она называется — «Пять атак подводной лодки».

«Успешно завершив длительный и трудный поход, наша подводная лодка вернулась в родную базу. На боевой рубке мы с гордостью написали цифру пять — это боевой счет нашего корабля: один вражеский танкер, три транспорта и один миноносец, потопленный нами.

Первую атаку мы произвели на немецкий танкер. Он шел в сильном охранении. Казалось, что нет никакой возможности осуществить наш замысел. Пришлось прибегнуть к хитрости. Расчет был на дерзость и внезапность нападения, на умение и стойкость экипажа.

Обе торпеды точно ударили в танкер — самое большое судно каравана, водоизмещением в пятнадцать тысяч тонн. Вражеский корабль был потоплен.

В ту же минуту нас атаковали корабли охранения. До сорока бомб сбросили они на подводную лодку. Из строя вышли многие приборы. Командир отделения электриков Анисимов, товарищ Беляков, Бурдюк и другие в эти грозные для экипажа минуты показали себя стойкими и умелыми моряками. Они быстро устранили последствия повреждений и этим дали возможность оторваться от преследующего врага.

Спустя семь суток мы повстречались с тремя транспортами. Это случилось ночью. Слабый и неровный свет луны затруднял атаку, но я верил в своих людей, был убежден, что они с честью справятся с возложенной на них задачей, и не ошибся. Два транспорта, каждый водоизмещением по восемь тысяч тонн, были пущены на дно.

Сейчас наступила осень. Балтийская осень не балует моряков благоприятной погодой. Туманы и штормы затрудняют плавание. Но именно такое время враг считает наиболее безопасным для осуществления своих планов. Поэтому мы удвоили и утроили бдительность. Наши торпедчики и на этот раз не подкачали. Сразу же дали залп по транспорту, и снова прямое попадание. Новая, пятая по счету, победа».

Подписана эта заметка: командир подводной лодки, капитан второго ранга П. Грищенко.

К этой заметке я могу добавить только одно: это — балтийский почерк.

Эпрон

Нет во всем СССР мальчишки, который бы не знал этого слова и для которого оно не звучало бы, как самое экзотическое и прекрасное слово из романа приключений.

И в самом деле, что может быть романтичнее и чудеснее, чем поднимание со дна морей и океанов судов, погибших в бурях, битвах, иногда — в далекие, подернутые сказочной дымкой, времена. И каждый мальчишка в СССР знает Фотия Ивановича Крылова, начальника Эпрона, этого кудесника, извлекающего сказочные суда со дна моря.

О Эпроне не пишут во время войны. «Наверно, сейчас не до Эпрона», — с грустью думают мальчишки

в СССР. Но они ошибаются. Эпрон живет и действует. Подвергаясь атакам с моря и воздуха, он продолжает извлекать суда, затонувшие в боях, и делает много другое на всех морях Советского Союза.

Фотий Иванович Крылов, контр-адмирал, жил и продолжает жить в Ленинграде. Как и многие адмиралы наших флотов, он прошел морскую службу с самых низших матросских ступеней. Большую часть времени он проводит на своих спасателях, героических кораблях Эпрона. Но у него есть и квартира в одном из районов Ленинграда. Один снаряд уже «загвоздил», по образному выражению Фотия Ивановича, в его дом, и в квартире у него нет стекол.

Перед тем как снарядить нас к своим водолазам, контр-адмирал, верный обычаям флотского гостеприимства, дает нам ужин. Это — роскошный ужин в блокированном Ленинграде: несколько кружков каменной колбасы, несколько банок рыбных консервов и большой графин спирта.

— Спирт я украл у водолазов. Он им полагается, но я его украл специально для братьев-писателей, и пусть государство меня судит! — говорит Фотий Иванович.

Нужно побывать на его квартире, рассмотреть развешенные по стенам фотографии его юности, фотографии его родных и товарищей, чтобы понять, какой путь проделал этот человек с самых глубоких трудовых низов до своей теперешней всесоюзной известности. Фотий Иванович — небольшого роста, худощавый, с выбритым сухим лицом и тонкими губами, подвижной, несмотря на ревматизм в ногах, седоватый моряк-матрос и контр-адмирал, мастеровой и начальник цеха в одно и то же время. Речь его образная и полная народного юмора. Он нарочито простоват, умен, хитер, а жесты его рук таковы, что видно: он привык повелевать и в то же время он — мастеровой, все может сделать своими руками.

Боевая деятельность Эпрона началась в первый же день войны. Двадцать второго июня, — как известно, это было воскресенье, — в двенадцать часов дня Фотий Иванович собирался выехать на дачу и в это время услышал по радио речь В. М. Молотова. Едва смолкли последние слова речи, как раздался телефонный звонок, сразу призвавший контр-адмирала к действию. На важнейшем фарватере, обеспечивающем выход судов в море, произошла

диверсия. Наш транспорт, шедший в Эстонию, подорвался на неизвестно откуда появившейся в этих водах мине и затонул, перегородив фарватер.

Фотий Иванович тут же дал приказ одному из судов-спасателей срочно выйти к месту для производства работ, а сам на быстроходном катере выехал к месту аварии. Еще до прихода спасателя удалось обнаружить и выловить вторую мину. По характеру местности и по типу мины можно было установить, что мины были завезены с берега. Эпроновцы показали чудеса в темпах работы. Но прошло и двух часов с того момента, как стало известно о диверсии, а уже фарватер был свободен.

Но это была обычная работа Эпрона. С войной на плечи Эпрона легли самые разнообразные работы, иногда в сложнейших боевых условиях. Под бомбежкой врага Эпрон строил осенью 1941 года пристани на Ладоге. Его спасатели, беспрерывно атакуемые неприятельской авиацией, обслуживали первый водный путь через Ладогу, и один из спасателей погиб геройской смертью. Командир судна, погрузив команду на шлюпки, оставался на нем до последней минуты и вместе с судном пошел на дно.

Исключительную отвагу, стойкость и мужество и нечеловеческую физическую выносливость показали водолазы Эпрона во время зимних работ. На плечи Эпрона легла обязанность обслуживать ледовую трассу через Ладожское озеро — извлекать из-подо льда тяжелые грузы, орудия, танки КВ, эти сухопутные линкоры, в тех случаях, когда они проваливались под лед. Эпрон поставил своей задачей ни одной тонны драгоценного груза не отдать озеру и выполнил эту задачу с честью. При страшных северных морозах люди работали в ледяной воде в то время, когда район работы подвергался бомбардировке с воздуха. Водолаз, вытащенный из воды, мгновенно обрастал толстой ледяной корой и не мог шевельнуть ни одним членом. Его бесчувственное тело клали на санки или в машину и везли в ближайшую палатку отогревать.

Эпроновцам пришлось глубокой осенью, когда уже начались морозы, но озеро еще не покрылось льдом, проделать одну подводную операцию, которая не может не вызвать восхищения и удивления. В ледяной воде водолазы должны были пройти большое расстояние, причем они не могли работать в скафандрах с наружной подачей воздуха, а должны были работать в кислородных масках.

Мне кажется, есть на свете вещи, которые в силах вынести только русский человек. Работу, которую вел Эпрон в условиях ленинградской зимы, могли проделать только русские водолазы. Они понесли не одну жертву от бомбардировок, но они гордятся тем, что ни один из них не простудился.

Помню, с какой спокойной, умной и насмешливой улыбкой, вызвавшей смех всех присутствовавших, ответил нам водолаз на вопрос — не болел ли он от простуды.

— Насморку не было, — сказал он.

Ленинградский фронт летом 1942 года

За три месяца пребывания в Ленинграде мне пришлось побывать почти на всех важнейших участках Ленинградского фронта, внутри так называемого «кольца». Особенность этого фронта в том, что он на протяжении многих месяцев более или менее стабилизировался. Стабилизация эта, конечно, и в эти летние месяцы была очень относительная. На всех участках фронта происходили довольно сильные бои местного значения, и линия фронта менялась. Начиная с ранней весны 1942 года инициатива этих боев в подавляющем большинстве случаев находилась в наших руках, и все изменения линии фронта были в нашу пользу. Но командование Ленинградского фронта прекрасно понимало, что враг не отказался от попытки захватить Ленинград, и всегда можно ждать, что, сосредоточив на том или ином участке значительные силы, враг попробует прорвать линию обороны и ворваться в город или, во всяком случае, эту линию перерезать.

В этих условиях командиры частей Ленинградского фронта справедливо расценивали как одну из важнейших своих задач — преодоление в бойцах известной привычки к окопной жизни и порождаемой ею инертности. И сами командиры, и бойцы неустанно учились, — учились и учатся в боевых условиях.

Части Ленинградского фронта — это в большинстве своем закаленные части. Среди них немало таких, которые проделали опыт финской войны 1939—1940 годов. Среди бойцов и особенно среди командного состава немало людей, которые рано прошли школу современной войны, первые поняли особенности современной войны против гер-

манского фашизма, приобрели неоценимый опыт этой войны и являются сейчас бойцами и командирами того нового типа, который нужен нашей армии.

Эти части испытали на себе всю тяжесть первого внезапного удара врага, они отступали, бывали в окружении. Они знают, что такое танки и авиация, в чем их сила и как бороться с ними. Они научились давать отпор немцам, они остановили немцев под Ленинградом, заставили их зарыться в землю и поняли, что враг может не только катиться навстречу лавиной в сопровождении моторов, рокочущих в небе и грохочущих на земле, а враг может быть грязным, вшивым и жестоко побитым. А опыт боев в январе 1943 года, когда прорвана была блокада Ленинграда, показал бойцам Ленинградского фронта, что они могут взламывать опорные пункты, укрепленные по последнему слову техники и вооруженные до предела пулеметами, автоматами и артиллерией, и бить врага там, где он считает себя неуязвимым.

Бойцы и командиры Ленинградского фронта — это в значительной своей части сами ленинградцы. Они защищают свой родной город. Они пережили с ним все трудности и лишения. Они потеряли родных и близких, умерших от голода и холода. И чувство любви к родному городу, и чувство мести врагу являются движущей силой их действий и поступков. А те из бойцов и командиров, которые сами не являются жителями Ленинграда, прошли вместе с ними суровые дни блокады и сроднились с Ленинградом и ленинградцами. Нигде с такой силой не ощущается слияние армии с населением, как в Ленинграде. Ленинградцы знают в лицо своих любимых героев, они не раз видели их на фотографиях, на митингах и собраниях, слышали их голоса по радио и лично встречались с ними.

Бесконечной любовью населения Ленинграда пользуются летчики. Ленинградцы прекрасно понимают, что именно они, героические летчики Ленинграда, спасли город от варварского разрушения и спасли ленинградских детей и женщин от гибели. Своих любимых героев-летчиков ленинградец знает не только по имени и в лицо, он не раз видел их в бою над городом при ярком солнечном свете или в ночном свете, прорезаемом лучами прожекторов, — он видел их победы, когда горящие вражеские самолеты падали в город, и видел героическую гибель некоторых из своих

любимцев. Зенитчики — это уже совсем свои люди в Ленинграде, они живут тут же, среди населения. Ленинградцы сами изготовляют вооружение для своего фронта. И когда шли бои за Ям-Ижору, кончившиеся взятием этого населенного пункта нашими частями, рабочие Ижорского завода под артиллерийским огнем, неся жертвы, так же как и бойцы наступающих частей, ремонтировали танки, только что вышедшие из боя, и тут же отправляли их в бой.

Истребители

Относительная стабилизация Ленинградского фронта способствовала более широкому, чем на других фронтах, развитию снайперского движения. Как и на других фронтах, здесь есть знаменитые, выдающиеся люди, на счету каждого из которых по нескольку сот убитых врагов. Имена их гремят по всему фронту и по другим фронтам. Но в снайперское движение на Ленинградском фронте вовлечены, без преувеличения, десятки и десятки тысяч бойцов.

Это — снайперы не только с ружьем, оснащенным зрительным прибором. Это — снайперы, использующие все виды оружия, в том числе обыкновенную, простую русскую красноармейскую винтовку. Сами они называют себя истребителями. И действительно, это подлинные народные мстители, преисполненные лютой ненависти к врагу, которого они выслеживают и убивают днем и ночью, как дикого зверя.

В любой части они, как бродильные дрожжи, никому не дают успокоиться. Старший сержант Хрипливый, бесстрашный и опытный артиллерийский разведчик и в то же время снайпер-истребитель, рассказывал мне:

— Прихожу раз днем на передний край в пулеметный взвод, а они спят. «Почему немцев не истребляете?» — «А у нас времени нету, ночью дежурим, днем спим». Присмотрел я место, посидел день, — ничего. «Видишь, говорят, ничего у тебя не выходит». А на другой день я с этого места троих убил. «Ну, говорят, теперь уходи, коли так, теперь мы сами истреблять будем». И правда, стали истреблять!

На берегу синего озера, под прикрытием горы, густо поросшей сосновым лесом, мы собрали группу снайперов-истребителей побеседовать. Знатные снайперы в этой

части — старшина Суворов и старший сержант Рогулин. Они редко видят друг друга, но заочно соревнуются, и если один обгонит другого, можно не сомневаться, что другой приложит все усилия, чтобы сравняться с ним и в свою очередь обогнать. Так они и идут вровень, и в тот месяц, когда мы встретились с ними, оба истребили по тридцать два щюцкоровца.

Лейтенант Горбатенко, отважный разведчик, рассказал нам о своеобразной дуэли, которую он в течение суток вел с неприятельским снайпером. Заняв позицию с ночи, лейтенант Горбатенко к рассвету заметил какое-то шевеление за кустиком, на краю вражеского окопа. Приблизительно определив человека за кустом, Горбатенко выстрелил. Через несколько мгновений из вражеского окопа высунулась солдатская лопатка и покачалась из стороны в сторону. Противник сигнализировал, что он не убит. Горбатенко притаился и довольно долго ждал, пока противник проявит себя. Но никакого движения не чувствовалось во вражеском окопе. Горбатенко, замаскированный по местности, попробовал чуть выглянуть, чтобы рассмотреть внимательнее, но в то же мгновение раздался выстрел от вражеского окопа и пуля визгнула над ухом, опалив лейтенанту волосы. Горбатенко нырнул в окопчик, высунул свою лопатку и покачал ею из стороны в сторону, показывая, что он не убит.

Так, меняя позиции и выслеживая друг друга, они вели эту дуэль в течение многих часов, всякий раз сигнализируя лопаточкой о том, что выстрел противника неудачен.

Все-таки Горбатенко убил врага. Горбатенко его обманул. После одного из выстрелов врага он не дал сигнала лопаткой и притаился, точно был убит. Через некоторое время противник решил убедиться в этом и стал выглядывать, но Горбатенко не подавал признаков жизни. Как он и рассчитывал, через некоторое время враг потерял всякую осторожность и высунулся настолько, что Горбатенко поразил его насмерть.

Катя Брауде

В середине июня мы выехали на один из участков фронта в полк майора Мустафина. Он только что вернулся с переднего края, сапоги его были все в пыли. Мы

стояли возле его блиндажа, и я рассматривал его. На одежде его лежала скорее печать труда, чем войны. В нем вообще не было ничего аффектированного. Лицо смуглое, татарковатое, с коротко подстриженными черными усами, лицо скромное и умное, жесты естественные, спокойные и точные. В руке у него была палка, вырезанная в лесу и обструганная. И видно, она была нужна ему не для того, чтобы походить на Суворова, а для того, чтобы, идя по лесу, сбивать головки цветов, что очень помогает думать.

Он пригласил нас в блиндаж. Тотчас же взял щетку и вышел из блиндажа, чтобы почистить сапоги. И это мне тоже очень понравилось в сочетании со всем, что я видел.

Блиндаж майора Мустафина очень походил на него самого. В нем было чисто, но не было того особенного шика и блеска, вроде отделки стен фанерой, как «в лучших домах», или бумажных цветов в фальшивых, бумажных, с распущенными краями, горшках, или рогов и трофейного оружия на стене, ни других атрибутов командирского блиндажа, столь распространенных. Все у него было в простом, естественном порядке, и все говорило, что для хозяина блиндажа война есть прежде всего одна из разновидностей труда. Обстановка его блиндажа была обстановкой военного-труженика.

Мы знали о том, что майор Мустафин окончил военную академию, участвовал в финской войне и в нынешней — с самого начала ее. Он командовал полком на том участке Ленинградского фронта, который по характеру местности можно было предполагать как наиболее возможный для прорыва его неприятелем. И по непрерывному говору ружей и пулеметов, доносившемуся с переднего края в этот наиболее сонный час летнего дня, можно было догадаться, что здесь всегда жарковато.

На наши вопросы он отвечал очень коротко и точно. В полку его была значительная прослойка бойцов и командиров, начавших свой военный путь с самого начала войны. Была известная часть командиров, участников еще финской войны. Но большая часть бойцов была из новых пополнений, среди них значительное число татар и марийцев.

— Расскажите нам о некоторых, наиболее выдающихся бойцах-героях вашей части.

— Герои у нас есть, — сказал он, — но такие же, как везде, и не больше, чем их бывает во всякой части.

— Но все-таки.

Майор Мустафин назвал несколько имен и кратко охарактеризовал дела этих людей.

— А еще? — спрашивали мы.

— А еще у нас пулеметчица очень интересной судьбы, — покорно и уныло начал он, так, точно не раз уже рассказывал об этом и все это ему уже достаточно надоело, но он видел, что придется рассказать еще раз, если уж люди этого так хотят. — Она служила в госпитале в Ленинграде, служила как вольнонаемная, а не военнообязанная. Получила известие о том, что муж ее на фронте убит. Она стала обучаться пулеметному делу, не бросая работы в госпитале, и, когда поняла, что овладела пулеметом в совершенстве, стала проситься, чтобы ее пустили на фронт пулеметчицей. Ее, как женщину, долго не хотели пускать, но она добилась своего, и вот сейчас — одна из лучших пулеметчиц в нашем полку по владению оружием, меткости стрельбы и по отваге. Была уже ранена, но отказалась уйти из части, и сейчас вот дерется как раз на том участке, откуда доносится стрельба.

— А как ее зовут?

— Фамилия ее Брауде, а зовут не то Китти, не то Кэт, — бойцы зовут ее запросто — Катей.

— Можно ее повидать?

— Повидать-то можно, да ведь отзывать ее оттуда не к чему, а вам... — Он запнулся.

— Конечно, мы с радостью пройдем к ней.

— Что ж, можно, — сказал он без всякого выражения на спокойном умном, смуглом лице. — Только я хотел бы показать вам сначала курсы, которые у нас есть в каждом батальоне, — там мы обучаем наиболее стойких, дисциплинированных и опытных бойцов, хотим сделать из них младших командиров.

Был час обеда, и из кухни одного из батальонов ротные повара и их подручные разбирали ведрами суп и кашу, чтобы отнести их бойцам на передний край. Суп был мясной и наваристый, а каша пшенная, — бойцы называют ее «блондинкой» и любят ее меньше, чем гречневую, которую они называют, впрочем, не «брюнеткой», а чаще «нашей строевой» или «кадровой», — и «блондинки» было достаточно. Я вспомнил, что, когда мы из тыла

подъезжали к полку майора Мустафина, мы в заднем его эшелоне видели баню. Мускулистые бойцы с белыми и розовыми телами и загорелыми лицами, шеями и руками выскочили из блиндажа-бани, изрядно, видно, напарившись, все еще хлеща друг друга свежими березовыми вениками и весело гогоча.

Мне понравилось, что бойцы и командиры, попадавшиеся нам по пути, не проявляли по отношению к майору Мустафину подчеркнутых знаков чинопочитания, но не было и распущенности в их отношении к командиру. И опять-таки было в этом что-то похожее на отношение рабочих и мастеров к начальнику цеха, в знания которого они верят и именно поэтому уважают его и подчиняются ему, а не потому, что он может на них накричать и распорядиться их судьбой.

Местность, где был расположен этот батальон, была лесистая, — батальон стоял во втором эшелоне. Учение бойцов-курсантов было прервано, и мы провели с ними беседу. Среди бойцов немало было татар, плохо знавших русский язык, и майор Мустафин, сам татарин, переводил вопросы бойцов и наши ответы.

Среди бойцов русских особенно много вопросов задавал молодой человек с черными и стремительными, как два жука, глазами. Он неожиданно возникал из гущи где-то сзади и точно выстреливал:

— Какая страна в Южной Америке отказалась объявить войну Германии?

— Какими источниками нефти может располагать Гитлер?

— Какое положение в Иране?

Все его вопросы были вопросами международного характера. Иногда не все ему было ясно в наших ответах, и тогда он переспрашивал, а некоторые ответы, видимо, не удовлетворяли его, но он считал обстановку недостаточно благоприятной для спора.

— Кто это? — спросил я командира батальона, когда мы покинули курсы.

— Это боец-комсомолец из колхоза Калининской области, учится на агитатора.

— Где он учится?

— Учится везде, у всех и у всего: всех расспрашивает, читает газеты, книги — и прекрасный боец. Этот парень далеко пойдет.

— Что ж, теперь пора посмотреть Катю Брауде, — сказали мы.

— Это мы успеем, — ответил Мустафин, — надо сначала пообедать.

И вот мы снова очутились в блиндаже Мустафина. То, что я хочу передать сейчас из рассказов Мустафина, не было выражено им в виде одного связного рассказа, как это мне приходится передавать, а сложилось в результате многих наших вопросов и его ответов. Вот к чему сводятся наблюдения майора Мустафина на войне.

— Наши бойцы — прекрасный народ, и те, кто пришел недавно, это тоже великолепный народ. И мы на Ленинградском фронте имеем сроки многому обучить их. Но чему их трудно обучить сейчас? Реальному представлению о действиях массированной техники в современной войне. Сидит боец на переднем крае, видит передний край противника. Он стреляет, противник стреляет. Иногда его потревожат мины или снаряды, иногда самолет или два, три сбросят бомбы, или подразделения противника во главе с тремя или пятью танками после солидной артиллерийской подготовки попытаются выбить его с позиции. Иногда он сам участвует в наступательной операции, переживает все, что переживают в атаке, врывается в окоп под огнем, приходится пустить в дело штык. Он видел уже немало раненых и убитых и сам убивал, и после этого ему кажется, что он все видел, все понимает. И когда спросишь его: «Ну, а если вот на твоем участке противник попытается сделать прорыв, как ты будешь действовать?» — «Не стать привыкать. Они, значит, пойдут против нас, а мы, значит, будем их бить». Ему очень трудно представить, что это будет на самом деле, когда именно на его участок обрушится вся мощь артиллерийского огня, когда целые авиационные соединения обрушат на него сотни и тысячи бомб и ринутся десятки и сотни танков. Здесь многие из бойцов проявят чудеса геройства, но многие потеряются, а некоторые попытаются найти спасение в бегстве, хотя бегство в таких условиях — это верная смерть. А многие наши младшие командиры и те бойцы, которые уже имеют опыт войны со всей мощью ее техники, вместо того чтобы объединять вокруг себя всех и командовать ими, заменят собой всех остальных и погибнут в первые же минуты... У нас очень много индивидуального геройства, но геройства

мало, если герои не видят свою задачу прежде всего в том, чтобы объединять вокруг себя остальных, систематически, заранее, изо дня в день приучать всех к своему опыту, и в минуту опасности командовать ими, а не сражаться за всех. Надо воспитывать в командирах и передовых бойцах сознание того, что они водители, учителя и, когда надо, даже деспоты по отношению ко всем остальным. Вот меня один из вас спросил: почему мы созываем на наши курсы уже опытных в боевом деле бойцов, которые и так много знают, а не новичков? Потому что мы воспитываем из этих опытных бойцов, которые уже знают современную войну, командиров современной войны. А новичков надо воспитывать в самой войне с помощью этих кадров. Вы спрашивали меня о героях. Мне кажется, значение части, ее истинное место в ряду других определяется не столько количеством одиночек-героев и совершенных ими подвигов. Оно определяется реальными боевыми делами, совершенными всей частью, как целым...

— А все-таки покажите нам Катю Брауде, — сказали мы, смеясь.

— Катю Брауде? — майор Мустафин улыбнулся. — Теперь, пожалуй, уже поздно, не успеем обернуться дотемна.

Это была явная неправда, и это отразилось на наших лицах.

— Вы извините меня, — смутившись, сказал майор, — но, пожалуй, вам нельзя будет пройти к Кате Брауде. Для того чтобы попасть к ней, надо пересечь открытую болотистую местность. Мы не смогли прорыть там ходов, — сразу заливает водой, — и местность эта простреливается. Мы-то по долгу службы ходим, а вы люди знаменитые, еще, не дай бог, случится что, и вас жалко, и отвечай за вас.

Признаться, неловко было выслушивать эти замечания здоровым мужикам, из которых младшему было сорок и которые были участниками по меньшей мере двух, а некоторые даже четырех войн. И неловко было еще от сознания, что в это время там где-то сражается Катя Брауде.

— Ей, выходит, можно, а нам нельзя, — мрачно сказали мы.

— Так ведь она — солдат, — просто сказал Мустафин.

Вечером, вернувшись от Мустафина в свой блиндаж,

мы много думали и говорили о Кате Брауде. Какая она? Как выглядит? Что делает сейчас? Какое чувство двигало ею, когда она пошла на фронт? Если это было чувство мести за мужа, помнит ли она о нем все так же или вошла в быт войны, и это чувство стало другим? Конечно, было ясно для всех, что это — незаурядная женщина. И снова мы пожалели, что не видели Катю Брауде.

Потом один из нас сказал:

— Зато мы видели нечто еще более интересное и важное.

— Что же?

— Мы видели майора Мустафина. Он прославился тем, что, командуя еще батальоном на одном из наиболее укрепленных противником участков фронта, форсировал реку, глубоко вклинился в его оборону и сумел закрепиться, хотя сам был тяжело ранен в голову.

Теперь, когда с момента этого разговора прошло уже довольно много времени, я снова хочу сказать несколько слов о майоре Мустафине.

У нас очень много героев, совершивших и совершающих подвиги, небывалые в истории. И необычайность этих подвигов справедливо пленяет наше воображение. Ничего, например, нет удивительного в том, что из всего виденного и слышанного нами у майора Мустафина нас больше всего увлекла история Кати Брауде. Таких, как она, прекрасных, храбрых женщин и девушек немало в нашей стране, и всегда они будут пленять наше воображение. Среди этих героев наша армия всем лучшим, что она совершила и совершит, обязана в первую очередь людям, подобным Мустафину, людям, характер или тип которых воспитывает наша армия, начиная от рядового бойца и кончая высшим комсоставом. На этих лишенных всякой позы, простых, скромных, умных людях — людях твердой воли, знающих, чего они хотят, умеющих воспитывать других людей, людях — водителях людей, на них стоит наша Красная Армия, их усилиями она победит.

Защитники Ханко

...Передние края, наш и финский, очень близки друг от друга. В иных местах их разделяет не более семидесяти — восьмидесяти метров. Передают, что однажды наши связисты разругались в окопе из-за провода: один

просил провода взаймы, а другой не давал. И вдруг из вражеского окопа раздался голос:

— Рус, дай мне буханку хлеба, я тебе дам провод!..

Наши отважные разведчики частенько врываются в финские окопы, уничтожают противника в рукопашном бою. Но все же это самый «тихий» участок Ленинградского фронта: чудесные сосновые леса, древние валуны на пашне, озера, синие, как северное небо, могущественный запах хвои. Можно часами наблюдать за расположением финнов и не увидеть ни одного финна. Они боятся наших снайперов-истребителей.

Мы идем по свежевспаханному полю, вокруг нас звенят зенитки, высоко в небе хрипят вражьи самолеты, и разрывы снарядов вспыхивают вокруг них, как черные молнии. Где-то за чертою леса и неба пожар. Оранжевый дым медленно всходит к небу, тучный, как опара. Орудийные залпы глухо, как дальний гром, прокатываются по горизонту.

Под прикрытием огня наших пулеметов и автоматов батальон накапливается к атаке. Бойцы ползут, бегут, пригибаясь к земле, пот струится по загорелым лицам. Группы возникают то там, то здесь, они форсируют речку, сапоги у бойцов полны воды. Вот он — последний, страшный исходный рубеж, за которым пустое, насыщенное огнем пространство и — противник. Громовое «ура» сотрясает воздух. Впереди, не достигая наших бойцов, чавкая, ложится минометная очередь.

Женщины, работающие тут же на поле, не оглядываясь, идут по пашне, мелькают их прекрасные руки. На лицах женщин спокойное, суровое, мужественное выражение. Женщины знают, что вражьи самолеты не будут сбрасывать здесь бомб. Хищники летят на Ленинград. Многие из них уже не вернутся. А здесь, на поле — игра, учение наших частей в перерыве между боями. Наступают и обороняются наши, минометы бьют не по бойцам, а по мишеням.

Подразделения, находящиеся в обороне, проявляют недюжинное упорство и прекрасно владеют своими огневыми средствами. Посредники, ковыляя по вспаханному полю, несут мишени, пораженные осколками мин.

Я вижу плотную, на сильных ногах, фигуру командира части, его мясистое лицо с хитро прищуренными глазами, лицо умное, волевое и с ярко выраженной

складкой юмора. Это лицо старого умного украинского солдата, который прошел огонь, воду и медные трубы и не верит на слово. И сам он говорит мало, а ему есть о чем рассказать.

Генерал-майор Симоняк — командир части, прославившей свое имя многомесячной обороной полуострова Ханко. В течение ряда месяцев немецко-финские войска пытались сломить упорство нашей обороны, потеряли немало людей и техники, но так и не продвинулись ни на один дюйм. Однажды враг сбросил с самолета листовку с предложением сдаться. Листовка была от финского командования.

Сколько веселья было, когда писали ответ! Писали коллективно. Ответ по некоторым своим чертам смахивал на письмо запорожцев турецкому султану. Положение финнов при немцах было разъяснено в наглядных и хорошо просоленных выражениях. Я читал это письмо. Оно сильно и талантливо. В его составлении большое участие принимал боец Дудин, родом из Иванова, молодой поэт, которого знают ивановские ткачи.

За время обороны бойцы и командиры хорошо узнали и проверили друг друга. Их связала могучая воинская дружба. Когда высшее командование приказало оставить полуостров, немецко-финские войска в течение суток не решались его штурмовать, хотя там уже решительно никого не было.

Генерал-майор Симоняк — командир времен гражданской войны, получивший в мирные годы высшее военное образование. Он прошел первый опыт современной войны в финской кампании 1939—1940 годов и с честью выдержал испытания нынешней войны с германским фашизмом как защитник Ханко.

В его манере говорить, мыслить и действовать сохранились умная прямолинейность и грубоватость солдата, в нем есть жизненная хватка и хитрость, и все это очень импонирует рядовому бойцу. В то же время это образованный и культурный военный, без всякой позы, умеющий учиться на новом опыте и учить других.

Ученье, свидетелями которого мы были, ставило своей целью приучить бойцов и командиров к решению задач наступления.

— Не все же *ему* наступать, придет время — будем и мы наступать, — прищурившись и глядя на меня хитро

и весело, очень серьезно говорит генерал-майор. И, словно еще раз обдумав это со всех сторон, он повторяет с улыбкой: — Ведь придется наступать?..

Генерал-майор Симоняк не знал тогда, что на долю его части выпадет честь и слава быть одной из самых передовых в прорыве блокады Ленинграда.

«*Труд милосердия*»

Последние дни перед отъездом из Ленинграда я жил в гостинице «Астория». Зимой в ней помещался госпиталь, теперь он был уже ликвидирован.

В номере еще попахивало лекарствами, но обстановка его была та же, что и до войны: та же мебель, ковры, картины на стенах. Было чисто, уютно, светло. Действовало электричество, четыре лампочки — вверху, на письменном столе, у постели, в ванной комнате. Действовали водопровод и канализация. Только за кипятком надо было бегать к кубу, на кухню, в подвал.

Однажды в дверь постучались, и вошел молодой человек в форме военного врача.

— Не узнаете?

— Не узнаю.

— Вспомните Гавр, пасмурное утро, советский теплоход причаливает к пристани...

Я сразу вспомнил лето 1937 года, Международный конгресс писателей в защиту культуры в Париже, — стало известно, что Московский Художественный театр прибывает на гастроли, и мы приехали в Гавр встречать земляков. Пока проходили все формальности, мы несколько часов провели на теплоходе среди наших моряков и артистов, и за нами, как гостеприимный хозяин и земляк, ухаживал молодой, очень широкодушный и очень застенчивый судовой врач Федор Федорович Грачев.

— Какая судьба, — вот где и когда привелось встретиться! — воскликнул я.

— Да, Гавр, гастроли Художественного театра в Париже!.. Было ли все это? — засмеялся Грачев. — Художественный театр, во всяком случае, был и есть, а Париж... вон какая штука!.. — Он покачал головой.

— Но почему вы в форме армейца, а не моряка?

— Да ведь я не моряк. Я был обыкновенным совет-

ским врачом на теплоходе Гражданского морского флота. Когда стало формироваться ленинградское ополчение, пошел добровольцем в качестве рядового. А во время боев оказалось, что очень нужны врачи. Правда, я терапевт, а там нужны хирурги. Но раз нужны хирурги, я стал хирургом. И вот сейчас работаю в качестве хирурга в одном из военных госпиталей... Вы не удивляйтесь. В Ленинграде ничему не надо удивляться. Возьмите знаменитого ленинградского гинеколога профессора Егунова. Теперь он директор крупнейшего ленинградского военного госпиталя. И ничего — людей научились оперировать на славу.

— Поди, страшно резать без опыта?

— Конечно, страшно, да ведь еще страшнее не резать, когда знаешь, что человеку грозит: жалко человека, вот и набираешься смелости. Мой брат, старый кадровый военный, всегда ругал меня, как человека крайне неоформленного нрава и характера, а теперь с почтением пожимает мне руку. Во времена голода и холода мы немало подняли на ноги гражданского населения. Военные госпитали Ленинграда отдали населению города семнадцать тысяч постоянных коек. Понимаете, что это такое?

Да, я понимал, что это такое. В знаменитой Европейской гостинице в Ленинграде зимой тоже был госпиталь, обычный рядовой госпиталь, в котором работали обычные рядовые люди. Суровой зимой этот госпиталь попал в число тех, которые были лишены топлива и электроэнергии. Это немедленно вызвало порчу водопровода и канализации.

В роскошных номерах пришлось поставить железные печурки и на паркетном полу рубить дрова, когда их удавалось достать, а когда не удавалось, — рубить мебель на дрова. За ранеными не успевали выносить. Все унитазы, ванны были завалены калом и отбросами, все это тут же обледеневало. Медицинский персонал валился с ног от голода, холода и непосильного труда. Но до весны тысячи раненых были поставлены на ноги.

К весне госпиталь был закрыт, чтобы привести здание в нормальный вид. Но как это сделать, если по-прежнему нет ни света, ни воды, ни топлива? Поручили это дело военному врачу Додзину, проделавшему в качестве врача медсанбата финскую кампанию и начало нынешней войны, а этой суровой зимой сумевшему организовать в Ленинграде образцовый военный госпиталь.

Додзин пришел в новое здание со всем своим медицинским персоналом. И все, начиная от сиделки и санитара и кончая главным врачом и начальником госпиталя Додзиным, стали своими руками очищать здание от отбросов. Презрев всякую брезгливость, они таскали их ведрами, лоханками, вывозили на тачках. Из этого громадного помещения было вывезено около трехсот грузовиков кала и мусора.

После этого все теми же силами они стали мыть, чистить, чинить и красить полы, потолки и стены. Решительно все работы — плотничьи, столярные, штукатурные, малярные — были сделаны руками санитаров, сестер и врачей. Они сами открывали, проверяли и осуществляли новые способы изготовления глины, извести, красок.

Когда я попал в этот госпиталь, бывшую Европейскую гостиницу, по окончании работ, это было прекрасное, светлое, поблескивающее свежепокрашенными стенами и полами здание.

Додзин, маленький человек с большими черными красивыми глазами и спускающимися с висков черными бачками, что делает его похожим на офицера Отечественной войны 1812 года, не в первый раз, видно, показывал результаты своего труда. Должно быть, всякий раз перед его взором вставало все, что здесь было, он чувствовал, что люди, не видевшие этого, не могут понять всего, что они сделали, и он все водил нас из палаты в палату и все рассказывал и все спрашивал:

— Ну, как? А здесь как? А это как?

Мне бросилось в глаза, что есть известная неравномерность в качестве окраски: иные палаты были окрашены с профессиональной чистотой и тонкостью, а иные грубовато.

Додзин засмеялся:

— Это очень просто: одни палаты красили женщины, а другие мужчины. Женщины и работали аккуратнее, и краски выбирали понежнее—какую-нибудь голубенькую или розовую. А наш брат разводил в ведре какую-нибудь гадость и давай смолить во всю стену. Помните, как у Гоголя: «По небу, изголуба-темному, точно исполинскою кистью наляпаны были полосы из розового золота»... А все-таки конфетка, а не госпиталь! — не выдержал он.

На отдельных участках фронта я видел, как наши военные врачи в условиях походной палатки или блиндажа делали самые сложнейшие операции. Не могу забыть, как врач, только что удаливший почку, разорванную осколком снаряда, увидев нас, выхватил эту страшную почку из ведра и буквально потряс ею перед нашими глазами. Старик гордился этой почкой так же, как санитарный инструктор Ольга Маккавейская гордилась своим пробитым пулей комсомольским билетом. Это был великий труд по спасению жизни людей. Мой знакомец Федор Федорович Грачев был прав: все это делалось из любви к человеку.

В старину работа медицинского персонала во время войны называлась «трудом милосердия». Теперь такое определение этого труда вышло из моды. Но когда я представляю себе, какую самоотверженность, любовь, страсть и мужество души вкладывают в этот труд спасения людей, раненных в бою и пострадавших от лишений блокады, героические санитары, сестры, фельдшеры, врачи Ленинграда, мне хочется вернуть этим словам их прежнее благородное значение.

Июнь — июль

Из последней поездки по фронту я вернулся в конце июня. И не узнал Ленинграда.

На улицах его еще и сейчас можно было встретить изможденные лица, и, нет-нет, попадался взору скромно пробирающийся стороной гроб или обернутое в белое полотно тело на двуколке для ручной поклажи. Но ленинградская улица в июне — июле была яркой, залитой солнцем улицей, полной загорелой молодежи, нарядных женщин и детского крика.

В садах и скверах уже в полный лист распустились деревья, по утрам мощно пахло тополями. Все сады, скверы, пустыри, дворы были возделаны под огороды, зелень буйно всходила. Везде, где только пробивалась дикая трава — по обочинам окраинных улиц, в садах и на кладбищах, можно было видеть согнутые спины женщин, рвущих съедобные дикие травы — лепестки одуванчика, щавель, крапиву, лебеду. Проходя по Марсову полю, возделанному под огороды, я видел, что нижние ветви лип общипаны, насколько может достать рука.

Но больше всего можно было узнать ленинградцев по тому, как содержались скверы и сады по всему протяжению проспекта 25 Октября. Они, как до войны, были возделаны не под огороды, а под роскошные цветочные клумбы. И на перекрестках улиц уже можно было купить цветы из ленинградских оранжерей.

Буйно распустившаяся зелень и раскрывшиеся на солнце сверкающие перспективы вод Невы, Фонтанки, Мойки, каналов, — это необыкновенное сочетание воды и зелени яркостью своих красок точно вытесняло все следы разрушений в городе. Он был прекрасен. Вечерами с загородных пашен и огородов пешком и на трамваях возвращались группы женщин и подростков с охапками зелени и громадными букетами полевых цветов.

Над Ленинградом развернулись белые ночи. Можно было часами стоять на Троицком мосту, когда в белой ночи над Летним садом всходила луна, а внизу, по Неве, недвижные и прекрасные вставали в сиреневой дымке Ростральные колонны, громады Фондовой биржи, Зимнего дворца, Адмиралтейства.

И днем и ночью были распахнуты окна ленинградских квартир. Звуки радиомузыки или патефонов вырывались на улицы. Бредя тихим, тенистым переулком, ты мог слышать, как где-то там, в темной глубине распахнутого окна, тонкие пальцы девочки старательно выделывают на пианино свои экзерсисы, изредка строгий голос учительницы доносился из окна. И отрадно было, идя ночью по Невскому, видеть меж крыльев Казанского собора чуть колеблющуюся на тросах громадную серебряную рыбу аэростата воздушного заграждения, готовую всплыть к небу.

Впрочем, их было мало, воздушных тревог, в эти летние месяцы. Ленинградские летчики хорошо охраняли родной город, воздушные бои шли далеко на подступах к нему. Иногда одиночные самолеты прорывались к окраинам и сбрасывали бомбы или торпеды. Артиллерийский обстрел был уже даже не хищническим, а воровским. Вдруг среди ясного солнечного дня или в прекрасной белой ночи раздастся звук отдаленного орудийного выстрела, снаряд, свистя, пронесется над городом и разорвется где-нибудь возле канала Грибоедова или площади Урицкого. Еще, еще — то там, то здесь, — и вор уже сбежал. Он знает, что ленинградская артиллерия уже

засекла его расположение, и если не замолчать и не сменить позицию — вору конец.

На прекрасных улицах Ленинграда уже редко можно было встретить объявление об обмене тех или иных вещей на продукты питания. По всему городу были расклеены афиши о концертах, литературных вечерах, лекциях. В Филармонии шла опера «Кармен» с Вельтцер в заглавной роли. У Александринки, где играла Музыкальная комедия, постоянно толпилась молодежь, раскупая билеты за неделю вперед, а вечерами стайки подростков, юношей и девушек дежурили у артистического подъезда, дожидаясь выхода своих любимцев. Билеты на спектакли и концерты было так трудно достать, что их выменивали на хлеб.

По-прежнему целые толпы народа стояли у свежерасклеенных газет, и по-прежнему можно было слышать вопрос: «А ну-ка, посмотрим, что пишет товарищ Андреенко». Андреенко был начальником отдела торговли Ленинградского совета. Но на зеленой траве стадиона имени Ленина, деревянные трибуны и заборы которого были использованы зимой на топливо, уже тренировались футболисты. И бегуны, юноши и девушки, в трусах и майках, бежали по зеленому кругу.

В одно из воскресений в Лесном состоялся женский кросс, в котором участвовали сотни коллективов, десятки тысяч молодых женщин и девушек. Едва взошло солнце, как по всему пути на Лесное потянулись трамваи, грузовики, полные женской молодежи. Иные мчались на велосипедах, иные шли пешком. Рощи с пышной распустившейся листвой стонали от песен — казалось, что нет на свете никакой войны и никакой блокады. По широким аллеям среди солнечных пятен, в разноцветных спортивных костюмах своих организаций, с номерами на блузках и майках, мчались ленинградские девушки, которым предстояло еще самим воевать и быть матерями нового благородного и счастливого поколения.

Ленинград бессмертен

Ленинград устоял в блокаде не только потому, что люди, воспитанные за два с половиной десятилетия существования советской власти, настолько же выше своих

врагов, насколько человек выше дикого животного. Ленинград устоял потому, что, как и вся наша страна, он выше своих врагов по типу своего хозяйства и управления.

Ни один город любой другой страны, даже наиболее передовой, не устоял бы, попади он в положение не то что подобное ленинградскому, а раза в четыре лучшее, то есть тоже в достаточной степени тяжелое.

Ленинград устоял потому, что он был и остался своеобразным городом-коммуной. В тот самый день, когда город попал в блокаду, все материальные блага, которыми владели гражданские ведомства, ведомства военные, ведомства флота, были централизованы, соединены в один котел. Они распределялись из единого центра, в зависимости от потребностей войны. Нет и не было ни одной страны в мире, где такая централизация могла быть произведена. Это не удалось довести до конца Парижской коммуне, тоже находившейся в блокаде. От Парижской коммуны Ленинград отличает не только более высокий тип хозяйства, а, главным образом, то, что его передовых людей не раздирает борьба различных групп и партий, которая в условиях Парижской коммуны являлась выражением социальной борьбы в самом народе. Руководство Ленинграда — политическое, хозяйственное, военное — является цельным, монолитным руководством, составной частью руководства всей нашей страны в Отечественной войне. И все население города сплочено вокруг своего руководства, которое десятками тысяч нитей связано с населением через его лучших представителей во всех районах города.

Мне приходилось много выступать на районных активах Ленинграда — Московском, Дзержинском, Кировском, среди рабочих и интеллигенции, среди военных и моряков. Со многими и многими из этих людей я скоротал бессонные ночи в самых задушевных разговорах о всей нашей жизни и борьбе. И я могу сказать, что самое великое и прекрасное, что выковал Ленинград за месяцы борьбы и страданий, — это они, передовые люди города из среды рабочих, служащих и интеллигенции.

Это они подняли десятки и сотни тысяч ленинградского ополчения, возглавили его и остановили врага под стенами родного города.

Это они в тягчайшие дни страшного голода и мороза несли огненные слова правды и борьбы в сердца ленинградцев, и город внимал их словам и стискивал зубы, и напрягал последние силы, стоял и боролся.

Это они шли впереди сквозь пургу и смерть, когда прокладывали трассу через Ладожское озеро. И они же подняли сотни тысяч падающих от голода жителей Ленинграда на очистку родного города с наступлением весны.

Все страдания народа они разделили с ним. Мало среди них таких, кто в этой борьбе не потерял самого близкого — мать, отца, жену, ребенка. И сколько из них самих пало в борьбе и лишениях! Но их ряды не поредели. На место павших из среды народа вставали и встают новые.

Они, эти люди, являются той самой высшей духовной силой, которая наполняет всех и все живым историческим, человеческим смыслом и движет всех и все вперед и вперед.

Накануне вылета из Ленинграда я пошел на концерт в зал Филармонии. Симфонический оркестр, под управлением Элиасберга, исполнял Шестую симфонию Чайковского.

С трудом удалось достать билет. Толпы народа еще шумели у входа, когда в тишине зала, перед одетыми в черное и уже наладившими инструменты музыкантами вырос над пультом высокий сутуловатый человек с выразительными белыми руками, в черном фраке. Он поднял палочку, и симфония началась.

И только она началась, лица всех сидящих в зале преобразились. Из будничных, обремененных суровыми тяготами и заботами, они стали ясными, открытыми и простыми. Они не были похожи на лица любого обычного концертного зала. Печать великого знания лежала на этих лицах.

Раза два во время исполнения симфонии начинался артиллерийский обстрел города, а лица людей с тем же ясным, открытым и простым выражением, выражением знания, недоступного и неизвестного людям других мест, были обращены к оркестру.

Ночью — не белой, а темной июльской ночью я был уже на аэродроме. Друзья, писатели Ленинграда, прово-

жали меня. И снова низко-низко над Ладожским озером летел наш самолет, теперь он летел над подернутой утренней рябью водой, и солнце снова било в лицо, — оно всходило.

Через три часа я был в Москве и вступил в привычные условия жизни. Но еще много дней я не мог привыкнуть к этой жизни. И когда люди говорили мне что-нибудь, я не мог вслушаться в то, что они говорят, и видел только, как они шевелят губами, — настолько то, что они мне говорили, было далеко от меня. Снова и снова вставали в памяти моей и этот зал Филармонии, и эти лица, и мощные звуки Шестой симфонии Чайковского, восходящие к небу.

Февраль 1943 г.

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

(Главы из романа)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Она медленно, словно бы еще раздумывая, приподняла над ведром тряпку со стекающей с нее грязной водой, постояла так одно мгновение и вдруг шлепнула тряпкой об пол, выпустив ее из рук. Звонкая лучистая лужа расплеснулась по крашеному полу, и брызги попали Павлуше на сапоги. Павлуша стоял у двери на лестницу, весь освещенный ранним утренним солнцем. Оно врывалось в переднюю через распахнутые двери комнаты, которую он называл своим кабинетом, — оттуда доносился тяжелый храп отца.

Павлуша понял, что жена рассердилась, рассердилась, как никогда за пять лет их совместной жизни, и в больших серых глазах его, светившихся добродушным мальчишеским лукавством, появилось выражение удивления и жалости к жене.

Даже в этом ее жесте, когда она так вспылила, было что-то беспомощное. Она не швырнула эту тряпку ему под ноги, а точно постелила перед ним. Несмотря на ее двадцать четыре года и на двух ребят, характер ее все еще не мог сформироваться. Чувствам ее всегда не хватало полноты выражения. Гневные слова, вот-вот готовые вырваться из ее полуоткрытого рта с изогнутыми губами, не могли найти себе формы, как и чувства. Она молча стояла перед мужем, отставив кисти рук, с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки, чтобы не

замочить застиранный розовый халатик в сиреневых цветочках, наброшенный на голое тело. Глаза ее, густой синевы, смотрели на Павлушу, казалось, без всякого выражения. Ни одна морщинка не бороздила ее чистого лба. Даже румянец выступил на ее детских скулах не от того, что она рассердилась, а от того, что в эти последние минуты, перед тем как Павлуше уйти, пока они ссорились, она, не разгибаясь, мыла пол в передней.

Поразительно, как сразу легли на место ее волосы: стоило ей только выпрямиться, они вмиг подобрались волосок к волоску. Это была природная особенность ее волос, как и цвет их — не совсем еще спелого льна, но когда его уже пора убирать, когда в осенний погожий денек по нему волнами гуляет ветер и он переливается то тенями, то глянцем, то серебром, то золотом.

Дома, в деревне на Витебщине, она носила косы; они были тогда почти совсем белые, и люди удивлялись, как долго сохраняется их ребячий цвет. Ей исполнилось четырнадцать, когда отец вывез ее с матерью и младшей сестрой сюда, в Большегорск, — случилось это в первые дни войны, — но еще весь первый год ученья в ремесленном училище косы ее сохраняли этот свой ребячий цвет. А потом, сама не зная почему, она пошла в парикмахерскую — не своего общежития в «Шестом западном», где ее могли увидеть свои ребята и девушки, а в парикмахерскую в «Соспах», где жили тогда ее родители, и попросила отрезать косы по шейку. И когда их отрезали, и вымыли ей голову шампунем, и причесали волосы большим дюралюминиевым гребнем, они сразу легли так, как сейчас.

В ту пору она совсем не думала, что найдутся ребята, которым будет жалко этих кос. Ей просто показалось, что волосы начинают желтеть, — возможно, от воды, — и всегда так трудно было вымыть такие длинные, густые волосы. Но волосы вовсе не желтели, а с возрастом приобретали тот непередаваемый словами золотисто-серебряный, переливчатый цвет недоспелого льна, которому суждено было стать их натуральным цветом.

Потом Павлуша рассказывал, что ему очень жалко было ее кос, потому что он будто бы уже в те дни заглядывался на нее. Может быть, это была и правда. Но еще больше он любил ее с этими подстриженными волосами, которые причесывала, казалось, сама природа. Когда жене

приходилось нагнуться, а потом выпрямиться и волосы вот так же сами собой подбирались один к одному, Павлуша вдруг обхватывал ее голову своими большими ладонями и говорил:

— Ох ты ж, головушка моя!

И целовал ее в полуоткрытый рот.

А теперь ему, должно быть, все равно было, как складно улеглись ее волосы после того, как она, перегнувшись через какую-то невидимую перевязь под животом, словно поддерживавшую ее тонкий стан в подвешенном положении, с невиданной легкостью и быстротой вымыла полы в столовой и в спальне, и уже кончала переднюю, и вдруг выпрямилась перед мужем. Должно быть, он привык теперь к этим ее необыкновенным волосам и к ее тонкому, девичьему стану, который он мог держать в руках своих, и уже не замечал, как выглядит этот ее прелестный стан среди предметов и людей.

И ей даже не в чем было упрекнуть его. Они сошлись такими юными, когда никто из них не помышлял понуждать другого к выбору того или иного рода жизненного поведения; она сама пошла на то, что стало теперь главной причиной ее душевной неустроенности. А Павлуша по-прежнему был добр и ласков, делился с ней всем, что широким потоком вливалось в его жизнь, и даже в минуты размолвок с женой никогда не повышал на нее голоса. Когда она могла поспеть за Павлушей и внешние обстоятельства не препятствовали их желаниям, он охотно вовлекал ее в круг своих новых знакомств, занятий, развлечений.

И долгое время она была довольна своей судьбой, пока не увидела, что Павлуша привык к удобствам, которые предоставляет ему избранный ею род жизни, и не хочет и не умеет думать о ее жизни, как она течет безотносительно к его или их совместному существованию. «У всех так», — говорил он теперь, если говорил серьезно. Но она видела, что он считает возможности, отпущенные его жене, бо́льшими, чем «у всех», благодаря завоеванному им положению.

А чаще всего он отшучивался.

Она давно уже подметила в нем эту черту добродушного мальчишеского лукавства, позволявшую ему обходить в жизни многое, что он считал более удобным для себя обойти. В этой его душевной ловкости, легкости,

удивительной в человеке, который ежедневным трудом своим доказывал всей стране, на какие усилия он способен, так мало было расчета и столько желания не омрачать радости жизни, что эта его черта нравилась людям, нравилась и жене его. Тем безоружнее она оказалась перед мужем, когда это свойство обернулось против нее же.

Кто больше, чем она, знал, что за последний год он уже не имел возможности учиться, как учился раньше, и только самолюбие мешало ему признаться даже самому близкому другу Коле Красовскому, признаться даже ей, жене, каким беспокойством отражается это в его душе! Но Павлуша так много вращался теперь среди людей более опытных и образованных, столько бывал на разных пленумах, съездах, конференциях, так часто его вызывали в областной центр и даже в Москву, что он набрался всякой всячины, дававшей ему возможность выглядеть более знающим человеком, чем он был, даже перед женой.

В то время, когда она, не подымая головы, своими тонкими белыми руками размашисто и сильно водила мокрой тряпкой справа налево и слева направо по полукругу и жаловалась Павлуше на унизительность своего положения, он вдруг сказал ей:

— Ей-богу, Тинка, ты рассуждаешь, как жена Егора Булычева! Как это она говорила? «Не за того приказчика я замуж вышла»... Может, и ты не за того приказчика замуж вышла? Ты еще молодая, не поздно переменить...

Он сказал это, как всегда, не вкладывая в свои слова никакого жизненного значения, а только, чтобы отшутиться и получить возможность уйти. И тогда жена шлепнула этой мокрой тряпкой у его ног, и они остановились друг против друга.

Младший сынишка, полутора лет, такой же белоголовый, как мама в детстве, должно быть, удирая от старшего брата, внезапно выбежал на тонких беленьких ножках из столовой, сиявшей утренним солнцем, выбежал на влажный пол передней, поскользнулся, упал на попку и на затылок и пронзительно громко заплакал. Из рук его выпала продолговатая коробка, и белые клюковки в сахаре раскатились по полу.

Как это часто бывает в рабочих семьях, где взрослые когда-то сами росли без родительского глаза и вот этак падали и привыкли не придавать значения тому, что дети падают, ни мать, ни отец не бросились к ребенку. Мать не столько услышала, сколько всем своим сердечным опытом почувствовала, что ребенок упал не опасно для него, и даже не оглянулась. А отец на одно мгновение перевел взгляд на раскатившиеся по полу белые клюковки.

Он стоял перед женой с мальчишеским, виноватым и добрым выражением, немного медвежеватый и в то же время ловкий, весь какой-то уютный, круглый — в плечах и особенно по манере держать сильные руки, округлив их в локтях.

Выцветшая от солнца, когда-то темно-серая двойка в то время, когда они поженились, была его парадным костюмом. Теперь это была обычная его одежда, в которой он летом ходил на работу, заправив брюки в порыжелые сапоги с короткими широкими голенищами. Единственный вид щегольства, какой он себе позволял, когда шел на работу, — это обязательно свежая, совершенно свежая, на этот раз голубая рубашка с отложным воротничком, расстегнутая на две пуговички у шеи. В открытом треугольнике груди так обильно курчавились волосы, что даже закрывали отстегнутые краешки рубашки. Кепка, еще более выцветшая, чем костюм, была по манере Павлуши немножко больше, чем положено, надвинута на лоб. Жена не могла видеть, но она увидела и даже точно коснулась его круглого затылка, обросшего мягкими русыми волосами, чуть рыжеватыми и чуть курчавившимися. Это было самое юное и самое мальчишеское из всего юного и мальчишеского, сохраненного им почти нерушимо с тех самых пор, как они познакомились, когда он учился в пятнадцатом ремесленном училище, а она — в четвертом.

Она снова увидела мужа таким, каким его любила, и все, что так мучило ее, опять ничем не разрешилось.

— Ах, Павлуша!.. — сказала она голосом, полным невыразимой печали.

— Ну что ты, Тинка, право, разве же я серьезно! — сказал он, поняв, что она отступила.

Валька, ловкий круглый увалень, весь в отца, вкатился в переднюю, подхватил младшего брата под мышки и молча поволок его, ревущего, в столовую.

— Эй вы, артисты! Некогда мне сапоги снимать, а но то добрался бы я до ваших ушей, — не повышая голоса,

сказал Павлуша. — Тинка, ну видишь? — И он, еще больше округлив руки в локтях, указал жене на свои сапоги и на вымытый пол передней. — Посмотри, в самом деле, не зашибся ли?

Она инстинктивно боялась коснуться мокрыми руками розового халатика, но ей вовсе было не жалко этого халатика, и теперь она обтерла о него руки, проведя по бедрам, снизу вверх и сверху вниз, лицевой и тыльной сторонами ладоней. Она сделала это уже на ходу, она уже была возле детей.

Она подхватила младшего, Алешку, на руки, утерла ему нос углом халатика, обнажив на солнце белую ногу, тонкую у щиколотки и неожиданно полную, женственную у бедра. В этом наивном материнском движении сказалась и привычка к мужу, человеку настолько близкому, кого и в голову не может прийти стесняться. Он и в самом деле не обратил внимания на жест ее. Он удовлетворенно смотрел, как жена легко перенесла Алешку на левую руку и, присев на корточки, подняла с полу коробку, вложила эту коробку в пальцы левой руки, а правой начала собирать конфетки, приговаривая:

— А! А!.. Какие ладненькие!.. А! А!..

Алешка продолжал реветь, и мать сунула ему в рот клюковку в сахаре.

В своей семье, семье Борозновых, Тина с детства была приучена к чистоте и опрятности. В ремесленное училище она, как и Павлуша, поступила уже с семилетним образованием. Но никто и никогда не учил Тину, как обращаться с детьми и как их воспитывать. И она не видела ничего предосудительного в том, чтобы сунуть в рот плачущему ребенку конфетку с пола. Не видел в этом ничего предосудительного и Павлуша.

Алеша засосал конфетку и замолчал. Мать спустила его на пол, продолжая собирать белые клюковки.

Валька, полные загорелые ноги и руки которого несли на себе следы ушибов разной степени давности, следы глубоких засохших царапин и царапин легких, прочертившихся белым по загару, внимательно наблюдал за руками матери, иногда с опаской, лукаво взглядывая на отца и воинственно — на младшего брата.

— То-то, артисты! — сказал Павлуша. — Смотрите мне, слушаться матери и не реветь!.. Я пошел, Тина!

Он опять легко обошел все самое трудное, что встало между ними; Тина, сидевшая в другом конце передней на корточках, взглянула на мужа растерянно и скорбно, по-детски. Он сделал вид, что не заметил ее взгляда. Он смотрел в распахнутые двери в кабинет. И вдруг лицо его изменилось.

Теперь, когда смолкли голоса детей и взрослых, тяжелый храп Федора Никоновича господствовал над всеми звуками в квартире и над теми, что доносились с улицы.

После вчерашней выпивки, после буйных песен, излюбленных отцом, после верчения на радиоле пластинок с джазом Утесова и подпевания Утесову, в чем отцу больше помогал Захар, после того как отец и брат несправедливо обвиняли Павлушу и кричали на него хриплыми голосами, — после всего этого отец крепко спал теперь на диване в кабинете Павлуши. Он спал на спине, в несвежем грубом белье, со сползшей на пол простыней, — ночью было так душно, что его укрыли только простыней, — спал с раскрытым ртом, выставив рыжеватые жесткие усы.

Из растворенного окна лились в кабинет потоки света, еще не жаркого, но ослепительного света раннего июньского утра, и в этом чистом свете громадное лицо отца с закрытыми глазами и открытым ртом, изрезанное морщинами по каким-то немыслимым диагоналям, выглядело страшным.

У Павлуши задрожала нижняя челюсть. Сильными, поросшими волосами пальцами он крутнул ручку дверного замка и, не взглянув на жену, вышел на лестницу.

II

Отец приехал вчера. Он уже лет шесть как не работал, хотя был еще силен, а жил тем, что поочередно ездил гостить ко всем сыновьям и дочерям. После того как Павлуша, четвертый и самый младший из сыновей, прославил фамилию Кузнецовых и в дом Павлуши пришел достаток, отец особенно часто ездил к нему. Федор Никонович бывал неизменным гостем младшего сына в те дни зимы, когда производилась ежегодная выплата за выслугу лет, тем более что в эти дни и третий сын, Захар, представлял

такой же интерес для родителя, но Павлушу Федор Никонович не забывал и в другие времена года.

Не столько по родственному чувству, сколько по привычке быть добрым, когда есть возможность, а еще больше по тому самому свойству, подмеченному женой, — с естественной легкостью обходить трудности жизни, которые удобней обойти, — Павлуша старался не вдумываться в отношения, складывавшиеся между ним и отцом.

И впервые за эти пять лет жизни с Тиной Павлуша почувствовал, какая страшная связь была между тем, что он только что увидел на диване в кабинете, и тем, как жена Тина своими тонкими руками возила по полу набухшую водой тряпку и вдруг бросила эту тряпку под ноги Павлуше.

Закрыв за собой дверь, Павлуша остановился на площадке лестницы.

Скоро отец проснется и, в нижнем белье, босой, нечесаный, протащится в ванную, долго будет рычать под холодным душем; потом придет Захар, у которого сегодня выходной день, — они потребуют опохмелиться и уже не выйдут из-за стола до прихода Павлуши. А Тина будет их поить, кормить, молча снося двусмысленные шутки Захара и помыкательство властного, взбалмошного свекра.

И Павлуше стало нестерпимо жалко жену.

Он видел ее синие глаза с этим растерянным и скорбным детским выражением, и ясное, чистое видение дней дальних, дней совсем еще юных, встало перед ним. Оно возникло на одно лишь мгновение, это далекое видение дней ранней юности, — оно и тогда, в жизни, длилось одно мгновение, а все остальное было обычным, житейским.

...Он — первый, за ним — Коля Красовский, за Колей все ребята их группы, все будущие подручные сталеваров, все с заплечными мешками или чемоданчиками, все преисполненные восторга даже не от того, что их переводят из барака в настоящее общежитие, а из извечной мальчишеской страсти к переменам, ворвались в девятый подъезд знаменитого «Шестого западного» и с гоготом и свистом помчались вверх по лестнице.

Ему и Коле, конечно, хотелось первыми очутиться в комнатке, в которой они будут жить теперь вдвоем. Они не взбежали, а взнеслись на верхний этаж; Павлуша, полуобернув голову, едва успел спросить:

— Какая, он сказал, четвертая слева?

— Четвертая! — вскричал Коля, утративший всю свою скромность.

Павлуша уже был у двери и дернул за ручку и тут же отпустил ее. Дверь не то что распахнулась, она загрохотала, ударившись ручкой о стену, и вся сотряслась, а со стены посыпалась штукатурка. Павлуша шагнул в комнатку...

Комнатка была уже занята. Дом оправдывал свое название — одного из домов западной группы: солнце, склонявшееся к закату, стояло в открытом окне, занавешенном понизу белыми занавесками. Запах одеколона, а может быть, душистого мыла, чувствовался в воздухе, пронизанном горячим светом летнего вечера.

Подушки, взбитые так воздушно, как может взбить их только женская рука, покоились одна на другой на кровати, примыкавшей к окну, — целых три подушки, если считать «думку», хотя всем известно, что ремесленнику полагается только одна подушка. А на ближней кровати у стены, разложив подушки по ширине изголовья, спали две девушки: одна — крупная темная шатенка в яркой оранжевой кофточке и черной юбке, а другая — тоненькая, почти девочка, вся беленькая — в белом платье, белых носочках и с длинными белыми косами, волнисто изогнувшимися по байковому одеялу за ее спиной. Изящная головка тоненькой девушки покоилась на плече старшей подруги. Нежной рукой своей она доверчиво обнимала старшую подругу за талию, другая же ее рука была очень уютно поджата под грудь. А старшая, в оранжевой кофточке, свободной полной рукой, с крупной красивой кистью, бережно укрывала младшую, как крылом.

Павлуша сразу узнал этих девушек, из четвертого: они учились на токарей. Он представил себе, как часам к пяти они пришли с работы в громадных, похожих на цех завода мастерских своего училища, где, должно быть, точили мины, — пришли, освежились под душем, переоделись, наскоро поели в столовой так хорошо знакомого и Павлуше военного супа, а потом вернулись в свою комнатку и впрыгнули обе в кровать: им не терпелось поделиться чем-нибудь, набежавшим за день, что не имело отношения ни к ученью, ни к производству, ни к общественным обязанностям. Они разговаривали вполголоса или шепотом, хотя были только вдвоем; иногда то одна, то другая припадала губами к уху подруги, и лица их при-

нимали то смущенное, то любопытствующее, то загадочное выражение; а то вдруг обе прыскали смехом в подушку. Они даже разрумянились от этого разговора. А потом одна и другая начали зевать и не заметили, как уснули обнявшись.

В тот момент, когда Павлуша шагнул в комнатку, девушка в оранжевой кофточке сняла с младшей подруги полную руку и повернула на Павлушу и на Колю, часто дышавшего над плечом товарища, черные глаза, в которых за какие-нибудь две-три секунды сменились выражения удивления, гнева, насмешки и, наконец, издевки.

Павлуша представил себя глазами этой девушки — и его всего обдало жаром, как из мартена, даже плечи и руки его побагровели.

Он и Коля принадлежали к поколению учеников второго года войны, поколению, на которое уже не хватало ни форменных фуражек, ни курточек с металлическими пуговицами, ни ремней с бляхами «РУ». Оно училось не за партами, не в мастерских, оно училось, работая наравне со взрослыми у рудных дробилок и промывочных машин, на шихтовке материалов для агломерата, кокса, чугуна, стали, у грохотов и транспортеров, на кранах и под бункерами, у печей всех родов и видов, в литейных дворах, пролетах, канавах и у прокатных станов. Все самое черное — пыльное, мокрое, грязное, жаркое, дымное, — вся преисподняя величественного производства была уделом этого поколения прежде, чем оно получило свою квалификацию. Вступая в смену, оно надевало одежду, не гнущуюся от кристаллов застарелого пота, и достойно носило эту одежду свои восемь, а то и шестнадцать, и, если нужно было, все двадцать четыре часа, и уже на десятой минуте пот сочился из одежды, как из губки. А у себя в общежитии это поколение одевалось кто во что горазд.

На Павлуше был вылинявший гимнастический тельник, прилипавший к телу, — полуобнаженная грудь, уже начавшая обрастать волосами, вздымалась и опускалась после стремительного бега. Голые, увлажненные руки с чрезмерно развитыми мышцами Павлуша держал на весу, как борец, — в одной руке был чемоданчик. Кепка, столько вобравшая в себя всего на производстве, что сама казалась металлической, была по манере Павлуши насунута на лоб.

А девушка в оранжевой кофточке говорила с непередаваемой издевкой в голосе:

— Вставай, Тинка, женихи приехали — уже с чемоданами! Этого, волосатого, ты бери себе, а я возьму того, скромненького, ой, как он запыхался, бедненький!

Теперь, девять лет спустя, стоя на площадке лестницы, Павлуша видел только покоившуюся на плече подруги белую головку, видел строгую линию, отделявшую волосы от тронутого нежным загаром лба и виска, видел длинные косы, вольно струившиеся по одеялу за плечами девушки. Когда она проснулась, она шевельнула золотистыми ресницами и осталась недвижима, будто замерла. А потом медленно повернула голову, и подняла ресницы, и посмотрела на Павлушу синими глазами. Она не испугалась. Глаза были ясные, спокойные и смотрели на Павлушу с доверчивым выражением...

Если бы близкие люди в дни размолвок умели угадывать все, что происходит в душе одного и другого, сколько уловили бы они под житейским мусором глубоких, чистых душевных движений, идущих навстречу, словно ищущих друг друга! Если бы люди умели понимать эти глубокие встречные движения и не боялись доверяться им, сколько было бы сбережено на свете душевных сил, растрачиваемых понапрасну, сколько правды, добра, так часто бесследно умирающих в непонятом человеческом сердце, было бы излито, сколько счастливых и простых решений нашли бы близкие люди в положениях, кажущихся порой безвыходными!..

Павлуша поднял руку — постучать в дверь — и посмотрел на часы: они показывали семь.

Как ни поздно он лег вчера, он предупредил жену, чтобы она разбудила его на час раньше обычного: ему хотелось внезапно появиться у печи в тот самый момент, когда Муса Нургалиев, товарищ Павлуши и Коли Красовского, старший по возрасту и наиболее опытный, хотя и наименее грамотный в их прославленной тройке, будет готовить плавку к выпуску. По состоянию печи, какою Павлуша все чаще принимал ее от Нургалиева, он подозревал, что Муса, поддавшись недоброй игре, начал втихомолку работать на показное выдвижение себя за счет товарищей: смена Павлуши уже не раз работала на сниженном ходу. исправляя баловство Нургалиева — для Красовского. Самолюбивый и хитрый Муса, сталевар

старой выучки, был неуязвим, когда дело касалось одних только подозрений да объяснений. И Павлуша хотел сегодня исподволь, не допуская и малейшего зазора в их дружбе, пригнанной годами и столь же прославленной, как их мастерство, проверить работу Мусы.

Жена знала, почему он так торопится, но не удержалась и еще на кухне, пока кормила Павлушу, начала свой трудный семейный разговор. И вот Павлуша опоздал к плавке Мусы; он едва успеет на «сменно-встречный», и то, если поедет на трамвае.

И Павлуша не постучал в дверь, как ему хотелось и как, он чувствовал, должен был поступить, а быстро побежал вниз по лестнице, слегка прихватываясь на поворотах за перила.

III

Но было бы лучше, если бы он вернулся, хотя бы на два слова.

Конечно, она была еще не на пределе возможного навинчивания, эта струна, которую они исподволь подвинчивали и подвинчивали весь последний год, — она была еще не на пределе, но была уже так туго натянута, что почти не звенела.

Машинально Тина добрала конфетки с пола и несколько секунд еще посидела так, на корточках. Алешка дососал свою клюковку и потянулся руками к коробке; прозрачные пальчики ребенка шевелились, как лепестки подводного цветка. Валька терпеливо ждал, когда коробка снова окажется у Алешки и можно будет повторить попытку овладеть ею. Мать, не глядя, сунула ее в шевелившиеся пальчики Алешки, и они так и вцепились в эту чудесную коробку. Но на лице Алешки появилось не выражение жадности, а очень человеческое выражение чистой радости. Солнце освещало и эту невинную радость ребенка, сиявшую в его синих глазенках, в улыбке, показавшей первые зубки, и уныло ожесточенное лицо матери, сидевшей на полу на корточках.

И вдруг выражение страдания прошло по лицу Тины; она вскочила и, не обращая внимания на детей, пронеслась через столовую на открытый балкон. Сплошной поток света, мчавшийся навстречу Тине по сверкающим крышам, ударил ей в лицо. Загущенные волосы ее цвета льна и

меда вспыхнули и расплавились, — она остановилась ослепленная.

Новый четырехэтажный дом, в котором они жили, угловой в квартале 16 В, восточной своей стороной выходил на улицу Короленко, а южной — на широкий пустырь, где должен был пройти проспект Металлургов. С балкона открывалась сквозная — от ворот с улицы Короленко до ворот на улицу Чехова — анфилада дворов противоположного квартала с зелеными скверами и детскими площадками с кучами желтого песка. И сквозь эту анфиладу дворов можно было видеть вдалеке, на той стороне улицы Чехова, в четвертом этаже углового дома, точно такую же квартиру с балконом, как и та, в которой жили Тина с Павлушей, — в ней жил председатель Большегорского исполкома Воронин. На углу того дома возвышалась такая же, как и на их доме, прямоугольная башенка с круглой беседкой, но из-за крыш зданий отсюда видна была только верхняя половина беседки с ослепительно-белым куполом, — казалось, в небесной голубизне кто-то опускается среди зданий на парашюте.

Но Тина ничего этого не видела. Ей нужно было успеть увидеть его, увидеть хотя бы со спины, чтобы его еще можно было окликнуть. Быстрым взглядом она окинула уходившую полого вверх просторную асфальтированную улицу, обсаженную молодыми карагачами.

Обычно часов с восьми утра и до позднего вечера улица Короленко, как и все улицы этого нового города на Заречной стороне, была усыпана ребятами всех возрастов: им больше нравились эти просторные асфальтированные улицы, чем разбитые на скверики и площадки квартальные дворы, где ползали по песку меж клумб с цветами совершеннейшие крошки под наблюдением старших сестренок или бабушек, еще державших на руках спеленутого грудного или возивших его, спящего с соской во рту, в коляске взад и вперед по песчаной дорожке.

Но сейчас было еще рано для уличных игр детей, сейчас вверх по улице Короленко — больше по середине, чем по боковым пешеходным дорогам за карагачами, — шли на работу взрослые мужчины и женщины, шли в этой ближней части улицы по одному, по двое, по трое, а дальше уже цепочками, группами, а ближе к площади имени Ленинского комсомола, где была остановка трамвая, — сливающимися потоками.

Муж еще не вышел из ворот под домом; Тина перегнулась через перила и стала ждать. Но еще раньше, чем она его увидела, она услышала его сильный грубовато-веселый голос и смеющиеся голоса женщин. Один из женских голосов она не только узнала, — было удивительно и больно, что именно его она услышала сейчас. И в самом деле, первой из ворот вышла ее бывшая подруга по ремесленному училищу Васса Иванова. Полуобернув голову в сдвинутом немного на затылок темно-малиновом платке, Васса — по уже сложившейся привычке обращения с молодыми мужчинами — смелым, резковатым и все-таки немножко заигрывающим голосом насмешливо выговаривала что-то Павлуше и, надо полагать, попала в самую точку: Павлуша, подняв к плечам согнутые руки, отмахивался одними ладонями, как ластами, крутил головой и все повторял:

— Не говори, не говори, не говори!..

Другую вышедшую из ворот женщину, Соню Новикову, Тина тоже знала. По окончании ремесленного училища Тина и Васса зачислены были в вальце-токарную группу при цехе, объединявшем три прокатных стана — мелкосортный, штрипсовый и проволочный, — и приданы были к проволочному стану. У токарей не было там даже отдельного помещения, они работали сбоку, в пролете, где расположен был этот необыкновенно изящный автоматический стан-красавец, и работа девушек по обработке валков неотрывна была от всей работы прокатчиков.

Соня Новикова, старший оператор этого стана, теперь уже тридцатилетняя вдова, не шла, а плыла на полкорпуса впереди Павлуши и смеялась, закинув голову и косясь не на смешные движения Павлуши, а чтобы перехватить его взгляд. Тонкий, как из молочного крема, шерстяной платок-паутинка был вольно повязан, точно небрежно накинут на ее светлые волосы, — ох, Тина могла бы рассказать, сколько секунд отнимает у Сони эта небрежность перед зеркалом!

Удивительно было не то, что Павлуша и обе женщины, идя на работу, сошлись во дворе: Васса и Соня жили в этом же квартале 16 В. И не только то было больно Тине, что Павлуша мог смеяться с чужими женщинами после всего, что произошло между ним и Тиной. Удивительно и больно было, что Павлуша столкнулся во дворе с когда-то самой любимой подругой Тины в такой момент,

когда воспоминания, связанные с их девичьей дружбой, и послужили главным толчком к сегодняшней ссоре.

Летом сорок шестого года, после того как Тина и Павлуша зарегистрировались в загсе Кировского района и свадьба была уже отпразднована, Тина должна была перейти в комнатку к Павлуше, а Коля Красовский, по добровольному его согласию, — в общую, на двенадцать человек, комнату общежития все в том же «Шестом западном».

Васса помогала Тине уложить платья, белье, все ее «доброе», как называли это на родине Тины, и обе они, боясь, чтобы не прорвалось слезами все, что томило их души, не глядя друг на друга, деловито сновали по комнатке, а их аккуратные руки действовали с такой необыкновенной спростью, какая в подобные переломные минуты жизни возможна только у женщин.

Тина все еще находилась в том возбужденно-счастливом состоянии, которое сопровождало ее все эти дни. Но странно ей было, что она в последний раз ходит по этой комнатке, как одна из ее хозяек, а завтра уже будет приходить сюда, как гостья. Тина смутно чувствовала, что они не просто укладывают ее вещи, белье, а что и она, и любимая подруга, с которой они прожили душа в душу четыре года, выделяют из того, что казалось общим, ее — Тины — более счастливую долю. Впервые так наглядно Тина сознавала значительность перемены, совершавшейся в ее жизни, и испытывала волнение, похожее на страх. Ей было жаль этой жизни, которую они так деловито, безмолвно разрушали сейчас своими руками, жаль было и себя и Вассу, и невозможно было избавиться от мучительного чувства какой-то своей вины перед подругой.

Чем ближе подходила минута прощания, — а Тина знала, что, хотя им предстоит еще вместе работать и жить под той же родной крышей «Шестого западного», они все-таки должны будут как-то проститься, — тем больше Тина страшилась этой минуты. И никогда не могла она потом простить себе, как, не выдержав душевной муки, она, Тина, вдруг заговорила в том же тоне неестественной деловитости, в каком они говорили об укладываемом белье, платьях:

— Васса, а подумала ли ты, кого взять в комнату вместо меня? А то вселят такую, знаешь, что и не рада

будешь; найдутся любительницы, наверно, уже в очереди стоят!

Васса выпрямилась всем корпусом и повернула на Тину свое немного асимметричное броско красивое лицо, затемнившееся несвойственным ему мрачным выражением. Но Тина не замечала этого выражения и продолжала все тем же деловитым голосом:

— Сейчас, знаешь, какая нужда в жилье, никто с тобой не посчитается! А ты пойди к Бессонову — к нашему-то не ходи, он все равно не поможет, а пойди к Бессонову, он нас знает, попроси, чтобы переселили к тебе нашу подсменщицу, — она, знаешь, намекала. А хочешь, я скажу Павлуше, он к Сомову пойдет, — Сомов, знаешь, как Павлушу ценит!..

Было даже удивительно, как Тина, такая скромная, уверенно называла эти большие фамилии — главного инженера, в прошлом начальника их цеха, даже фамилию самого директора комбината, а теперешнего начальника цеха называла просто «нашим». Это говорила уже не она, это Павлуша говорил ее устами.

Если бы Васса услышала только это, она сразу подметила бы в этом смешное, и не уйти бы подружке от ее острого языка. Но Васса расслышала в словах Тины то самое, что они и означали: что ее, Вассу, покидают и жалеют. И с прозорливостью любящей и брошенной женщины Васса вдруг сказала:

— Разве ты уйдешь с работы?

Тина смутилась. Она никогда не краснела, если смущалась, — смутились ее чистые синие глаза, она даже не нашлась, что ответить.

Все эти дни, пока крутилась свадебная карусель, как-то само собой подразумевалось между подругами, что работа их будет идти по-прежнему. И как же могло быть иначе: они настолько связаны были в работе, что уход одной из них неизбежно подводил другую.

Большинство подруг, окончивших, как и они, четвертое ремесленное по токарной группе, работало на малых станках обычного типа, так называемых «дипах» — ДИП-200, ДИП-300. Из молодежи, работающей и ныне на этих станках, мало кто задумывается над тем, что означает это «дип», звучащее, как название иностранной фирмы. Означает же оно «догнать и перегнать».

Тина и Васса и их третья сменщица-подружка, единст-

венные среди женщин-токарей на заводе, освоили станок по обработке валков прокатных станов и в соревновании вышли на первое место среди токарей, хотя вальце-токарные станки до сих пор считаются физически непосильными для женщин.

Но как ни велико было удовлетворение, получаемое Тиной от соревнования, оно не могло принести ей, девятнадцатилетней девушке, такого счастья, как выпавшее ей счастье любить и быть любимой. Вся ее жизнь теперь была отдана Павлуше. И так сладка была Тине ее зависимость от счастья жизни с Павлушей, что ей казалось совсем неважным и ненужным думать о том, как сложится ее трудовая жизнь. Но она понимала, что этим невозможно поделиться ни с кем из людей, а сказать так Вассе, которая еще не испытала этого счастья, хотя была на год старше, было бы просто бесчеловечно. Вот почему Тина смутилась и не нашлась, что ответить.

И большая душа Вассы, скрытая от людей под ее, Вассы, резковатой, несмешливой манерой, вдруг прорвалась слезами. Все четыре года, что они дружили, Тина не видела ее плачущей, — впервые Васса заплакала при большом стечении народа, когда справляли свадьбу у родителей Тины, а теперь это опять приключилось, — слезы так и брызнули из ее черных глаз.

— Лучше бы уж ты молчала! — говорила она со страстью. — Думаешь, я не знаю, на что повернулись твои мысли? Говоришь, будто оправдываешься! Ты думаешь, я тебя осуждаю? Молчи, потому что я тебя не осуждаю! Я не раз думала — думала уже давно, а как же мы будем жить, если кто из нас выйдет замуж? Я думала: а вдруг это случится со мной первой? Я сама себе никогда не могла ответить, как же я буду жить замужем. И я тебя не осуждаю... Что ж, тебе выпал первый черед, — сказала она, с видимым усилием преодолевая в себе чувство, которого не хотела бы показать Тине, и губы ее самолюбиво задрожали. — Теперь ты будешь при муже — и пойдут наши пути в разные концы, такие разные, что ни повидать, ни голоса услыхать! Так не сватай же мне, кого самой не нужно! Пусть вселяют ко мне кого хотят... По крайности я буду знать, что осталась сама по себе... если уж тебя нет и никогда не будет... — добавила Васса, и слезы опять залили ее смуглое лицо.

Если бы Тина в эти дни не была так полна собой, она догадалась бы, что не о ней одной плакала Васса, что не только к ней, Тине, относились слова «осталась сама по себе», «тебя нет и никогда не будет». Но Тина все это отнесла только к себе: она бросилась к Вассе, обняла ее и говорила о том, что никогда не оставит любимой подруги, что все, все у них пойдет по-прежнему.

Но они обе не знали, как это все будет на самом деле.

Тина ушла с работы через четыре месяца после этого разговора, в начале первой беременности. Она трудно переносила и первую и вторую беременность, но первая была для нее особенно тяжелой. По нескольку раз на день она бросала на соседа станок в ходу и бежала через подъездные пути в уборную, где, содрогаясь от рвотных спазм, обливаясь потом и слезами и еще бо́льшие испытывая муки стыда перед случайными женщинами, поддерживавшими ее под руки, выстаивала над осыпанным известью глазком, боясь, что только отойдет от него, как все начнется сначала.

И она первая сказала мужу, что не в силах переносить это на глазах у людей.

— Конечно, зачем тебе мучиться, будто мы не обойдемся без твоих синеньких! — сказал Павлуша, очень ее жалевший. Он сказал «синеньких» — это было еще до денежной реформы.

И он, переговорив где нужно, устроил так, что ее отчислили с работы.

А Васса осталась в той же вальце-токарной группе при цехе, где катались проволока, штрипсы и мелкосортный металл. Васса все не выходила замуж, и это было даже удивительно: она всегда вращалась среди ребят. А потом она подружилась с Соней Новиковой, и та незаметно вошла в жизнь Вассы так глубоко и полно, что вытеснила даже память о Тине.

Раньше Соня с маленьким сыном жила в скученном бараке в Никитьевском поселке, — муж ее, лейтенант саперных войск, погиб в Курской битве. А потом подруги получили вместе двухкомнатную квартиру — тогда же, когда Павлуша с Тиной получили свою трехкомнатную. Это было памятное событие на Заречной стороне: квартал 16 В первый строился не отдельными зданиями, а как цельный комплекс, и, едва его покинули маляры, все жильцы, несколько сот семейств с сонмом детей, въехали в свои квартиры почти в один день.

Павлуша и обе женщины, весело его атаковавшие, прошли под балконом. Павлуша шел своей развалистой, но легкой походкой, мягко загребая руками и оборачивая смеющееся лицо то к одной, то к другой женщине. Невозможно было окликнуть мужа, не унижая себя; Тина только смотрела ему вслед. Они нагнали вышедшего из ворот немного пораньше машиниста портального крана углеподготовки Александра Гамалея, и Соня Новикова сразу переключилась на пожилого Гамалея, более подходящего ей по возрасту. Дальше по улице к ним присоединились еще несколько мужчин, которых Тина тоже знала, — самый молодой из них, выбежавший из калитки в ограде вдогонку за товарищами, сзади закрыл Павлуше глаза и повис у него на плечах. Они весело здоровались между собой за руки, обменивались шутками, которые обратились на двух незамужних женщин, как только мужчины почувствовали свой перевес. Но ни Васса, ни Соня не только не смущались, а становились все свободней и оборотистей в окружении мужчин, — даже отсюда можно было догадаться, что они не дают спуска.

И долго еще, когда людской поток поглотил их, видела Тина круглый, мальчишеский затылок своего мужа. У нее все время подкатывало к горлу, но это были не слезы. Она давно уже не плакала: она пережила девичьи слезы и еще не обрела слез женщины. Но ей очень хотелось, чтобы Павлуша оглянулся.

Метрах в двухстах наверху, в глубине площади имени Ленинского комсомола, выступала верхняя половина фасада нового кинотеатра — очень легкого, воздушного здания, обнесенного белыми колоннами наподобие афинского Акрополя. И утреннее солнце, игравшее в капителях колонн, и отдаленная, но такая звонкая трель трамвая, вдруг прочертившего дугой по проводу поперек площади, и сильная, молодая фигура мужа, идущая навстречу этим веселым звонкам, и внезапный жалобный крик Алешки, донесшийся из столовой, — все это слилось у Тины в одно пронзительное, нежное, отчаянное, безнадежное чувство.

IV

И день, такой же, как сотни дней до него и тысячи после него, глянул на нее со всею тяжестью и скукой неуловимых, неисчислимых, опутывающих душу и страшных

своей мелочностью забот, которые все укладываются в одно понятие, определяющее жизнь миллионов и миллионов женщин: домашняя хозяйка.

Но день, предстоявший Тине, как и неизвестно еще сколько следовавших за ним, должен был быть особенно, невыносимо тяжелым, потому что приехал Федор Никонович, отец Павлуши. А ее мать, мать Тины, уже не могла помочь дочери, как обычно, когда у них собирались гости. Мама не могла приехать именно потому, что это были не обычные гости, а Федор Никонович. Может быть, она и преодолела бы неприязненное чувство к свату: она любила дочь и способна была ради нее на жертвы, простая деревенская женщина, она умела прятать свои чувства под личиной молчаливого равнодушия, доведенного, если нужно, даже до тупости. Но отец Тины никогда не отпустил бы жену унижаться перед старым Кузнецовым.

Вчера, когда Павлуша и Захар и его жена Дуня отвели подвыпившего Федора Никоновича в кабинет, где Тина наскоро постелила ему на диване, они еще посидели некоторое время вчетвером в прокуренной столовой, в невыносимой духоте.

Стояли на редкость безветренные и потому особенно жаркие дни и душные ночи середины июня; дверь на балкон бывала открыта круглые сутки. Но в этот день, как только Кузнецовы начали пировать, Тина незаметно прикрыла дверь и задернула ее легкой солнечной шторкой.

Чего опасалась Тина?

Во всем квартале 16 В, как и во всем этом новом городе, жили рабочие люди с семьями, в большинстве металлурги или строители из числа постоянных, кто в годы первой пятилетки прибрел сюда, может быть так, на время — попытать счастья, а потом сам не заметил, как утвердился навечно. За шесть послевоенных лет десятки тысяч семейств были переселены в новый город, переселены из бараков, общежитий, из более тесных квартир старого города на той стороне озера.

Старый город когда-то тоже был новым, одним из первых новых городов в стране, и по привычке его называли «соцгородом». Назвали его так в легендарные времена, когда люди только что вылезли из нужды и никто не знал, каким же должен быть социалистический город, а всем хотелось, чтобы он уже был. Теперь в нем насчитывалось до ста пятидесяти тысяч жителей, и трубы ком-

бината ежедневно выбрасывали на них четыреста тонн сажи и пыли, газовых отходов.

Благоприятное для Заречной стороны положение розы ветров навело строителей на мысль, что именно здесь должен быть создан новый социалистический город — будущий центр Большегорска. И теперь здесь строились кинотеатры, столовые, клубы, школы, дворцы культуры строителей и металлургов; и не только одновременно возводились все жилые и служебные здания в квартале, а сразу вслед за ними благоустраивались дворы, асфальтировались улицы, высаживались деревья, кустарники, цветы, — маляры покидали квартал одновременно с садовниками. Город рос с быстротой непостижимой, он насчитывал уже более пятидесяти тысяч жителей.

По традиционному навыку рабочих людей, сложившемуся за столетие, навыку к тому, что нет смысла скрывать свою жизнь в горе, а тем более в радости, а еще больше потому, что прежняя скученная жизнь в бараках и уплотненных квартирах поневоле приучала к откровенности, вся жизнь переселенных семейств на Заречной стороне протекала на виду друг у друга. В этих домах некрупной, строгой, стройной архитектуры, поражавшей взгляд разнообразно-простыми и гармоничными ансамблями, в домах, где с каждым годом прочнее, чище и уютней пригонялось и увязывалось все для удобства людей, в городе, призванном, подобно «Магнитке» или Сталинску, стать одной из столиц металлургии востока, ослепительно сиявшем своей белизной и похожем на приморские южные города, особенно если смотреть на него от комбината из-за озера, образованного мощной плотиной на реке Каратемир, — в этом, действительно новом, белом, голубом, зеленом городе люди, в сущности, только еще учились жить, но они жили со вкусом и нараспашку.

Металлургическое производство — круглосуточное производство. Ночь за днем, месяц за месяцем, год за годом непрерывно люди порождают огненную стихию металла, могущую своим многотысячетонным, льющимся весом затопить и расплавить все, что ее порождает. Но люди непрерывно укрощают и организуют эту стихию на потребу человеку, к которому она приходит уже в виде балок, рельсов, брони, кровли, труб, колес, проволоки или в виде металлических заготовок, а потом уже и в виде блюмингов, турбин, экскаваторов, самолетов, микроскопов,

детских поющих волчков, пружин для часов и нитей в электрической лампочке.

Чему же удивляться, если в любой час дня и ночи, когда работает одна смена, могут найтись люди из двух других смен, которым пришла неотложная потребность погулять после своего могущественного труда!

И не редкостью было видеть на просторах нового города добрую компанию молодежи, развернувшую свою гармонь поперек улицы, или слышать рвущиеся из распахнутых окон разудалые песни и топот каблуков, в то время когда вокруг кипит обыденная уличная жизнь или в синей ночи дремлют тополи и выбеленные луной кристаллические массы города, озаряемые заревом спущенного в воду шлака, безмолвно покоятся на холмах среди степи, отражаясь в озере.

Если у Павлуши Кузнецова бывали гости — товарищи по работе, приезжие люди из других городов Урала, Сибири, из Москвы, с Украины, — и у него распахивались все окна настежь. Но не тогда, когда приезжал Федор Никонович...

Впрочем, старик, ослепленный великолепием жизни младшего сына, в этот вечер, как и в прежние, не придавал значения закрытым окнам и дверям; он кричал и пел своим все еще могучим голосом, и только Захар все понимал и сердился.

Когда старика уложили, у всех было такое ощущение, будто здесь только что буря прошумела, а теперь неестественно тихо, хотя Захар был уже сильно пьян и молол всякий вздор.

Казалось, кому бы, как не жене, увести подгулявшего мужа, когда он не понимает, что уже в тягость хозяевам, но Дуня равнодушно относилась к тому, был ли Захар пьян, здоров, болен, работал ли, гулял ли. В первое время, как они породнились, Тине казалось, что равнодушие Дуни напускное: не сумела подобрать узды на мужа и приучилась так держать себя на людях, чтобы не унижаться. Наверное, так оно и началось когда-то, но теперь Дуня была равнодушна ко всему на свете и прежде всего равнодушна к самой себе. Это сказывалось и на ее внешности: с годами она все больше расплывалась, одевалась абы как, ей все равно было, причесана она или растрепана, похоже было, она не всегда и умывается. Тина замечала, что Дуня равнодушна даже к болезням детей

своих. Она призналась Тине, что и супружеские-то обязанности выполняет без удовольствия, а потому, что так надо.

Захар привел ее сюда, чтобы оказать отцу почет в первый день приезда, — обычно он никуда не брал ее с собой. Она ему ни в чем не была помехой, но оскучняла его жизнь — жизнь тридцатилетнего мастерового, люкового на коксовых печах, который пошел на эту тяжелую работу только из-за того, что она не требовала особой квалификации и хорошо оплачивалась. Он не собирался менять свою должность на лучшую, но не мог и ниже опуститься, так как был здоров, не изнашивался ни от работы, ни от пьянства. Но счастье своей жизни он видел не в работе, а в том, чтобы прожить до конца дней своих, получая все доступные по его заработку, и по заработку родных, и по заработку товарищей блага и удовольствия, заключавшиеся для него главным образом в вине, табаке, вкусной пище, а при случае, если этого можно было достичь без хлопот и без последствий, в удовольствии от женщин и в том шумном веселье, какое можно было получать от умелого сочетания первого, второго и третьего и, по возможности, четвертого.

По внешности братья были поразительно схожи, только старший крупнее и более силен. Но все, что у Павлуши было смягчено мальчишеской ухваткой, освещено умным и лукавым выражением больших серых глаз, все это у Захара было грубее, топорней, мутнее, лишено живинки. У Павлуши все говорило, что это человек-созидатель, у Захара, что это человек-потребитель.

Но если не предъявлять человеку требований духовного роста и приумножения способностей в труде, Захар Кузнецов был вовсе не плохим рабочим: не имел за двенадцать лет тяжелой работы на коксовых печах ни одного прогула и взыскания, что объяснялось отчасти его нечеловеческим здоровьем, а больше — пониманием собственной выгоды. Он был необыкновенно ловок и изворотлив, когда возникала возможность выпить и погулять за чужой счет, но и сам был не скуп, имея для этого тем большую возможность, чем легкомысленнее год от года смотрел на свои обязательства по отношению к семье, привыкшей крутиться на хвостах от его заработка.

Люди больше склонны судить друг о друге по бросающимся в глаза внешним признакам, чем доискиваться истинных мотивов человеческого поведения. И Захар Куз-

нецов числился не то чтобы на хорошем, а на обычном счету у начальства, то есть на таком счету, который открыт для многих рядовых тружеников, лишенных, может быть, недостатков Захара, но имеющих другие, свои недостатки. А в широком мужском кругу товарищей по цеху Захар слыл за «своего парня», то есть тоже, как многие. Про него говорили: «Любит хватить лишку, но умеет и поработать».

И это свое постоянное, закрепленное за ним в жизни положение как бы одного из представителей рядового, трудового множества, из которого вышли и выходят вперед и наверх люди, подобные Павлуше, Захар использовал так же, как и свое старшинство, для морального давления на младшего брата. Использовал в том смысле, чтобы Павлуша, как младший в семье и выбившийся в люди, всегда чувствовал себя обязанным перед Захаром, перед отцом, перед всей родней. А всякое проявление независимости Павла в том, чтобы уклониться от удовлетворения прихотей отца или брата, Захар истолковывал не только как неблагодарность по отношению к родне, а как отрыв от массы, его породившей, как стремление выйти в «начальство».

Так было и в этот вечер.

Павлуша умел выпить вовремя, но пристрастия к вину у него не было. Тина любила, когда он выпивал, даже когда он «перебирал» немножко; он сразу добрел, начинал виновато улыбаться, крутить головой и все повторял: «Ох, я что-то закосел!» И был необыкновенно ласков, когда они оставались вдвоем. А теперь он хитрил перед отцом и братом, рассчитывая наутро успеть к плавке Нургалиева. Они заметили это и напали на Павлушу, будто он их стыдится. Захар все время тыкал пальцем в закрытую дверь на балкон.

Разговор сразу перешел на то, что Павлуша мало высылает денег отцу; что он не достал жившей замужем в Куйбышеве больной сестре, самой старшей, путевки в Кисловодск, хотя мог бы сделать это через обком металлургов, членом которого был избран весной; что он, Павлуша, используя для себя хорошее отношение начальника орса, не делает ничего, чтобы это хорошее отношение начальника орса распространилось и на Захара. И много еще обвинений предъявили они Павлуше, кото-

рый отшучивался с той ловкостью, которая показывала, что в этих обвинениях есть доля правды.

Когда отца уложили, Захар все еще пытался укрепиться на излюбленном коньке, но Тина видела, что он хочет получить еще водки, чтобы подольше не уходить. Тина делала вид, будто не догадывается, тогда Захар начал издеваться над ее именем и над ее белорусским произношением.

— Христя, тащи свою пал-литровку! — кричал он. — Скупишься, Христя? Эх ты, Христя Борозна!..

Настоящее имя ее было Христина, и в родной семье ее звали Христей. Она сама не знала, где подхватила уменьшительное Тина, должно быть, оно как-то само собой зародилось из городского воздуха. В ремесленном училище многие из ее подруг, родом из деревни, меняли свои имена: Васса тоже когда-то была Василисой.

Отец Тины, Лаврен Борозна, как и его отец и дед, смалу бродил с деревенскими плотницкими артелями по помещичьим фольваркам и малым городишкам, а после революции — по совхозам и вёскам, пока великое строительство не призвало и не поглотило всю их славную профессию, исконную на Великой и на Белой Руси, богатой лесами. На строительство Сталинградского тракторного Борозна забрал с собой двух сыновей-подростков, а когда его перебросили на «Большестрой», сыновья уже самостоятельно работали в бригадах. Здесь-то старого плотника при выдаче паспортов окончательно перевели с белорусского на русский — Лаврена на Лаврентия, а Борозну на Борознова: его давно уже писали так в ведомостях на заработную плату, и милиции так было удобней, и ему все равно.

И все они стали Борозновы.

Их район на Витебщине граничил с Смоленской областью. Тина, как и все Борозновы, с детства равно говорила по-белорусски и по-русски. Но белорусское произношение было в ней неистребимо. При ее внешности, долго сохранявшей черты детскости, это придавало русской речи в ее устах особенную прелесть.

Захар же, нарочито огрубляя ее говорок, сочинял замысловатые фразы, сводившиеся все к тому же требованию водки.

— Эх, памог бы я табе, Хрыстенька, пашов бы это я, настаяв бы это я у очереди, да усе ж таки прыдется

табе, Хрыстенька, самой узять нам пал-литровочки, — говорил он и, так как она молчала, добавлял с каким-то уже совсем бессмысленным вывертом: — Директарр! Секретарр! Знаэш? Панимаэш?.. Эх ты, Христя Борозна!..

Тине обидно было, что Павлуша, так ловко отбивавшийся от направленных на него нападок, теперь почти засыпал за столом и, вместо того чтобы прогнать Захара, насильственно улыбался его шуткам над ней.

Все-таки она не дала водки Захару, но он сам прошел на кухню и отыскал в стенном шкафчике под окном остатки от уже третьего пол-литра.

Боже мой, как безобразно выглядело все вокруг, когда они наконец разошлись!

Тина отдернула шторку, распахнула дверь на балкон, и как ни душна была ночь, она хлынула в комнату, пропитанную запахами табачного дыма, водки и пищи, внезапной свежестью с озера, сильным ароматом цветов с клумб во дворах, дальними, просторными запахами южноуральской степи. Тина собрала консервные банки, столовую, чайную, винную посуду с воткнутыми куда ни попало окурками, вымыла, перетерла, убрала посуду, сняла скатерть, залитую борщом и портвейном, начисто вытерла клеенку и подмела пол. И на все это ушло еще около часа времени.

Но она знала, что даже при распахнутой на всю ночь двери на балкон запах табака не выветрится до утра. А когда проснется Федор Никонович, он и еще добавит. А Захар, который будет приходить теперь каждый день, и уже без жены, тот будет посылать Тину за папиросами, потому что он ни за что не станет в Павлушином «богатом» доме курить папиросы, купленные на его, Захаровы, деньги. Так и будут стоять эта столовая, и кабинет, и кухня, пропахнувшие табаком, пока Федор Никонович, погостив у младшего сына, не переедет еще к одному из своих четырех сыновей или к одной из своих пяти дочерей, разбросанных по разным концам советской земли.

V

Она всегда спала крепко, недвижимо, не видела снов. Тоненькая, она становилась тяжелой во сне, сразу уходила под воду на дно, как драгоценный камешек.

Едва она заснула, как ее разбудил Алешка. Он давно

уже напустил в кроватку, а перед утром, при открытом окне, ему стало холодно, и он заплакал. Тина, не в силах проснуться, убрала со своей груди руку мужа, заставила себя открыть глаза и, выпростав ноги из-под простыни, вынула Алешку из кроватки, сменила ему рубашонку и подставила горшочек. Старший мирно спал на боку, слегка закинув голову, выпятив сильную, не по возрасту выпуклую грудь — этого уже ничто не разбудит до шести.

Пока Алешка, сопя и похныкивая, справлялся со своими делами, Тина перевернула ему перину — пусть уж так побудет до утра — и переменила простынку. Алешке стало хорошо в кроватке, он разгулялся и начал поигрывать на губах и издавать более или менее сложные возгласы, заменявшие ему человеческую речь. Но Тина уже не слышала его, мгновенно ушла в сон.

Как ни крепко она спала, она не нуждалась в будильнике; должно быть, ее заботы и обязанности продолжали жить с ней во сне. Было ровно без четверти пять, когда она вскочила. По материнской выучке, она с детства не давала себе утром ни минуты поблажки. Тина сняла, аккуратно свернула и положила под подушку рубашку, в которой спала, набросила розовый халатик в сиреневых цветочках и, уже на ходу завязывая сбоку кончики пояска бантом, прошла на кухню.

Тина никогда не убегала от всех этих однообразных дел, незаметно ставших за пять лет содержанием ее жизни, — нет, она все делала быстро, ровно, споро. Она сразу же включила газовую конфорку и поставила чайник, неполный, чтобы быстрее вскипел. Еще с вечера, пока они там пели и пили, она подсушила полную сковородку гречневой крупы; теперь Тина высыпала крупу в кастрюлю, промыла в нескольких водах и, когда чайник вскипел, включила вторую конфорку, поставила вариться кашу и долила чайник. Достала из шкафчика в стене под подоконником, заблаговременно, еще вчера перед обедом, отлитые в расчете на утро и только для Павлуши, полкастрюльки густого, жирного, с большим куском мяса борща и кусок сырой баранины, завернутый в глянцевую бумагу.

Вчера вечером, когда Тина второй раз ходила за водкой, она увидела, что в гастрономе продают расфасованную баранину. И так удачно получилось: только Тина вошла, как баранину стали выкладывать на прилавок, и Тина одна из первых попала в очередь.

Тина поставила кастрюльку с борщом на третью конфорку, а кусок баранины выложила на кухонный столик и накрыла перевернутой глубокой тарелкой, чтобы увивавшийся у ее ног сибирский кот Прошка, с пушистым хвостом — отрадой детей — не утащил мяса.

Как Тина и рассчитала, в ее личном распоряжении еще оставалось десять минут — принять душ и умыться.

Она прошла в ванную комнатку, включила газ, и пламя зашумело под колонкой. Ранним утром всегда бывал хороший напор воды. Тина надела синий резиновый шлем, скинула халатик и сразу забыла, что она недоспала. Она вдруг почувствовала, какая она еще молоденькая, гибкая, а не хрупкая, и ей вспомнилось, что привычку принимать душ по утрам она усвоила еще в ремесленном училище. В дни войны штатная должность инструктора по физическому воспитанию редко бывала замещена, и девушки проделывали утреннюю зарядку всем коллективом, без руководителя. Когда Тина вышла замуж, ей показалось неловким делать утреннюю зарядку перед мужем, тем более что она скоро забеременела, но душ она принимала каждое утро.

Быстрыми сильными движениями ладоней она растирала гибкие руки свои и груди, сильно развитые по ее тонкой фигуре, и живот, с двумя симметричными родинками как раз пониже перехвата талии, и ноги, которые казались тонкими, как у девочки, пока выглядывали из-под халатика, а теперь видно было, что это ноги вполне развитой женщины, матери двух ребят, но еще очень, очень молодой. Тина изгибалась под душем, тепловатая вода обрушивалась на ее головку в резиновом шлеме, и на лицо с зажмуренными глазами, и на все ее белое сильное тело.

Каким прекрасным казалось ей такое далекое, далекое время до замужества, когда она училась в ремесленном, когда жизнь так много сулила ей всего, всего!.. Сейчас, конечно, что уж об этом думать, но мальчишки заглядывались на нее. Ей даже казалось, будто Коля Красовский... конечно, об этом не стоило сейчас и вспоминать. В ученье она шла впереди многих, не только девушек, а и ребят. Она отставала в теории, а на производстве шла одной из первых. Мастер говорил, что у нее все данные стать отличным токарем-универсалом.

Из училища ее выпустили по пятому разряду, в то

время как обычным для выпускников был четвертый, но очень скоро она получила шестой. Ее и Вассу поставили не на грубую работу по обдирке новых валков, а на восстановление калибров, или, как их обычно называют, ручьев на срабатывающихся валках, и нарезание ручьев на новые валки — работу, требовавшую особенной точности и тонкости именно для проволочного стана.

Семен Ипполитович, старший калибровщик, любил смотреть, как Тина работает, и добродушно подшучивал над ее молчаливой и серьезной старательностью. Хорошо еще, что Тина не краснела от природы: ей казалось, будто Семен Ипполитович знает ее историю в парикмахерской в «Соснах» — от жены, Олимпиады Ивановны...

Тина вспомнила, с каким чувством обреченности сидела она тогда в парикмахерской, а теперь все это казалось смешным.

Тетя Соня, в несвежем халате, грузная, отрезала Тине косы и, подравнивая волосы ножницами и гребнем, сказала своим решительным голосом:

— Хочешь перманент-полугодовик? Или цвет изменить?

Тина с ужасом представила, как она входит в общежитие с черными волосами.

— Нет-нет! — сказала она испуганно.

— И я тебе не советую. У тебя такие волосы — мальчишки будут без ума. Давай я просто вымою тебя шампунем!

— А с мылом нельзя? — робко спросила Тина.

— Не будь дурочкой! — без гнева сказала тетя Соня, схватив розовой рукой, так близко отразившейся в зеркале, что видны стали поры кожи, склянку с красивой этикеткой. — Шампунь — это и есть мыло, только жидкое.

— Я не хочу шампунем, я лучше дома вымою...

— Смотрите, чудачка! — сказала тетя Соня, обращаясь к другим женщинам-парикмахерам и клиенткам, сидевшим с тюрбанами на голове или с торчащими во все стороны витыми рожками.

И все в парикмахерской посмотрели на Тину. А полная дама, уже в возрасте, холеная, белая, белокурая, с умными веселыми глазами, сказала очень широко, нараспев, очень по-русски:

— А правда, хорошо иногда самой вымыть волосы, я ей просто завидую, я уже лет десять, как этого не делала!

Вокруг засмеялись. А маленькая, пожилая молодящаяся мастерица перестала делать полной даме маникюр и склонила голову на руку, будто не могла даже работать, так ей стало смешно:

— Ох, уж вы скажете, Олимпиада Ивановна!

Тетя Соня, обдав Тину жаром большого своего тела, сказала так, как говорят о присутствующих знаменитостях — пониженным голосом, только фамилию:

— Короткова...

Все так называемые простые люди всегда отлично знают все о жизни своих начальников. Тина, будущая работница на вальце-токарном станке, знала, что старший калибровщик проката во времена стародавние, когда учился в институте, женился на молоденькой девушке — уборщице студенческого общежития. Это и была Олимпиада Ивановна, самая нарядная и самая известная дама в Большегорске.

В те стародавние времена Семен Ипполитович помог жене получить среднее, а потом высшее образование, но Олимпиада Ивановна нигде не работала; детей у них не было: похоже было, что Семен Ипполитович образовывал жену для самого себя.

Вся их история, как ни давно это случилось, вызывала в людях живой интерес, в особенности потому, что Семен Ипполитович продолжал любить свою жену, а люди любили Семена Ипполитовича. Его любили за то, что он был добр и прост в обращении. А вальцовщики и токари, нарезавшие калибры на валки, любили его еще и за то, что, будучи выдающимся специалистом в своей области и не обладая никакой административной властью, он охотно помогал любому работнику из одной лишь любви к делу.

Каким недостижимо высоким, как будто с тех пор Тина сползла в темный, вязкий низ жизни, встал в ее памяти день ее торжества, когда она и Васса пробились наконец к Бессонову! Валентин Иванович Бессонов, бывший начальник их цеха, выделялся среди инженеров глубоким пониманием роли тех незаметных специальностей, которые призваны обслуживать металлургическое производство. Став главным инженером завода, он стал главным покровителем работников всех этих специальностей, и они потянулись к нему.

— Кто из нас, металлургов, всегда ходит в именинниках? Кому присуждать лавры? О ком пишут газеты?

Кем козыряют на конференциях секретари горкомов, обкомов? — говорил Бессонов. — Конечно, сталевары, доменщики! Эффектные специальности! Нас, прокатчиков, и то прославляют пореже. А об остальных молчат либо ругают... Как бы мы жили, например, без фасонно-литейного, кузнечного, механического, котельного цехов? Без заводов огнеупора, доломитовых печей, известковых карьеров? А доводилось ли хоть кому-нибудь прочесть об этих работниках хоть одно доброе слово в газете?.. Хорошо нашим энергетикам: о них в печати молчат, зато и дома не ругают. А, например, об агломератчиках, рудообогатителях, коксовиках в газетах не пишут, а дома их ругают бесперечь. Кто же доволен своей рудой, агломератом, коксом? На них можно валить все на свете, ими можно прикрыть все свои пороки. А транспортники! На заводах их всегда и безусловно только ругают. Или ремонтники! Нет им ни славы, ни забвения! Все их костят, а слава... О них молчат! Молчат газеты, молчат даже секретари парткомов на заводах. Почему? Уж больно дело-то привычное, русское: чинить то, что другие ломают, и все с помощью ломика и кувалды!.. А ведь есть еще водоснабженцы, водопроводчики, целое водное хозяйство — о них и вспоминают-то только во время аварии!

Про Бессонова говорили: «Чем больше кипит, тем меньше руками болтает». И правда, большое лицо его всегда спокойно, жесты полных рук всегда скупы. Одет он всегда безукоризненно чисто. Он говорил: «Чем чище инженер одет на производстве, тем лучше следит за чистотой в цехе». Но он был горяч, и его выдавал голос — не тихий, не бархатистый, какого можно бы ожидать по внешности, а громкий, резкий, точно осуждающий, даже когда Бессонов хвалил.

Девушки пробились к Бессонову летом первого послевоенного года — самого трудного года для большегорского проката.

Горы слитков росли перед блюмингами, но еще больше отставали сортовые станы, — склады уже не вмещали заготовок. Участились вынужденные простои станов из-за поломок и аварий, ремонтные бригады не справлялись в отпущенные им сроки.

В каждом вынужденном простое прокатчики обвиняли ремонтников в «некачественном» ремонте, литейщиков и токарей — в нестойкости валков, а те, в свою очередь,

обвиняли прокатчиков в неумении настраивать станы и ритмично работать на них.

И вот в то время Тина и Васса пришли к Бессонову со своим предложением.

Почему плохо работают станы? Потому что за ними плохо ухаживают. Надо, чтобы за станами с одинаковой старательностью ухаживали и те, кто на них работает, и те, кто обслуживает станы. Нельзя ли объявить соревнование между станами, чтобы не было вынужденных простоев, такое соревнование, в котором социалистические обязательства приняли бы на себя и прокатчики, и ремонтники, и токари, и все другие специальности, обслуживающие станы?

Тина вдруг увидела, каким светом брызнули черные глаза Бессонова.

— Вы, девушки, даже не понимаете до конца, что вы надумали! — сказал он. — Только что Иннокентий Зосимович (так звали директора комбината Сомова), только что Иннокентий Зосимович кричал на меня: «Прокатчики! Если не найдете выхода из положения, смоем вас с лица земли лавиной жидкой стали!..» Он же сталеплавильщик!.. Мы сейчас совершенствуем наши станы, внедряем автоматику, ищем стойкие чугуны для валков. И вы как раз ко мне на выручку. И вы правильно сказали: «Ухаживать...» Вот именно, ухаживать, всем, всем ухаживать!.. Мысль эта не случайно родилась среди женщин, — вдруг сказал Бессонов. — Женщина-хозяйка, с ее аккуратностью, выработала в себе многовековой опыт, как ухаживать за вещью, когда вещь в ходу, — вовремя ее чистить, чинить, заделывать любой изъян, когда он еще еле заметен, не допускать преждевременного износа. И я даже знаю, кому из вас первой пришла в голову эта мысль, — сказал он с тонким выражением в черных живых глазах. — Конечно, вы это вместе обмозговали, я понимаю, но она первая это придумала, — и он кивнул на Тину, — правда?

— Правда! — сказала Васса, показав в улыбке белые сплошные зубы, и насмешливо покосилась на подругу. — Откуда вы узнали?

Он улыбнулся и ничего не ответил. Тина поняла: он не хотел обидеть Вассы.

Оттого, что Васса была постарше, общительней, а главное, во всех трудных случаях жизни вырывалась вперед,

многие думали, что в их успехе на производстве тоже повинна Васса. На самом же деле при неистощимой энергии Васса была изменчива в настроении, все делала рывками, многое вертелось в ней самой и вокруг нее без ясной цели.

А о характере Тины многие судили ошибочно только потому, что в жизни и в работе решения, поступки вызревали в ней медленно, незаметно. У нее был природный здравый смысл, привитый с детства, но она не умела взвешивать, обдумывать со всех сторон, это совершалось в ней само собой, больше в чувствах, чем в мыслях. А когда это вызревало, она действовала последовательно и не отступала от того, что нашла.

В работе ей присуща была спорость, именно спорость, а не скорость, то есть методичность, тот отчасти природный, отчасти выработанный в сноровку расчет, при котором дело идет ровно, ритмично, всегда завершается вовремя и успешно — этакая не суетливая, не броская, но постоянная удачливость. При расчете на большое время работники такой складки, как Тина, дают неизмеримо больше, чем скоростники на час. Спорость в производстве — это наиболее организованный, наивысший вид скорости.

Но Тина могла так работать, если условия труда не менялись. При срывах, авариях она не была находчивой, терялась. И она не умела постоять за себя: могла не уступить, но и не добиться.

И вот тут-то в дело вступала Васса. Васса выполняла обязанности профорга вальце-токарной группы всего проволочно-штрипсового цеха. Когда она находилась в движении, — а она всегда находилась в движении, — ее резко обозначенные черты лица и тела так ловко увязывались самой природой, что все казалось в ней гармоничным.

Стремительная, она не идет, а несет себя через весь цеховой пролет, сквозь его дымчатый синий воздух, несет сверкающие свои глаза, выставленную грудь, красивые руки, мощные бедра, оставляя за собой вихрь от одежды, и все мужчины невольно оглядываются на нее. И вот она уже наступает на обер-мастера, — а на него можно наступать, — это не старый мастер с очками на носу, какого в наши дни можно встретить чаще в художественных произведениях, это современный молодой мастер с высшим образованием. Васса теснит его своими черными глазами, громким голосом, и у молодого обер-мастера на лице

примерно такое же выражение, какое могло бы быть и у старого: «Нет, ты не девка, ты дьявольское наваждение, и если не пойти тебе навстречу... нет, нельзя не пойти тебе навстречу!..»

А потом с женщинами в душевой Васса хохочет так, что только ее одну и слышно, и белые зубы ее сверкают среди падающего дождя...

Тина выключила газ и воду, сняла шлем и вытерлась насухо большим мохнатым полотенцем. Но она уже не испытывала того чувства молодости и обновления, с каким вступала под душ. Воспоминание о том времени, когда ей было всего лишь девятнадцать лет, когда она была независима и полна надежд, получила признание и уважение людей, говорило ей о том, какой она могла бы быть теперь, если бы не бросила все ради мужа и семьи. Дружба ее распалась, лучшая подруга нашла новых друзей и вместе с ними идет по большой дороге жизни в то время, когда она, Христина Борознова, убирает объедки за свекром и Захаром.

Тина надела халатик и пошла будить Павлушу, не в силах преодолеть смутного враждебного чувства к нему. Да, давно ушли те времена, когда она, прильнув всей грудью, почти навалившись на Павлушу, будила его частыми, мелкими поцелуями на все его доброе заспанное лицо, а он просыпался с улыбкой, и большие руки его брали ее в плен, — ей нужно было отбиваться, чтобы закончить стряпню. Теперь она всегда чувствовала себя такой занятой и озабоченной, а он тоже больше уставал, позже ложился, просыпался с трудом.

Тина положила ему руку на плечо и несколько раз мягко позвала его, пока он не начал приоткрывать то один глаз, то другой и не потянулся. Как большинство мужчин, он никогда не мог встать сразу, а минут десять еще обманывал себя, и эти минуты Тина включала в свой утренний расчет времени.

Она вернулась на кухню, сдвинула кипевший чайник, поставила сковородку, чтобы подогрелась, сдвинула закипевший борщ и поставила молоко. Потом отсыпала манной крупы для ребят и начала жарить баранину. Попутно она выставила на кухонный столик для Павлуши столовый и чайный приборы и полную на полтораста граммов стопку портвейна.

Тина слышала, как Павлуша одевался, бренчал ча-

шечкой для бритья, мылся, — она все время помнила, что ему нужно успеть к плавке Мусы. Но когда он вошел на кухню, еще без пиджака и в туфлях, немного озабоченный, но свежий и, как всегда, расположенный к домашнему разговору, Тина вдруг спросила:

— Не можешь мне узнать, не в отпуску ли Рубцов? Хочу зайти, поговорить...

Рубцов был начальником недавно созданного объединенного вальце-токарного цеха, где работала теперь Васса.

Павлуша сразу понял, почему Тина заговорила о Рубцове, угрюмовато взглянул на нее, молча выпил портвейн и принялся за борщ.

— Я знаю, чего ты боишься, — сказала Тина.

— Не того, что ты думаешь, а я тебя жалею, — сказал он. — Не хочу, чтобы ты походила на Шурку Красовскую.

Жена Красовского Шура, секретарь комсомольской организации своего цеха, работала диспетчером на коксохиме и вела весь дом Красовских. На Шуре лежали заботы о ребенке — девочке восьми месяцев, — о матери Коли, которая уже года полтора как не могла ходить, а только сидела или лежала, и о младшей сестренке Шуры, ученице четвертого класса, жившей вместе с ними. Красовские были женаты всего лишь два года, и за это время Шура заметно для всех подалась и подурнела. Но она и слышать не хотела, чтобы оставить работу в диспетчерской, хотя секретарь комсомола в цехе полагался освобожденный, платный.

У Тины было двойственное отношение к жене Красовского. В глаза она ее жалела, а Павлуше часто говорила, что Шура — гордячка, хочет показать себя. Поэтому, когда Тина заводила речь о работе, Павлуша охотно приводил в пример Шуру Красовскую. На этот раз он получил ответ неожиданный.

— Конечно, тебе бы больше хотелось, чтобы я походила на Захарову Дуньку, — сказала Тина. — Вам, Кузнецовым, видно это больше нравится!

В первый раз она пошла на то, чтобы затронуть родню Павлуши.

— А ты разве не Кузнецова? — спросил он с лукавой усмешкой.

— Кузнецова прислуга! Если бы мы оба работали, могли бы няньку взять...

— Чтобы над нами смеялись? Мы с тобой рабочие люди, нам нянек не положено. И попробуй найти няньку у нас в Большегорске!

— Ты так прославился, что у тебя и в детский сад возьмут.

— А ты отдашь?

Так началась их ссора...

Никогда еще Тина не испытывала такого щемящего чувства любви к мужу, как теперь, когда видела его уходящим по улице в толпе вместе с Вассой и Соней Новиковой. И никогда с такой силой отчаяния не сознавала она своего ужасного поражения в жизни.

Перед Тиной в будничной простоте проходило ежедневное и доступное всем торжество людей, которое можно было определить словами, тоже простыми: люди идут на работу. А она, Тина, уже не могла быть участницей этого торжества. Она не только не была равной среди женщин, где когда-то была среди первых, но все эти женщины и мужчины, которые шли на работу с ее мужем, становились в положение более высокой близости к нему чем она, Тина. Отдав и подчинив ему себя, она уже не могла быть так близка к нему, как те, кто был равен с ним и независим от него.

Тина вернулась в столовую, разняла ссорившихся детей и увела их на кухню. Но она не видела, хорошо ли они едят, не слышала их лепета.

«Как все это получилось? Как я пошла на это? С чего это началось?» — спрашивала она себя и боялась и стыдилась ответить.

И в это время она услышала в передней низкий кашель и мокрый, тяжкий звук босых ступней Федора Никоновича.

День домашней хозяйки входил в свои права.

VI

С того момента как Павлуша столкнулся во дворе с Вассой и Соней Новиковой, он сразу вступил в тот открытый шумный мир многообразных интересов, который был и его миром.

— Кого мы видим, Сонечка? Надолго ли к нам? Все разъезжаешь? Речи произносишь? А печь-то, поди, вздыхает по тебе? — говорила Васса, с удивительной проница-

тельностью вскрывая самое больное место Павлуши. — Читаем, читаем речи твои! Видим, не сам писал, — сказала она, и ноздри ее язвительно весело дрогнули.

Эту манеру насмешливого отношения к Павлуше Васса усвоила еще в те времена, когда Павлуша начал ухаживать за Тиной. Если бы он умел тогда читать в девичьих глазах и слушать не то, что говорят слова, а что говорит голос, много неожиданного для себя открыл бы Павлуша под этой насмешливой манерой Вассы. Но он и в юности и теперь был простодушен в этого рода отношениях с девушками, с женщинами. Он даже не прикладывал усилий к тому, чтобы быть находчивым, остроумным, он разоружал насмешниц своей открытой, смелой, мужественной покорностью. После того как он женился, встречи его с Вассой стали случайными, редкими, и в насмешках ее над ним все меньше можно было обнаружить доброй женской игры, а все больше разящей издевки, будто Васса мстила ему за что-то. Но Павлуша даже не замечал этого.

— Не говори, не говори, не говори! — весело отмахивался он. — Уже два раза за меня писали. Знаешь, что говорят? «В теперешнем твоем положении от тебя ждут политических выступлений!..» — И большие смеющиеся глаза Павлуши лукаво сверкнули на Вассу, а потом на Соню. — Политических так политических! На конференции металлургов я все-таки вкатил кое-что насчет охраны труда, а на партийной конференции меня никто и не спросил. «Надо, говорят, выступить, и вот тебе в помощь редактора газеты». Я гляжу, а он уже и речь мою из-за пазухи тащит!

Соня Новикова, в яркой пестрой кофточке и в этом небрежно повязанном, идущем к ее светлым волосам платке-паутинке, покосилась на Павлушу темно-зелеными глазами и засмеялась, показав нежный подбородок. Но Васса вовсе не хотела выпустить Павлушу из неприятного положения так запросто, не израненным.

— Учись, Сонечка, как коллективно прославиться, — говорила Васса. — Нургалиев и Красовский у печи, а Павлуша за всех троих на трибуне!..

Но Павлуша, оказывается, и не склонен был скрывать, что у него это самое больное место. Конечно, было бы неправдой сказать, будто эти поездки ему неинтересны, будто он ездит против своего желания, — нет, эти поездки

приносят ему большую пользу, он сам чувствует, как вырос за это время. Но печь... Конечно, теперь она уже не может быть первой на комбинате. Если она все-таки идет среди передовых, в этом заслуга Мусы и Коли, его друзей.

— Тебе надо еще за границу съездить, тогда у вас дела лучше пойдут! — сказала Васса, подрагивая тонкими ноздрями.

Александр Гамалей, услышав их громкие слова и смех Сони, похожий на воркование, оглянулся, чуть улыбнулся в пшеничные свои усы и, когда молодые люди поравнялись с ним, вежливо приподнял фуражку, показав лысеющее темя, сильно загоревшее от того, что Гамалей любил работать в саду с непокрытой головой.

По окончании Отечественной войны Гамалей вышел в запас в звании старшего лейтенанта и по привычке к военной форме продолжал ее носить, правда уже без погон и без звезды на фуражке. Но он уже не чувствовал себя военным человеком; он был мастеровым с детства, как и отец его, и при встречах с людьми не брал под козырек, а снимал военную фуражку так же, как когда-то отец снимал свой картуз.

— Ах, Саша, люблю, когда мужика в твоем возрасте, когда он уже привык к заботе, к ласке, жена вдруг оставляет на его собственное попечение! — притворно-грустным голосом, которому противоречили ее заискрившиеся темно-зеленые глаза, заговорила Соня, по праву многолетней дружбы с женой Гамалея называя его не Александром Фаддеевичем, как его называли все, а просто Сашей. — Наверно, ты поворочался сегодня на жесткой-то постели! Чайку-то хоть попил перед работой? Дети, наверное, голодные в школу пойдут? Маленький-то как?

Жена Гамалея Мария работала, как и Соня, старшим оператором проволочного стана и всю эту неделю работала в ночной смене. Соня, которая должна была ее сейчас сменить, подшучивала над Гамалеем, что ему пришлось всю ночь провести в одиночестве и некому с утра покормить его и детей.

Гамалей спокойно улыбался в усы, темно-голубые глаза его, выделявшиеся на загорелом лице, как чистые озера, смотрели на Соню с понимающим добрым выражением, будто говорили: «Не потому ты смеешься надо мной, что я один, а потому, что ты одна, давно уже одна и, может быть, весь век останешься одна».

Соня поняла его взгляд, и что-то тяжелое обозначилось в складке ее полных губ с опущенными углами, казалось, даже тень легла под нижней губой. В то же время необъяснимая улыбка играла в глазах ее, умная женская улыбка, словно говорившая: «Да, я знаю, что я на всю жизнь одна, но я могу дать еще столько счастья, так не судите же меня, если я все еще кого-то жду, зову...» Соня чуть коснулась руки Гамалея и с некоторой излишней экзальтацией начала хвалить его жену Марию.

Сорокалетний Гамалей и жена его, моложе его лет на шесть, были известны на комбинате не только как хорошие работники, а и по их удивительно сложившейся личной судьбе.

В тридцать пятом году Маша Акафистова, восемнадцатилетняя девушка, дочь поселенца из раскулаченных, к тому времени уже восстановленного в правах и работавшего на Большой горе на рудообогатительной фабрике, вышла замуж за лучшего друга Гамалея Сергея Тришина. Оба родом из Краматорска, с одной улицы, из одной школы, сыновья слесарей, начавшие свой трудовой путь тоже слесарями, они и в Красной Армии служили в одной части, оба одновременно демобилизовались в должности командира взвода и оба попали на Большегорский комбинат, где вскоре стали работать на портальном кране углеподготовки, импортированном из Германии.

Семья Сергея Тришина стала единственной семьей и Гамалея. Правда, он не соглашался столоваться у Тришиных, а тем более отдавать Маше белье в стирку, сколько она ни настаивала. Маша нигде не работала, но Гамалей говорил, что не хочет обременять ее нахлебником: к началу войны у Тришиных были две дочки-дошкольницы и сынок, делавший первые свои шажки. Сергей, после того как женился, получил комнату в квартире на три семьи в так называемом «немецком» доме. А Гамалей по-прежнему жил в «Шестом западном» и пользовался всеми благами этого молодежного общежития, хотя был здесь единственным молодым человеком, которому уже подкатывало к тридцати.

Когда Александр и Сергей не были в вечерней смене (а они всегда были в одной смене: их кран углеподготовки имел две кабины и работал на два грейфера), Гамалей проводил свои вечера в семье друга. Спокойный, сильный, голубоглазый, с большими добрыми руками, он оказался

незаменимой нянькой при детях Тришина. Маленькими они охотно шли на руки к Гамалею, он мог возиться с ними часами. Он знал сотни народных сказок и, рассказывая их девочкам, незаметно переходил на украинский язык, но девочки понимали Гамалея. А когда дети ложились спать, он молча усаживался у подоконника, с которого свисали путаные бледно-зеленые плети растения, называемого в народе «бабьи сплетни», и, глядя прямо перед собой, все сосал, сосал свою короткую кривую трубку с обгоревшим чубуком, выпуская дым из-под пшеничных усов удивительной мягкости.

Друг его и ровесник всегда что-нибудь рассказывал, смешное или страшное, — о свадьбах с похищениями, о пробуждении мертвых в могилах, о невероятных аферах с удачным исходом. А то вдруг брал гармонь с порыжевшими мехами, вывезенную еще из Донбасса, и, свесив набок русый чуб свой, точно прислушиваясь, не врет ли старая, пел грустным сиплым баритоном старинные русские и украинские песни.

В такие минуты жена его, которая даже самую мелкую работу по дому выполняла с таким неистовством, будто хотела что-то заглушить, забить, умертвить в себе, вдруг замирала, замирала на том самом месте, где заставала ее песня. С лицом иконописной красоты, она слушала песню — чернявая, худая, нервная, палимая вечным внутренним огнем — и вдруг говорила:

— Женились бы вы, Александр Фаддеевич, ей-богу!..

— А зачем мне жениться, когда мне и так хорошо? — отвечал Гамалей и все дымил и дымил на «бабьи сплетни».

Похоже было, что так и пройдет жизнь Гамалея до самой старости. Но с началом войны и Гамалея и Тришина призвали как младших офицеров запаса. И впервые в жизни они были разлучены: Гамалей попал под Киев, а Тришин на западный фронт, где и погиб в бою под Ельней. Гамалей узнал о гибели друга почти год спустя, после выхода из окружения, узнал из письма Марии, в котором она ничего не писала ни о себе, ни о детях.

В ответном письме Гамалей писал:

«Знаешь ли ты, что Сергей был моим братом? Ты знаешь! Старики мои давно померли, и все мы, Гамалеи, братья и сестры мои, все люди самостоятельные, я среди них меньший. О ком же, как не о тебе и детях твоих, как не о семье погибшего брата моего Сергея, может сейчас

болеть моя душа? Понимаешь ты это? Ты понимаешь. Я здесь всем обеспечен, а пенсия, что получаешь ты за Сергея, мала. Я буду высылать тебе, пока жив буду, свое офицерское жалованье. Ты женщина умная, добрая, так не обидь же меня отказом».

И стал Гамалей высылать ей свое жалованье, и она не обидела его отказом. Но не знал Гамалей, что с первых же дней, как ушел ее муж на фронт, Мария пошла работать на завод, а все жалованье Гамалея откладывала она на открытую для него сберегательную книжку.

Когда вернулся Гамалей с войны, больше года еще пришлось ему, окруженному детьми погибшего друга, дымить трубкой в знакомой комнате, где, как и раньше (как и впредь!), украшали стену фотографии Сережи Тришина — одного, и вдвоем с Машей, и вдвоем с Гамалеем, и в кругу товарищей, — прежде чем согласилась Мария выйти замуж за Александра Фаддеевича.

И казалось, ничто не изменилось в их жизни: Гамалей давно был неотделим от этой комнаты; дети давно его приняли как старшего друга; Маша продолжала работать на заводе, как работал и Гамалей. Изменилось только то, что появился на свет маленький Гамалей, и семья получила, наконец, квартиру на Заречной стороне, и то, что Маша стала спокойней и чаще смеялась, и, когда смеялась, в лице ее появлялось что-то застенчивое, девичье.

Улица в часы, когда рабочие люди идут на работу или возвращаются с работы, похожа на перемещающийся клуб, превосходящий масштабом своим настоящие клубы, не говоря уже о таких временных клубах, как «забегаловки», раздевалки при цехах или очереди в магазинах.

— А, Павлуша!.. Здоров, Павлуша!.. Как жизнь, Павлуша?! — слышалось то и дело из уст молодых и старших.

Да, его любили здесь. Любили за то, что он тут вырос, выучился, стал знаменитым и остался таким же общительным, веселым, каким его знали еще в ремесленном.

Парень, закрывший Павлуше глаза и повисший у него на плечах, оказался его младшим товарищем, Гришей Шаповаловым. В прошлом году он был у Павлуши вторым подручным, а после того как Сеня Чепчиков, первый подручный, ушел сталеваром на комсомольскую печь, Гриша занял его место. Но на свою беду Гриша на всех собраниях вылезал с критикой неполадков во втором

мартеновском цехе, и в конце концов его избрали цеховым комсомольским секретарем.

— Слушай, Павлуша, — сказал Гриша, стискивая его руку своими жесткими ладонями, одинаковыми в длину и в ширину. — Надеюсь, ты сохранил на Сеню Чепчикова какое-то влияние? Что случилось с человеком? Мы поручили ему как члену бюро всю физкультурную работу, а он даже на бюро не ходит!

— Какой же ты секретарь, если власти на него не имеешь! — смеясь, сказал Павлуша. — Как дела? Материально тебя не поджало?

— Очень поджало, — признался Гриша с некоторым смущением.

В самом деле, его заработок, как секретаря цеховой комсомольской организации оказался значительно ниже заработка первого подручного.

В группе мужчин, окруживших Вассу и Соню, шли доменный мастер Крутилин, внешностью своей опровергавший привычное представление о доменщиках, такой он был сухой и маленький, и недавно приехавший из Запорожья старший вальцовщик тонколистового стана горячей прокатки Синицын, длинный, худой, прямой, с выгнутой шеей, в светлом модном пиджаке с неестественно широкими плечами.

Они обсуждали политические новости дня, злобой которого было созванное в Париже для подготовки встречи министров иностранных дел четырех держав совещание заместителей министров. Совещание находилось как раз на том этапе, когда заместители министров трех держав отказывались включить в предполагаемую повестку дня вопросы об Атлантическом пакте и об американских военных базах, внесенные Громыко. Крутилину очень хотелось, чтобы заместители министров трех держав все-таки как-нибудь уступили и чтобы все было хорошо.

— Сорвут?.. — спрашивал он, с надеждой глядя на Синицына.

Синицын, узкая голова которого была как бы продолжением его выгнутой шеи, делал неопределенный жест костлявой кистью руки и отвечал жестоко:

— Сорвут!

— А что значит — «они заседают в розовом дворце», почему он розовый? — спросил очень молодой, но известный уже и за пределами Большегорска каменщик Кораб-

лев. — Нет, ведь может быть изнутри отделка розовая, так в этом хитрости нет, а если снаружи, так это вряд ли штукатурка, наверно, мрамор особый?

— Нет, пусть лучше товарищ Синицын скажет, почему наш новый листопрокатный так долго листа не дает? — с улыбкой сказал Гамалей.

Синицын, техник по образованию, вдруг ужасно обиделся на вопрос Гамалея.

— Спрашивайте не у меня, а у строителей-монтажников! — вскричал он. — Из-за них мы все еще решаем ребусы и загадки, а стан настроить не можем. Посмотрели бы вы, как работает он у нас, на «Запорожстали»! Там труд вальцовщика давно уже стал интеллектуальным трудом. И роль операторов выше, чем у вас, — сказал Синицын, покосившись на Соню.

Мужчины, в обществе которых шли Соня и Васса, шутливо нападали на них, будто они потому до сих пор не замужем, что ведут себя как разборчивые невесты. В самом деле, женщины красивые, известные, портреты их постоянно висят на Доске почета у главных ворот, — не может быть, чтобы никто к ним не сватался. Видно, отшивают женихов!

— Вы, молодые бабы, — привереды! — вмешался в этот разговор мастер Крутилин. — Как это так, замуж не выскочить у нас в Большегорске! Вы больше на доменщиков, на сталеплавильщиков поглядывайте, — там одни мужики!..

— Нужны они нам, чумазые! — сказала Васса.

— Ишь аристократия какая!

— А она права, Алексей Петрович: она не против доменщиков или сталеплавильщиков, а она — девушка, перед ней все пути открыты, — сказала Соня, женским чутьем понимая, как больно бьет по самолюбию Вассы то, что ее могут считать уже засидевшейся и ищущей жениха. — Это у нас, вдов, положение безвыходное.

— Почему безвыходное? — наивно спросил Синицын, которому Соня очень нравилась.

— Потому, что... мир уже поделен! — сказала Соня с необъяснимой своей улыбкой. — Хотите, чтобы мы его переделили? Тогда берегитесь, если вы человек семейный! — сказала она под общий хохот мужчин.

Они уже были вовлечены в пестрый поток людей, все более сгущавшийся по мере приближения к залитой

солнцем площади, через которую один за другим проносились битком набитые, с висящими на подножках людьми трамвайные вагоны.

Маленькая немолодая женщина, с лицом в сети преждевременных морщинок, но с необыкновенно жизнелюбивым выражением, которое придавали ее лицу острые, подвижные глаза и вздернутый носик, — как говорят, «с лукавинкой», — одетая в такое поношенное платье и повязанная таким старым платком, как будто она специально выбрала все самое негодное, вывернулась из толпы и, лихо продев тонкую руку под руку Соне, зашагала рядом с ней.

— Здравствуй, Прасковьюшка, здравствуй, милая! — ласково сказала Соня, прижимая руку женщины к груди своей.

Это была работавшая в одном цехе с Соней увязчица бунтов проволоки-катанки, одна из последних представительниц тяжелого ручного труда, сохранившегося даже на таком совершенном стане, как проволочный.

Бунты поступают с моталок, когда проволока еще раскалена, и двое рабочих или работниц в специальной одежде и рукавицах, обдуваемые холодным воздухом, перевязывают бунты с двух сторон обрезками холодной проволоки, чтобы бунты не рассыпались перед тем, как их подцепит медленно движущийся крюковой транспортер охлаждения.

Прасковья Пронина, женщина малограмотная и многодетная, потерявшая в войне мужа, вот уже восемь лет стояла на этом горячем посту. Всего ребят у нее было шестеро. Два старших сына уже работали, но матери не помогали: они были известны на Заречной стороне как неисправимые хулиганы, уже не раз имевшие дело с милицией.

Несмотря на тяжелый труд свой, жизнь без мужа и неудачу со старшими сыновьями, Пронина отличалась редкой жизнестойкостью и тем особенным юмором, в котором есть и что-то детское, и какая-то неуловимая «подковырка». За это ее свойство, а возможно, и потому, что она была такая маленькая, ее никто не называл по фамилии или по имени и отчеству, а все звали ее Прасковьюшкой.

У выхода к трамвайной остановке, на противоположном углу улицы, несмотря на ранний час, бойко торговал ларек.

— Чертяки! — сказал Гамалей, увидев возле ларька молодых ребят, державших в руках стопки. — Так мы их воспитываем!..

— А кто их воспитывает, они сами такие лезут, — сказала Прасковьюшка, взглянув на него острыми веселыми глазами.

— Как такие лезут? — улыбнулся Гамалей.

— А поперёчные, боком лезут! — сказала Прасковьюшка.

И вся их компания, в центре которой были теперь Соня и Прасковьюшка, с веселым хохотом волной выкатилась на площадь.

VII

Только что партия проследовавших один за другим сдвоенных вагонов подобрала народ, скопившийся на остановке, но от угла улицы Короленко, вдоль по проспекту Строителей, пересекавшему площадь, уже нарастала новая длинная очередь.

Те, кому нужно было попасть в цехи, близко отстоявшие от ворот по ту сторону озера, или люди молодые, больше надеявшиеся на свои ноги, чем на городской транспорт, шли пешком по проспекту Строителей — прямо на солнце, бившее им в лицо.

В стороне от большой очереди построилась группа учеников ремесленного училища. Впереди стояли ребята первого года обучения, а позади к ним примкнуло несколько юношей-выпускников.

— Смотри, Павлуша, Лермонтов! — воскликнула Васса внезапно подобревшим голосом и даже схватила Павлушу за руку.

И он тоже сразу узнал возглавлявшего группу мастера производственного обучения Юру Гаврилова, когда-то учившегося в этом же пятнадцатом ремесленном вместе с Павлушей и Колей Красовским. Прозвище «Лермонтов» было дано Юре еще в то далекое время их ранней юности и теперь уже всеми было забыто. Но у Вассы и Павлуши вид Лермонтова сразу воскресил в памяти все их славное поколение окончивших ремесленные училища в сорок третьем военном году.

— Подойдем? — живо спросила Васса.

Впрочем, она тут же отпустила руку Павлуши и вместе с ним подошла к группе ремесленников с таким видом, как будто оказалась здесь случайно.

Юра Гаврилов, молодой человек спортивной выправки, но роста скорее низкого, чем среднего, одетый с небрежностью, в задранной на затылок кепке, в легкой ковбойке с расстегнутым воротом — все это, однако, шло к нему, — смотрел в ту сторону, откуда должна была появиться новая партия трамвайных вагонов.

Он смотрел с выражением сосредоточенным и независимым, как будто даже не вагонов он ждал, как будто не было ему дела ни до воспитанников, ни до громадной очереди, извивавшейся по широкому тротуару, ни до пешеходов на проспекте. Не быстро, как бы снисходительно, даже горделиво он повернул голову и вдруг узнал Вассу и побледнел.

Этого она от него не ожидала, она даже растерялась немного и несколько мгновений ничего не могла сказать. Она чувствовала на себе его взгляд, невольно и сразу ей открывшийся, как это и раньше бывало. Взгляд отразил его волнение, может быть внезапную радость, оттенок надежды, а впрочем, было скорее что-то мужественно-печальное в этом его взгляде. Но Васса не могла уловить, что это было: она уклонилась от его взгляда.

Юра Гаврилов — за это его можно было уважать — овладел собой, и глаза его обрели обычное выражение независимости.

— Сам зайди и посмотри, коли совесть не потерял, — отвечал он на вопрос Павлуши, хорошо ли разместились мастерские и интернат в новом здании, предоставленном училищу на Заречной стороне.

Вассе вдруг показалось, что она обидела Юру Гаврилова.

— А ты почему никогда не зайдешь к нам с Соней? Ты же ее знаешь, теперь ведь мы с тобой почти соседи, — заговорила она с добрыми интонациями в голосе. — Как только тебя увижу, сразу молодость вспоминается... Такое время тяжелое, война, а кажется, я никогда так полно не жила...

Ей уже нельзя было остановиться, потому что Павлуша внезапно оставил их с глазу на глаз.

— Мне так нравится, что ты работаешь мастером в училище и кончаешь вечерний техникум, — какой это

пример для всех нас! — говорила Васса. — Я сама так мечтаю учиться! Но станка я оставить не могу, у меня, как и у тебя, мама на иждивении, а меня так забили общественными обязанностями...

Она видела его высокий открытый лоб, русую прядь волос под задранным козырьком кепки, мягкий подбородок с неуловимой волевой складкой, нос с тонко вырисованными ноздрями, которые иногда чуть раздувались и опадали. Но глаза его в пушистых темных ресницах теперь все время смотрели мимо нее — с этим независимым выражением. Как видно, ему совсем не нужно было ни ее добрых интонаций, ни похвал, ни этой притворной искренности, — он был горд, Васса знала это давно. Она почувствовала облегчение, когда показался вдали вагон трамвая, и поискала глазами Павлушу.

Он стоял среди ремесленников-выпускников и разговаривал с одним из них, рослым, красивым, серьезным парнем с синими глазами и сросшимися на переносице густыми светлыми бровями — Илларионом Евсеевым, попросту Ларей. Евсеев был зачислен в бригаду Павлуши вторым подручным и должен был перед выпускными экзаменами выполнить пробную работу и получить от Павлуши производственную характеристику. Павлуша разговаривал с ним, не выпуская его руки из своей, и Ларя, польщенный тем, что это происходит на глазах товарищей, то вспыхивал, то бледнел: все знали, что у Кузнецова легкая рука, подручные у него не застаиваются, а быстро идут в гору: Чепчиков, Шаповалов, теперь будет Евсеев.

Сопровождаемая Павлушей, Васса шла вдоль очереди с высоко поднятой головой, как всегда, когда на нее смотрели люди, но сердце ее полно было жалости. Да, Лермонтов, Лермонтов... Его прозвали так не только за стихи, а больше за характер. Его мать, работавшая на торфоразработках где-то во Владимирской области, была оставлена отцом, когда сыну не исполнилось и года. Васса помнила, как он появился в «Шестом западном». Он сразу показал себя хорошим товарищем, но так никогда и никому не открыл своего сердца. Его трудно было вывести из себя, но все знали, что лучше его не задевать. Он любил играть в карты на деньги и всех обыгрывал, а потом швырял деньги на стол и говорил:

— Разбирайте каждый свои!..

Он научил ребят завязывать на человеческом волоске узелки и развязывать их без помощи пальцев.

А потом это все схлынуло с него, никто даже не заметил, когда и почему совершилась в нем эта перемена; одна Васса догадывалась. Он вступил в комсомол почти вслед за ней.

Васса понимала, как ему не повезло, что она так и не смогла полюбить его. Иногда она так жалела его за эту неразделенную любовь к ней, что, казалось, готова была даже поступиться собой...

Она не выдержала и оглянулась. Конечно, Юра не смотрел ей вслед. Сдвоенные трамвайные вагоны подошли к остановке. Васса видела, как ремесленники ринулись на переднюю площадку прицепного вагона и втискивались между людьми или устраивались на подножке. Юра Гаврилов — все-таки ему следовало бы быть побольше ростом, например, как Евсеев, — повис последним, держась обеими руками за поручни; трамвай тронулся...

Васса шла и смеялась и что-то кричала людям, приветствовавшим ее из очереди.

Прежняя компания приняла Вассу и Павлушу с радостными возгласами, как членов семьи, едва не отставших от поезда, будто и в самом деле те полтораста метров, что они прошли вместе по улице Короленко, связали их какими-то особенными узами.

Очередь быстро продвигалась, но ясно было, что им-то удастся попасть только в третью, а то и в четвертую трамвайную двоешку.

— Только милиции не хватает! Нет, нет, я тебя люблю, — сказала Прасковьюшка, снизу вверх глядя на остановившегося возле нее майора милиции в белоснежном кителе. — Ах, Дёма, Дёма! Как бы мне добиться, чтобы тебя поставили на наше Заречье, а этого Порфирина, Просвирина, или как его там, на твое место? — спросила она наивно и, как всегда, не без «подковырки».

— Я так и подумал, что у тебя нужда во мне, — сказал майор, с улыбкой здороваясь за руку со всеми, кто был возле Прасковьюшки, всех называя по имени и отчеству или просто по имени. — Что у тебя приключилось? — спросил он, бережно взяв Прасковьюшку за плечи большими сильными руками.

У него были руки каменщика, тяжелые, узловатые в суставах пальцев, и в то же время пропорционально

сложенные, красивые руки, сила которых была скульптурно отражена в сплетении сухожилий на внешней стороне кисти.

Сам он тоже был сильного, пропорционального сложения, богатырь с развитыми плечами и выпуклой грудью. Ничего лишнего не было в его теле, как и в загорелом лице его с резко выраженным рисунком лба, рта, носа, подбородка, с запавшими щеками, прорезанными двумя продольными морщинами. Глаза его выглядели бы совсем молодо, если бы их не окружала усталость, от которой нельзя освободиться хорошим сном после прогулки, усталость, накопленная годами бессонных ночей, душевного напряжения, усилий воли.

Даже трудно было сказать, сколько ему лет, но он принадлежал к тому же поколению, что и Прасковьюшка, чуть-чуть помоложе. Как и она, и муж ее, он прибыл в Большегорск, когда здесь была голая степь, палатки, груды и штабели строительного материала, и в том месте, где кончалась только что проведенная сюда ветка железной дороги, стоял снятый с колес товарный вагон, над отодвижной дверью которого висела вывесочка: «Большестрой».

Как и муж Прасковьюшки, Дементий Соколов прибыл сюда вместе с бригадой каменщика Хаммата Шамсутдинова, впоследствии прославившегося на всю страну и являвшегося ныне такой же реликвией города, как плотник Лаврентий Борознов, отец Тины. Бригада Шамсутдинова состояла из русских и татар. Самыми младшими в бригаде были он, Дементий Соколов, и Муса Нургалиев, который тоже начинал свой путь каменщиком, а потом пошел третьим подручным на мартен.

Дементий Соколов проработал здесь три года, а всего он работал с Шамсутдиновым шесть лет. В это время проходил набор комсомольцев в школы милиции. Соколова вызвали в горком комсомола, и там представитель управления милиции области и секретарь горкома комсомола, которого Соколов хорошо знал, сказали ему, что он, Дементий Соколов, создан для органов милиции. Соколов признался, что ему это все равно, но он хочет учиться.

В бараке на третьем участке, где было тогда общежитие молодых строителей, никто не понял Дементия. Его пугали тем, что никогда он, как работник милиции, не сможет столько зарабатывать, сколько заработает, если

станет бригадиром каменщиков. Были и такие, что смеялись над ним: изображали, как он гонится за карманником и свистит, или уговаривает пьяного у киоска.

— Нет, по его росту его поставят регулировщиком, — говорили другие. — Просись по крайности, чтобы тебя поставили на Красной площади в Москве!

Они даже изображали все это в лицах, и он застенчиво улыбался, глядя на свое будущее.

Потом он исчез на десять лет. И появился в родном городе на третий год войны в звании капитана милиции. Его назначили начальником второго городского отделения.

В ведение Соколова входила «Гора» — рудник, питавший завод рудой, — с ютившимися у подножия горы землянками, так называемой «Колупаевкой», и входило «Поселение», где жили когда-то раскулаченные. Они давно уже получили все права граждан, имели индивидуальные домики, сады и работали на комбинате. Поселок их назывался Ключевским, по названию горы, на склоне которой он был расположен, а гора, по преданию, получила свое название по фамилии штейгера Ключевского, который жил тут в дореволюционное время, когда руду с Большой горы добывали только ту, что выходила на поверхность, и возили на телегах на уральские заводы. Но поселок редко называли Ключевским, а по-старому — «Поселением». Даже жители его, возвращаясь с работы, говорили по привычке: «Иду домой, на Поселение».

Ведению Соколова подлежал район рудообогатительных и агломерационных фабрик, к которым тянулись над городом на несколько километров черные трубы газопровода и водопровода и сложная линия электросети и от которых проложены были далеко за город подземные трубы отработанного шлама.

Ведению Соколова подлежал весь район старых бараков. Это были так называемые «участки», с которых когда-то и начался город и где до сих пор стоял тот барак, в котором жил юный Дементий. Они по-прежнему назывались: «Первый участок», «Третий участок», «Пятый участок», хотя не имели теперь никаких границ, каждый барак имел свой уличный номер.

Ведению Соколова подлежал также когда-то наиболее привилегированный район деревянных коттеджей, так называемые «Сосны», где в первые годы строительства

жили иностранные специалисты, а теперь — инженеры и техники комбината и наиболее старые и заслуженные стахановцы. И, наконец, ведению Соколова подлежала та часть «соцгорода», с его благоустроенными домами, которая лежала левее улицы Ленина, главной магистрали старого города.

В районе деятельности второго отделения милиции, возглавлявшегося Соколовым, находились Горно-металлургический институт, клубы — горняков, строителей, трудовых резервов, поликлиника, отделение связи, главный универсальный магазин, ювелирный магазин, магазин «ТЭЖЭ», несколько гастрономов, ресторан «Каратемир», Парк культуры и отдыха метизного завода, кинотеатр «Челюскин», мясокомбинат, завод фруктовых вод, два винных погреба, два самых крупных гаража — комбината и строительного треста — и, как везде, множество ларьков и киосков.

Через этот район проходили также пути электровозов на «Гору» и к фабрике.

Это был район контрастов.

В этом районе больше всего было тех проявлений старой жизни, с которыми главным образом и имеет дело милиция, — от самых, казалось бы, невинных до самых страшных.

Дементий Федорович, теперь уже майор, был такой же достопримечательностью Большегорска, как Шамсутдинов, как Гамалей, как Павлуша и его товарищи Муса и Коля, как доменный мастер Крутилин, как Васса и Соня, как Прасковьюшка, которую Дементий Федорович называл просто Парашей: он знал ее еще очень молодой и миловидной.

Каждое утро Дементий Федорович совершал прогулку из дома до места службы, ему полагалась машина, но это была единственная возможность пройтись пешком по воздуху. Все остальное время, — большей частью это были две трети или три четверти суток, а в случае чрезвычайных происшествий это могли быть круглые сутки или даже несколько суток, — он находился либо в отделении, либо в управлении городской милиции, либо на участках, на месте происшествий, куда уже не было времени идти пешком, а нужно было мчаться на машине.

Дементий Федорович совершал свою прогулку во все времена года и при любой погоде. Если лил проливной

дождь, майор шел в плаще с капюшоном, если буран, на майоре был полушубок с поднятым воротником, бурки, подбитые кожей, и шапка-кубанка с кокардой. Он шел ровным военным шагом через весь проспект Строителей, через дамбу и через весь Ленинский район на той стороне реки.

Он любил эту утреннюю прогулку еще и потому, что это были часы, когда люди шли на работу, и у него всегда были интересные попутчики или неожиданные встречи.

— Что же там у тебя приключилось? — спрашивал он Прасковьюшку, держа ее за плечи своими большими руками.

— Опять второй мой... Ромка...

С лица Прасковьюшки сошло так выделявшее ее среди женских лиц ее особенное выражение жизнелюбия и появилось то общее, и для простых и для образованных женщин, материнское выражение, в котором было и что-то жалобное, и надежда на помощь, и готовность мгновенно солгать, если это может пойти на пользу родному детищу, — выражение, к которому Соколов привык за восемнадцать лет службы в милиции.

— Привод или похуже? — спросил он, отпустив плечи ее.

— Видать, похуже. Была я у нашего, как его, Просвирина, что ли, говорит: «Под следствием»...

— Так, так, Параша... А скажи, у него приятелей новых не объявилось? Не ночевал у него кто-нибудь из чужих? — спросил Соколов по внезапно возникшему ходу мысли, который он не пытался скрыть от Прасковьюшки.

Она, видно, могла бы сказать больше о своем сыне, но многолетняя близость с Дементием Федоровичем помешала ей сказать неправду и в то же время ей не хотелось откровенничать при таком стечении народа. Она пожала плечиком и посмотрела на Дементия Федоровича уже с обычным своим выражением, в котором мелькнула веселая хитринка.

— Хорошо, Параша, я позвоню Перфильеву, — сказал Соколов, правильно назвав фамилию начальника Заречного отделения милиции, которую Прасковьюшка нарочито перевирала. — А тебя я вызову, может быть, на квартиру, тебе поближе будет.

— На прицеп, на прицеп! — закричала Соня, подхватив под руку Прасковьюшку и одарив на прощание майо-

ра таким взглядом темно-зеленых глаз, который говорил, что она, Соня, умная, опытная, недоверчивая, но майор ей нравится, хотя и не будет к ней допущен.

— Спасибо, Демушка! — успела сказать Прасковьюшка и ткнула майору руку щепочкой.

— Дементий Федорович, с нами? — обернувшись, сказал Крутилин.

— Нужно ему с нами, у них машины! — сказал Синицын, самолюбиво поджав губы: как человек приезжий, он не знал привычек Дементия Федоровича.

Хохоча и давя друг друга, они лезли в прицепной вагон с обеих площадок.

— Павлуша! Как мой Муса? — спрашивал Соколов о друге своей юности Нургалиеве: ему так не хотелось расставаться с этой веселой компанией.

— Муса — хорошо! — смеясь, кричал Павлуша с подножки.

Трамвай зазвенел, тронулся и вдруг высек дугой белую искру из провода, мгновенно исчезнувшую в море солнечного света. И трамвай, переполненный людьми, выпирающими из открытых окон, подвисшими на всех четырех подножках, со скрежетом и звоном двинулся по проспекту Строителей, обгоняя майора Соколова.

VIII

Трамвайный вагон, везущий на работу рабочий люд, — это филиал все того же уличного клуба. Как ни странно, но в эти часы наиболее устойчивый контингент именно в этом филиале. На большей части пути следования трамвая публика почти не сходит, а только входит. Как же она размещается? Она уплотняется. Каков же предел уплотнения? Предела нет — по потребности!

Люди начинают сходить только у ближайших заводских ворот, потом они сходят уже у каждых ворот, и, когда остаются позади последние ворота, вагон почти пуст. Но этим уже некому воспользоваться, вагон идет обратно.

Трамвайный вагон, подобравший Павлушу, Вассу и всю их компанию, пересек площадь имени Ленинского комсомола и, пройдя еще несколько минут по этой возвышенной части города, начал спускаться к озеру.

На площадке говорили о болезни директора комбината Сомова.

— А вот Павлуша, — сказал Гамалей, — он, наверно, нам лучше скажет. — Всем известна была слабость директора комбината к мартеновским цехам — они были детищем Сомова, и лучшим его детищем. — Где сейчас Иннокентий Зосимович, как он?

— Он в Кисловодске, — сказал Павлуша. — Если разрешили выехать, наверно, лучше ему.

— Что же с ним было все-таки? — спросил незнакомый Павлуше старый рабочий с лицом того темного цвета, который день за днем и год за годом незаметно откладывается на лицах людей, десятки лет работающих на горячем производстве.

— Сердце! — сказал Крутилин.

— У нас так рассказывают: он принимал очередной рапорт из цехов и вдруг опустился без сознания, — сказал Павлуша. — Хорошо, что Арамилев, парторг, был тут, не растерялся, сразу кнопку секретарю, а сам в трубку, спокойно, чтобы паники не поднимать: «Иннокентия Зосимовича срочно Москва вызвала, обождите, рапорт будет принимать Бессонов». И тут же по городскому — врача, а сам кинулся ему галстук снимать, освободил грудь, чтобы легче дышать. Правда, он скоро пришел в себя, хотел встать, но ему не дали, перенесли на диван.

— Переработка, конечно, — сказал Гамалей.

— Что у него определили, я этого не знаю, — продолжал Павлуша. — Иващенко, главный сталеплавильщик, раньше ведь он был у нас во втором мартеновском, так рассказывал: его хотели специальным вагоном отвезти в областную больницу, но он отказался и остался дома. Он не верил, что с ним что-нибудь серьезное, привык быть здоровым, да ведь силища-то какая! — сказал Павлуша с восхищением. — Один раз он всех обманул, оделся, хотел поехать на завод, а шофер у него ездит с ним уже лет пятнадцать, отказался везти. Он даже накричал на него: «Уволю тебя!..» — «Увольняйте, говорит, а я не повезу...»

— Нам его потерять нельзя, — сказал старый рабочий, — его печать на всем, что мы тут сделали...

Павлуша, который начал рассказывать только потому, что был вызван на это, почувствовал, что старый рабо-

чий сказал правду. Павлуша подумал о том, что его личный путь на производстве и в жизни мог бы и не быть таким путем, если бы Сомов среди больших своих дел не помнил о нем. И все на площадке заговорили о том же и начали приводить примеры, каждый из своей работы и жизни.

Никогда так не проверяется ценность руководителя-работника, с деятельностью которого связана работа и жизнь десятков и сотен тысяч людей, как в то время, когда перед ними встает возможность по тем или иным причинам расстаться со своим руководителем.

Та оценка работника-руководителя, которую он чаще всего получает непосредственно или через чужие уста от сравнительно узкого круга окружающих и часто подчиненных ему людей, не может являться действительной оценкой его места в жизни. Как часто передвижение такого работника с одного места на другое долгое время остается даже неизвестным ни тем десяткам и сотням тысяч людей, которых он покинул, ни тем, которых он осчастливил.

Много уже времени спустя где-нибудь в таком же неофициальном клубе вдруг возникнет разговор между двумя или тремя:

— А у нас, оказывается, новый директор!

— А ты не знал?

— Куда же того-то дели?

— А кто же его знает, перевели куда-то.

Заслужить, чтобы заговорили о тебе десятки и сотни тысяч, можно только в двух случаях: если ты настолько дурно работал и так этим напортил, что люди не в силах удержаться от выражения удовлетворения справедливостью той власти, которая тебя наконец убрала; и если ты работал так хорошо, что твоя деятельность оставила реальный след в жизни, когда каждый участник общего труда понимает, что без тебя это могло быть и не сделано или было бы сделано хуже.

Вот такое чувство было сейчас в душах людей, обсуждавших во многих и многих неписаных клубах болезнь Сомова.

Все, что на протяжении последних полутора десятков лет было создано в Большегорске усилиями десятков и сотен тысяч людей, во всем этом была доля Иннокентия Сомова. Да, ему до всего было дело!

Люди знали об этом и переживали его болезнь, как свою. Если бы он мог это слышать!

Скрежеща тормозами и вызванивая себе дорогу, трамвай развернулся по широкой петле и выехал с проспекта Строителей на Набережную улицу к остановке. Здесь уже не было такого напора людей, стремившихся попасть на трамвай: до завода было уже недалеко. По Набережной густо шел народ по направлению к дамбе, и среди народа медленно продвигались сдвоенные трамвайные вагоны — те, что прошли раньше.

Вагоны были обращены теперь к заводу той стороной, с которой садились люди. И хотя люди, заполнявшие вагоны, ежедневно совершали этот путь и ежедневно перед ними открывался все тот же вид, разнообразившийся только от времени дня или ночи да от погоды в разные времена года, не было человека, который не сделал бы усилий, чтобы поверх или между голов других снова и снова взглянуть на развернувшуюся перед глазами панораму завода.

Для здешних мест не редкость солнечные дни, тем более солнечные утра в средине лета. Но здесь редко не бывает ветров — они вздымают пыль над городом, над заводом, над рудником, особенно там, где ведутся разработки, строятся новые цехи или жилые здания. Ветер не уносит, а рассеивает и перемешивает дым, пыль, сажу над всей огромной территорией, и в пелене, затмевающей небо, движется меркло круглое солнце, на которое можно смотреть.

Но утро этого дня было особенным утром. Завод был весь залит солнцем. Озеро отражало и завод с его дымами, и небо над ним.

Трудно назвать другое производство, которое производило бы такое мощное впечатление, как крупное металлургическое производство. Корпуса цехов поражают воображение своей громадностью и протяженностью.

Но особенность пейзажу придают черные великаны-домны с их беспрерывно работающими подъемными механизмами, с их куполами, оснащенными коленчатыми трубами газоотводов и пылеуловителей, напоминающими сочленения колец какого-то допотопного змея, и постоянные спутники домен — кауперы-воздухонагреватели, стройные, цилиндрические, увенчанные куполами гармо-

ической формы. Округлые стены циклопических силосных башен с углем отливают на солнце. Надземные легкие галереи кажутся висящими в воздухе. Гигантские портальные краны углеподготовки и изящные башенные краны на строительстве новой домны ажурно вырисовываются своими конструкциями в голубом небе. Серая железобетонная труба на новом блоке коксовых батарей заканчивается строительством, и две девчонки, кажущиеся отсюда букашками, возятся на самом верху ее, свободно передвигаясь по деревянному подвесному помосту-ободу без всяких перил. Снуют поезда, и слышен зов паровозов. Синяя вспышка электросварки озаряет окна. И потоки шлака из опрокинутых вагончиков-чаш стекают по откосу берега, как золотые реки.

В безветренном воздухе дымы восходят столбами над десятками труб. Одни дымы извергаются мощными клубами, другие вздымаются тихо и медленно, как легкие испарения, третьи сочатся тонкими струями, как от сигар, четвертые можно заметить только по вибрации горячего воздуха. Дымы восходят к небу, сохраняя свою окраску, даже когда они смешиваются где-то там, в небесной вышине, — это целая симфония дымов — черных, темно-бурых, желтоватых, белых, коричневых, голубоватых. И вдруг среди них над тушильной башней кокса взлетает вспышкой веселое, ослепительно-белое, сверкающее на солнце облако пара!

Трамвайные вагоны, вытянувшиеся цепочкой, свернули с Набережной на дамбу и двигались через озеро в сплошном потоке мужчин, женщин, юношей, девушек, катившемся по направлению к заводу.

Есть что-то величественное и прекрасное в этом ежедневном проявлении воли, сознательности, организованности многих тысяч людей. К восьми, к четырем, к двенадцати, ранним утром, днем, ночью возникает на улицах этот поток рабочих и работниц. Все люди разные, все со своими слабостями и сильными сторонами, у всех свои неотложные заботы, беды, свои радости — у тебя умер близкий, ты не сможешь попасть сегодня с любимой в загс, тебе необходимо обшить и обуть детей, а ты просто с похмелья, — но все идут в свою смену в великом потоке трудового братства; в восемь, в четыре, в двенадцать ты встанешь на свое место и будешь выполнять свой долг, кто бы ты ни был.

Ежедневный поток тысяч людей, спешащих к труду, — там, где труд стал или становится владыкой мира, — это не только выражение дисциплины и организованности, это символ новой государственности. Каждый человек, попадая в этот поток, несет в себе ее частицу. Он совершает этот путь ежедневно и ежедневно чувствует себя частью государства. Правда, в эти минуты он редко думает об этом и еще реже говорит об этом. Чувство это выражается в неуловимом подъеме, в непринужденном остром веселье, во взаимном доброжелательстве, которые сопровождают ежедневное движение масс на работу.

Это чувство испытывал и Павлуша, совсем уже забывший о доме.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Киносценарии

КОМСОМОЛЬСК НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

Большая комната с широким, почти во всю стену окном освещена ранним утренним солнцем. Комната политического работника, ученого или инженера. По двум стенам сплошные полки с книгами. Очень много иностранной литературы: английские, французские, немецкие, японские названия.

Большой письменный стол завален книгами по авиации, чертежами, — свернутыми в трубки кальками. Раскрытая рукопись, очередная страница не дописана. Недопитый стакан чая. Телефон. Крупно — портрет моряка в форме старшего командира флота. Календарь раскрыт на 8 июля. В календаре записано:

9 — лекция в авиашколе.

11 1/2 — прием франц. воен. атташе на заводе (соответственно одеться!).

17 1/2 — осмотр новых самолетов.

20 — летчик Кутузов принесет в подарок ангорскую кошку. Гм-гм!

В комнату вбегает девушка в белом переднике. В одной руке у нее полураскрытая газета, в другой — письмо. Она подбегает к двери в соседнюю комнату, прислушивается и без стука открывает дверь.

Женская спальня. Ширма, закрывающая кровать, полусдвинута. Видно лицо и плечо белокурой женщины лет тридцати двух, спящей крепким здоровым сном.

Девушка, склонившись к лицу спящей:

— Татьяна Владимировна!.. Татьяна Владимировна!..

Женщина открывает глаза, смотрит, не понимая; потягивается, заложив руки, улыбается.

Девушка:

— Простите, но две такие новости сразу: вот... — протягивает письмо, — и вот... — протягивает газету.

Женщина, взяв одной рукой письмо, другой — газету, с улыбкой смотрит то на письмо, то на газету. Вдруг лицо ее меняется. Она садится в кровати, бросает письмо на столик у изголовья и с лихорадочной быстротой разворачивает газету.

Крупно — столбцы передовой:

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГОРОД КОМСОМОЛЬСК — ФОРПОСТ СОЦИАЛИЗМА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ!

Сегодня мы публикуем декрет правительства о закладке нового города — *Комсомольска на Тихом океане.* Крупнейшие в мире авиационный завод, аэропорт, авиашкола и аэрогидродинамический институт создаются на пустынном месте, где ныне ютится лишь заброшенный русско-корейский поселок *Вангоу.* Автором проекта города является молодой советский инженер — коммунистка Татьяна Владимировна Кузнецова, назначенная начальником строительства. Заместителем т. Кузнецовой назначен американский инженер Нэйсмит...»

Женщина зарывает лицо в газету, закутывает газетой голову, сидит так некоторое время, держа руки на затылке. Девушка хохочет.

Женщина вынимает лицо из газеты, говорит:

— Воображаю, какой шум подымут господа буржуа во всех тихоокеанских странах.

Девушка оправляет на женщине бухарский халат. Женщина с счастливым лицом распечатывает письмо, читает. По мере чтения лицо ее темнеет. Она опускает письмо, смотрит на девушку, говорит:

— Лиза! Выходите замуж только тогда, когда ваш возлюбленный и вы станете вполне оседлыми людьми.

Женщина в кабинете держит телефонную трубку, в руке у нее распечатанное письмо.

— Мистер Нэйсмит? — говорит она в трубку. — Простите, что так рано. Наш проект утвержден. Не позже

чем через десять дней мы вылетаем на место строительства... Есть? Всего хорошего.

Кладет трубку, автоматически набирает номер, говорит в трубку:

— Товарищ Кутузов? Вы и ваш бортмеханик уроженцы поселка Вангоу на Тихом океане, не правда ли?.. Не были пять лет? Через десять дней вы повезете нас на родину... Что? Как с ангорской кошкой? — Смеется. — Кошки не могут питаться книгами. Она околеет на моей квартире.

Кладет трубку, смотрит на письмо. Лицо женщины делается грустным. Она садится за стол.

Крупно — портрет мужчины в форме командира флота.

Женщина пишет:

«...Теперь мы оба будем на дальневосточной границе, хотя и разделенные тысячеверстным пространством. Мой милый! 20 июля я пролечу над тобой. Я волнуюсь при мысли, что несколько мгновений мы будем так близко...»

Улица южного города в слепящем солнце. Длинная шумная очередь у здания, люди отирают пот, давка у дверей. На здании плакат на русском и тюркском языках:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОМСОМОЛЬСК НА ТИХОМ ОКЕАНЕ!

Вывеска над дверьми:

БАКИНСКИЙ ПУНКТ ПО ПРИЕМУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОМСОМОЛЬСКА.

Набережная северного города. Нагружают пароход. Лебедки подымают громадные ящики, на которых написано: «Комсомольск». На набережной длинная очередь у бревенчатой конторы. Вывеска над дверьми:

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПУНКТ ПО ПРИЕМУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОМСОМОЛЬСКА.

Улица города ночью. Освещенные окна здания. Огромная толпа перед зданием. Вывеска по-русски и украински:

ХАРЬКОВСКИЙ ПУНКТ ПО ПРИЕМУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОМСОМОЛЬСКА (РАБОТАЕТ КРУГЛЫЕ СУТКИ).

Перрон вокзала. Толпа на перроне. Крупно — название станции: «Новосибирск».

Подходит состав. На вагонах надписи:

МОСКВА — ВЛАДИВОСТОК. ГРУЗЫ ДЛЯ КОМСОМОЛЬСКА ВНЕ ВСЯКОЙ ОЧЕРЕДИ.

Огромная перспектива московского аэродрома. Утро. Уходящая вдаль шеренга — человек двести — летчиков в кожаном. Группа военных атташе. Группа начсостава советской авиации. Самолет, готовый к отлету.

Отдельно самолет. Летчик ждет, посматривает на часы. В раскрытых дверях кабинки кожаный зад бортмеханика. Он вытаскивает из кабинки цветочную корзинку, обвязанную тряпкой. Высовывается голова кошки.

Бортмеханик. Товарищ Кутузов! *(Кутузов не слышит.)* Вася!

Кутузов оборачивается.

Бортмеханик. Это что за зверь?

Кутузов *(спокойно)*. Кошка... Ангорская... *(Отворачивается.)*

Бортмеханик *(просительно)*. Вася! Выбрось ты ее к чертовой матери! Прилетим в Вангоу, попросим батьку моего, Тараса Бажана́, он тебе тигру живую поймает.

Кутузов *(не обращая внимания)*. Едут!

Бажан торопливо сует корзинку обратно, соскакивает. Оба вытягиваются во фронт возле самолета.

По аэродрому едет машина, останавливается. Группа начсостава торопливо идет к машине. Из машины вылезает Кузнецова в кожаном пальто и шлеме, Нейсмит в гражданском, курьер с двумя чемоданами.

Группа военных атташе смотрит на приехавших. Шеренга летчиков держит равнение.

Кузнецова, Нейсмит здороваются с начсоставом, смеются.

Кузнецова, Нэйсмит, начсостав идут вдоль шеренги летчиков.

Кузнецова *(останавливается)*. Здравствуйте, товарищи!

Шеренга. Здрасте!!!

Кузнецова оглядывает шеренгу, взволнованно говорит:

— Друзья! Я тронута вашим вниманием. Мы расстаемся ненадолго. Вам, окончившим школу имени Китайской компартии, присвоено звание первых граждан Комсомольска на Тихом океане. К моменту закладки города вы все будете там на своих машинах...

Шеренга. Ура-а!

Кузнецова, Нэйсмит, начсостав подходят к группе военных атташе. Взаимно отдают честь, здороваются.

Кутузов и Бажан возле самолета, окруженные летчиками.

Группа — старший летчик, молоденький летчик, Кутузов, Бажан — на фоне мужественных, веселых, смеющихся лиц. Старший подымает руку, все смолкают.

Старший *(торжественно)*. Вася! И ты, Бажан!.. Не вам говорить, что такое для нас Татьяна Владимировна. Мы здесь все ее берегли. Теперь надежда на вас.

Кутузов *(со сдержанной силой)*. Пока я жив... *(Прижимает к груди руку.)*

Молоденький летчик. Нет, на самом деле, ведь она у нас одна!..

Он поворачивает голову, восторженно смотрит.

Все поворачивают головы.

Кузнецова разговаривает с японским атташе. Приторно улыбающееся лицо японца. Спокойное, словно высеченное из мрамора, лицо Кузнецовой.

Восторженные, влюбленные, мужественные лица летчиков, смотрящие в сторону Кузнецовой.

Летчики обнимают Кутузова и Бажана, целуют, жмут руки.

Кузнецова и Нэйсмит с группой начсостава подходят к машине, летчики расступаются.

Старший летчик трясет Кузнецовой руку, взволнованно говорит:

— От лица всех ребят... успеха, счастья...

Кузнецова девичьим движением обнимает его за шею, целует.

— В вашем лице всех ребят, — говорит она.

Летчики кричат «ура».

Невозмутимое лицо Нэйсмита.

Кузнецова, за ней поддерживающий ее Нэйсмит лезут в кабинку, Кутузов и Бажан — на свои места.

Летчики запевают песню. (Должна быть написана специальная песня летчиков для картины. — *А. Ф.)*

Военные атташе отдают честь.

Мощно крутится пропеллер. Сливаются рокот мотора и песня летчиков.

Машина мчится по земле. Летчиков не видно, гремит только их песня.

Машина отделяется от земли и постепенно исчезает из поля зрения.

Планы тайги с самолета. Утро перед восходом солнца. Туман в долинах. Встает заря. Самолет движется на утреннюю зарю.

Тайга с самолета солнечным днем. Жилы хребтов. Плывут облачка. Мощная река. Тень самолета движется по реке.

Тайга с самолета в сумерках.

Ночная тайга, снятая уже не с самолета.

Хребты. Всходит луна. Чуть доносится симфония, исполняемая духовым оркестром. Нависают скалы. Берег океана. На фоне тайги — жерла гигантских орудий. Стоят часовые в матросках. Высятся радиомачты. Прожектор шарит по морю и по небу. Мощно звучит симфония.

Внезапно — громадный флотский оркестр в тайге. Факелы в оркестре. Трубы. Лица оркестрантов.

Горят костры. Белеют палатки. Люди — сотни, может быть тысячи людей — в одеждах матросов и красноармейцев сидят вокруг костров, слушают.

Столб прожектора шарит по небу. Ночное небо. Тайга. Оркестр играет симфонию.

Человек в форме старшего командира флота возникает на возвышении. При свете факелов видно его лицо (лицо человека на портрете у Кузнецовой). Он потрясает руками, кричит:

— Тише! Тише!

Оркестр смолкает. Слышен приближающийся рокот мотора. Командир смотрит в ночное небо. Оркестранты смотрят в небо. Матросы и красноармейцы встали вокруг костров, смотрят в небо. Прожектор шарит по небу.

Всепокрывающий рокот мотора. Прожектор вырывает из темноты летящую серебряную птицу.

Лицо командира, смотрящего на птицу. Командир снимает фуражку. Оркестранты снимают фуражки. Матросы и красноармейцы у костров снимают фуражки. Все смотрят в небо.

Серебряная птица летит в столбе прожектора, в рокоте мотора.

Столб прожектора падает. Люди все еще смотрят вверх. Ночное небо. Удаляющийся рокот мотора.

Надпись:

В САН-ФРАНЦИСКО.

Людная улица большого американского города.

Из подъезда вылетают, как воробьи, мальчишки и девчонки с пачками газет, кричат:

— Мировой город авиации на Тихом океане!

— Япония посылает эскадру к берегам Советской России!

— Американский инженер во главе крупнейшего строительства большевиков!

Пешеходы расхватывают газеты. Крупно — газета в руках с портретами Кузнецовой и Нэйсмита.

Девчонка кричит в лицо покупательнице:

— Женщина во главе величайшего строительства в мире!

Крупно — газета в руках покупательницы:

«...На вопрос нашего корреспондента, какие великие люди прошлого ей больше всего нравятся, инженер Кузнецова ответила, что ей нравятся все, кто боролся за счастье человечества...»

Удивленно-глупое лицо покупательницы.

Мальчишка кричит в лицо пешеходу:

— Япония посылает эскадру к берегам Советской России!..

Пешеходы расхватывают газеты... Мальчишки растекаются по улице.

Надпись:

В ХАКОДАТЕ.

Японская школа народного типа. Спины сидящих мальчиков. За окном под звуки японского марша проходят солдаты. У большой карты учитель с указкой.

Карта «великой Японии» — в один цвет закрашены Японские острова, Северный Китай, Маньчжурия, Монголия и Советский Дальний Восток до Байкала.

Учитель, обводя указкой границы Дальнего Востока, говорит:

— Этот богатый край должен принадлежать Японии. Наш ученый обследовал черепа людей, живших в этом крае две тысячи лет назад. Строение черепа показало, что эти люди — предки японцев.

Два бедно одетых мальчика сидят за партой, жуют серу, украдкой шепчутся.

Первый мальчик. Ты слушаешь его?

Второй мальчик. Нет, скука.

Первый мальчик. Отец говорит, что в наше время каждый должен уметь летать на аэроплане, а у нас в Японии учат летать только богатых, а бедных не учат летать. Отец говорит, русские строят город недалеко от нас, где они будут учить летать всех, кто захочет.

Второй мальчик вынимает изо рта серу, говорит:

— Ты знаешь, мы могли бы убежать туда на шлюпке...

За окном под звуки марша проходят солдаты.

Учитель у карты:

— Каждый японец должен готовить себя к битвам за обладание этим краем.

Второй мальчик щелчком пускает серу в учителя. Испуганное с раскрытым ртом лицо учителя. Сера прилипла ко лбу.

Обставленная в японском стиле гостиная в загородной вилле очень богатого человека. Доносятся звуки японской мелодии. Два японских офицера сидят на краешках кресел.

Открывается дверь. Появляется третий офицер:

— Полковник Мацуока! Поручик Нагаи! Генерал ждет вас.

Мацуока и Нагаи проходят в дверь, офицер пропускает их.

Мацуока и Нагаи в нерешительности перед стеклянной дверью. Подходит офицер, распахивает дверь, пропускает их.

Терраса, залитая солнцем. Голубые просторы океана. Маленький старичок с лицом, разграфленным морщинами на ромбики и кубики, в шелковом кимоно и японских туфлях сидит на корточках, дразнит павлина. Павлин распускает хвост.

Офицеры почтительно вытягиваются.

Старичок встает, лицо его окаменевает. Он говорит:

— Полковник Мацуока! Вы хорошо знаете эту местность?

Мацуока. Да, генерал! Я был в поселке Вангоу в девятнадцатом году с военным десантом.

Генерал. На что вы рассчитываете?

Мацуока. За двести километров от Вангоу, в глухом лесу, существует деревня, неизвестная большевикам. Ее основали бежавшие от насилий богатые крестьяне, люди старой веры, фанатики. Они ждут только нашего сигнала, чтобы поднять восстание...

Генерал. Хорошо... Сегодня ночью самолет переправит вас через границу. Сегодня ночью эскадра его величества отправляется на маневры. Обещайте повстанцам, что эскадра его величества поддержит их...

Генерал закрывает глаза. Офицеры пятятся задом, почтительно приседая. Крупно — распущенный хвост павлина.

Японский аэродром ночью. Самолет с крутящимся пропеллером. Мацуока и Нагаи садятся в самолет.

Ночной океан с самолета. Самолет обгоняет эскадру военных судов в кильватерной колонне.

Эскадра, снятая уже не с самолета.

Мгновенные высоты кораблей возникают из темноты на зрителя: один... другой... третий... Освещенный багровым светом, проплывает японский флаг.

Надпись:

СТАРОЖИЛЫ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА.

В детской кроватке, обнявшись, спят русский и корейский мальчики двух или трех лет. Другая кроватка — спят две девочки.

Детские ясли. Стоят кроватки. Гирлянды бумажных флажков под потолком.

Русская девушка сидит, шьет, напевает.

Изба снаружи. Вывеска:

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ РЫБОЛОВЕЦКОГО И ОХОТНИЦКО-ПРОМЫСЛОВОГО КОЛХОЗА ВАНГОУ.

Притаежный рыбацкий поселок в живописной бухте. Раннее утро. Тайга. Океан. Рыбацкие шхуны уходят в океан.

Большой неогороженный двор перед корейскими фанзами. На дворе до десятка коров. Возле каждой коровы по две женщины — русская и кореянка. Русские учат кореянок доить.

Надпись:

ПАРОХОД ИЗ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ЗАВЕЗ КОРОВ ДЛЯ СЕМЕЙ КОЛХОЗНИКОВ. ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ — КОРОВ ПОЛУЧИЛИ КОРЕЙСКИЕ СЕМЬИ.

Возле коровы величественная с орлиным взглядом старуха Кутузова и молодая девушка — кореянка. Девушка неумело дергает за соски, молоко не течет.

Старуха. Не так, Оксу́н, не так, девушка... Смотри!..

Меняются местами. Закорузлые руки старухи. Старуха уверенно и нежно доит. Слышен звук падающих в ведро струй молока.

Старуха. Видишь?

Снова меняются местами. Девушка неумело доит.

Старуха. Неужели у твоего отца никогда не было коровы?

Оксун. Никогда... Мы были так бедны. Ведь мой отец недавно перешел границу...

Перед одинокой фанзой пожилой кореец чинит сеть.

Подходят Мацуока в корейской национальной одежде и Нагаи, одетый по-русски. Кореец всматривается. Вдруг в ужасе отскакивает, прижимается к стене фанзы, шарит руками.

— Господин полковник?!

Мацуока прижимает кончики пальцев к губам, оглядывается.

Кореец. Зачем вы здесь?

Мацуока. К тебе погостить. Брату моему *(указывает на Нагаи)* нужен проводник в верховья реки.

Кореец *(в ужасе машет руками)*. Уйдите! Уйдите! *(Собирается бежать.)*

Мацуока хватает его за руку. Жестокое лицо Мацуока:

— Ты дал обязательство, когда переходил границу. Ты получил иены! Здесь твои расписки, — хлопает по груди.

Кореец. Я готов был подписать все, лишь бы уйти от вас. Я был безумным от нищеты!.. *(Падает на колени.)*

Мацуока валит его ногой. Кореец, припав к земле, снизу смотрит на Мацуока.

Внутренность корейской фанзы. За столиком сидят, поджав ноги, Мацуока и Нагаи, едят палочками. На нарах кореец с убитым выражением лица.

В дверях показывается Оксун с ведром молока, оглядывает незнакомцев, подходит к отцу.

Кореец. Дитя! Ты проводишь молодого в верховья реки. Возьми еды на двенадцать солнц.

Оксун. Зачем он идет в такую глушь?

Кореец. Это мои земляки. Они ищут место для поселка.

Оксун оглядывается. Нагаи приторно улыбается ей.

Тайга. Лесина, упавшая через речку. По лесине идут Оксун, за ней — Нагаи, с котомками за плечами. Затемнение.

Дневной привал в тайге. Дымит костер. Нагаи и Оксун возле костра едят. Нагаи протягивает руку за котелком, смотрит на Оксун. Оксун подает ему котелок. Нагаи пытается задержать руку девушки. Оксун вырывает руку, котелок опрокидывается. Оксун, вскочив, гневно смотрит на Нагаи. Нагаи ест.

Скалы на фоне тайги. Оксун и Нагаи перебираются через скалы.

Ночной привал в тайге. Горит костер. Оксун и Нагаи спят по разные стороны костра.

Спящее лицо Нагаи. Лицо девушки с открытыми глазами, по-звериному наблюдающими за Нагаи.

Надпись:

НА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПУТИ.

Из чащи показывается Оксун, за ней Нагаи. Оксун останавливается возле дерева, рассматривает старинную засечку. Оксун вдруг отскакивает, делает рукой знак «тише», слушает.

Слышен то приближающийся, то удаляющийся рокот мотора.

Нагаи бросается к дереву, лезет, как обезьяна. Нагаи на верхушке дерева. Вдалеке виден самолет, описывающий круги. Рокот мотора стихает, самолет идет на снижение, скрывается в лесу.

Нагаи и Оксун бегут сквозь чащу.

Круппо — иконостас из очень древних икон.

Внутренний вид пещеры отшельника. Жесткое ложе. Грубый деревянный стол, на нем священные книги и пишущая машинка.

Крупно — пишущая машинка с церковнославянским шрифтом.

Зияющий в скале темный вход в пещеру.

Отступя, — высокая скала на фоне тайги. Вход в пещеру находится на высоте пяти-шести метров. Приставлена лестница. Висит железное било. На камне у подножия скалы стоит седой староверский поп, говорит:

— Земли свои, и скот свой, и пчел отдай в котел нечестивых. И кто же из верных христиан не ужаснется такого богоотступного законоположения?

Толпа староверов, мужчин и женщин, слушает попа. Впереди мощный звероватый старик.

Поп. Нежели нам в красных селах при власти жить и отступать от бога, лучше со зверями в дебрях жить...

Звериная глухая чаща. Хребты. Свежесрубленные избы в тайге.

Поп говорит:

— Близок час искупления, будет гонец с востока, встанет солнце из-за моря и пожрет красную звезду.

Доносится отдаленный рокот мотора. Мощный старик подымает руку, прислушивается. Все слушают, задирают головы. Рокот мотора возрастает. Самолет описывает над толпой круги и идет на снижение.

Паника. Некоторые бросаются бежать. Некоторые творят двуперстные знамения. Женщины плачут и причитают.

Старик кричит грозно:

— Цыть!

Ватага мальчишек бежит мимо изб. Катится толпа во главе с попом и стариком.

Нагаи и Оксун, обливаясь потом, бегут сквозь чащу.

Самолет с крутящимся пропеллером на лугу в цветах. Выскакивает Кутузов, Кузнецова, Бажан, Нэйсмит.

Кутузов. Никогда не слыхал, чтобы здесь деревня была.

Кузнецова. На карте не показана.

Поворачивают головы.

Бегут мальчишки, сзади катится толпа.

Полукруг толпы с попом и звероватым стариком в центре.

Кузнецова, за ней остальные идут к толпе.

Толпа пятится, мальчишки бросаются бежать. Не отступают только поп и старик.

Кузнецова *(старику)*. Можно председателя сельсовета?

Молчат.

Кузнецова. Вы здесь недавно, что ли?

Молчат.

Поп. Кто ты во образе лукавом? Антихрист?

Кузнецова *(изумленно)*. Антихрист? *(Смеется.)* Да, пожалуй, антихрист.

Поп. Сгинь!.. Сгинь!.. Сгинь!..

Творит двуперстные знамения в ее сторону. Нэйсмит выражает крайнее изумление.

Старик сурово останавливает попа. Делает два тяжелых шага к Кузнецовой. Кутузов быстро становится рядом с ней.

Старик. Мы здесь испокон веку живем, ничего не знаем. Не обессудьте.

Кузнецова. И не слыхали про советскую власть?

Старик. Никакой власти не знаем, окромя бога.

Кузнецова разводит руками. Нэйсмит с акцентом:

— Это удивительно! Только такой страна, как ваш!

Исцарапанный Нагаи и Оксун бегут мимо изб.

Сцена возле самолета: Нэйсмит лезет в кабинку, Бажан уже на месте, Кутузов ждет, Кузнецова говорит толпе, надвинувшейся ближе к самолету:

— Мы пришлем сюда людей. Они организуют у вас советскую власть. Прощайте!

Лезет в кабинку, Кутузов — на свое место. Раздается рев мотора. Толпа в панике разбегается.

Нагаи и Оксун бегут по лугу, Нагаи кричит.

Самолет, отделившийся от земли и подымающийся ввысь.

Нагаи, Оксун, старик, поп в кольце толпы.

Нагаи, запыхавшись, вне себя визжит:

— Зачем пустить? Зачем улететь!

Старик присматривается к нему.

Нагаи. Надо арестовать! Надо убить!

Старик. Ты кто?

Нагаи, с окаменевшим лицом подымает руку с двуперстным знаком.

Старик в звериной радости кричит:

— Братья во Христе! Час настал! Гонец с Японии!..

Реакция всей толпы.

Оксун отшатывается. В ужасе смотрит на японца. Нагаи замечает ее. Оксун пытается ускользнуть.

— Задержать! — говорит Нагаи.

Оксун мечется в кольце, ее хватают, скручивают руки.

Раздаются тревожные удары в железное било.

К стожку сена подбегает старовер, вынимает из стога берданку, бежит.

Внутри староверской избы. Старовер подымает половицу, вынимает обрез, бежит из избы.

Группы вооруженных староверов бегут мимо изб.

Парень скопческого вида изо всех сил колотит в железное било.

Вечер перед заходом солнца. Улица в Вангоу. Открытый навес. На прилавке под навесом шкурки енотов, барсуков, выдр. Агент за прилавком. Оживленная толпа перед навесом — русские, корейцы. Одеты празднично. Корейцы-старики в национальных одеждах, молодежь в русских. Расфранченные девушки с узелочками в руках грызут кедровые орешки.

В центре толпы Тарас Бажан — рослый старик с винчестером за плечами — держит на расставленных руках шкуру тигра. Окружающие щупают, поглаживают ее. У старика детские глаза. Старик холит шкуру в руках, говорит:

— Восемьдесят второй... Хорош был!

Доносится шум мотора. Все подымают головы. Самолет описывает круги над Вангоу.

Берег, океан, Вангоу с самолета, описывающего круги.

На выгоне самолет, окруженный веселой возбужденной толпой.

Кузнецова и Нэйсмит возле самолета.

На земле два чемодана и корзинка с выглядывающей из нее кошкой. Ребятишки выражают восторг по поводу того, что кошка прилетела на аэроплане.

Старуха Кутузова троекратно целуется с сыном.

Бортмеханик окружен группой человек в пятнадцать: старик с тигровой шкурой через плечо, маленькая старушка, рослые бородатые мужики, женщины, парни, девушки, подростки, мальчики, девочки. Бортмеханик по очереди целуется со всеми.

Надпись:

СЕМЬЯ КОЛХОЗНИКА ТАРАСА БАЖАНА.

Бортмеханик целуется, переходя от одного к другому.

Кузнецова на ступеньке самолета говорит:

— Из людей, вся жизнь которых проходила в тяжелом нищенском труде, все силы которых душили, уродовали кулак, пристав и поп, вы превратились в зажиточных тружеников — колхозников. Теперь вы становитесь основателями чудесного города, мирового города всех трудящихся и угнетенных...

Толпа, восторженно слушающая Кузнецову. Застывшее лицо Мацуока в толпе. Убитое лицо отца Оксун рядом с Мацуока.

Ночь. Спит поселок Вангоу. Доносится народная песня, исполняемая тремя — мужским и двумя женскими — голосами. Спят русские и корейские дети в кроватках. Плывут берега.

Шаланда качается у пустынного берега. Темные фигуры сгружают продолговатые ящики с оружием. На мгновение одна из фигур обнаруживает лицо Мацуока.

Звучит народная песня. На крыльце сидят летчик Кутузов, его мать и Кузнецова. Кутузов и Кузнецова склонили головы на плечи старухи. Все трое поют песню.

Плывут бесконечные хребты. Тайга. Бурный ночной океан.

Проходит эскадра. Проплывает на судне освещенный багровым светом японский флаг.

Внутренность радиостанции. Сидит радист, слушает.

Жерла гигантских орудий, освещенные лунным светом, вздымаются на фоне тайги. Стоят матросы на часах. Высятся радиомачты. Прожектора шарят по морю. Командир — муж Кузнецовой — в группе других командиров — смотрит в бинокль. Прожектор шарит по морю.

Ночная тайга. Аэродром в тайге. Уходящая в глубину, насколько хватает глаз, шеренга самолетов с крутящимися пропеллерами. Возле каждого — летчики в кожаном. Лунный свет на шлемах летчиков...

Ночное полярное море, льды. Покрытый снегом берег. Чукотские яранги. Присыпанный снегом флаг на одной из яранг. Антенна над одной из яранг. Самолет на снегу.

Летчик в вывернутой мехом кверху шубе сидит у костра, греет руки.

Все время звучит народная песня, исполняемая тремя голосами.

Внезапно — большая горница Бажанов. Стол с остатками пиршества. Ревет гармоника. Грохочут сапоги. Вся семья Бажанов танцует. Танцует старик, танцует маленькая веселая старушка, танцует бортмеханик, танцуют рослые бородатые мужики, танцуют женщины, развевая подолы, танцуют парни, девушки, подростки, дети. Они танцуют не просто весело, они танцуют *монументально.*

На скамье сидит Нэйсмит и смотрит. На лице у него изумление, восторг и зависть.

Вид на бухту из поселка Вангоу. В бухту входят два океанских парохода, дают гудки.

На берегу толпа колхозников со знаменем. Впереди Кузнецова с полевой сумкой в руке и Нэйсмит.

Пароходы в бухте на якоре. От пароходов к берегу идут шаланды, полные рабочих. На шаландах развеваются знамена. Моторка тащит на буксире плашкоут с лошадьми.

Колхозники на берегу машут шапками, платками. Кричат «ура».

Застывшее лицо Мацуока в толпе.

Горница Кутузовых. В горнице человек пять вооруженных корейцев и русских. Старуха Кутузова в ичигах одевает через плечо кожаную сумку. Возле стоит Кутузов, упрашивает:

— Мама, не ходите... Может, там кулаки беглые живут...

К у т у з о в а. Не должно быть у нас села без советской власти. Раз меня поставили председательницей, кто в ответе? Ты в ответе? Нет, я в ответе...

С взволнованным лицом входит Кузнецова с полевой сумкой в руке. Видит народ, лицо ее окаменевает, она незаметно делает знак Кутузову, и вместе выходят в другую горницу...

Кузнецова и Кутузов в другой горнице.

Кузнецова говорит:

— Все время следования наших пароходов их сопровождали японские суда на горизонте. На границе тре-

вожно. Я получила радиограмму: «Опасайтесь провокации...» Вы должны немедленно вылететь во Владивосток.

Кутузов в нерешительности мнется.

Кузнецова вопросительно смотрит на него, говорит тихо:

— Вы боитесь за мать?..

Кутузов. Нет, я боюсь за вас. Я дал слово товарищам, что буду беречь вас...

Кузнецова. Беречь меня?

Она некоторое время смотрит на Кутузова, потом тыльной стороной ладони проводит у себя по лбу, точно снимает что-то. Говорит сухо:

— Товарищ Кутузов, вы вылетите через час.

Кутузов вытягивает руки по швам, говорит:

— Есть...

Ночная тайга. Следы свежего поруба. Поваленные деревья. Тянутся ряды палаток. Горят костры, группы рабочих вокруг костров. Мимо палаток едут верхами Кузнецова и Нэйсмит.

Кузнецова и Нэйсмит верхами на бугре среди кустов. Перед ними расстилается ночной океан.

Кусты раздвигаются. В кустах вспыхивает белый дымок, раздается выстрел. Кузнецова покачивается в седле, падает... Нэйсмит подхватывает ее.

ПЕРЕКОП

Киносценарий (литературный вариант)

Севастополь, весна 1920 года.

Севастопольский рейд. Константиновская батарея. Сильный прибой, начало шторма.

На горизонте линейный корабль. Держит курс на Севастополь. Это линейный корабль королевского британского флота «Император Индии». У кормового флага — английский матрос на часах.

Перед зеркалом сидит человек с длинным лицом — тип остзейского немца. Его бреет парикмахер, моряк в английской форме. Не торопится.

Адмиральская каюта. На столах карты. Пять человек вокруг стола: адмирал Сеймур — командующий британскими морскими силами в Черном море, граф де Мартель— верховный комиссар Франции при «Правительстве юга России», французский генерал Молле, английский — сэр Роберт Лесли и полковник Дюваль — штабной офицер при генерале Молле.

Сеймур *(склонившись над картой)*. Наиболее выгодное направление удара — это Кубань — Дон, с тем чтобы отрезать Кавказ, Баку. Нас, англичан, нельзя упрекнуть в том, что эта операция в наших интересах. Совершенно ясно, что здесь обеспечена поддержка казаков.

Молчание.

Генерал Молле. Баку — это нефть, не правда ли? Французы улыбаются. Часы бьют десять.

Сеймур *(глядит на часы)*. Он не задержит?

Дюваль. Нет, он не задержит.

Бритье в уборной адмиральской каюты идет к концу. Парикмахер снимает салфетку с бреющегося.

Адмиральская каюта. Те же пять человек.

Граф де Мартель *(над картой)*. Мы предпочли бы направление удара на Украину — Донецкий бассейн. Вряд ли можно упрекнуть Францию в том, что этот план продиктован ее интересами. Абсолютно ясно, что здесь мы поражаем противника в его самые жизненные центры и идем на соединение с Польшей.

Сэр Роберт Лесли *(с полным пониманием дела)*. Донецкий бассейн — это уголь, не правда ли?

Сеймур улыбается.

Граф де Мартель. Я думаю, он готов?

Дюваль. Да, он готов.

Уборная адмиральской каюты. Бритье кончено. Клиент английского парикмахера встал. Ему подают верхнюю одежду. Это белая черкеска. Он надел черкеску, пояс, кинжал; глядится в зеркало.

Парикмахер. Я имел честь служить вашему предшественнику, барон. *(Барон вопросительно глядит на парикмахера.)* Генералу Деникину, барон. Мы увозили его из Новороссийска на этом же корабле.

Врангель бросает быстрый взгляд на парикмахера. Что это — ирония? Нет. Парикмахер почтительно склонился перед ним. Дверь открывается. В выжидательной позе стоит полковник Дюваль. Делает пригласительный жест. И, еще раз окинув себя взглядом в зеркале, Врангель идет к выходу.

Адмиральская каюта. Все встают, с поклоном пропускают вперед Врангеля. Он первый поднимается по парадной лестнице на палубу.

Музыка играет встречу. На палубе — делегация: белогвардейский генералитет, чиновники, господа в сюртуках. Нестройное господское «ура». Дамы подносят цветы.

Человек в вицмундире, треуголке и с лентой через плечо:

— Ваше превосходительство, барон Петр Николаевич! Прежде чем вы ступите на родную землю, позвольте в вашем лице приветствовать главнокомандующего

вооруженными силами юга России и пожелать успеха вашему делу. Мы обращаемся со словами благодарности к нашим высоким друзьям и союзникам: широкое русское спасибо! Вы привезли нам богатыря, который объединит Россию...

В стороне генерал Молле и полковник Дюваль смотрят на церемонию.

Дюваль. Опять «единая неделимая»? Как это понимать?

Молле. Ну, как вам сказать... вроде единого и неделимого Китая...

Врангель *(отвечает на приветственную речь)*. Твердо верю, что скоро будет освобождена земля родная... От лица народа и армии я обращаюсь к вам, наши друзья и союзники: Россия не забудет вашей благородной и бескорыстной помощи...

Звонкий голос. Катер главнокомандующего!

Как пущенная мина, катер главнокомандующего вооруженными силами юга России летит к берегу.

Гремит оркестр. Крики «ура».

Над берегом плывет колокольный звон.

На флагштоках здания штаба взвиваются флаг командующего вооруженными силами юга России и рядом флаги британской и французской военных миссий.

Степь в Северной Таврии вблизи Сиваша. Беспредельный горизонт. Серое нависшее небо. Ветер гонит перекати-поле. Бежит девушка. В небе три жужжащие точки. Это самолеты. На них опознавательные знаки британской армии. Убегающая девушка глядит вверх.

Самолеты снижаются. Девушка бежит изо всех сил. Облако пыли. Появились всадники — кавалерия. Кони стелются по земле. Сверкают золотые полоски погон.

Девушка вбегает в деревню. Почти по ее следам на рысях вступает в деревню кавалерия белых. Широкая пустынная улица деревни. Низкие, врытые в землю хаты.

Всадники спешились, растекаются по хатам. Прикладами выбивают окошки, выламывают двери. Из окошек на улицу летит жалкая утварь. Плачь детей, вопли и причитания старух, ржание и топот коней, тревожный колокольный звон — набат, вдруг оборванный ружейным выстрелом.

Два офицера схватили девушку, которая убегала в степи. Тарас Голубенко, могучий старик, бросается освободить девушку...

...На паперти сельской церкви — командующий белой армией, генерал-лейтенант барон Врангель. Его окружает свита. Впереди генералы Кутасов и Борщевский. Первый — звероподобный рубака, второй — прямая ему противоположность, сравнительно молодой щеголь, генерального штаба генерал-майор.

В свите Врангеля — глава французской военной миссии генерал Молле и глава английской — сэр Роберт Лесли. Тут же полковник Анри Дюваль. Перед Врангелем, в отдалении, стоят два офицера, окруженные конвоем с шашками наголо. Это они грабили в деревне. Теперь они стоят перед Врангелем навытяжку, безоружные. Несколько поодаль стоит группа стариков крестьян, впереди старик Тарас Голубенко.

Врангель размашистым жестом указывает на арестованных офицеров, обращается к крестьянам:

— Они?

— Они, — твердо отвечает Тарас Голубенко.

Иностранцы с любопытством глядят на развертывающуюся перед ними сцену.

Врангель спускается с паперти, подходит вплотную к арестованным офицерам и вдруг резким и сильным движеним срывает с одного и другого погоны. Затем, повернувшись к адъютанту, бросает коротко и повелительно:

— Повесить!

Мгновенье оцепенения. Конвой уводит офицеров.

Врангель подходит вплотную к группе крестьян. Он говорит то отеческим тоном доброго и рачительного барина, то повелительным тоном генерала и хозяина положения:

— Вот что, старики... не будет того, что было раньше, при генерале Деникине. Будет мир. Будет порядок. И земля будет. Пахарю нужна земля, и земля будет.

Движение в свите Врангеля.

Неподвижно стоят крестьяне.

В р а н г е л ь. Будет земля. Но не для горлопанов и лодырей, а для хорошего хозяина, для хозяйственного, справного мужика. Дадим вам землю за выкуп.

Генералы и свита напряженно глядят в лица крестьян. Крестьяне отводят глаза в землю.

Белая армия в походе. Движутся колонны войск, офицерские части, танки, броневики, пушки. Лавина белой армии катится на север, мимо кургана, где стоит Врангель со свитой. С развевающимся штандартом проходят конные полки генерала Борщевского. Рядом с Борщевским едет полковник Дюваль.

Борщевский салютует саблей.

Из свиты, окружающей Врангеля, возгласы:

— На Днепр!

— На Дон!

— На Кубань!

Оглушительное «ура».

Проходят отборные части — корпус генерала Кутасова. Сверкают клинки, склоняются знамена. Неудержимое стремление вперед. Оглушительные крики:

— На Киев!

— На Ростов!

До сих пор неподвижный, Врангель вдруг протягивает руку вдаль, на север, и кричит пронзительным звонким голосом:

— На Москву!

— На Москву! Очистим Кремль от красной нечисти! На Москву! — кричат в свите Врангеля.

Катится лавина белой армии.

Картина ночного Кремля.

Приемная кабинета Ленина. За столом секретарь-женщина пишет. Военный, лет тридцати пяти, в суконной защитной гимнастерке с малиновыми «разговорами», сидит в приемной, ждет. Он несколько волнуется.

Женщина-секретарь закуривает.

Военный *(встает)*. Эх, дайте-ка и мне папиросочку!

Секретарь *(улыбается)*. А сказали — не курите. Волнуетесь?

Военный *(с смущенной улыбкой)*. А как же вы думаете? Ленин! *(Неумело закуривает.)*

Секретарь. Он уже справлялся о вас. *(Подходит к двери в кабинет, чуть приоткрывает ее. Из-за двери доносятся резкие звуки повышенного ленинского голоса.)* Еще немножечко, и я доложу о вас. *(Приоткрывает дверь.)*

В кабинете Ленина.

Ленин, заложив руки в карманы, быстрой походкой прохаживается по кабинету. Перед ним стоит военный, крупный штабист — Семенов.

Ленин. Успокаивать и успокаивать — это плохая тактика. Выходит — игра в спокойствие. А на деле нас бьют. Прямо позор!

Семенов. Главком считает...

Ленин. Да, да, «считает»! Главком отвечает за все это. Опоздание за опозданием! Опоздали с мобилизацией тыла, опоздали со связью. В результате полная неразбериха, вместо обещанных этими вашими рисуночками побед со дня на день. Помните эти рисуночки — вы мне показывали? И я сказал: забыли, что там англичане и французы...

Семенов. Товарищ Ленин...

Ленин. Надо лучших, энергичнейших людей послать на юг, а не сонных тетерь. А то, пока вы там спите, Врангель вышибет нас с Украины и Донбасса. Так нельзя...

Ходит по комнате. Семенов мрачно молчит. Входит секретарь.

Секретарь. Прибыл из Туркестана товарищ Фрунзе...

Ленин. Прекрасно! *(Он вслед за секретарем быстро идет к двери, высовывает голову.)* Пожалуйте, пожалуйте, Михаил Васильевич!

Фрунзе у двери в волнении оправляет гимнастерку, входит. Ленин энергично трясет его руку.

Ленин. Рад, очень рад вас видеть. Именно и особенно вас.

Фрунзе *(смущенно)*. Здравствуйте, Владимир Ильич...

Ленин. Вы прямо с поезда? Здоровы? У меня есть сведения, что вы с тех времен подцепили какую-то зверскую болезнь желудка?

Фрунзе *(смущенно)*. Спасибо вам большое. Я прекрасно чувствую себя.

Ленин. Познакомьтесь. Уполномоченный главкома при штабе Южфронта — товарищ Семенов.

Фрунзе *(живо)*. Как, из Харькова? *(Знакомятся.)* Ну, как там?

Семенов *(чуть пожимает плечом)*. Все то же. *(К Ленину.)* Прикажете уйти или могу остаться?

Ленин. Теперь со всеми вопросами обращайтесь вот к нему. *(Указывает на Фрунзе.)*

Семенов. Понимаю. *(С достоинством кланяется, выходит.)*

Ленин и Фрунзе в креслах за столом.

Ленин *(указывает на карту на стене)*. Как вам все это нравится? А?

Фрунзе. Да, положение трудное.

Ленин. Архитрудное! Народ обнищал, устал, крестьянство ропщет на продразверстку, армия не оправилась от тяжелейшей польской кампании, голодна, раздета, разута, железнодорожный транспорт разрушен. И дело идет к зиме.

Фрунзе. Говорят, англичане и французы чудовищно укрепили Перекопский перешеек?

Ленин. Еще бы! Они дают Врангелю все: снабжение, снаряжение, аэропланы, танки, деньги, — все. Последняя отчаянная попытка восстановить власть помещиков в России, и все для того, чтобы укрепить падающую власть, власть английских и французских эксплуататоров во всем мире. И заметьте! Керзон ставит условием торговых переговоров с нами, чтобы мы не трогали Врангеля. Каково? А? *(Ленин весело, заразительно хохочет.)* Дескать, пока будем разговаривать, вас, может быть, побьют!..

Фрунзе *(в волнении встает, быстро идет к карте)*. Владимир Ильич! Простите, если я что скажу не так. Но я давно и не без досады наблюдаю за странной динамикой сжимания и разжимания крымского пузыря. *(Показывает на карте.)* Тактика эта не только глупа, она преступна. Не лучше ли, раз армия Врангеля вылезла за перешеек, ударить ей в тыл, вот здесь, через Днепр, на Каховку и отрезать ее от перешейка? Вот так! *(Показывает по карте.)* Насколько мне известно, таков и был план товарища Сталина. Почему он не выполнен?

Ленин. Почему? Я сам только что спрашивал вот у этого господина *(показывает на место, где стоял Семенов)*. Сталин, к сожалению, заболел. А некоторые господа при главном командовании, кажется, утеряли элементарное представление об интересах революции и фронта. Я вам вот что скажу: если мы в кратчайший срок, в два месяца максимум, не ликвидируем Врангеля, он с помощью англичан и французов ликвидирует советскую власть. Так стоит вопрос. Скажите мне совершенно от-

кровенно: чувствуете ли вы себя в силах справиться с этим делом?

Фрунзе. Да, я готов взять это на себя.

Ленин. Другого ответа я от вас и не ожидал.

Фрунзе. Благодарю вас за доверие. Но...

Ленин. Что?

Фрунзе. Поскольку товарищ Сталин болен, я прошу возможности во всех трудных случаях сноситься непосредственно с вами.

Ленин. Хорошо. С чего вы думаете начать?

Фрунзе. Я думаю прежде всего убедить украинского крестьянина в том, что ему выгоднее помочь нам, чем идти под неслыханное зверское иго Врангеля.

Ленин. Правильно! Все английские газеты вопят о новой крестьянской политике Врангеля. Нечто вроде столыпинских хуторов. Хитро? Да мужика они не обманут! И рабочие Донбасса помогут вам. А затем?

Фрунзе. Затем — отчаянно смелое, бесповоротно решительное наступление. До полного разгрома врага.

Ленин. Именно! Только с разгромом Врангеля мы сможем приступить к организации социалистического хозяйства. А то ведь курам на смех! Вот, изволите ли видеть *(берет со стола бумажку)*, только что подписал распоряжение о производстве опытов по использованию шишек для топлива...

Фрунзе *(удивленно)*. Каких шишек?

Ленин. Обыкновенных. Сосновых и еловых. *(Хохочет.)* Нечем топить, батенька! Вы очень и очень утешили меня. Что еще вам нужно?

Фрунзе. Нужна конница. Много конницы и очень срочно.

Ленин нажимает кнопку звонка. Входит секретарь.

Ленин. Запишите, пожалуйста *(диктует)*: «Ворошилову и Буденному. Крайне важно изо всех сил ускорить продвижение Первой Конной армии на Южфронт. Прошу принять все меры, не останавливаясь перед героическими. Телеграфируйте, что именно делаете. Ленин». *(Обращается к Фрунзе.)* Ворошилова помните?

Фрунзе. Лично не доводилось видеть.

Ленин *(лукаво)*. Как? Совсем не знаете?

Фрунзе. Знать-то знаю, да не встречал.

Ленин *(еще более лукаво)*. Ну вот встретитесь.

Фрунзе. Я очень вам благодарен, Владимир Ильич.

Они стоя жмут друг другу руки.

Ленин. Желаю вам скорой победы.

Фрунзе. Благодарю вас, Владимир Ильич.

В приемной в нетерпении, мрачный, ожидает Семенов. Фрунзе выходит необыкновенно возбужденный и жизнерадостный.

Семенов. Ну, что?

Фрунзе. Ильич — это... это... Он умеет такое вложить в душу! Да вы, поди, знаете это лучше меня.

Семенов *(мрачно)*. Да, уж...

Фрунзе. Ночью же выезжаем. *(Секретарю.)* Прощайте, родная моя.

Секретарь. Всего вам счастливого.

Местечко на юго-западе. Одноэтажный дом. Вывеска: «Больница». Боец водит трех взмыленных коней.

В палате, на больничной койке, лежит обросший бородой человек с забинтованной головой. Глаза блестят от жара. Он тяжело ранен, при смерти.

У койки стоят Ворошилов и Буденный.

Ворошилов. Пришли с тобой проститься, Кузьмич. Срочно выступаем. Сегодня.

Кузьмич. Куда?

Ворошилов. В Крым, на Врангеля.

Буденный. Пока бились мы с панами, нарывала у нас старая болячка в Крыму. Есть приказ Ленина — будем крымскую болячку лечить.

Кузьмич. Приказ Ленина?.. *(С трудом говорит.)* Остаюсь, значит, я один... как подбитый конь. Обида... Климент Ефремович... Деникина вместе били, панов били... а тут, когда все товарищи мои... Как же мои хлопцы без меня... *(Помолчал.)* Возьми меня отсюда, Климент Ефремович... в тачанке отлежусь, как под Ростовом... Помнишь?

Пробует приподняться, но лицо искажается от невыносимой боли.

Буденный. Ну что ты, Кузьмич... как дитя малое... Тут у тебя доктора, покой... отлежишься.

Ворошилов. А хлопцы твои тебя не забудут. Посчитаются с Врангелем за твои раны... Не забудет тебя Конная армия... *(Тихо, как бы про себя.)* И народ тебя не забудет... *(Целует умирающего.)* Прощай, Кузьмич.

Спасибо тебе за верность рабочему делу, за храбрость, за товарищество...

Умирающий лежит неподвижно, закрыв глаза.

Ворошилов и Буденный тихо выходят.

У входа в больницу. Ворошилов и Буденный идут к коням.

Буденный. Значит, с новым командующим? Ты его знавал? Фрунзе-то?

Ворошилов. Видать не приходилось.

Буденный. Дай бог хорошего командующего на счастье!

Ворошилов. Дай бог!

Вскочили в седла, помчались во весь опор.

Большая железнодорожная станция. Эшелоны на путях, гудки паровозов. Длинный, разукрашенный плакатами на боевые и антирелигиозные темы состав агитпоезда. На вагонах лозунги: «Даешь Врангеля!», «Смерть крымскому разбойнику!»

Вагон-сцена агитпоезда: длинный американский вагон с раздвижными стенками. Занавес поднят. Идет пьеса из времен Французской революции. Толпа санкюлотов окружила аристократку. Выкрики: «На гильотину!», «На гильотину!» Аристократка, в дешевых кружевах, дико визжит.

Перрон станции заполнен вооруженными бойцами. Среди красноармейцев группы крестьян с узлами, сундучками, детьми. Мы видим Катерину Голубенко, девушку, которая убегала в степи от врангелевцев. Возле нее красноармеец Матвеенко. Все весело хохочут над визжащей аристократкой.

Матвеенко. Не любит! Немало поизмывались они над нашим братом шахтером при старом режиме.

Катерина. А сейчас? Врангелевцы чего только с народом не делают! Шомполами бьют, казнят, весь народ разогнали, семьи разлучили... И чего вы смотрите, военные люди! (*Вдруг закрывает глаза уголком платка.*)

Матвеенко смущен. Рядом злой, изможденный, небритый красноармеец говорит:

— Попробовала бы сама. У него вон — танки, пушки, а у нас ни шила, ни мыла.

Катерина (*с яростью*). И пойду! Сама пойду! Тоже вояки у советской власти! Говори, куда идти? Ну?

Рябой красноармеец, несколько смутившись, говорит:

— Нам в Красную Армию баб примать правов не дадено... Вот товарищ командир, — указывает он на приближающегося сквозь толпу начальника агитпоезда Кузнецова, — к нему и обращайся...

Катерина встает Кузнецову навстречу:

— Вы здесь старший будете?

Кузнецов видит перед собой девушку с вещевым мешком за плечами. У нее красивое, сильное лицо.

— А что? — спрашивает он.

— Могу я записаться на фронт?

Он не воспринимает это всерьез и, подмигнув окружающим, говорит:

— А не хочешь ли к нам на агитпоезд? Мы из тебя артистку сделаем.

Она изумлена тем, что ее могли так оскорбить. Вокруг хохочут. Кузнецов идет дальше.

Станционное кирпичное здание, превращенное в штаб группы войск. Доносятся паровозные свистки. Красный флаг над крыльцом. На крыльце дневальный.

Два всадника промчались через железнодорожный переезд и на всем скаку осадили у крыльца лошадей. Один бросает поводья другому, взбегает на крыльцо. Это командир одного из полков группы войск Ястребова. Его зовут Куцыба.

Дневальный перегораживает ему дорогу. Куцыба отпихивает его:

— Пшел!.. Не видишь?

Исчезает за дверью.

В кабинете — командующий группой Ястребов. Ястребов, в ярости, стоит весь ощетинившись. Перед ним Куцыба, смущенный, потный, с заломленной папахой и плетью на кисти, тяжело дышит. Секунду стоят молча.

Ястребов *(хрипло)*. Что? Не томи...

Куцыба. Голубовку сдали.

Ястребов. А!.. Зарезал! Подвел ты меня под петлю!

Вдруг он бросается к окну, всматривается, оборачивается к Куцыбе, яростно машет рукой.

— Иди, иди, ради бога! Вызову, когда надо будет!

Куцыба идет, в дверях разминулся с Семеновым.

Ястребов бросается к Семенову, обеими руками хватает его за руку.

— Николай Васильевич! Откуда? Беда! Наши оставили Голубовку.

Семенов *(спокойно)*. Голубовку? Значит, прорываются на Юзовку, в Донбасс? Прекрасный подарок новому командующему!

Ястребов. Какому командующему?

Семенов. Товарищу Фрунзе.

Ястребов. Фрунзе?

Семенов. Да, мы только что прибыли, сейчас он будет здесь.

Ястребов. Шутить изволите, Николай Васильевич.

Семенов. А вы что, собственно, волнуетесь? Сила солому ломит. Так и скажите товарищу Фрунзе. Без ничего и никого воевать нельзя. Понимаете?

Ястребов. Не морочьте мне голову!

Семенов. Ага, напугались! Мой вам совет: сделайте вид, будто ничего не случилось. Этот командующий даже ротой не командовал на самом деле. Вся его военная подготовка — стрелял в урядника где-то в Иваново-Вознесенске в девятьсот шестом, что ли, году, да и то — неудачно.

Ястребов стоит с глупым лицом. Семенов, склонившись к нему, быстро говорит:

— Слушайте меня, я только что из Москвы. Сталин болен. Вся полнота власти на фронте в руках у Фрунзе. Есть негласная директива: отстаивать только оборонительные действия — вести дело к зимней кампании. Понятно?

Ястребов. Чья директива?

Семенов. Такие вещи вслух не говорят... Пользуюсь случаем передать вам личный привет от Льва Давидовича.

Ястребов. Вон что! *(Он вдруг весь переменился, в нем — соединение офицерского щегольства с лжепартизанскими манерами.)* Скажите Льву Давидовичу, он может до конца положиться на товарища Ястребова!.. *(Напыщенно говорит он. И лихо кричит в дверь.)* Купцыба!..

Снова агитпоезд, продолжается спектакль.

На путях позади вагона-сцены толпятся актеры, ожидающие выхода: Марат, Дантон, Шарлотта Корде, ари-

стократы, ремесленники. Сбоку вагона дверь. Спускается лесенка. В дверях появляется помощник режиссера с тетрадкой и свистящим шепотом вызывает актера: «Федор Петрович, ваш выход!» С той стороны доносятся шумные одобрения зрителей. Неподалеку от актеров, меж путей, стоят составленные в козлы винтовки. Возле них, скучая, сидит на рельсе младший командир.

Через несколько путей от агитпоезда стоит недавно подошедший состав — паровоз с несколькими штабными вагонами. Окна занавешены. Паровоз под всеми парами тяжело посапывает.

Начальник агитпоезда Николай Кузнецов подходит к толпящейся и переговаривающейся группе артистов. Видит составленные в козла ружья.

— Товарищ Фенин! — говорит он скучающему младшему командиру. — Сколько раз говорено, чтобы оружие товарищей артистов не скучало без дела во время спектакля. Зря дорогое время тратишь. А нуте-ка, давайте, давайте, товарищи!

Актеры разбирают винтовки, ропща, становятся в шеренгу. Актеры и актрисы в костюмах с винтовками в руках делают ружейные приемы.

— На пле-чо! — кричит Фенин.

В шеренге вразнобой неумело берут «на плечо».

— Отставить, — говорит Кузнецов, — повторить.

— Мария Ивановна, вам выходить! — ужасным шепотом свистит из дверцы вагона помреж.

Шарлотта Корде бросает винтовку на землю, бежит по лесенке.

— К ноги! — командует Фенин.

Актеры берут «к ноги».

Из штабного вагона, который стоит против упражняющихся актеров, выходит Фрунзе, начальник штаба Южфронта Белоусов и Снетков, состоящий для поручений при Фрунзе. Они видят происходящую сцену. Увлеченные Кузнецов и Фенин не замечают их.

Ф р у н з е *(удивленно)*. Что у вас тут такое?

Кузнецов недовольно оглядывается. Вдруг лицо его наполняется выражением изумления и восторга.

— Товарищ Фрунзе! Не признаете меня?!

Ф р у н з е. Черт те дери! Кузнецов? Коля Кузнецов?

К у з н е ц о в *(взяв под козырек)*. Товарищ Фрунзе, агитпоезд имени товарища Калинина показывает бойцам

пьесу «Взятие Бастилии», а я провожу занятия с артистами.

Ф р у н з е *(Снеткову).* Узнал?

С н е т к о в. Еще бы не узнать! Ведь я его еще таким помню...

Ф р у н з е. И где только не встретишь земляков — иваново-вознесенцев! Вместе вот были под Уфой. *(Кузнецову.)* Ведь вы были ранены тогда? *(Жмет его руку и полуобнимает его.)* Скажи, пожалуйста, чего не бывает с людьми! Был командиром взвода, а стал, кажется, режиссером, а? *(Смеется.)*

«Аристократка» в шеренге вдруг выступает вперед, говорит с беспредельной решимостью:

— И никакой он не режиссер! Режиссер наш — вот он, — указывает она на Марата. — А он — начальник агитпоезда. Велит всем актерам и актрисам на спектакль брать с собою винтовки, выделывать всякие артикулы. Вот так! — утрируя, показывает она. — Ужасно же глупо! Помогите нам, будьте добры, товарищ Фрунзе.

Фрунзе смотрит на шеренгу актеров, потом на Кузнецова и громко, по-детски, хохочет. Вокруг все смеются.

К у з н е ц о в. Я думаю, товарищ Фрунзе, агитпоезд всегда может попасть во вражеское окружение и актер должен владеть оружием, а не строить над этим смешки...

Ф р у н з е. Верно... *(Обращается к актерам.)* У вас что — спектакль? *(К Белоусову.)* Давайте-ка посмотрим, кстати с народом поговорим. *(С улыбкой обращается к актерам.)* Товарищи, уверяю вас, товарищ Кузнецов прекрасный человек. Я его видел в очень тяжелых положениях. Но он человек глубоко военный и здесь, на агитпоезде, ему скучно. Мы найдем способ исправить это недоразумение и к его и к вашему удовольствию. Большое вам спасибо, товарищи. До свидания. *(Отдает под козырек.)*

Актеры радостно прощаются:

— До свидания, товарищ Фрунзе!

— Пожалуйста, посмотрите наш спектакль!

На сцене фронтового театра. Только что кончился акт. Актеры раскланиваются. Ближе к сцене, на перроне, еще хлопают в ладоши, шумят. Но толпа все больше скопляется у того места, где стоит Фрунзе и сопровождающие его.

Фрунзе, Белоусов, Кузнецов, Снетков на перроне, среди красноармейцев и беженцев. Тут же Матвеенко и Катерина.

— Вы здесь будете самый старший? — говорит Катерина, обращаясь к Фрунзе. — Скажите мне правду, берут у вас женщин на войну? Не то я вот просилась у товарища, — указывает на Кузнецова, — а он говорит: иди на агитпоезд, я из тебя артистку сделаю...

Фрунзе *(с усмешкой)*. Вот он какой!

Кузнецов *(крайне смущенный)*. Я думал, она в шутку. Разве б я позволил обидеть женщину.

Фрунзе. То-то не понял. *(К Катерине.)* Как вас звать?

— Катерина.

— А по батюшке?

— Тарасовна.

Фрунзе. Откуда вы?

Катерина. С деревни Строгановки. С-под самого Сиваша.

Фрунзе. Ах вот как! Правду говорят, что через Сиваш нельзя ни перейти, ни переплыть?

Катерина. Когда как... Надо броды знать.

Фрунзе. Значит, можно все-таки?.. Это что ж — все беженцы?

— Беженцы мы, с-под Джанкоя, — отвечает один.

— А мы с Мелитополя, — поддерживает другой.

— А вы? — спрашивает Фрунзе у татарина в тюбетейке.

— А мы — крымский татар, — говорит тот.

Уже вся толпа на перроне обступила их. Задние лезут на передних: «Фрунзе», «Где Фрунзе?», «Новый командующий», «Да тише вы, дайте послухать», «Фрунзе, Фрунзе»...

Фрунзе *(к татарину)*. Как там барон Врангель поживает?

Старик татарин. Живет-поживает... Все забрал — хлеб, табак, шерсть. Англичанину, французу отдал. Народ совсем голым, бедным стал.

Катерина. Согнал народ с земли, весь народ уходит!

Фрунзе. Неужто весь? Так-таки никто не остался?

Катерина. Как не остались! Остались, старые да малые. Да еще у кого добрые кони, овцы да земли десятин двадцать — сорок, те и остались.

Фрунзе. Как же они Врангеля не боятся?

Катерина. А чего им Врангеля бояться? Ему, такому, ничего не надо, у него все есть.

Татарин. Врангель его не обидит, и он Врангеля не обидит.

Фрунзе. Вот как! Это очень хорошо. На этом Врангель голову сломит. Настоящий крестьянин-труженик никогда его не поддержит...

— А Антанта? — спрашивает уже знакомый нам бородатый злой красноармеец. — Она, брат ты мой...

Фрунзе. Думаю, что и Антанте не совладать с нашей советской властью.

Катерина *(с сердцем)*. С советской властью! Что советская власть? И что вы смотрите, военные люди? Лучше уже умереть с винтовкой, чем терпеть эдакий срам!

Фрунзе. Вот видите! И многие так думают, в этом наша сила.

Матвеенко *(вмешивается в разговор)*. Можно к нам ее в часть?

Фрунзе. А вы из какой части?

Матвеенко. Мы в Юзовке стоим. Сам я юзовский шахтер.

Фрунзе. Крепко стоите?

Матвеенко. Плохо дело, товарищ Фрунзе. Слух идет, враг пробился на Голубовку, где его и не ждали вовсе.

Фрунзе. Как? *(К Белоусову.)* Вы знали об этом?

Белоусов. В первый раз слышу...

Злой красноармеец. Ага? Об чем я говорил!

Фрунзе *(весь загорелся, с внезапной решимостью)*. Товарищи!..

На перроне все стихает. Старик татарин, пододвигая к Фрунзе сундук:

— А ты стань на сундучок, видней будет...

Фрунзе. Товарищи красноармейцы... Я передаю вам братский привет ваших боевых товарищей только что оставленного мной Туркестанского фронта, где красные полки стоят ныне грозной стражей рабочей России, у самого преддверия Индии!.. Наша измученная, изголодавшаяся сермяжная Русь жаждет мира, чтобы скорей взяться за лечение нанесенных войной ран. И вот на пути к миру она встречает крымского разбойника барона Врангеля. Это тот самый Врангель, который продает все

богатства страны английским и французским ростовщикам и тем покупает их подлую кровавую помощь! Это тот Врангель, который пробивает дорогу к царскому трону через горы трупов рабочих и крестьян! Товарищи красноармейцы! Не для захвата чужих земель, не для ограбления иноземных народов послала вас, своих детей, трудовая Русь под ружье. Она послала вас защищать и спасти свободу, счастье, жизнь трудового люда, свободу, счастье и жизнь наших детей. Наш удар должен быть стремительным и молниеносным. Смерть Врангелю! Слава бойцам нашей непобедимой армии! Ура!

Призывно поднимает обе руки со сжатыми кулаками.

Тишина взрывается громом приветствий, криками «ура». Красноармейцы вздымают оружие. Лица красноармейцев одухотворены. На лице Матвеенко слезы.

К штабу группы войск Ястребова подходит Фрунзе в сопровождении Белоусова, Кузнецова, Катерины, Снеткова.

Дневальный на крыльце не пускает Фрунзе:

— Пропуск!

Фрунзе. А где его можно получить?

Дневальный. Чего?

Фрунзе. Я спрашиваю, где дают пропуска?

Дневальный. Не велено пропускать, и все.

Фрунзе. А если человек по срочному делу? Время военное.

Дневальный. Надо докладывать.

Фрунзе. Кто ж кому будет докладывать?

Дневальный. Стало быть, вы мне.

Фрунзе. Хорошо. А потом?

Дневальный. А потом, стало быть, я пойду доложу начальству.

Фрунзе. Пока вы будете ходить, я войду в штаб, а со мной еще человек двадцать пять, и мы что захотим, то и сделаем. Как же так?

Дневальный *(улыбается)*. Где же они твои двадцать пять? Выдумают тоже.

Вдруг распахивается дверь, на крыльцо выскочил Ястребов.

— Дурак! — кричит он на дневального, весь налившись кровью. — Пожалуйста, Михаил Васильевич...

Фрунзе быстро взглянул на него, наклонил голову, прошел, за ним остальные.

Они идут через канцелярию. Грязно. На полу окурки, плевки. Фрунзе оглядывает работающих людей.

— Что это у вас здесь? — спрашивает он.

— Канцелярия штаба.

— Можно, чтобы товарищи *(указывает на Кузнецова и Катерину)* подождали здесь?

Ястребов делает жест: «Какой может быть разговор?»

Фрунзе, Белоусов, Снетков, Ястребов проходят в пустую комнату, заменявшую приемную Ястребова. Фрунзе останавливается, спрашивает:

— Простите, вы мне не назвали себя.

— Ястребов, Степан Алексеевич.

Фрунзе. Вы очень грубо и несправедливо обругали бойца. А между тем виноват не он, а кто-то другой. Виноват тот, кто неправильно организовал охрану штаба.

Ястребов. Ну-у, Михаил Васильевич! Да у меня ж с этой бражкой...

Фрунзе. Это — во-первых. Во-вторых, я не в гости к вам приехал чаи распивать. Вам нужно было отрапортовать по должности, по всей форме, тем более в присутствии бойца.

Ястребов стоит весь багровый.

Фрунзе. И, наконец, у вас очень грязно в штабе. Надо подметать... Извините... Давайте познакомимся. *(Протягивает Ястребову руку.)* Что у вас нового?

Ястребов. Да что нового? Положение неважное, а нового ничего нет.

Фрунзе несколько мгновений удивленно и изучающе смотрит на него, все четверо проходят в кабинет.

В кабинете Ястребова. Сидят: Фрунзе, Ястребов, Семенов, Белоусов, Снетков. Фрунзе у стола спокойно и внимательно, точно изучая его, смотрит на стоящего перед ним Куцыбу.

Фрунзе. Расскажите, как вы сдали Голубовку?

Куцыба чуть покосился на Ястребова. Ястребов непроницаем.

Куцыба. Бойцы геройски бились, товарищ командующий... Не сдюжили...

Фрунзе. Почему вы вовремя не попросили подмоги у товарища Ястребова, не сообщили в штаб фронта наконец?

Ястребов *(вмешиваясь)*. Товарищ Фрунзе! Части отступают, сдерживая врага на огромном пространстве. Взаимодействие частей нарушено, связи почти нет.

Фрунзе. Зачем же вы шляетесь по степям без толку, без плана? Подумали ли вы о том, что значит для страны потерять донецкий уголь?

Ястребов *(обиженно)*. Рассуждать легко, а пушек нет, снарядов нет, людям жрать нечего.

Фрунзе. Выходит то, что произошло, было неотвратимо?

Ястребов. Не заслужил товарищ Ястребов такого вашего отношения. В штабах сидючи, легко рассуждать, а бойцы товарища Ястребова в это время кровь проливают.

Фрунзе. И зря проливают, без пользы. *(К Семенову.)* Как ваше мнение?

Семенов. Подтверждается только то, о чем я вас предупреждал: здесь виноват не Ястребов, а вся эта злосчастная обстановка.

Фрунзе *(к Белоусову)*. И вы так думаете?

Белоусов *(несколько смущенно)*. Гм... Все дело в кадрах, товарищ командующий. *(Покосился на Куцыбу.)* Ведь там лучшие французские офицеры, отборные русские офицерские части, а у нас... *(Запнулся.)*

Фрунзе. А у нас?

Белоусов. Можно судить по результатам, товарищ командующий.

Фрунзе. Так... *(Подумал.)* Скажите, товарищ Куцыба, есть в вашей части комиссар?

Куцыба. Как я сам из партизан, так что комиссара нет.

Фрунзе *(встает, быстро подходит к двери и, приоткрыв ее, кричит)*. Товарищ Кузнецов.

Те же и Кузнецов.

Фрунзе *(Ястребову)*. Рекомендую вам товарища Кузнецова в качестве комиссара в полк вот к нему. *(Указывает на Куцыбу.)* Вы согласны? *(Спрашивает Кузнецова.)*

Кузнецов. В огонь и в воду, Михаил Васильевич.

Фрунзе *(Куцыбе)*. А вы?

Куцыба молчит. В это время отворяется дверь, и робко входит Катерина.

Фрунзе. А, Катерина Тарасовна! *(Обращается к остальным.)* Девушка очень хочет воевать. Может быть, определим ее тоже в часть к товарищу Куцыбе?

Катерина. Спасибо вам. *(Она низко кланяется в пояс.)*

Фрунзе *(Куцыбе)*. Враг не должен быть в Юзовке. Вы поняли меня?

Куцыба *(хрипло)*. Понял.

Фрунзе *(Кузнецову)*. Вы поняли меня, товарищ Кузнецов?

Кузнецов. Понял, товарищ командующий.

Фрунзе *(обращаясь ко всем)*. Мы должны осуществить на фронте коренной перелом, товарищи. Завтра, на двадцать четыре часа, назначено военное совещание в штабе фронта. Прошу всех прибыть. Товарищ Снетков... Немедленно по прямому проводу вызовите товарища Ворошилова в штаб фронта.

Колокольня сельской церкви. На колокольне наблюдатель — Катерина Голубенко. Она в солдатском ватнике, юбке, башмаках с обмотками, возле стоит винтовка.

Некоторое время она смотрит в бинокль, потом, заслышав скрип шагов по лестнице, опускает бинокль, оглядывается.

Появляется Кузнецов. Он угрюм и взволнован.

Кузнецов. Ничего не видать?

Катерина. Нет пока.

Кузнецов садится на ступеньку.

Кузнецов. Душа не на месте. Давно б уже надо выступать, а мы все стоим. Говорит — приказу нет, а дорога на Юзовку свободна. Что, ежели он — подлец? Что я Михаилу Васильевичу скажу? И ни одного коммунара в полку. Тоже — часть!.. А ты гляди, гляди, ты меня не слушай. *(Катерина смотрит в бинокль.)* Я ведь почему с тобой говорю? Потому, что я тебе верю. Я, может быть, таких вещей рядовому бойцу говорить не должен. Но у меня к тебе вера. Я тебя считаю за полную коммунарку. Я тебе верю...

Катерина *(вдруг вскрикивает)*. Гляди, гляди, что там показалось, на шляху! *(Передает бинокль.)*

Кузнецов *(смотрит и в страшной ярости кричит)*. Продал, подлец! Это ж беляки! Так я и знал! Мимо нас, прямо на Юзовку... Подлец! Подлец! *(Опрометью бросается вниз по лестнице, за ним Катерина.)*

Довольно чистая, обжитая хата. Знамя прибито за концы на стене. На знамени надпись: «Первому непобедимому имени товарища Ястребова полку», «Смерть врагам революции!».

На кровати сидит командир полка Куцыба. Он без сапог, в расстегнутой гимнастерке. На скамье, на табуретах сидят батальонные и ротные командиры его полка. Одни из них в матросских бескозырках и богатых шубах, другие в драгунских и пехотных мундирах, без погонов. По тому, как они одеты и как себя держат с командиром полка, видно, что полк с партизанским душком.

Куцыба. Тут, стало быть, сижу я, тут товарищ Ястребов, а тут командующий...

Один из командиров. Кто?

Куцыба. Товарищ Фрунзе. «Вы, говорит, товарищ Куцыба, командир первого непобедимого полка?» — Я, говорю, а сам поглядываю на нашего ясного сокола, на Стеночку...

Голос. На кого?

Куцыба. На Ястребова. А он молчит, будто не его это дело. Тут встал я, значит, и говорю: «Вы, говорю, товарищ командующий, хотя и старый военный, в старой армии имели большой чин...»

Распахивается дверь, в хату врывается Кузнецов, за ним Катерина.

Кузнецов. Проспали, товарищ командир! Беляки идут шляхом на Юзовку. Немедля подымай полк!

Все встают. Один Куцыба неподвижен.

— Да не может того быть! По диспозиции-то никак не выходит. Видно, чевой-то вам померещилось, товарищ комиссар.

Кузнецов. Да как ты можешь... Вон у нее спроси!

Катерина. Истинная правда, товарищ командир. Кавалерия идет шляхом на Юзовку.

Куцыба. Только тихо! Зачем панику разводить. Может, то наша кавалерия...

Кузнецов. Товарищ Куцыба! Не время разговаривать! Немедля подымай людей!

Куцыба. Святой воинский долг — блюсти дисциплину. У меня приказа нет, выступать я не могу.

Кузнецов. Ах, ты вот какой? Товарищи командиры! Не слушайте его. Все по своим местам! Я сам поведу полк под свою ответственность...

Куцыба. Замолчь! С каких это пор взял ты моду подбивать бойцов супротив высшего командования?

Кузнецов *(яростно)*. Это ты нарушил приказ высшего командования, приказ товарища Фрунзе. Ты есть для меня предатель, а не командир! Там люди наши погибают. За мной, товарищи! *(Бросается к двери.)*

Командиры в замешательстве.

Куцыба. Задержать его! Арестовать!

Кузнецова схватывают у дверей. Он вырывается. Ему скручивают руки. Он кричит:

— Подлец! Подлец!

Катерина смотрит на все расширенными от ужаса глазами.

Салон-вагон Фрунзе. Ранний вечер. Закатное солнце бьет в окно. Где-то на путях в эшелоне поют:

Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон.
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней...

Фрунзе, по-портняжьи поджав под себя ногу, изучает карту. Изредка он поглаживает свой бобрик. Иногда мурлычет песню, мотив которой доносится сюда, в салон-вагон.

Входит Снетков:

— Михаил Васильевич, кашки гречневой.

Фрунзе. Что ж, давай кашки.

Они сидят за столом и деревянными ложками уплетают кашу.

Снетков. Плохо дела-то идут?

Фрунзе. Пока — плохо.

Снетков. Эх, помню, в Иванове, при проклятом-то капитализме, был ты, Михаил Васильевич, еще совсем молодой и очень ты был беззаботный.

Фрунзе. Разве я уж так стар?

Снетков. Очень ты тогда за одной аптекаршей ударял.

Фрунзе *(смеется)*. Чудак. Мне не аптекарша нужна была, а аптека. Для чисто конспиративных целей.

Снетков. Рассказывай...

Фрунзе *(откладывает ложку, смотрит на Снеткова)*. Плохие люди есть среди нас, Иван Петрович. Ты замечал?

Снетков. Еще бы не замечать! А ты плохих гони. Ищи хороших.

Фрунзе. Вот что — позови-ка ко мне товарища Белоусова.

Фрунзе один в салон-вагоне. Входит Белоусов. Почтительно, по-военному опустив руки, останавливается в дверях.

Фрунзе. Войдите, Петр Степанович, присаживайтесь..

Белоусов проходит, садится.

Фрунзе. Вам сколько лет, если не секрет?

Белоусов. Пятьдесят один. Я выпуска девятисотого года.

Фрунзе. А по роду оружия?

Белоусов. Пехота. Был подполковником.

Фрунзе. По возрасту вам генералом бы надо быть. А? *(Смеется.)* Вы в шахматы играете?

Белоусов. С удовольствием... Да... что ж, знаете ли, батюшка мой из военных писарей, трудно было попасть в академию.

Они расставляют фигуры, разговаривают.

Белоусов. Позвольте вас спросить, товарищ командующий...

Фрунзе. Вот что, Петр Степанович, разговариваем мы с вами не в служебном порядке, и я бы чувствовал себя проще, если бы вы называли меня попросту Михаилом Васильевичем.

Белоусов. Хорошо. Я вот что хотел спросить: вы человек без военного образования, насколько я знаю, откуда же, разрешите спросить, ваши военные познания? Где-нибудь вы все-таки обучались?

Фрунзе. Главным образом в тюрьме, Петр Степанович. Особых дел в тюрьме, как известно, нет. Вот и почитывал Клаузевица, Жомини. Не говоря уже об Энгельсе... Не боги горшки обжигают!

Они расставили фигуры, молча играют.

Фрунзе. Петр Степанович! Скажите мне прямо и откровенно, как русский военный человек: во всем ли вы согласны с планами, которые развивает товарищ Семенов и поддерживают близкие к нему люди, в частности товарищ Ястребов?

Белоусов молчит.

Фрунзе. Я жду ответа, Петр Степанович.

Белоусов. По правде говоря, я с ними вовсе не согласен. Это — планы капитуляции.

Фрунзе. А почему же молчали? Получается, будто поддакиваете?.. Нехорошо.

Белоусов. Видите ли... Видите ли, Михаил Васильевич... Кто я? Военспец. В прошлом — золотопогонник. А ваши споры — отражение других, более глубоких споров, в которые вы меня не посвящаете, о которых я могу только догадываться. Да и вообще с моим мнением могут не посчитаться.

Фрунзе. Вот видите, как вы нас, большевиков, неправильно понимаете. Клаузевиц был повыше вас чином. Прусский генерал! А с ним мы считаемся, да еще как... Не бойтесь! Никогда ничего не бойтесь, говорите по совести, по правде... Военный человек, Врангеля и Антанты не боитесь, а правду сказать боитесь!..

Белоусов *(подумал)*. Да, возможно, вы правы. И я рад, что вы мне это сказали.

Фрунзе. Теперь я скажу вам, зачем я вас вызвал. Скажите мне так же откровенно: уверены ли вы, что Ястребов не пустит в Донбасс части генерала Борщевского?

Разрыв снаряда. Еще два разрыва. Из-за дыма вырисовывается покосившаяся, наполовину оторванная вывеска железнодорожной станции Юзовка.

Еще падают снаряды. Взрывается цистерна с нефтью. Между путями и по путям скачут белые всадники.

Рота красноармейцев отстреливается в переулке поселка. Мы видим потемневшее от порохового дыма, крайне усталое, но мужественное лицо Матвеенко. Он яростно отстреливается.

Налетела белая конница. Рубит красноармейцев. Множество всадников соскакивает с коней, хватает

красноармейцев. Трое схватили Матвеенко, подмяли его под себя.

Одинокий вагон в тупике. Из вагона волокут лысого, одетого во френч человека благообразной наружности. Он потерял голос от страха, еле слышно хрипит:

— Недоразумение! Клянусь вам, это недоразумение! Господин офицер, клянусь...

Его волокут по путям в здание станции...

Станция. Помещение для пассажиров 1-го и 2-го классов.

Полковник французской службы Дюваль и генерал Борщевский за походным погребцом. Непринужденно беседуют среди походной штабной суеты. От отдаленных выстрелов дребезжат стекла.

Борщевский. Вот мы и в Юзовке... Как же вы все-таки представляете себе карту будущей России?

Дюваль. В общих чертах нас устраивает побережье Черного и Азовского морей... в качестве мандатной территории. Затем ваши железные дороги, чтобы обеспечить платежи России по старым и новым долгам. Хлебные области — Украина, Дон, Кубань — реализуют свой урожай с нашей помощью. Наконец, Донецкий бассейн всегда был сферой наших интересов. У англичан есть кое-какие виды в отношении Баку...

Борщевский. Ну, Жорж Альбертович *(покрутил головой)*... даже я считаю ваши дезидераты несколько преувеличенными.

Дюваль *(с нескрываемой иронией)*. Даже вы?

В это мгновение оглушительно хлопает входная дверь, грубо вталкивают человека во френче — это его вытащили из одинокого вагона, стоявшего в тупике.

Офицеры, которые привели пленника, положили перед Борщевским смятые бумаги.

— Комиссар, ваше превосходительство... Притом из крупных.

Борщевский брезгливо придвигает к себе бумаги, читает:

«Всеукраинский совет народного хозяйства настоящим удостоверяет, что предъявитель сего товарищ Быков, Николай Николаевич, есть действительно уполномоченный Главтопа по Юзовскому району...»

Борщевский *(отодвигает бумагу. Повернулся к офицеру)*. Багажные веревки есть?

Офицер. Найдутся, ваше превосходительство.

— Повесить!

Но в это мгновение Борщевский видит повергающую его в изумление сцену. Полковник Дюваль бережно помогает подняться человеку, упавшему на пол, и произносит с уважением:

— Глазам не верю... Николай Николаевич?

Человек вглядывается в Дюваля и говорит в полном изумлении:

— Мсье Дюваль! Жорж Альбертович?..

Офицеры, которые привели пленника, до крайности удивлены. Еще более удивлен Борщевский.

Дюваль *(Борщевскому)*. Знакомьтесь — Николай Николаевич Быков — председатель правления смешанного русско-французского общества донецких рудников «Провиданс». Я сам являюсь председателем французской части правления.

Борщевский *(Быкову)*. Однако этот мандат... вы у «них» служите?

Быков. Защитный цвет, господин генерал. По бумагам — я советский служащий, инженер Быков, командированный Главтопом в Донбасс. Я сам выбрал это место *(повернулся к Дювалю)*... и, как видите, не случайно. Мы встретились.

Дюваль. И мы выбирали направление удара именно сюда. В Донецкий бассейн. И, как видите, не случайно мы встретились.

В салон-вагоне Фрунзе. Сумерки.

Фрунзе и Белоусов стоят друг против друга.

Белоусов. Я немедленно свяжусь с Юзовкой и выясню положение настолько точно, насколько могу.

Фрунзе. Благодарю вас. *(Жмет ему руку.)* Уверен, что мы с вами сработаемся. Ведь так, Петр Степанович?

Белоусов *(взволнованно)*. Так, Михаил Васильевич. И... верьте мне... *(Уходит.)*

Фрунзе некоторое время ходит, напевая «Белая армия, черный барон». Хлопнула дверь. Чуть качнулся вагон. Чьи-то голоса доносятся с конца коридора. Слышны шаги. У входа в салон появляется Ворошилов.

— Можно? — спрашивает он.

Фрунзе вглядывается в Ворошилова и вдруг срывается с места:

— Володя!

— Арсений! — изумленно и радостно воскликнул Ворошилов.

Они обнялись, поцеловались и, откинувшись, снова посмотрели друг на друга.

Фрунзе. Подумать только, четырнадцать лет! С самого стокгольмского съезда!

Ворошилов. Да, да. Помнишь эту гостиницу дешевую и этот шнапс или шнель-клопс, или черт его знает, как его там звали, и как мы проговорили всю ночь о России, и эту речь Ильича на другой день? И вдруг — вот здесь, в такое время... Да ты как сюда попал?

Фрунзе. Да, да! Вот уж никак не ожидал! Вот они как повернулись дела в России-матушке!

Ворошилов. Чудесно! Да ты как сюда попал?

Фрунзе. Как! Назначили.

Ворошилов. Великолепно. Ты мне в аккурат и объяснишь, где я могу сейчас Фрунзе найти.

Фрунзе. Зачем он тебе?

Ворошилов. Да я по его вызову. Бросил армию и прилетел сюда сломя голову на паровозе.

Фрунзе. Позволь, позволь, — ты, случайно, не Ворошилов?

Ворошилов. Он самый!

Фрунзе. Так это я тебя и вызывал. *(Хохочет.)* Понимаю теперь, почему Ильич так лукаво улыбался, когда я сказал, что никогда не видел тебя!

Ворошилов. Значит, я попал правильно.

Оба смеются, обнимают друг друга.

Фрунзе. А здесь, брат, кое-кто встретил меня в штыки. Полный заговор.

Ворошилов. Знаем мы эти троцкистские штучки. Сталкивались с ними в Царицыне и при деникинском наступлении. Сталин ломал их железной рукой. «С врагами надо поступать по-вражески», — говаривал он.

Фрунзе. И у нас рука не дрогнет.

Ворошилов. А ежели тебе интересно знать, насколько ты можешь довериться Первой Конной армии и ее командованию, то я могу сказать: какие бы трудности и опасности ни были, можешь рассчитывать на нас до последнего нашего издыхания...

Фрунзе. Я не могу тебе сказать, с каким удовольствием я смотрю на тебя, слушаю тебя!... Нам только покончить с Врангелем! А тогда можно будет все силы отдать на то, чтобы народ наш, измученный и чудесный наш народ, впервые по-настоящему ощутил все значение Октябрьской победы, впервые начал жить по-человечески.

Ворошилов. Да, народ у нас необыкновенный! Возьми нашего рабочего, мужика! Они, брат ты мой, что хочешь вытянут, а до правды дойдут. Слышишь, как поют?

Тихо доносится:

Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон.
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней...

Вбегает Белоусов, он вне себя:

— Товарищ командующий! Товарищ командующий! Юзовка пала!

Темный железнодорожный пакгауз.

На каменном полу сидят, лежат пленные красноармейцы. Неясный свет, должно быть от железнодорожного фонаря, брезжит в щели. Видно задумчивое, грустное лицо Матвеенко. Чей-то неуверенный негромкий голос как бы про себя пробует запеть песню. Эту песню сейчас поет вся Советская Русь:

Белая армия, черный барон...

Движение среди пленных. Оглянулись на поющего. И вот к одинокому негромкому голосу присоединился другой, третий.

...Снова готовят нам царский трон...

Еще мгновение, и, поддержанная десятками голосов, песня крепнет. Она звучит вызовом, в ее словах люди обретают силу:

...Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней...

Со скрежетом откатилась железная дверь. В щели показывается офицер в кубанке. В вытянутой руке — маузер. Почти не целясь, он несколько раз стреляет в темноту, по направлению пленных. Стоны. Песня оборвалась. Мертвая тишина.

Снова в салон-вагоне Фрунзе. Ночь. Накурено. Фрунзе, Ворошилов, Буденный, Семенов, Белоусов, Ястребов, другие чины штаба и политуправления.

Все возбуждены, устали, все стоят.

Ястребов. Я сказал от сердца. Я свой долг знаю, я его выполню. Но я с планом этим не согласен. Он нам ужасное поражение несет. Ужасное!

Ворошилов. Эка заладил: ужасное да ужасное! В детстве тебя, что ли, так запугали?

Семенов. Нет, это вы боитесь посмотреть правде в глаза!

Фрунзе *(гневно)*. Вот именно — правде в глаза. У нас есть революционная армия, закаленная в гражданской войне, разгромившая Колчака, Юденича, Деникина. Повести части в решительное наступление — вот та правда, которой надо смотреть прямо в глаза... Я спрашиваю в последний раз *(к Ястребову)*, вы против?

Ястребов. Ястребов сказал свое слово.

Фрунзе. Значит — против.

Буденный. Нас, кто с Первой Конной, можете не спрашивать. Мы все «за».

Ворошилов. Правильно!

Начальник политуправления. Работники политуправления тоже «за».

Фрунзе *(к Белоусову)*. Вы?

Белоусов. Единственно верный план. И он вполне выполним, если...

Фрунзе. Если?

Белоусов. Если *все* будут выполнять его по совести.

Фрунзе *(Семенову)*. Вы?

Семенов. Как уполномоченный Главкома, не могу принять на себя ответственности за действия, которые считаю безрассудными.

Фрунзе *(властно положил на стол свою плотную ладонь)*. Ответственность возьмут на себя те, на кого она возложена рабоче-крестьянской властью. План считаю утвержденным. Приказываю Первой Конной завтра в пять часов утра переправиться на левый берег Днепра в районе Каховки, опрокинуть противника и выйти к нему в тыл у станции Федоровка, отрезав противника от перешейка. Группе войск Ястребова выбить противника из Юзовки и, сковывая корпус Кутасова, двигаться на

соединение с частями Первой Конной у станции Федоровка...

Семенов. Безумие! Как это части, только что в панике оставившие Юзовку, возьмут ее обратно?!

Фрунзе. А вот увидите!

Полк Куцыбы — в степной балке. Пасмурно. Мокрая трава. Пулеметчики лежат у пулеметов. Цепь стрелков по краю балки.

В глубине балки в окружении командиров сидит Куцыба, играет плетью. Перед ним разоруженный Кузнецов под конвоем двух ухарского вида бойцов конной разведки, с плетьми, с красными бантами на папахах. Поодаль угрюмо стоит кучка бойцов, среди них Катерина.

Кузнецов. Что, добился своего? Продал товарищей?

Куцыба. Видать, забыл ты воинский долг, бывший наш товарищ Кузнецов. Вот ужо предстанешь скоро перед судом революционного трибунала.

Кузнецов. Я революционного трибунала не боюсь. Он найдет правду.

Куцыба. Придется тебе искать правду на небе, у самого господа бога...

Некоторые из командиров смеются, другие неловко отводят глаза в землю.

Катерина во главе бойцов подходит к Куцыбе:

— Скажите, товарищ командир, за что держите под арестом товарища Кузнецова? Бойцы интересуются.

Куцыба некоторое время смотрит на нее, потом подмигивает одному из командиров своей группы:

— Убери бабу...

Командир разнузданного вида подходит к Катерине и хочет взять ее. Молодой белесый красноармеец вырывается из группы, истерически кричит:

— Не смей трогать женщину!

В это время в балке появляются верхами Фрунзе, Ястребов и Снетков в сопровождении ординарцев.

Куцыба. Смирно!

По-фельдфебельски взяв под козырек, идет к Ястребову с рапортом. Ястребов яростно мигает в сторону Фрунзе.

— Командующему! Командующему!..

Куцыба *(подскакивает к Фрунзе)*. Товарищ командующий, непобедимый имени товарища Ястребова полк...

Фрунзе. В рабоче-крестьянской Красной Армии такого полка не числится. Опустите руку. *(Вдруг замечает арестованного Кузнецова.)* Это что такое?

Куцыба. Арестован за то, что сманивал бойцов уйти с фронта и нарушил приказ высшего командования о наступлении.

Кузнецов. Лжешь, бандит! *(Порывается к нему.)*

Катерина *(бросается к Фрунзе)*. Товарищ командующий! То все неправда. Как белые на Юзовку шли, товарищ Кузнецов велел в бой идти, а вот товарищ командир его за то заарестовал. Все наши бойцы очень недовольные.

Куцыба. Лжешь, сука! Весь полк знает, что ты с ним живешь!

Красноармейцы в толпе:

— Неправда, неправда!

Фрунзе. Товарищ Куцыба, объясните, на каком основании вы не выполнили приказа об обороне Юзовки?

Куцыба покосился на Ястребова. Ястребов непроницаем.

Фрунзе. За неисполнение приказа командования смещаю вас с должности и предаю суду революционного трибунала.

Куцыба *(бойцам и командирам)*. Слыхали, братцы? Куцыбу на тот свет, в Могилевскую. А на его место золотопогонника поставят. Вот как губят революцию, братцы!

Командиры и удалые, ухарского вида хлопцы, телохранители Куцыбы, поднимают крик:

— Не согласны! Не дадим Куцыбу! Не старый режим!

Фрунзе некоторое время молча смотрит на них, повернулся к Ястребову:

— Товарищ Ястребов, распорядитесь арестовать и обезоружить Куцыбу и освободить товарища Кузнецова.

Ястребов спешивается, с непроницаемым лицом медленно подходит к Куцыбе и протягивает руку за маузером.

— Ах вот как! — ощетинившись, кричит Куцыба. — Продал товарища?

Ястребов *(страшно)*. Молчать! Разложился, подлец! *(Срывает с него маузер.)* Взять его!

Куцыбу арестовывают.

Ф р у н з е *(Кузнецову)*. Как же так случилось, что вы не выполнили приказ командования? А я на вас надеялся...

Кузнецов молча склоняет голову. Катерина сочувственно смотрит на него.

Ф р у н з е. Вы должны искупить этот позор своей доблестью. Назначаю вас командиром полка. Вы должны выбить противника из Юзовки, не медля ни часа. Я и товарищ Ястребов пойдем вместе с вами... *(Спешивается.)*

Слышен голос Кузнецова:

— По местам! Командиры, ко мне!

Балка пришла в движение, играет горнист.

Из балки подымаются одна за другой цепи. Шагает Кузнецов, бежит Катерина. Слышен удар артиллерийского выстрела. Крики «ура».

Юзовка. Ветер. Дождь. На грязной, в лужах, площади, возле хмурой церквенки, выстроены пленные красноармейцы.

Прямо перед ними поставлены два пулемета. Офицеры-пулеметчики курят и угрюмо поглядывают на пленных. В шеренге пленных стоят командиры. Возле них Матвеенко. Он очень озяб, ежится.

Из дома священника возле церкви выходит генерал Кутасов и несколько штабных.

Кутасов остановился перед шеренгой пленных. Говорит с ненавистью и скукой:

— Ну, ваньки... Кто тут у вас коммунисты?

Молчание. Неподвижный строй пленных.

К у т а с о в. Коммунисты и комиссары, три шага вперед! Шагом-арш!

Никто не пошевелился.

Кутасов оглянулся и шагнул в сторону, открывая дула пулеметов, направленных на пленных. Дула зашевелились, обводят, нащупывают всю шеренгу.

Пулеметчики ждут команды Кутасова.

Командир-коммунист окинул взглядом строй пленных, посмотрел на пулеметчиков, готовых открыть огонь и скосить всех, шагнул вперед и стал перед строем. Еще четверо вышли и стали с ним рядом. Матвеенко чуть помедлил и тоже вышел из строя и стал впереди.

Кутасов глядит на обреченных долгим, ненавидящим взором.

И вдруг, точно эхо, раздается где-то в стороне гулкий раскат артиллерийского выстрела. Кутасов насторожился. Переглянулись штабные, прислушались пулеметчики. Насторожились пленные. В это мгновение разрывается снаряд, попавший в церковь.

Ломается строй пленных. Видно просиявшее лицо Матвеенко. Один за другим разрываются на площади снаряды. Смятение. Белые бегут. Слышен близкий рокот пулеметов. Крики «ура». Кутасов бежит к автомобилю.

Радостные крики пленных. Перестрелка на площади. Все застилается дымом.

В садике у дома попа, где только что находился штаб Кутасова, происходит заседание полковой комячейки. На скамейках у столика сидят бойцы и командиры. Иные стоят. Среди бойцов и командиров — Фрунзе и Кузнецов.

— Как он скомандовал: «Коммунисты и комиссары вперед», — говорит секретарь ячейки, обращаясь к Фрунзе, — мы все вышли, глядим — и Матвеенко с нами...

Фрунзе. А нельзя ли его позвать?

Кто-то встал и отправился за Матвеенко.

Те же и Матвеенко.

Фрунзе. Что побудило вас? Ведь если бы вот товарищ Кузнецов с полком *(указывает на Кузнецова)* не подоспел на помощь, вы погибли бы вместе вот со всеми этими товарищами, а могли бы остаться живым.

Матвеенко *(немного смущаясь)*. Да ведь как сказать... Коммунисты, говорят, вперед... мне вроде уже и совестно было остаться.

Фрунзе. А вы не считаете, что вам следовало бы вступить в партию?

Матвеенко *(смущенно.)* Рекомендации нет, товарищ командующий... Я ведь в полку человек новый.

Фрунзе. А вот товарищ секретарь ячейки вас охотно отрекомендует.

Матвеенко. Правда? Спасибо вам обоим... Верьте — отдам жизнь *(от волнения не находит слов)*... за партию, за Ленина...

В это время из-за кустов выходит Катерина.

— Извинить мене, братья-товарищи, что вышла без спросу... А я себе так решила: коли возьмут товарища Матвеенко, попрошусь и я у партию... Чи возьмете вы меня, чи ни?..

Фрунзе. Видали вы такую? *(Смеется.)* Как ваше мнение, товарищ Кузнецов?

Кузнецов. Могу поручиться головой, что Катерина Голубенко — верный наш товарищ, полная коммунистка.

Фрунзе. А вторую рекомендацию опять, выходит же, давать? *(Смеется.)* Вот она откуда идет, погибель Врангелю! Вот чего не учли господа английские и французские империалисты!..

Севастополь. Воскресенье. Колокольный перезвон.

В соборе армии и флота служат молебен о даровании победы христолюбивому воинству. У алтаря — Врангель, генералитет, сановники, иностранцы из военных миссий, среди них даже японский генерал. Дальше по чинам обер-офицеры, армейцы и моряки, чиновники в вицмундирах, штатские в сюртуках. Еще дальше — серый люд, дворники, полиция.

Бархатный баритон протодиакона: «Благослови, владыко...»

Поп. Благословенно царство отца и сына и святого духа, ныне и присно и во веки веков...

Хор. Ааа-минь!

Умильное выражение на лице японца.

— Весьма люблю церковное пение.

Перешептываются два отставных старичка генерала:

— Двадцатое пришло, а пенсии не платят, ваше превосходительство.

— Шут ли в пенсии. Французская булка — пятьсот рублей.

Генеральша другой генеральше:

— Запретили выпекать пирожные...

— Ну, это уж слишком!

«...Благословен грядый во имя господне...» — разносится под куполом.

Полковник французской службы Дюваль негромко господину в сюртуке со знаком горного инженера — в нем можно узнать горнопромышленника Быкова:

— Моя последняя цена — семьдесят тысяч за акцию.

Быков. Николаевскими?

Дюваль. Врангелевскими.

Быков. Вы еще деникинскими предложите.

Дюваль. Неблагодарный. Не будь меня, болтались бы вы на веревке в Юзовке...

«Спаси, господи, люди твоя...» — гудит хор.

Дама своему спутнику, по облику литератору:

— С кем это Тамарочка, Аркадий Тимофеевич?

— Была со мной, а теперь с поваром французской миссии.

Протодиакон. Паки, паки миром господу помолимся...

Первый спекулянт. Вексель сроком три месяца, место платежа Москва, верхние торговые ряды...

Второй спекулянт. Беру турецкие лиры, даю итальянские... Курс — сорок четыре...

Первый спекулянт. Кошмар! А моя комиссия? Цыпленок тоже хочет жить...

Протодиакон. Спаси, господи, люди твоя...

«И благослови достояние твое», — подхватывает хор.

Гудят голоса певчих: «Победы благоверному правителю нашему болярину Петру на супротивные даруя и твое сохраняя крестом твоим жительство...»

Все взоры обращаются в сторону Врангеля.

На паперти собора. Нищие — безногий инвалид, безносая старуха, странники.

— Подайте, Христа ради... Подайте убогому... Не оставьте...

В промежутках — перебранка:

— Колокольчик деникинский дал, холера проклятая...

— Давай меняться на керенку....

— Чего захотела, шкура безносая!.. Подайте, Христа ради... Не оставьте...

И вдруг автомобиль весь в грязи прорывает цепь охранников. Из автомобиля выпрыгнул генерал Борщевский. Оттолкнув караульного, быстро входит в собор.

В соборе чинно идет служба. Почти расталкивая людей, Борщевский пробирается к Врангелю. На него глядят с изумлением, но узнают и дают дорогу. Борщевский

стал рядом с Врангелем. Чуть наклонившись, Врангель слушает прерывистый шепот Борщевского.

— ...Дело буквально в минутах... — шепчет Борщевский.

— На нас смотрят... Тише... — беззвучно говорит Врангель.

Заглушая их шепот, гремит многолетие:

«...христолюбивому воинству, болярину Петру и дому его подажть, господи, на враги же победу и одоление».

Врангель истово крестится.

Штаб «Вооруженных сил юга России». Кабинет главнокомандующего. Врангель, генерал Молле, сэр Роберт Лесли. Борщевский, задыхаясь от волнения:

— Отступаем, с трудом сдерживаем напор Первой Конной... После боя под Отрадной все изменилось... Если подойдут части Ястребова к Федоровке, корпус Кутасова будет окружен и отрезан от перешейков. Дело решается буквально часами...

Врангель молчит. Молчат иностранцы. Борщевский с удивлением глядит то на них, то на Врангеля. И тогда Врангель с волнением встает и почти кричит, обращаясь к сэру Лесли и Молле:

— Я просил у вас два корпуса! Только два корпуса, ваши превосходительства... Не доводите вы до конца, господа! Ведь идет большая игра, по крайней мере, для вас! Ведь ставка в этой игре — Россия, со всеми богатствами, с недрами, хлебом, лесом... игра стоит свеч... и два корпуса!

Молле *(встает с места и говорит в раздражении)*. Мы вам дали все — артиллерию, танки, бронепоезда, аэропланы, великолепное снаряжение. Франция признала вас... Наши инженеры укрепили Перекопский перешеек и сделали его неприступным.

Сэр Роберт Лесли. Мы отдали приказание нашей эскадре идти в Карт-Казацкий залив. Наши крейсеры будут стрелять по наступающим.

Врангель *(Борщевскому)*. Возвращайтесь в штаб. Докладывайте о положении через четверть часа. *(В страшном волнении.)* Неужели отрежут Кутасова?

Высокий курган в степи. Штаб Первой Конной. Батарея. Спешенный эскадрон на охране штаба. Кони с коневодами. Очень пасмурно и туманно. Доносится отдаленный гул артиллерии.

На кургане — Фрунзе, Белоусов, Семенов, Снетков с выражением напряженного ожидания склонились у полевого телефона.

Фрунзе смотрит в бинокль, недовольно опускает его.

— Решительно ничего не видать, — говорит он, обращаясь к Белоусову. — Ну как, связались?

Пищит полевой телефон.

— Штаб Первой Конной, — отвечает телефонист. — Кого? Есть начштаба фронта.

Белоусов *(со сдержанным волнением берет трубку)*. Да... Да.. Отступают на Федоровку? *(Лицо его принимает озабоченное выражение.)* Командующий просит к телефону товарища Ворошилова или Буденного... Что?.. Товарищ Ворошилов выехал в штаб?

Положил трубку, идет к Фрунзе и Семенову.

Белоусов. Товарищ командующий! Я старый солдат, но в эти минуты, когда завершается задуманный вами грандиозный маневр пяти армий, маневр, от которого зависит судьба Крыма, я не могу скрыть волнения... Простите, может быть, неуместно с моей стороны или неправильно именно в эти минуты...

Фрунзе. Говорите проще. Вы в чем-то сомневаетесь?

Белоусов. Товарищ командующий! Разбитые остатки корпуса генерала Борщевского, теснимые Первой Конной, отступают на Федоровку, вместо того чтобы бежать на юг, как это согласовалось бы со здравым смыслом. Это значит — либо они совсем потеряли голову и сами идут в петлю к Ястребову, либо...

Замолчал, склонив голову.

— Товарищ Ворошилов! — внезапно кричит Снетков.

Все обращают взоры в сторону показавшейся из тумана группы всадников во главе с Ворошиловым.

Группа всадников достигла кургана. Ворошилов спрыгнул с коня. Он в грязи, вспотел, на лице его следы боя, глаза гневно горят. Он стоит перед Фрунзе, Семеновым и Белоусовым и, не в силах сдержать себя, яростно говорит Семенову:

— Слушайте, вы! Ваш ставленник и выученик Ястребов — предатель и подлец.

Семенов. Как вы смеете?

Ворошилов. Да, предатель и подлец!

Семенов. Я требую...

Ворошилов. Мы выведем всех вас на чистую воду! *(Обращаясь к Фрунзе.)* Товарищ Фрунзе! Предатель Ястребов, вопреки всем его донесениям, не занял Федоровки. На Федоровку вышел корпус генерала Кутасова и, соединившись с преследуемыми нами остатками корпуса Борцевского, прорвался на юг. Мы преследуем их по пятам, но *(яростно махнув рукой)*... ищи ветра в поле...

Семенов. Я предсказывал это с самого начала. Я...

Фрунзе *(сжав кулаки, не в силах сдержать себя, надвигается на Семенова)*. Вы... Вы...

Семенов с внезапным ужасом в глазах отступает от надвигающегося на него Фрунзе.

Ночь. Рассвет. Укрепления белых на перешейке. Бронепоезд. На крыше бронепоезда, на железнодорожном полотне стоят офицеры и солдаты. Издали отдаленный грохот канонады.

Шепот в толпе офицеров:

— Идут...

Движение среди встречающих. Все подались вперед.

Показались офицерские части корпуса Кутасова. Люди изнурены, в поту и грязи. Ведут раненых.

Впереди остатков своих войск едет Кутасов. Он с трудом сходит с коня, почти падая на руки встречающих его. Его встречают оглушительным «ура», несут на руках как триумфатора.

Навстречу его войскам бегут офицеры и солдаты. Обнимаются, целуются.

Кутасов *(крестится)*. Слава богу. Калитка захлопнута.

На рассвете Красная Армия, передовые ее части, вплотную подошли к укреплениям Крымского полуострова.

На том месте, где была когда-то деревня, теперь остались только четырехугольники из камня известняка. Брошенные двуколки, неразорвавшиеся снаряды, пустые

окопы. Передовая часть, во главе с Кузнецовым, держа ружье на изготовку, стремительно приближается к оставленному белыми окопу. Передышка на несколько минут. Бойцы ждут, чтобы подтянулись отставшие.

Молодой боец спрашивает у Кузнецова:

— А где же он, тот самый Крым, товарищ командир?

Кузнецов указывает рукой вдаль. Но там все та же степь и земля, изуродованная снарядами и колесами обозов.

— И далеко до того Крыма?

— Да верст десять будет, — отвечает Кузнецов.

Кузнецов берет острый камешек и грубо рисует на земле подобие Крымского полуострова. Затем объясняет окружающим его бойцам:

— Крым — полуостров, и ведут туда три дороги. Одна прямо перед нами — на Перекоп, другая через залив — болото Сиваш, а третья через Чонгарский мост.

Молодой красноармеец. Три дороги, как в сказке. И лежит на тех дорогах крымский Соловей-разбойник. Направо пойдешь — смерть найдешь... Налево пойдешь, чего найдешь?

Другой голос. Сколько их гнали, а тут каких-нибудь десять верст... Чего же стоим?

Подходят отставшие, накапливаются бойцы, их больше и больше. Играет труба.

— Атака, — говорит Кузнецов, подтягивая ремни.

Сомкнутая колонна устремляется вперед. Она идет бесшумно, почти бежит. Кузнецову трудно удержать этих людей. Чувствуется, что здесь конец всех бедствий.

Все ближе и ближе, в бледном свете утра рисуется паутина проволоки и за ней силуэт: волнистый гребень Турецкого вала — неприступная, непреодолимая преграда. Чем ближе, тем она кажется страшнее.

— Ура! — вспыхивает в атакующей колонне.

Бойцы бегут из последних сил, и вдруг паутина проволоки и самый гребень вала как бы осветилися пламенем. Вихрь раскаленного металла сметает колонну. Живые и мертвые падают на землю. Цепи полегли, скошенные огнем. Несколько уцелевших бойцов отползают назад.

Кузнецов поднимает голову, хриплым голосом командует:

— Полк, ко мне!

Но только кучка бойцов поднимается с земли.

Молодой боец произносит еле слышно и с нескрываемым изумлением:

— Так вот он какой, Перекоп...

Непреодолимая преграда возвышается далеко впереди в предрассветном сумраке...

В это мгновение кавалерийская часть на всем скаку приближается к берегу Сиваша. Тот, кто не сдержал коня, очутился в топком и вязком болоте. Ноги коней вязнут, всадники сдерживают их, но сзади их теснят другие. В туманном рассвете вспыхивают прожекторы, ослепляя всадников и коней. Падают снаряды. Точно ряд гейзеров из воды и грязи скрывает поворачивающих назад коней и всадников.

У Чонгара атакующая цепь осторожно подвигается к железнодорожному мосту. Его отчетливый силуэт рисуется на светлеющем предутреннем небе...

Глухой удар, от которого сотрясается земля. Видно, как разрушаются и падают с высоты фермы железнодорожного моста. Дым рассеялся, и от кружевного узора железнодорожного моста, в самом его центре, остается только спутанный клубок согнутых и перевитых стальных балок.

Мощное дальнобойное орудие бронепоезда «Генерал Корнилов» стреляет по наступающим.

Офицер-артиллерист говорит другому:

— Калитка захлопнута!

Севастополь. Развеваются флаги на судах интервентов. На рейде французский и английский дредноуты — флагманские суда. Медленно поворачиваются огромные пушки, двигаются, точно ощупывая город и горизонт.

Судоремонтные мастерские. Грозный шум толпы. Оцепление. Стражники, офицерские роты, конница, рабочие, плачущие женщины. Их утешают, им сочувствуют. Крупный полицейский чин пытается убрать из толпы женщин, но толпа грозно смыкается. Начинается свалка. Офицерская рота берет ружье на изготовку, но в этот момент большой автомобиль с флажком на радиаторе врезается в толпу, между офицерской ротой и рабочими.

В автомобиле — Врангель. Он поднимается на сиденье и стоит во весь рост над толпой. Простирая руку, Врангель восклицает:

— Здравствуйте, русские люди!

Тишина. Тоном уверенного в себе, избалованного оратора, Врангель говорит:

— Мне доложили, что рабочие порта бросили работу в тот грозный час, когда решается судьба отечества. Я приехал поговорить с вами, как русский человек с русскими людьми.

Выдержав паузу, Врангель восклицает:

— За что мы боремся?! За то, чтобы рабочий люд имел кров, хлеб и работу! Мы боремся за то, чтобы истинная свобода и право царили бы на святой Руси...

Тяжелое, гнетущее молчание. Его прорезает надорванный голос плачущей женщины:

— Отдайте мужа! Мужа отдайте, проклятые!

Врангель смущен. Он поднимает руку, но вперед выступает пожилой рабочий:

— Вы, ваше сиятельство, говорите: хочу, чтобы рабочий имел хлеб и кров. Вот и поехали в Джанкой наши рабочие представители. А что вы сделали с ними?

Надрывающий душу плач женщины.

Пожилой рабочий. Не видим мы никакой свободы и права. Петли да шомпола видим.

Врангель. Не со своего голоса поешь! Знаю, о чем думаешь...

Пожилой рабочий. Думаю, где бы хлебца раздобыть да как детей прокормить.

Врангель. Неправда! Ты думаешь — «вот придут красные, они вам покажут». (*Истерически.*) Не придут! Перекопа им не взять! Перекоп неприступен! Крым, Арарат России, стоит твердо и непоколебимо! Советую приняться за работу. Не упорствуйте. А то хуже будет. Прощайте!

Опустился на сиденье. Завыла сирена автомобиля. Автомобиль двигается вперед среди медленно расступающейся толпы.

Как только автомобиль уехал, стражники бросаются на пожилого рабочего, пробуют отделить его от толпы. Рабочие заступаются за него. Свалка. Зловеще и грозно рычит толпа.

Берег Сиваша. Словно громадная серая скатерть, раскинулось дно Сивашского залива. Грязь. Камыш. На солнце блестят наполненные водой глубокие ямы — «окна». Разрушенные артиллерийской стрельбой хаты деревни Строгановка. С того берега редко постреливают.

Разрушенная хата. Под прикрытием сохранившейся глиняной стены Тарас Голубенко копается в развалинах. Морозно. Ветрено.

Через деревню, прихрамывая, идет Фрунзе, сопровождаемый небольшой группой военных. Увидел Голубенко, подошел.

Голубенко. Здравствуйте.

Фрунзе. Здравствуйте. Что это вы тут?..

Голубенко. Да вот была здесь моя хата...

Фрунзе. Немного осталось от вашей хаты. (*Разрыв снаряда.*) Как же вы не боитесь?

Голубенко. Так и вы не боитесь. Мы, старые солдаты, пуль, ядер не боимся. Я еще на турка ходил, вас на свете еще не было.

Фрунзе. Где же это вы били турка?

Голубенко. А под Систовым. Мы сквозь Дунай шли.

Фрунзе (*заинтересовался*). Через Дунай... И трудно было?

В это время с той стороны Сиваша заметили группу военных у хаты и открыли по ней стрельбу шрапнелью.

Фрунзе садится у стены. Садится и Голубенко.

Фрунзе. Так, через Дунай... А через Сиваш можно перейти?

Голубенко. Это как сказать... Войти-то войдешь, а выйдешь ли... Сейчас вода ушла, и то вязко. А подует с востока, и вовсе ходу не будет. А вам зачем надо?

Фрунзе. Будто не понимаешь. Старый солдат... Врангель-то перешеек укрепил, трудно Турецкий вал в лоб брать.

Голубенко. Трудно... (*подумав*) да можно ему в тыл за вал зайти. Пойдем-ка...

Оба выходят к Сивашу...

Голубенко (*Фрунзе*). Вот погляди — там будет полуостров, называется Литовский. Вот, если на него выйти, можно сзади Турецкого вала зайти.

Фрунзе. И я так думал. Ильич из Москвы пишет: проверьте, изучены ли переходы вброд через Сиваш...

Над ними начинаются разрывы шрапнели. Они

спокойно ложатся у стены на землю и лежа продолжают разговор.

Голубенко. Брод есть. Да здесь мало кто знает... Молодые разбежались, а я старый... (*Раздумывает.*) Разве дочка моя, она бедовая. Вдвоем и пойдем. Только возьми в расчет, полуостров они тоже укрепили.

Фрунзе. Да ведь взять можно.

Голубенко. Можно-то можно. Да ведь, знаешь, у них за Перекопом еще позиция есть — Юшунь-озеро называется... И ей тоже в тыл выйти можно...

Фрунзе. Да что вы?.. А как именно?

Голубенко смеется и подмигивает: «Будто не знаешь?»

Фрунзе тоже смеется. Они прекрасно понимают друг друга.

Фрунзе. Нет моста на Чонгаре. Взорван...

Голубенко. А понтоны навести, как у нас на Дунае было... И прямо на Джанкой? Ясно?

Фрунзе. Ясно. Я думаю, без Сиваша Перекопа не взять.

Голубенко. Верно.

Фрунзе. А не боязно вам через Сиваш идти?

Голубенко. Мы сорок второго Курского стрелкового полка. Пуль, ядер не боимся.

Страшный разрыв шрапнели. Она проносится с визгом мимо Фрунзе и старика. Они снова прижались к земле. Подползает Снетков. Укоризненно:

— Михаил Васильевич...

Голубенко (*лукаво подмигивает в его сторону*). Не любит...

Разбитое снарядами, полусожженное здание — все, что осталось от почтового отделения в селе Чаплынка. В одной из сохранившихся комнат на стене — большая карта-трехверстка. Возле карты, на табуретах, на ящиках, сидят Ворошилов, Буденный, Семенов, Белоусов, Кузнецов и командиры дивизий. В комнате холод. Снетков разжигает огонь в железной печке. У печки сидит Фрунзе.

Фрунзе. Снетков, Ястребова сюда.

Снетков открывает дверь в соседнюю комнату, и на пороге появляется Ястребов. Он бледен и взволнован, но старается скрыть волнение.

Начинает повышенным тоном:

— Протестую против формы приказа явиться. Мне было сказано, что вы приказали доставить меня во что бы то ни стало. Прежде всего я принадлежу к высшему составу, я не арестован...

Фрунзе (*перебивая его*). Вопрос о вашем аресте будет решен в зависимости от ваших объяснений. Почему опоздало соединение, которым вы командуете?

Ястребов. Вот тут у меня все написано...

Протянул бумажку, Фрунзе не взял.

Ворошилов. Вместо того чтобы задушить врангелевцев в кольце, мы должны атаковать в лоб позиции Перекопа, идти на жертвы, которых можно было избежать. (*Ястребову.*) И фанфаронство ни к чему! Хватит. Покрасовались на гнедом жеребце перед фронтом. Надо не парады в свою честь устраивать, а действовать.

Ястребов. Не отрицаю своей вины. Моя вина в том, что я понадеялся на свои силы. Дайте мне дивизию, дайте мне полк, я покажу, чего стоит Ястребов, и заглажу...

Фрунзе (*поднимаясь, глядит в глаза Ястребову*). Не лгите! Не подличайте, Ястребов! Однако часть, которой командует подчиненный вам товарищ Кузнецов, пришла вовремя и висела на плечах Кутасова?

Ворошилов. Придется теперь ответить за все это...

Мертвое молчание. Его нарушает Семенов.

— Я полагаю, надо принять во внимание прежние заслуги товарища Ястребова.

Фрунзе. Ваши мнения мне известны. (*Повернувшись к Ворошилову.*) Твое мнение, Климент Ефремович?

Ворошилов. Сместить и передать дело Ястребова ревтрибуналу.

Фрунзе (*Буденному*). Твое, Семен Михайлович?

Буденный. Сместить и предать суду.

Фрунзе. Товарищ Белоусов?

Белоусов (*помолчав*). Сместить... и предать суду...

Фрунзе (*начальнику штаба*). Приказываю сместить гражданина Ястребова и предать его суду ревтрибунала фронта... Приказываю назначить на место Ястребова... (*посмотрел на Кузнецова*) товарища Кузнецова, Николая Ивановича.

Ястребов встает, но это уже другой человек. Исчезли обычная самоуверенность и наглость. Трусость, растерянность, страх в этой надломленной, жалкой фигуре. Он

молча отдает коменданту штаба шашку и револьвер. Его уводят.

Фрунзе *(Кузнецову)*. Ступайте, друг мой... Принимайте дивизию.

Кузнецов ушел.

Семенов встает, говорит с нескрываемым раздражением:

— Не понимаю, к чему свелась моя роль здесь. В сущности, я лишний.

Фрунзе. Об этом я вам и хотел сказать... *(Ворошилову и другим.)* Товарищ Семенов откомандировывается по месту своей прежней работы.

Семенов. Вам еще придется за все это ответить!

Фрунзе. За все, что я делаю, я отвечаю перед родиной, перед партией, перед Владимиром Ильичем.

Молчание. Семенов собирает бумаги и уходит.

Фрунзе берет за локоть Ворошилова, подводит к карте, знаком подозвал других. Взял уголек и рисует на карте стрелку от деревни Строгановка через Сиваш на Литовский полуостров. Говорит:

— Будем атаковать с седьмого на восьмое ноября через Сиваш на Литовский полуостров.

Рисует стрелку на карте от Преображенки на Турецкий вал и продолжает:

— И в лоб на Турецкий вал... Третий удар нанесем через Чонгарский перешеек с выходом в тыл противнику на Джанкой.

Ворошилову и Буденному:

— Ну, други мои, родные мои, помните, что надо во что бы то ни стало, на плечах противника, войти в Крым. «На плечах противника», — повторяет Фрунзе с волнением в голосе. — Не мои эти слова, это слова Ильича.

Крепко пожимает обоим руки. Все уходят.

Фрунзе *(один. Подошел к телефону.)* Штаб пятнадцатой? Как ветер? Вода в Сиваше... Очень хорошо. *(Хотел положить трубку, задумался.)* Да, кстати... Там у вас Матвеенко, командир полка... Ну как у него? Хорошо? Рад за него, если хорошо...

Ночь накануне штурма. Наши окопы перед Турецким валом. Полк, которым командует Матвеенко. Морозный ветер, холод. За пригорком, скрытый от неприятеля, ко-

стер. У костра бойцы ведут негромкий разговор. В отблеске костра видно лицо Матвеенко.

Бородатый красноармеец. А еще говорят, будто в том Крыму зимы нету и земля круглый год родит.

Боец из-под Канева. Ни, товарищ Матвеенко казав — брехня. Усе такое само, як у нас нид Канёвым. Тилько солнце пече, та море...

Боец — кавказский горец. У нас — Дагестан, высокая гора. Наверху всегда снег, внизу — долина, виноград растет. Слово даю — правда.

Боец из-под Канева. Опять брехня.

Матвеенко. Нет, вот это как раз правда.

Боец из-под Канева *(убежденно)*. Значит, правда. Товарищ Матвеенко казав — значит, правда. *(Негромко запел.)*

Половина тих садив цвите,
Половина развивается...

(Оборвал песню. Вдруг спросил у соседа.) Исаак, в тебе жинка и диты е?

Голос из темноты. Нема. Петлюровцы у том роки забили.

И снова тишина и тихая песня:

Половина тих садив цвите,
Половина развивается,
Не вся и пара под винець иде,
А иная и разлучается...

Вдруг вблизи музыка заиграла марш, послышались голоса. Бойцы встрепенулись. Идет группа бойцов других частей, человек двадцать. Они в лаптях, в опорках, двое-трое в сапогах. Впереди идет маленький веселый красноармеец с балалайкой.

Снимает шапку:

— Привет вам, товарищи боевые, от частей доблестной Красной Армии, что стоят у самого соленого моря, под названием Сиваш. Привет вам и поздравляем с третьей годовщиной красного нашего Октября.

— Спасибо, привет и вам, с праздничком и вас, — говорит Матвеенко. — Как дела там у вас, у Сиваша?

Маленький красноармеец. Дела на ять, солнышко светит, розы цветут, птички поют, известное дело — Крым... *(Дует в пальцы и ежится. Все смеются.)* Скоро в солено море купаться пойдем.

— Вот как, — серьезно говорит Матвеенко, и у всех делаются серьезные лица.

Бородатый красноармеец. Как же ты, милый человек, в лаптях через Сиваш пойдешь?

Маленький красноармеец. А так и пойду — на своих, на двоих... *(Бренчит на балалайке и напевает.)*

Эх, истоптал я лапти новы,
По паркеям ходючи...

Бородатый красноармеец. Разувайся! *(Садится и начинает снимать сапоги.)*

— Да что ты? — отмахивается маленький красноармеец.

Бородатый красноармеец. Сказано тебе — разувайся. Я у беляков сапогами разживусь.

Матвеенко. А ведь правильно, товарищи! Верно! Им через Сиваш-болото идти, а нам все-таки по суху...

И происходит живая, трогательная сцена обмена сапог на лапти и опорки.

Боец *(кавказскому горцу)*. Может случиться, когда будешь в наших местах, — Рязанская губерния, деревня Конякино, Сеевской волости, мать, отец примут как сына родного.

Горец отвечает с достоинством:

— Спасибо, спасибо... Теперь мы кунаки, побратимы.

Другой боец *(украинцу)*. Как будешь идти через проклятый Сиваш, вспомни обо мне, цеховом Иване Зотове, а я буду помнить о тебе, авось и пуля нас минет за нашу память...

Боец-украинец. Спасибо за ласку. Тай шо б поздыхали вороги наши.

Маленький красноармеец, уже в сапогах бородача, бренчит на балалайке и подпевает на частушечный лад:

Вы пляшите, ребята,
Не жалейте лапти,
Коли эти побьяте,
Батька новы попляте...

Обращается к бородачу-красноармейцу:

— Как отблагодарить тебя, друг?.. Погоди... — лезет в карман шинели, достает кусок белого хлеба. — Давай пополам, я его берег на после штурма, да, думаю, вдруг убьют — пропадет белый хлебец, так и не отведаю.

Бородач принимает хлеб, оба жуют медленно и со вкусом.

И вдруг, с дальнего края окопов, в темноте занимается «ура», нарастает и катится все ближе и ближе. Приветственные крики. Все встают.

Появляется Фрунзе, окруженный командирами. Навстречу ему идет Матвеенко с рапортом.

Фрунзе *(Матвеенко)*. Обстановка мне известна. *(Повернулся к бойцам, он в настроении подъема, глаза его блестят.)* Здравствуйте, товарищи бойцы!

Мощное ответное «здравствуйте».

Фрунзе. Товарищи красные бойцы! Поздравляю вас с третьей годовщиной великого праздника трудящихся и угнетенных всего мира — поздравляю вас с третьим Октябрем!

Он ждет, пока стихнут ответные крики.

— Перед лицом трудящихся и угнетенных всего мира, перед лицом матери-родины дадим клятву не щадить своих жизней и победить! Врангель — это последыш... Скинем его в море и возьмемся за мирный труд и будем работать, чтобы наступила, наконец, радостная счастливая жизнь для всего нашего трудового народа. Да здравствует победа! Ура! *(Повернулся к Матвеенко.)* Приказываю дать боевой салют по врагу в честь пролетарской революции.

В нарастающем громовом «ура» Фрунзе идет вдоль окопов, мимо восторженно приветствующих, хватающих за полы, за рукава шинели, здоровающихся с ним за руку бойцов. Над окопом взлетают шапки и мелькают в свете прожекторных лучей, вспыхнувших со стороны неприятеля.

Один за другим раздаются семь мощных залпов нашей артиллерии.

Как горный хребет, поднимается над рвом и степью Турецкий вал.

Здесь хорошо слышны крики приветствий и «ура» на стороне красных. Затихает последний, седьмой залп артиллерии красных. В воздух взлетают ракеты. Прожекторы белых прорезают ночную мглу.

Солдаты бегут по окопам белых, занимая места у пулеметов.

Боевая тревога. На командном пункте — группа офицеров.

Голос Кутасова:

— Красные идут на штурм. Мы наготове! Я приказал полковому священнику отслужить по мне панихиду. Советую это сделать и вам. Убьют — так, по крайней мере, не умрете без покаяния. Здесь будет могила или им, или нам.

Скрещиваются и шарят в темноте лучи прожекторов.

Изгородь штыков над окопами белых.

Силуэты дальнобойных орудий.

Проволочные заграждения. Непреодолимая паутина проволоки.

Иностранные военные суда в заливе. Башенные орудия медленно поворачиваются в сторону красных.

Все наготове. Боевая тревога.

Все громче крики «ура» и музыка на стороне красных.

Кутасов (*недоумевает*). Странно, почему они не атакуют... Что это у них?

Адъютант (*догадывается*). Праздник, ваше превосходительство...

Кутасов. Какой еще праздник?

Адъютант. Годовщина революции. Третья годовщина.

Кутасов (*разводя руками*). Да, в самом деле... Ведь уже три года, вы подумайте...

Музыка, крики «ура», ракеты взлетают на стороне красных.

Звук трубы. Парламентер Кузнецов и трубач с белым флагом у проволочных заграждений белых.

По ту сторону заграждений — генерал Борщевский и два солдата. Они приподнимают проволоку, и Борщевский идет навстречу Кузнецову и останавливается перед последним рядом проволоки.

Мгновение они оба глядят друг на друга — генерального штаба генерал-майор и большевик.

Тяжкая тишина нависла над землей. Две силы — друг против друга, накануне последнего, решительного боя.

Глаза белых прикованы к группе людей на ничьей земле, перед проволокой.

По ту сторону тысячи глаз следят за переговорами парламентера.

Кузнецов (*прерывает молчание*). От имени командования Южным фронтом предлагаю вам сдаться. Зачем

проливать лишнюю кровь? Судьба Крыма и ваша судьба решена.

Борщевский молчит. Искоса взглянул на Кузнецова, говорит как бы в пространство:

— Перекопа вам не взять. Его защищает доблестная русская армия, верные сыны России.

Кузнецов окидывает с головы до ног генерала в английском френче, французских крагах-башмаках и плаще.

— Россия? Какая там Россия... — говорит он. — Все вам дала заграница. И пушки, и штаны, и снаряды — все на вас чужое, и сами вы давно не русские.

Борщевский *(криво усмехаясь)*. Стара песня. А вы за что бьетесь?

Кузнецов. За то, чтобы жить как люди. Мы бьемся за родину, за весь трудовой народ, за всех бедняков на свете.

Солдаты, сопровождающие Борщевского, с напряженным вниманием прислушиваются к каждому слову Кузнецова.

Борщевский (*обернулся и увидел их лица. Теряет обычное хладнокровие и исступленно кричит*). Все вы отравленные, видели семнадцатый год, видели, как с нас погоны срывали!.. И всех вас надо истребить, чтобы памяти о тех проклятых днях не осталось!

Кузнецов (*спокойно и с презрением*). Народа не убьешь. Он бессмертен. Народ жил, живет и будет жить счастливо. А вы уже давно мертвые.

И, повернувшись спиной к Борщевскому, уходит.

Начинается орудийная канонада.

Ночь у Сиваша. Артиллерийская дуэль. Зарево пожара. Части красных накапливаются на берегу у Сиваша. Иногда вспыхивает луч прожектора, отражается в ямах, наполненных водой. Дует пронизывающий морозный ветер, бойцы мерзнут, притопывают сапогами. Спокойные и суровые лица.

На берегу — Фрунзе и командиры. Они окружают Тараса Голубенко. Он в полушубке. У старика за поясом топор.

Фрунзе. Пятнадцатую поведет товарищ Катерина Голубенко. А Тарас Андреевич — пятьдесят первую. Ведь так?

Тарас Голубенко кивнул головой.

Фрунзе *(позвал Кузнецова)*. Возвращайтесь к себе на Перекоп и ждите приказа. А получите приказ — действуйте по-суворовски... Чудесный был старичок... Верно, Снетков? *(Снетков утвердительно кивает головой.)* Поезжайте и ждите приказа.

Кузнецов простился с Фрунзе и командирами.

Фрунзе сосредоточенно глядит в сторону Сиваша.

Кузнецов едет верхом с ординарцем мимо разрушенных хат деревни Строгановка. Ветер гонит по земле засохшую листву. Вдруг слышит позади звонкий голос:

— Товарищ Кузнецов!

Кузнецов *(придержал коня, оглянулся. К нему бежит боец. Он всматривается и в радостном изумлении восклицает.)* Катерина!.. *(Спрыгнул с коня, отдал повод ординарцу.)*

Катерина *(не может сдержать волнения)*. Коля... (*Смутившись.*) Товарищ Кузнецов... Вот и не чаяла вас видеть.

Они отходят в сторону. Ординарец уводит коней и тактично не глядит в сторону Катерины и Кузнецова.

Кузнецов. Вот она, судьба... И вспоминал я тебя, и ждал, а только встретил — надо разлучаться.

Катерина. Голубь ты мой... И мне надо бежать... Сейчас выступаем. Я и отец за проводников. Идем через Сиваш.

Кузнецов *(взволнован)*. Через Сиваш?.. Ты..? Ты поведешь?.. *(Берет ее руку.)* Выходит, времени нам отпущено только одна минута. Будем живы, нет ли...

Катерина вдруг крепко и страстно обнимает его.

Ветер свистит в ушах, летит сухая листва, и отдаленно грохочут тяжелые орудия...

Они стоят обнявшись.

Играет труба. Катерина насторожилась. Он медленно отпустил ее..

Глядит на ее ноги, одетые в грубые солдатские башмаки с обмотками.

Катерина в смущении глядит на ноги.

Кузнецов. Так и пойдешь через Сиваш? Через болото, воду?

Она кивает головой.

Тогда Кузнецов садится на землю и, не произнося ни слова, начинает снимать с себя сапоги.

Она в смущении:

— Ой, что ты... Ой, не надо!

Ординарец Кузнецова вынимает из седельной сумки ботинки и обмотки.

Через мгновение Кузнецов и Катерина сидят рядом. На ней — сапоги Кузнецова. На нем — солдатские башмаки и обмотки.

И в последний раз перед разлукой он обнимает Катерину.

Она побежала вниз к Сивашу.

Кузнецов долго глядит ей вслед. Зазвенели подковы. Он оглянулся.

Ординарец, боец конной разведки, сочувственно глядит на Кузнецова. Кузнецов сел на коня. Помчались.

И в свисте ветра ему слышится украинская песня:

Половина тих садив цвите,
Половина развивается,
Не вся и пара под винець иде,
А иная и разлучается...

Чуть брезжит рассвет. Чернеют массы людей у берега Сиваша. Они приходят в движение. Их ведет Тарас Голубенко. Он первым спускается с высокого берега.

Проходят мимо музыкантов.

— Помирать, так с музыкой, — говорит один из них.

— Эх ты... — строго и укоризненно говорит старый солдат Тарас Голубенко.

Одобрительный говор. Легким, почти молодым шагом он устремляется вперед. За ним идут в походном порядке части. Кони шарахаются, их ведут под уздцы, и первое орудие, увязая в грязи, движется по дну Сиваша.

В походных колоннах движутся роты, батальоны и полки 15-й дивизии. Их ведет Катерина Голубенко. Идет твердо, видно, что хорошо знает брод. Красноармейцы отмечают вехами путь.

Части, которые ведет Тарас Голубенко, уже на середине Сиваша. Здесь больше бездонных ям и больше воды. Временами колеса орудий увязают в грязи. Бойцы вытаскивают орудия из грязи, помогая коням.

Голос в темноте. Далеко еще до Крыма, дед?..

— Живы будем — увидим, — отвечает Голубенко.

И, нащупывая дорогу, ускоряя шаги, идет вперед.

И всматривается в темноту. Впереди темный, как бы пустынный, мертвый берег полуострова.

Фрунзе на командном пункте. Напряженно прислушивается, глядит на часы. Звонки полевых телефонов. Уезжают и подъезжают ординарцы.

Части, которые ведет Катерина Голубенко.

Командир спрашивает у Катерины:

— Чего они молчат? Или не чуют...

Катерина подняла руку вверх, остановилась.

— Что ты? — спрашивает командир.

Катерина. Ветер... С востока... Воду нагонит. Давай шибче.

И ускоряет шаги, за ней быстрее и быстрее движутся части.

Близок берег Литовского полуострова.

Части, которые ведет Тарас Голубенко. Головная колонна приближается к полуострову. Тень тревоги пробежала по лицу Тараса. Остановился. На него глядят с изумлением.

— Ветер переменился. Вот беда!

И почти бежит к берегу.

Секреты белых на берегу.

Темные фигуры бойцов неслышно метнулись вперед. Короткая борьба. Выстрел — и все стихло.

Залаяла собака.

Оклик: «Стой! Кто идет? Пароль?»

Удар штыком, и стон. Затем выстрел. Еще выстрел. Первая стычка.

Ожил берег. Метнулись вверх и вдаль лучи прожекторов. Грохнул первый орудийный выстрел.

Фрунзе на командном пункте. Услышал выстрел. Встал. Тихо говорит: «Началось».

Проволочные заграждения в воде. Тарас Голубенко наотмашь рубит топором проволоку. Рубят проволоку красноармейцы. В образовавшиеся проходы бегут с ружьями наперевес. На берегу уже идет штыковой бой. Грохочет артиллерия.

Мы видим огромные массы белой конницы, мчащиеся к Литовскому полуострову. Во главе конницы мчится Кутасов с его охранной сотней.

К берегу Литовского полуострова подходят части, которые ведет Катерина. Их ослепляют прожекторами, они идут под ураганным огнем со стороны перешейка и со стороны полуострова. Неистовствует заградительный огонь. Орудие провалилось в бездонную яму, вместе с конями и прислугой. Падают убитые, но нет уже силы, которая может остановить бойцов. Внезапно заиграла музыка. Музыканты идут вперед, разбрызгивая воду. Свистит ветер и гонит воду в Сиваш. Вода сплошь покрыла дно Сиваша.

Фрунзе, на командном пункте, у аппарата:

— Как ветер?

— Восточный, — отвечает голос в трубку.

— Вода прибывает?

— Прибывает.

Фрунзе положил трубку и говорит начальнику штаба:

— Ворошилова!

Вода прибывает. По колено в воде подходят к берегу части, которые ведет Катерина. Они поднимаются по крутому берегу и сразу идут в атаку. На Литовском полуострове идет кровавый бой.

Волнами прибывает вода в Сиваше. Идут бойцы по пояс в воде. Лучи прожекторов отражаются в мутных, свинцовых водах, где еще движутся колонны бойцов.

Штаб Фрунзе.

Фрунзе *(не отходит от аппарата. Телефонисту)*. Начдив пятнадцатой. *(Фрунзе молча глядит на телефониста. Оглянулся.)* Снетков!

— Он, — говорит Снетков. Но Фрунзе молчит. Снова сосредоточенно следит за телефонистом. И Снетков наклоняется над ним и говорит мягко:

— Что, Михаил Васильевич?

И тогда Фрунзе говорит негромким, чуть дрогнувшим голосом:

— Две дивизии, Снетков... Две дивизии. Тысячи жизней...

Снетков не сводит глаз с Фрунзе.

Слышно, как надрывается телефонист:

—Штадив пятнадцатой? Штадив пятнадцатой?

Хлопает дверь. В бурке, разгоряченный скачкой, входит Ворошилов.

Фрунзе поднимается ему навстречу. Посадил рядом с собой. Говорит, глядя в глаза:

— С Литовским полуостровом связи нет. Две наших дивизии могут оказаться отрезанными.

Умолк и глядит на Ворошилова.

Ворошилов. Первая Конная к переправе готова.

Фрунзе подходит к Ворошилову и крепко обнимает его.

Стремительно мчатся дроздовцы во главе с Кутасовым.

На Литовском полуострове.

Катерина Голубенко, Тарас Голубенко, начдив 15-й, командиры, связисты.

Начдив 15-й. Восстановить связь. Держать на руках провод, чтобы не разъело изоляцию.

Связист. Есть держать на руках провод.

Красные связисты сбегают вниз, к берегу Сиваша, с мотками провода в руках. Перед ними сплошная вода, залив. Падающие в воду и разрывающиеся снаряды подымают фонтаны воды и грязи. Связисты входят в воду, разматывая провод.

Дроздовцы приближаются к линии огня.

Фрунзе на автомобиле. Стоит во весь рост на сиденье. Мимо него проходит на рысях дивизия Первой Конной. Впереди — Ворошилов и Буденный.

Фрунзе, потрясая папахой, провожает их.

Рассекая воду, дивизия Первой Конной спускается в Сиваш.

Снетков пишет, положив полевую книжку на колено. Фрунзе диктует:

— Вода заливает Сиваш. Немедленно атаковать и во что бы то ни стало захватить Турецкий вал...

Фрунзе подписывает приказ.

Повернулся к окружающим:

— Машину! На Перекоп!

Автомобиль Фрунзе мчится берегом Сиваша. Сотни людей — крестьяне, женщины, старики, подростки — строят в воде земляную дамбу. Увидели Фрунзе. Он, сняв папаху, отвечат на приветствия...

В воде Сиваша, высоко подняв в руках проволоку, стоят связисты. Вода прибывает. Она им выше колен.

В окопе, захваченном у белых, — красноармейцы. Идет жаркая перестрелка. Катерина и ее отец в окопе.

Тарас Голубенко *(бойцу)*. А ну, дай-ка винта...

И он, приложившись, долго целится. Стреляет.

У белых падает командир.

Голубенко *(бойцу)*. Видал? Сорок второго Курского стрелкового, рядовой Голубенко.

В это время командир полка, отняв от глаз бинокль, говорит несколько глухим, может быть даже упавшим голосом:

— Дроздовцы...

Дивизия Первой Конной, во главе с Ворошиловым и Буденным, на рысях переходит Сиваш. Кони и пулеметные тачанки подымают буруны воды.

Связисты стоят редкой цепочкой в воде Сиваша. В руках у них провод. Вода доходит до пояса. Вблизи разрывается снаряд. Связисты стоят неподвижно в воде.

Широко развернутым фронтом идут в бой белые броневики, за ними пехота.

Идут в бой кавалерийские части во главе с Кутасовым.

Дрогнули передовые части красных. Они откатываются назад. Катерина останавливает бегущих:

— Да стойте же, товарищи, стойте!

Бойцы увидели женщину с винтовкой, услышали звонкий девичий голос.

Катерина. Стыдно вам, бойцы, стойте!

Остановились, повернули назад.

Движется лавина дроздовцев. Мчится в белом башлыке Кутасов.

Окопы красных. Трус или изменник кричит:

— Продали нас! Там вода, тут дроздовцы. Пропали мы! Продали! Измена...

Но не успевает докончить. Пуля из нагана командира затыкает ему глотку. И вдруг по цепи проносится крик:

— Ворошилов! Буденновцы!.. Ура!

И массы конницы выносятся вперед, навстречу дроздовцам.

По крутому берегу Литовского полуострова поднимаются одна за другой части кавалерийской дивизии Первой Конной и идут в бой. Все ближе две силы; еще немного, и они столкнутся.

Кутасов всматривается в несущуюся на дроздовцев конницу:

— Первая Конная!

И две силы столкнулись... Рубка. Дроздовец с пикой бросается на Ворошилова. Пика пробивает полу бурки, застревает. Буденный ударом шашки настигает дроздовца.

— Спасибо! — кричит Ворошилов Буденному.

Яростная рубка Первой Конной с дроздовцами.

Рубится Кутасов, развеваются концы его белого башлыка. Пробивается к Буденному, кричит:

— Буденный!

Буденный оглянулся. Кричит, пробиваясь к Кутасову:

— Здравствуй, Кутасов!

Кутасов, замахнувшись шашкой:

— Здравствуй, Буденный!

Буденный, отбивая удар, рубит Кутасова:

— И прощай!

Кутасов валится с коня.

ПЕРЕКОП

Ограда кладбища у самого Турецкого вала. Идет ожесточенное сражение у проволочных заграждений.

Атакующие цепи падают, скошенные огнем пулеметов.

Французские крейсеры из Карт-Казацкого залива обстреливают наступающих. Тяжелые снаряды морских дальнобойных орудий крошат татарские памятники на кладбище.

Группа людей наблюдает за ходом атаки. Это Фрунзе и сопровождающие его.

Снетков говорит Фрунзе:

— Право, уйди, товарищ командующий, здесь опасно.

Фрунзе. А где же в бою безопасно?

В это мгновение откатывающиеся назад цепи атакующих останавливаются и залегают среди памятников татарского кладбища.

Фрунзе видит Кузнецова.

— Ну, что у вас, товарищ Кузнецов?

Кузнецов обернулся. Видит Фрунзе. Радость мелькнула на лице Кузнецова.

— «Чистильщики» пошли, — говорит он, — да не дают им резать проволоку. Сейчас динамитом рвать будем.

И оба напряженно глядят вперед.

Матвеенко и два бойца почти дошли до проволоки. Бойцы закладывают заряды динамита.

Матвеенко. Так не пойдет. Надо ближе.

Боец. А как ближе? С динамитом идем. Попадет в тебя — пыли ж не останется.

Матвеенко. Зато проход сделаем...

И вдруг стремительным броском выдвинулся вперед. Он почти у проволоки. Упал. Белые открывают по нему огонь, забрасывают гранатами смельчака.

Фрунзе и Кузнецов напряженно следят за ним. И вдруг столб пламени поднимается у самой проволоки, где залег Матвеенко. В воздух летят колья. Крики «ура» раздаются на стороне красных.

Кузнецов снял папаху. Говорит с грустью:

— Пал смертью храбрых.

Фрунзе. Кто это?

Кузнецов. Матвеенко.

Фрунзе обнажил голову.

Волна атакующих все же разбилась о проволочные заграждения. Откатывается назад.

Красноармейцы узнают Фрунзе. Один из бойцов кричит:

— Стой, тут командующий!

Фрунзе. Бойцы! Отомстим за вашего командира товарища Матвеенко!.. (*И он берет протянутую ему винтовку.*)

Только что поредевшая, отброшенная цепь бойцов вдруг обретает силу и устремляется вперед. Во главе ее Фрунзе. То, что командующий сражается как рядовой боец, воодушевляет атакующих.

Они устремились в прорыв, сделанный погибшим героем Матвеенко.

— Командующий в бою! Товарищ Фрунзе в бою!

Фрунзе с винтовкой в руках идет в цепи атакующих.

Колонна атакующих устремляется в прорыв и сметает белые резервы.

Загремело «ура». В этих криках — радость победы.

По откосу вала, в ров, скатываются одна за другой волны атакующих и с разбегу поднимаются на другой откос Турецкого вала.

На гребне вала появляются силуэты бойцов. Радостное и победное «ура». Новые, свежие цепи атакующих устремляются в прорыв.

Идет бой за Турецкий вал.

Телефонист белых, закрывая себе ухо, чтобы лучше слышать, переспрашивает:

— Убит? Убит?.. — опустил трубку и говорит штабным офицерам: — Убили Кутасова. — И вдруг, теряя самообладание, истерически кричит: — Прорыв, красные в тылу Турецкого вала! — Падает, оглушенный ударом, который ему нанес его начальник.

Но уже поздно. В штабе паника.

Из блиндажа выскакивают растерянные офицеры, и по окопам проносится:

— Буденновцы! Красные в тылу!

Все в ужасе бегут.

Фрунзе в грязи, в расстегнутом полушубке, окруженный командирами.

— Перекоп взят! — кричит Кузнецов и, не сдерживая радости, обнимает Фрунзе.

Паническое бегство белых у Перекопа. Кто-то из генералов пробует остановить их. Это Борщевский. Он приказал шоферу поставить поперек дороги свой автомобиль.

— Назад! Назад, сволочи!

Другая волна бегущих нажимает.

— Пошел к чертовой матери! Они в Джанкое!

— Чонгар пал!

И сотни рук поднимают, переворачивают автомобиль и сбрасывают его вместе с Борщевским с насыпи дороги.

Бегство продолжается. Беглецы поднимаются на перевал на Симферопольской дороге, по пути к морю. Фуры, зарядные ящики, носилки, раненые. Они вступают в ущелье, и над ними лес. И вдруг лес оживает. Ружейный огонь. Разрывы ручных гранат.

Отчаянный вопль:

— Партизаны!

Паника среди отступающих. Лавина беглецов несется по дороге вниз к морю, расстреливаемая и избиваемая, преследуемая по пятам партизанами.

Севастополь. Огромный ярко освещенный кабинет Врангеля полон штабными. Идет военный совет. Высшие чины армии, флота, иностранные военные миссии. У большой карты стоит Врангель и громким, временами срывающимся голосом докладывает положение на фронте:

— Прорыв Перекопских позиций — это еще не конец, господа!

Показывает на карте:

— Юшуньские озера — наш первый заслон. Южнее, на подступах к Севастополю, — второй.

Чертит углем жирную стрелу на карте.

В эту минуту вошел полковник Дюваль. Перед ним расступаются. Он проходит поближе к Врангелю.

Врангель. Красные находятся здесь... (*Показывает.*) Орудия линейных кораблей создают неодолимую огненную стену вокруг Севастополя... Тем временем наши союзники высаживают десант... Два-три корпуса, и спасен Крым, спасена Россия!

Все взгляды обращаются к генералу Молле и сэру Лесли.

Сэр Роберт Лесли (*невнятно*). Мы сообщим ваши предложения нашим правительствам.

Врангель (*не скрывая раздражения*). Но спешите, господа. (*Показывая по карте.*) Мы остановили их здесь. Мы стоим здесь и будем стоять до последнего вздоха. Но спешите.

Дюваль (*внезапно обращаясь к Молле*). Вы позволите? (*Берет из рук Врангеля уголь и, перечеркнув*

стрелу, нарисованную Врангелем, рисует другую южнее. (Острие ее разрезает самый Севастополь.)

Врангель. Что это значит?

Дюваль. Небольшая поправка.

Вдруг в напряженной тишине слышится явственный звук, похожий на отдаленный грохот артиллерии. Кто-то открыл окно. Да, теперь ясно. Это канонада, и затем отдаленная ружейная и пулеметная стрельба.

Молле. Что это?

Дюваль. Это и есть моя поправка. Красные в городе.

И сразу исчезает торжественность военного совета. Одни бегут, другие неизвестно для чего собирают бумаги. Третьи бросаются к телефонам. Все громче и громче грохот орудий. Все ближе трескотня ружей. Кабинет пустеет. Почти паника. Генерал Молле, сэр Лесли уходят, ускоряя шаги. Звон разбивающихся стекол. Сильный порыв ветра взметает драпировки у окон. Гаснет электричество, и в зареве пожара видны силуэты разбегающихся людей.

Рассвет. Пустынный приморский бульвар. Ветер метет мусор, обрывки газет, бумажки. Небо в дыму от пожаров. Сильная зыбь в море. По глухой улочке — спуске в порт — движется странная траурная процессия. Высокая фигура в черной черкеске — Врангель. Два адъютанта с портфелями. Ординарец с борзой собакой. Все стараются двигаться с достоинством, но вблизи порта они почти бегут.

Площадь у Графской пристани вся затоплена толпой. Все, что нашло себе приют в Крыму, вся накипь старой России собралась здесь, вопит, плачет, бранится, неистовствует. Все перемешалось: баулы, чемоданы, сундуки, корзины, узлы, кухонная утварь, самовары, граммофоны, бронза, фарфор, мебель, — все это колышется над толпой, которая рвется в порт.

Большой пароход в порту. Пронзительно взвизгивает сирена.

На спуске в порт озверевшее офицерье прикладами оттесняет толпу беженцев. Женский визг, плач детей, вопли. Свалка. Прорвали цепь, но вторая цепь — сене-

гальцы и французские военные моряки — сдерживает рвущуюся к мосткам парохода толпу.

В особняке, где была французская военная миссия, полный разгром. На полу валяется рухлядь. Дюваль в походной форме жжет в камине бумаги. Снизу, из вестибюля, доносится отчаянный вопль:

— Колонель Дюваль! Колонель Дюваль! Же сюи Быков! Сэ муа!

Это отчаянно пробивается к Дювалю Быков.

Его отпихивает прикладом караульный солдат — сенегальский негр.

Визжит сирена.

Дюваль бросил последний ворох бумаг в огонь.

В эту минуту Быков все-таки прорвался и, наконец, увидев Дюваля, вопит:

— Жорж Альбертович!.. Ну слава богу! Я уже потерял надежду.

Отдышался.

Дюваль (*холодно*). Что «слава богу»? Я уже однажды спас вас в Юзовке, и никакой благодарности... Что за беда, если вы останетесь здесь?

Быков. Жорж Альбертович, ради бога! Все, что хотите! Только дайте выбраться отсюда.

Дюваль. Подпишите.

И Дюваль положил перед Быковым давно приготовленную бумагу.

«Передаю в полную собственность фирме Дюваль и К° контрольный пакет акций смешанного русско-французского общества донецких рудников «Провиданс».

Пронзительно визжит сирена.

Быков (*подписал*). Скорее, ради бога, скорее...

Дюваль (*перечитав бумажку*). Теперь все в порядке. Бумажка против бумажки... Вот пропуск.

И он подает Быкову измятую бумажку, которую подбирает тут же на полу.

Порт. У мостков парохода дикая драка. Мужчины бьют и отталкивают женщин. Военные оттесняют штатских.

От Графской пристани отваливает катер с французским флагом. В катере генерал Молле, Дюваль, члены французской миссии.

Отдаленный гул орудий.

Куда девалось прежнее олимпийское величие генерала Молле и его спутников?

Толпа беженцев на площади еще увеличилась. Она бушует и рвется к пристани, вопит, проклинает и беснуется.

К мосткам парохода пробирается Быков. Не может пробиться. Задыхаясь, выкрикивает в отчаянии:

— У меня пропуск! Пропуск! Главнокомандующий! Главная контора! Женераль Молле!.. Колонель Дюваль!..

Окраина Севастополя. Красная конница на всем скаку проносится мимо бедных домов рабочей окраины. Отовсюду появляются люди, машут платками, встречают слезами радости.

Отчаянно ревет пароходный гудок. Красные кавалеристы на всем скаку урезают хвост людей, толпящихся у трапа. Пароход отваливает, ломая трап; люди, узлы, чемоданы падают в воду.

Быков не успел вскочить на трап.

Среди воплей слышатся его отчаянные крики:

— У меня пропуск! Колонель Дюваль...

Пароход отошел.

Один за другим уходят в открытое море французские и английские военные корабли. Полоса черного дыма на горизонте — вот все, что напоминает о них.

Ослепительный полдень. На улице Севастополя, еще недавно забитой беженцами и их рухлядью, сплошной стеной на тротуарах стоит народ. Люди на крышах, на окнах, на балконах.

Фрунзе, Ворошилов, Буденный едут верхами по улице, впереди войска. Цветы падают им на плечи, на гривы коней, на руки, цветы падают к копытам их коней. Несколько позади едут Кузнецов и Катерина.

Через улицу протянуто полотнище с надписью:

«Освобожденные приветствуют освободителей».

Они двигаются среди криков радости и приветствий освобожденного народа.

Гремит песня. Песня-эпилог, написанная год спустя Владимиром Маяковским:

Они
за окопом взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою,—
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава,—
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем —
вашей отвагой она
взята в Перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!

СЕРГЕЙ ЛАЗО

(Отрывки из киносценария)

Декабрь 1917

Здание вокзала — Иркутск. Зима. Сильный мороз. Из города доносятся звуки перестрелки. Погромыхивают пушки. На перроне толчея: только что выгрузился рабочий отряд. Мелкорослый солдатик, надрываясь, кричит:

— Стройся, вам говорят! Ах, черемховцы, черемховцы! А еще угольное племя, язви вас!

Никто не слушается его.

Юноша в студенческой фуражке (он очень замерз) то и дело хватает мелкорослого солдатика за рукав, говорит методически:

— Товарищ... Товарищ... Товарищ... Время не ждет. Товарищ! Я повторяю: юнкера осадили дом губернатора, там проходит съезд советских организаций. Если вы не выступите немедленно, они все погибли... Товарищ... Товарищ...

Внутри вокзала. Транзитные пассажиры, беженцы — старорежимные чиновники, дамы, студенты, калеки, беспризорные.

За стойкой буфета — штаб Красной гвардии.

Подходит замерзший студент с перрона.

— Товарищ Иванов, — говорит он, — от этих черемховских шахтеров я не жду ничего хорошего.

— Ничего хорошего? — переспрашивает Иванов, вешая трубку. — Ничего хорошего от черемховских шахтеров? Вот что, молодой товарищ: возьмите красногвардейца, пройдите на Федоровскую, два, — там живет семья полковника Якимовского. Ты ее арестуй и препроводи в следственную комиссию.

— Я? То есть, позвольте, как же можно арестовать семью?

— А так: кто там есть, всех и бери.

— А если дети?

— Оставь с детьми няньку, а остальных веди.

— А если нянька сбежала?

— Тогда сдайте арестованных красногвардейцу, — устало говорит Иванов, — а сами оставайтесь с детьми, пока они не вырастут.

К концу их разговора подошла молодая женщина в тулупе, шапке-ушанке, в варежках. В руках у нее солдатский вещевой мешок. У пояса револьвер. Выражение лица суровое и грустное.

— Варвара? — удивился Иванов. — Я думал, ты уже подъезжаешь к Чите!

— Я вам сказала, я не могу сейчас вернуться в Читу, — говорит Варвара.

— Почему?

— Не могу... Я даю слово выехать сразу, как только ликвидируем юнкеров.

— А за это время в Чите выступит офицерье, казаки, и тысячи рабочих голов полетят! Это тебе понятно? — возмутился Иванов.

— Что мне делать! Что мне делать! — с внезапным отчаянием говорит Варвара, прижав кулаки к вискам. Потом с силой: — Хорошо. Скажите, что я должна делать в Чите?

К перрону с грохотом подходит состав. С паровоза соскакивает рослый военный — молодой человек в солдатской шинели и фуражке. Через плечо полевая сумка. Он смущенно оглядывает толчею на перроне.

В теплушках с визгом отворяются двери, и на перрон сыплются вооруженные солдаты и казаки без погон.

Внутри вокзала. Военный, ища глазами, подходит к разговаривающим через буфетную стойку Иванову и Варваре. У него черные глаза. Мягкий темный пушок оттеняет юношески-нежный овал его смуглого сильного лица.

— Рабочий контроль повсеместно — раз, — говорит Иванов Варваре. — Банки национализировать — два. Но прежде всего — разоружить офицерство...

— И головку — арестовать, — вмешивается военный.

— Совершенно верно... — Иванов смотрит па военного: — Лазо?

— Сергей Лазо?! — воскликнула Варвара.

— Да... Прибыл в ваше распоряжение, — говорит военный, краснея.

— Вы как раз вовремя!.. — обрадовался Иванов.

Сильный пулеметный огонь. Стрельба. Взрывы гранат.

Старинная церковь новгородского типа. Юнкера и офицеры с колокольни бьют из пулеметов по белому дому губернатора. Вся стена изрешечена. Видно, как отскакивает штукатурка, окна выбиты.

Иногда в окне белого дома появляется женская рука и зачерпывает горсть снега с наружного ската подоконника.

— Вон, опять, опять!.. — говорит офицер группе юнкеров на колокольне.

Мгновенно по этому месту начинают лихорадочно бить пули. Это повторяется два-три раза.

В последний раз, когда прячется рука, мы переносимся внутрь одной из комнат белого дома. Здесь лазарет. Под стенами, на полу, раненые, накрытые шинелями. Изо рта людей идет пар.

Под окном, согнувшись, сидит маленькая смеющаяся старушка. Она только что выдернула руку из-за окна, горсть ее полна снега.

— Никак не поймают! — говорит она, смеясь, молодой женщине.

Старушка быстро подползает к раненому. Тот жадными губами вбирает снег с ее ладони. Пули яростно взбивают снежную пыль над подоконником, впиваются в противоположную стену, и штукатурка сыплется старушке на плечи.

В другой комнате белого дома отстреливаются мужчины-делегаты. Под одним из окон, прислонившись перевязанной головой к стене, сник белокурый парень крепкого сложения. У пояса его граната.

С площади доносится «ура». Юнкера атакуют белый дом.

— Эх, бомбочку бы! — говорит один из делегатов. Вдруг он видит сникшего под окном парня с повязкой.

— Борисов, Борисов! — осторожно тормошит парня за плечо. — Андрюша! Дай бомбочку...

Борисов открывает глаза, говорит:

— Где Варвара?

— Да проснись ты, какая Варвара! Слышишь, наступают? Давай скорее бомбу!

—Нет, ты промажешь... — С трудом, опираясь о стену, Борисов встает, смотрит искоса в окно и, сорвав с пояса гранату, бросает ее.

Граната взрывается. Часть юнкеров падает, часть убегает.

Борисов медленно сползает по стене на пол.

В комнате-лазарете под окном сидит маленькая старушка и полными ужаса глазами глядит на свою простреленную, окровавленную руку.

Снова внутри вокзала. Два звонка к отходу поезда. Пассажиры, бранясь, давя друг друга, с узлами и чемоданами теснятся у бокового выхода. Слышен голос дежурного: «Поезд на Читу отходит через пять минут!»

К главному выходу стремительно идет Лазо. Его нагоняет Варвара с мешком. Она хватает руку Лазо и прижимает к груди.

— Товарищ Лазо! — говорит она. — Там, в доме губернатора, остался товарищ Борисов, наш забайкалец, шахтер. Это мой друг, лучший мой друг на земле. Если он жив, скажите ему, что я хотела остаться, что я бы жизнь отдала за него, но... вы знаете, сейчас такие дни, все может случиться, скажите ему, что я люблю его, скажите, что я буду любить его вечно... Простите меня...

— Я передам ему все, что вы мне сказали, — говорит Лазо.

— Спасибо... — Варвара обнимает, целует его в глаза. — Прощайте...

— Одну минутку... — Лазо вынимает из полевой сумки блокнот, быстро пишет, потом вырывает листок из блокнота и с застенчивой улыбкой протягивает Варва-

ре: — Вот... Если со мной что случится, отправьте эту записку матери моей в Бессарабию, — адрес на обороте. Вот мы и квиты!

— С вами ничего не случится, я это знаю, — с воодушевлением говорит Варвара.

Лазо улыбается.

— Это первое сражение в моей жизни, — говорит он.

Три звонка...

— Я верну вам эту записку, когда вы попадете к нам в Читу, — торопливо говорит Варвара. — Вторая Сретенская, дом машиниста Агеева. Запомните?

— Запомню.

— До свидания, милый Сергей Лазо! — убегает.

На перроне лицом друг к другу стоят две шеренги — шахтеры и солдаты. Перед шеренгами, внутри, словно застыли мелкорослый солдатик и громадный пожилой казак из отряда Лазо.

Лазо идет между шеренг, останавливается возле казака и солдатика:

— Здравствуйте, товарищи!

Солдатская шеренга отвечает дружно, шахтеры — вразброд.

— Отставить! Еще раз... Здравствуйте, товарищи!

— Здрасте! — дружно отвечают шеренги.

— Вправо, на вытянутую руку разомкнись! — командует Лазо.

Шеренги выполняют команду.

— Красноярцы! Шагом... марш! — командует Лазо, обращаясь к шеренге солдат.

Разомкнутая шеренга солдат и казаков идет на него. Она как бы процеживает его сквозь себя и входит в шеренгу шахтеров.

— Стой... Кру-гом! — командует Лазо.

Солдаты выполняют команду. Теперь перед Лазо одна длинная шеренга, в которой перемежаются шахтеры, солдаты, казаки.

— Товарищи! Объявляю первый черемховский отряд Красной гвардии имени товарища Ленина сформированным. Командиром отряда назначаю товарища Savватеева, Фому Игнатьевича — вот... — Кладет руку на плечо стоя-

щего рядом громадного казака. — Помощником командира — товарища?.. — вопросительно смотрит на маленького солдатика.

— Пужный, Григорий Иванович! — тоненько возопил маленький солдатик.

— Товарища Пужного, Григория Ивановича, — доканчивает Лазо. — Вперед, за победу коммунизма! Ура!

— Ура-а!..

Лица солдат и шахтеров, кричащих «ура!».

Те же лица солдат и шахтеров в атаке. Они бегут на нас по улице города. Первым набегает Лазо с горящими глазами, с маузером в руке. За ним — могучий Фома Савватеев с винтовкой. Быстро перебирая короткими ногами, мчится Пужный. Катится лавина шахтеров и солдат.

По улице бегут юнкера, преследуемые красногвардейцами. С крыши бьют по юнкерам из пулемета. Юнкера достигают церкви.

Внутри белого дома. Комната-лазарет уже вся устлана ранеными. Молодая женщина лежит убитая. Маленькая старушка, нахохлившись, сидит с перевязанной рукой.

В комнате белого дома, где Борисов. Много убитых. Люди изнурены до крайности. Вялые глаза, черные заросшие лица. Скорчившись, лежит Андрей Борисов.

Группы юнкеров накапливаются у подъезда белого дома. Бросают в окна гранаты. Прикладами выламывают массивную дверь.

Возле церкви. Рукопашная схватка на паперти между красногвардейцами отряда Лазо и юнкерами.

По комнатам белого дома бегут юнкера.

Защитники белого дома сосредоточились в верхнем этаже. На площадке лестницы, держа ружья на изготовку, стоят и ждут. Юнкера и офицеры бегут вверх по лестнице.

Издалека нарастает, гремит «ура!». Красногвардейцы, во главе с Лазо, заполнив всю площадь, бегут к белому дому.

В вестибюле белого дома под наведенными дулами винтовок стоят юнкера и офицеры с поднятыми руками, — их разоружают.

Лазо в сопровождении делегата заходит в опустевшую уже комнату, где среди трупов лежит Андрей Борисов.

Лазо на коленях наклоняется над Борисовым. Борисов полусидит, прислонившись к стене, и смотрит на него мутными глазами.

— Вы способны понимать меня? — спрашивает Лазо.

Андрей чуть наклоняет голову.

— У меня к вам поручение. Товарищ Варвара по директиве комитета вынуждена была вернуться в Читу. Она очень боялась за вашу жизнь. Она сказала, что готова была бы отдать свою жизнь за вашу. И я не сомневаюсь, что это так бы и было. Она просила передать вам, что любит вас вечной любовью, и я уверен, что это так и есть...

Глаза Борисова на мгновение проясняются, и лицо приобретает детское выражение.

— До свидания, — говорит Лазо и целует его в губы.

Борисов умирает на его руках.

Японский флаг. Здание японского консульства в Иркутске. То и дело открывается дверь и принимает в себя группы запыхавшихся от бега белых офицеров.

Подбегают, отстреливаясь из револьверов, полковник Якимовский и поручик Георгий Старцев. Дверь открывается перед ними.

Якимовский задерживается на крыльце.

— А может, лучше пулю в лоб? Еще не поздно, — говорит он. — Один шаг, и... вот знамя, под которым нам придется сражаться! Вы понимаете, поручик Старцев?

— Вон, вон они! — кричит Старцев, указывая в сторону преследующих. — Рассуждать некогда, господин полковник!..

Дверь захлопывается за ними.

Набегает лавина красногвардейцев, предводительствуемых Лазо.

Фома Савватеев, сорвав с пояса гранату, замахивается, чтобы пустить ее в окно консульства. Лазо обеими руками с силой останавливает его руку.

— Пусти! Дай душу отвести! — обезумев, кричит Фома Савватеев.

— Сумасшедший!.. — Лазо вырывает у него из рук гранату, кричит, обернувшись к отряду: — Не стрелять! Спокойствие, спокойствие, товарищи!

Красногвардейцы теснятся у консульства.

— Кто не велел стрелять?

— Ломай дверь!

— Чего стали там!

— Ломай дверь!

Лазо стоит, подняв руки, загораживая дверь консульства.

— Эх, товарищ Лазо, один бы разочек, и уж на всю жизнь, — укоризненно говорит Пужный.

— На приступ, хлопцы! — вне себя кричит один из красногвардейцев. Он делает движение броситься вперед, но толпа мешает. Он вскидывает винтовку поверх голов.

Стоящие рядом тоже подымают винтовки.

— Остановитесь! Остановитесь! — вдохновенно и грозно кричит Лазо. — Именем Ленина...

Винтовки заколебались, одна за другой опускаются. Лазо, раскрыв руки, наступает на красногвардейцев. Настроение переломилось. Красногвардейцы отходят в переулок.

Здание вокзала — Чита. Подходит товаро-пассажирский поезд с заиндевелыми окнами. Вместе с другими пассажирами из вагона выходит Сергей Лазо с солдатским вещевым мешком за плечами.

Из другого вагона выходит Георгий Старцев в форме студента Томского технологического института.

Одна из центральных улиц Читы. Каменное трехэтажное здание с золотой дощечкой: «Русско-Азиатский банк».

Подходит Георгий Старцев, — видно, что и эта улица, и это здание ему хорошо знакомы, — он входит в подъезд.

Небольшой каменный особняк на окраинной улице Читы. Вывеска: «Читинский городской совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов».

Подходит Лазо, входит вовнутрь.

Лазо стоит на пороге комнаты. Девушка лет семнадцати, в платочке, печатает на машинке одним пальцем.

— Могу я видеть председателя совета? — спрашивает Лазо.

— Нет, — сурово отвечает девушка. — Она только что ушла национализировать Русско-Азиатский банк... — Печатает одним пальцем.

— Она? — переспрашивает Лазо. — Кто она?

— Товарищ Агеева.

— Вот как! — говорит Лазо. — Очень хорошо. Я сейчас пойду ей немного помочь, а вы пока разберитесь вот в листовках... — выкладывает из мешка на пол стопки листовок. — Это «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа», а это — декрет о расторжении брака.

— Как?! — испуганно воскликнула девушка.

— О расторжении брака. Вы не пугайтесь. Вам, очевидно, это еще не угрожает. До свидания...

У подъезда банка стоят Варвара, рабочий интеллигентного склада и красногвардеец в очень старой, мятой шинели с висящим на одной пуговице хлястиком. У красногвардейца грязная папаха, солдатские ботинки велики ему, обмотки сползают. Он держит на ремне ржавую берданку без затвора. Он мал ростом, белобрыс, ему семнадцать лет.

— Н-да... — глядя на дощечку, с уважением говорит рабочий.

— А что? — спрашивает Варвара.

— Банк!..

— Пойдем, — решительно говорит Варвара.

Они входят.

В кабинете управляющего банком. Отец и сын Старцевы лихорадочно беседуют, разделенные массивным столом. Сын сидит в студенческой шинели.

— Полковник Курода — советник при атамане Семенове, он же представитель банка Мицубиси, — пониженным голосом говорит он. — Условия: переход на иену, смешанное акционерное общество — уголь — золото — лес. Семьдесят пять процентов акций японские, остальные — твои. Кроме того, тебе — портфель министра финансов; мне — хорошее место при штабе владивостокской крепости. Мало?

— Все равно больше не дадут, — подумав, говорит отец.

— Соглашаться?

— Соглашайся...

Стремительно, без стука входит управляющий.

— Пришли! — говорит он в ужасе.

— Кто? — спрашивает Старцев.

— Они!

Пауза. Старик Старцев встает из-за стола и, высоко подняв голову, величественно идет в приемную.

В приемной — Варвара, рабочий. У дверей красногвардеец.

— Вы гражданин Старцев? — спрашивает Варвара.

— Я здесь хозяин, и это я должен спросить вас, кто вы и зачем пожаловали?

Варвара протягивает руку рабочему, который вынимает из-за пазухи и передает ей лист.

— Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, — читает Варвара, — в целях освобождения рабочих, крестьян и всего трудящегося населения от эксплуатации банковским капиталом и в целях образования подлинно служащего интересам народа и беднейших классов единого народного банка, Читинский совет рабочих и казачьих депутатов постановил: отделение Русско-Азиатского банка ликвидировать, передав все его дела и сейфы единому государственному банку РСФСР... — протягивает Старцеву лист. — Потрудитесь сдать дела и ключи — вот товарищу Пономареву.

Старцев не берет постановления, величественно говорит:

— Я не участвовал в создании власти, от имени которой вы принесли эту... эту бумажку. Для меня эта бумажка так же недействительна, как и власть, которая ее издала.

— Тогда мы вынуждены будем осуществить распоряжение совета силой.

— Угроза?

— Конечно.

Старцев оглядывает стоящего у двери с берданкой без затвора маленького красногвардейца, пожимает плечами, говорит:

— Я вынужден подчиниться грубой вооруженной силе. Пажалте... — жестом приглашает в кабинет.

Все идут за ним. У дверей Георгий Старцев задерживает Варвару...

— На минутку...

Она остановилась и вдруг изумленно расширила на него глаза, — она знает его.

В приемной, одни, стоят Варвара и Георгий Старцев.

— Как вы попали сюда? — сухо спрашивает Варвара.

— Приехал навестить отца и вот... — Георгий Старцев насмешливо разводит руками.

Входит Лазо, останавливается в дверях, с удивлением, молча смотрит на них.

— Что вам угодно от меня? — спрашивает Варвара.

Старцев. Ого! Какая у вас появилась в лице гневная складка.

Варвара. Что? Вы с ума сошли!

Старцев. Простите, я просто вспомнил, какой вы были в то лето... Тогда вы были более благосклонны ко мне. Правда, тогда вы были простой конторщицей, а теперь роли переменились: вы — власть, а я — нищий студент.

Он делает униженное выражение и весь изгибается, протянув фуражку, как бы прося милостыни.

Варвара. Разрешите пройти.

Старцев. Варя!

Варвара. Господин Старцев!

Старцев. Хорошо, хорошо *(склоняется к ней, говорит тихо)*. Я не советовал бы вам пускаться в бурные воды политики на утлом большевистском суденышке. На вас скоро обрушится волна такой неимоверной силы!.. Мне жаль вас.

Варвара. Какая волна? Что вы бредите?

Старцев. Когда эта сила придет, я постараюсь найти вас снова и отблагодарить за все прошлое и... за все настоящее... Передайте привет моему несчастному отцу. Надеюсь, вы пощадите его старость. Оревуар!

В дверях он наталкивается на Лазо, отпрянул:

— Прапорщик Лазо?.. Виноват, та-варищ Лазо! Не ожидал встретить однокашника при таких неважных обстоятельствах. Извиняюсь за прием. Оч-чень, оч-чень извиняюсь, — униженно кланяется. Выбегает.

Варвара бросается к Лазо:

— Вы? Вы?.. Вы видели Борисова?..

На клич Лазо

Издалека возникает японская заунывная солдатская песенка.

Маньчжурская степь в феврале, кое-где снег, холмы, сухая трава, мороз, солнце. Уходящая вдаль железнодорожная линия.

Движется эшелон. Вереница теплушек. Платформы, нагруженные артиллерией, снарядами. На платформах японские часовые в шубах, мехом наружу. Во главе эшелона, сразу от паровоза, — служебный вагон.

Двери теплушек раскрыты, валит дым.

Внутри теплушек на железных листах разведены костры. Японские солдаты в шубах, мехом наружу, сидят на корточках вокруг костров, протянув руки на огонь. Поют заунывную солдатскую песенку. За их плечами застыли заиндевелые артиллерийские кони.

Станция Маньчжурия. Здание вокзала украшено царскими и японскими флагами. Выстроившись по перрону, стоят семеновские офицерские части.

Группа командного состава во главе с полковником Якимовским. Ждут поезда.

За вокзальным зданием, на площади, построились казачьи конные части. Позади них, — чтобы не бросались в глаза, — наемные китайские солдаты в своем характерном обмундировании, обвитые длинными лентами патронов.

К перрону подходит эшелон. Теплушки наглухо закрыты. Полковник Якимовский и группа командного состава бегут к служебному вагону.

Из вагона выходит полковник Курода, за ним японские офицеры. Оркестр играет японский гимн.

Частая барабанная дробь. С визгом отодвигаются двери теплушек, и японские солдаты, как горох, сыплются из теплушек. Под барабанную дробь они маршируют по полуприкрытой снегом забайкальской степи. Катится артиллерия. Страшная лавина офицерской и казачьей конницы. Она охватила весь горизонт. Вздымая серые тучи снега, смешанного с землей, лавина стремительно движется по степи.

Гремят орудийные выстрелы. Стреляет снятая с передков японская артиллерия.

Большая казачья станица в степи. Переполох. Бегут женщины, обняв грудных детей. Разрывы снарядов в станице. Мечутся неоседланные лошади. Горят избы. Стелется дым.

Во дворе казаков Савватеевых происходит прощание казаков с семьями. Это патриархальная неделенная семья. Ребятишки, жены, сестры. Пока идет прощание, девушки держат под уздцы шестерых, готовых к походу, оседланных коней.

Могучая, сухая, с орлиным лицом старуха — мать. Она сурова, в глазах ее ни слезинки. Глава семьи, мощный старик Савватеев, прощается с ней.

— Прощай, Игнат Васильевич, — говорит она и кланяется в пояс.

— Прощай, Ульяна Фоминишна, прощай, детка... — Троекратно целуются.

Подходит старший седобородый сын — Фома Савватеев:

— Прощай, мать, — кланяется в пояс.

Она целует его в лоб, он ее — в плечо.

Так проходят по старшинству еще три сына. Несмотря на страшный переполох в станице, разрывы снарядов, они все делают не торопясь.

К Ульяне Фоминишне подходит последним ее внук, сын Фомы — Егорушка.

— Прощай, бабка! — весело говорит он ей, кланяется.

Она обнимает его и гладит по голове, он недоволен, ловко высвобождается из-под ее рук. Тем временем сыновья Игната Васильевича прощаются с женами.

— Прости, если что, Евдокия Федоровна, — говорит Фома и кланяется в пояс.

— Прости, если что, Фома Игнатьевич, — отвечает она.

Игнашка, двенадцатилетний сын Фомы, не отстает от отца, все просится взять и его:

— Возьми, тять, а? Возьми, а? Чо не взять-то, а? Право...

— Сказано, молод еще! Замолчь! — сурово говорит Фома.

Игнашка к деду:

— Дед, возьми, а? Ну чо не взять-то, а? Право?

— А вот этого? — грозится плетью Игнат Васильевич. — Марш в избу!

У распахнутых ворот на всем скаку осаживает коня молодой казак, кричит:

— Савватеевы! Вы за Семенова аль за Советы?

— За Советы! — дружно отвечают Савватеевы.

— Уходить пора... Ворог близко.

— По коням, детки!.. — командует Игнат Васильевич и грузно ложится в седло.

«Детки» взлетают на конь.

Лавина семеновцев ворвалась в станицу, мчится по улицам.

Савватеевы съезжают со двора. Женщины и девушки прощально машут платочками. Дворовый пес увязался за Савватеевыми. Сосед — зажиточный старый казак — Седых кричит вслед из-за изгороди:

— А, бежите, совецка зараза? Знает кошка, чье мясо съела? Все одно не уйдете от нашей петли!

Игнат Васильевич с коня грозится плеткой:

— Уже вернемся, будет тебе!..

Лавина семеновцев стремительно катится по улицам станицы.

Игнашка с решительным и суровым выражением лица выводит из конюшни неоседланного коня, взлетает на него птицей и мчится вслед за Савватеевыми.

Станица горит. Стелется черный дым. Мчится открытая машина, в которой, закутавшись в шубы, сидят Курода и Якимовский.

Возникает, растет песня:

> Трансваль, Трансваль, страна моя,
> Ты вся горишь в огне...

Ревут баяны, разливается неизвестный хор.

Под звуки «Трансвааля» мы попадаем в большое село при станции Андриановка, где происходит формирование частей забайкальского фронта. Это вооруженный лагерь. Скопление телег с вооруженными людьми. Тает снег. Близится весна. На улицах варят пищу в котлах. Снуют пестро одетые и разнородно вооруженные люди: рабочие, крестьяне, казаки верхами, матросы, солдаты, буряты на двугорбых верблюдах.

Пути забиты эшелонами. На перроне — только что прибывшая красногвардейская часть. Многие пьяны. Играют гармошки. У одного из пристанционных домиков красногвардеец с красным бантом на папахе пытается вырвать из рук женщины гуся. В одном месте качают, высоко подбрасывая вверх, какого-то студента.

Внутри станционного здания кишат бойцы. За столиком, окруженным красногвардейцами-рабочими, сидит Лазо.

Вбегает студент. Он очень растрепан.

— Кто будет Лазо? Где здесь Лазо? — мечется он.

Ему указывают. Он подбегает к столику:

— Товарищ Лазо! Я только что прибыл с эшелоном буквальных бандитов. Они творят там черт знает что! Прошу вас, прошу вас! — манит рукой.

Лазо на перроне:

— Кто здесь командир?

— Я командир, — развязно говорит один из толпы, выступая вперед. — А ты кто таков?

— Откуда часть?

— Из Верхнеудинска часть. А ты что за спрос?

— Немедленно постройте часть на перроне, — спокойно приказывает Лазо.

— Откуда ты такой выявился?

— Если через пять минут часть не будет построена... — резко говорит Лазо и глядит на часы.

— От привязался! — изумленно и весело говорит командир. Обернувшись, поднял руки, кричит: — Эге-гей!.. Становись!..

Часть на перроне перед Лазо в очень расхлябанном строю.

— Приказываю немедленно погрузиться в теплушки, — говорит Лазо. — Отряд отправляется назад в Верхнеудинск. Тому, кто позорит святое звание солдата революции, не место на фронте!

— Сам катись колбасой! Заткнуть ему глотку! Откуда такой выискался? — ропщут в строю.

— Я буду считать до трех, — громко говорит Лазо, — по счету «три» будет открыт пулеметный огонь... Раз...

Все, кроме командира, в панике бросаются по теплушкам.

— Два...

Перрон опустел. Остались — Лазо, студент, несколько красногвардейцев-рабочих и командир части.

— Закрыть теплушки! — приказывает Лазо.

Красногвардейцы-рабочие задвигают двери теплушек.

— Подайте эшелону паровоз на Верхнеудинск! — приказывает Лазо коменданту станции.

Снова внутри станционного здания. Лазо за столиком. Неуверенно и смущенно подходит делегация от эшелона во главе с командиром.

— Как? Вы еще не уехали? — спрашивает Лазо.

Командир смущен:

— Бойцы первого Верхнеудинского просят отменить ваш приказ... Бойцы клянутся свято блюсти революционную дисциплину и кровью своей искупить свою вину...

— Бойцы ваши очень хорошие люди, а во всем виноваты вы, — говорит Лазо, — вы лично... Да, да... В головах ваших бойцов много еще темноты, невежества, распущенности, а вы, вместо того чтобы их учить, им потакаете...

Командир сильно мигает, потом, сняв папаху, уткнулся в нее лицом.

— Скажите товарищам-бойцам, что, учитывая их искреннее раскаяние, я приказ отменяю. — Лазо оборачивается к студенту. — А вам как не совестно? Вы ехали несколько суток из Верхнеудинска и не прочли своим товарищам-бойцам ни одной лекции? Вы должны были бы привезти их сюда совершенно другими людьми! — Обращается к командиру: — Покормите бойцов и назначьте первую лекцию — «Что такое советская власть и как ее укрепить»...

— Есть, товарищ Лазо... — отвечает командир.

В дверях вдруг страшная свалка и крик. Лазо подымает голову.

В дверях в перепалке вцепились и застряли Савватеевы и группа шахтеров-черемховцев во главе с их командиром Пужным.

— Мы, черемховцы, тыщу верст киселя хлебали! Нам первым и представляться!

— Чо ты бубнишь, детка, паря-зараза! — ярится старик Савватеев. — Мы казаки-аргунцы, первые подошли, люди видели! Навались, детки!

— Черемховцы, не сдавай! — вопит Пужный.

Каждая сторона громко кричит, пытается оттеснить другую и протолкнуться в дверь. Дверь трещит, выламывается вместе с косяками. Случайно сталкиваются вместе Фома Савватеев и Пужный.

— Товарищ Савватеев? — изумленно воскликнул Пужный. — Фомушка!

— Товарищ Пужный!

Обнимают друг друга, крепко целуются. Свалка прекратилась. Все поражены.

— В Иркутске вместе юнкеров били, — смущенно и радостно поясняет Фома Савватеев.

К столику Лазо подходят вместе — вся семья Савватеевых во главе со стариком и черемховцы во главе с Пужным. Дворовый пес Савватеевых вьется в ногах.

— Привет славным черемховцам и аргунцам! Привет старым боевым товарищам! — стоя говорит Лазо, здоровается со всеми за руку, обнимает и троекратно целует Пужного и Фому Савватеева. Увидел Игнашку. — Ого! Этот чей же? — берет его за подбородок.

— Наш, Савватеев, аргунец, — важно отвечает Игнат Васильевич.

Игнашка степенно и независимо снимает руку Лазо с подбородка.

— Правильно. Молодец. Никому спуску не давай, — говорит Лазо, протягивает ему руку. Игнашка степенно здоровается.

Лазо говорит, обращаясь ко всей группе:

— Отныне будете вместе, конь о конь, сражаться в славном Аргунском полку! Покажите всем пример братского союза рабочих и казаков! Соберите под славные знамена аргунцев все трудовое казачество. И пусть ваша слава прогремит на весь мир!..

На базарной площади поселка. На двух составленных рядом телегах стоят Савватеевы и Пужный, держащий в руках красное знамя Аргунского полка. Они окружены казаками-аргунцами и черемховскими шахтерами на пляшущих конях.

Фома Савватеев говорит страстно и громко, точно он говорит на все забайкальское казачье войско:

— Казаки! Не медля часа вступайте в славный Аргунский полк, тот полк, что не выронил и не выронит знамя революции!.. Казаки! Мы верим, что вы все, сколько вас есть в Забайкалье, не оставите одних своих братьев аргунцев, а вместе с нами пойдете защищать своей казацкой кровью родную советскую землю!..

По мере того как он говорит, быстро растет число конных казаков на площади. Вот уже вся площадь полна казаками. Как один, взвились в воздух тысячи клинков.

СЕМЬЯ СИБИРЦЕВЫХ

Семья Сибирцевых была, вообще говоря, очень незаурядной, интересной семьей. Старик Сибирцев был одним из первых чиновников на Дальнем Востоке, в смысле давности старожилом-чиновником. Он работал податным инспектором. Но так как он был очень честен и либерал, то он был скоро с этой должности смещен. Его больше не брали на такую работу, и он стал работать учителем в гимназии.

Его старший сын, Всеволод, был большевиком с 1915 года. По-моему, он вступил в партию в Петербурге, будучи студентом, но я знаю и о том, что когда он еще был в гимназии, то принадлежал к революционной молодежи, очевидно, имел связь с каким-то кружком. Знаю я, вот по какому факту, о котором мне рассказывал его брат Игорь. Когда был убит Столыпин, состоялась в гимназии панихида. Когда поют «вечная память», полагается всем падать на колени, и Игорь, который находился в младшем классе, говорит: «Когда пели вечную память, мы встали на колени, увидели волнение, замешательство. Я невольно повернулся и увидел четырех гимназистов из старшего класса, которые стояли как дубы, и я с ужасом узнал среди них своего брата».

Это было очень громкое дело, по которому исключили двух-трех человек. Среди них было два еврея. Мария Владимировна Сибирцева как старожилка местная,

чрезвычайно энергичная женщина, лично знавшая генерал-губернатора Гандати, который вначале был либералом, а на Дальнем Востоке по отношению к дворянским семьям к старожилам было особое отношение, то Мария Владимировна могла к Гандати попасть на прием. Она, очевидно, выпросила, чтобы ее сына не исключили и дали кончить гимназию.

Эта семья была известна всему Владивостоку. Можно было прийти в магазин и сказать: «Дайте мне сибирцевских папирос». Это значило, что самые длинные, самые толстые и самые крепкие, то есть папиросы, которые курил М. Я. Сибирцев.

Уже будучи студентом, Всеволод стал большевиком. У младшего брата биография сложилась иначе, потому что он был значительно моложе. Ему пришлось ехать учиться, когда дело подошло к войне, и он решил, чтобы не идти рядовым на фронт, так как был человеком, который не знал ничего о революции, пошел в юнкерское артиллерийское Михайловское училище. Как дворянин был принят. Все крупнейшие политические события так развились, что, будучи человеком аполитичным, он, как юнкер, участвовал в защите Зимнего дворца против красных в Октябрьские дни. Как он сам вспоминает в письме, которое сейчас хранится у Губельмана, тогда всех защитников Зимнего, которых взяли в плен, отпустили.

Ему некуда было деваться, и он поехал на фронт под Ригу, где членом армейского комитета был его старший брат. Он пришел к брату, думая, как раньше было: «Обращусь к Севе, Сева поможет», а Сева сказал: «Если так будет продолжаться — мы враги. За что тебе драться, идем с нами». Игорь говорил: «Целую ночь промучился, и задавив сотого клопа, я убил в себе контрреволюционера».

Когда он приехал во Владивосток, он приехал человеком, который, еще будучи беспартийным, начал сотрудничать в нашей большевистской печати и стал помогать по мелочам советской власти и большевикам. Старший брат, когда вернулся с фронта, был избран в исполком, работал секретарем. Председателем Совета работал Суханов.

Партийность Игоря Сибирцева оформилась во время подполья, когда брат был арестован, Суханов был арестован, многие большевики были арестованы, а часть укрылась. Он приступил к работе как свой человек, хотя формально в партии в этот период не был. Он начал ра-

ботать, и так как был человеком довольно способным, очень умеющим продумать до конца все, что он начинает, то очень быстро пошел по партийной линии. Он был крупным работником, был или председателем, или секретарем городского подпольного комитета.

Смерть их известна. Всеволод был вместе с Лазо сожжен, Игорь же в 1921 году командовал частью, был ранен в обе ноги. Их преследовала кавалерия, его уносили с поля сражения наши красноармейцы. Он просил, чтобы они его бросили, потому что им трудно было убегать с ним. Красноармейцы этого не сделали, и он застрелился у них на руках.

Нужно сказать, что как работник крупнее был Всеволод. Он был и опытнее, с большой политической закалкой, а Игорь не успел как следует развернуться. Но оба они были очень незаурядные люди, люди волевые, бесстрашные, очень преданны. На меня лично они оба оказали решающее влияние, на мое большевистское оформление. Я был еще так молод, что стал формироваться как большевик, потому что жил всегда с ними и они влияли на меня. Непосредственное влияние оказал именно Игорь, и как раз в период колчаковского подполья — с осени 1918 года по весну — до партизанского движения и в период самого партизанского движения, который я проделал с ним до самого конца.

Я, например, даже вспоминаю такую вещь, что, в сущности, я был партийный человек, роль партии я чувствовал, но сущности, значения, не понимал, был слишком еще молод и мало знал. Первый человек, который мне это объяснил, был Игорь Сибирцев. Тогда уже, несмотря на то, что у человека были такие моменты, как защита Зимнего дворца, он мне дал «Что делать?» Ленина, стал говорить о значении партии, для чего это нужно.

Я очень хорошо помню, как к нам в сибирский флотский экипаж часто заходили шпики под всякими предлогами. Они или заходили к Марии Владимировне, разговаривали с ней как с начальницей прогимназии, или непосредственно к нам приходили под разными соусами. Игорь был человеком внешне легальным, считался студентом Владивостокского университета, а я был учащимся Владивостокского коммерческого училища.

Помню, как однажды пришел человек, очень просто одетый, и заявил, что он командир рабочей Красной гвардии

Уссурийского фронта — Малышев, который только что бежал из уссурийского лагеря. Так как он знает старшего Сибирцева, он просил его спрятать. Здесь правдоподобно то, что действительно такой Малышев был и действительно сидел в лагере. Мы Малышева не знали, но как-то по поведению этого человека поняли, что это не Малышев. Игорь сказал, что он не может его спрятать, потому что он не разделяет убеждений старшего брата. Он дворянин, отец — податной инспектор, мать — начальница прогимназии и поэтому он считает неудобным общаться с такими людьми.

Мнимый Малышев стал говорить: «Тогда из человеколюбия скажите, куда мне обратиться? Как найти Зою Секретареву или Зою Станкову?»

Игорь сказал, что он их знает. Они были легальны, хотя работали в подполье. Он не мог сказать, что не знает их, потому что они были студентками, поэтому сказал, что знает, но никогда не общался с ними и не знает, где они находятся.

— А где мне можно найти Раева? — А это уже был очень важный ход, потому что Раев вместе с Губельманом и Лазо жил в зимовье под Владивостоком. Он прощупал сердце организации.

Игорь сказал, что о Раеве никогда не слышал.

Это был настолько наглый человек, что все-таки продолжал сидеть и говорить:

— Ну, куда я денусь! Вы должны меня устроить. Ваш брат принимал участие... вспомните брата... неужели вы меня выбросите на произвол судьбы?

Видно было, что он не уйдет. Игорь Сибирцев посмотрел на меня, шепнул: «Посмотри за ним», — я сказал: «Хорошо». Он вышел посоветоваться с матерью. Пошел к ней и попросил выставить этого человека. Вдруг она влетает в комнату, как метеор, и начинает кричать:

— Как, большевик в моем доме! Одного сына вы мне загубили, теперь хотите другого отнять! Вон! — сказала она, указывая пальцем на дверь.

Он страшно растерялся от этого нападения. Подошел Игорь и сказал:

— Простите, она старая женщина, вам действительно придется уйти, — разыграл беспартийного обывателя и даже собственноручно подал ему пальто.

Перед тем, как пришел этот Малышев, у нас сидел совершенно законспирированный подпольный человек, Андрей Попов из музыкантской команды сибирского флотского экипажа. Только потому, что это происходило в здании прогимназии, пока этого мнимого Малышева младшая сестра Сибирцевых занимала разговором, мы этого Попова вывели и посадили в громадную уборную сибирского флотского экипажа, где находилась прогимназия. Там этот Попов сидел часа три.

Нужно сказать, что, может быть, самой удивительной фигурой была их мать. Это была интересная по тому времени учительница. Тогда это выглядело очень здорово. У нее ученик гимназии мог просить закурить, она давала. В этой прогимназии не запрещалось курение, только выходили в коридор. «Мария Владимировна, дайте папироску».

Если ученика мать преследовала за курение, она говорила:

— Ты кури, чтобы мать не видела.

Она придерживалась такого мнения, что детей не надо воспитывать, пусть растут, как хотят. Их нужно только обеспечить, потом пускай делают, что хотят, поэтому Сибирцевы росли совершенно беспризорными. Они могли что угодно делать, если не хотят идти в гимназию — могли не идти, если хотят воровать — могут воровать. Благодаря тому, что сама она была незаурядной женщиной и могла повлиять другим путем, ее дети выросли такими. Они пользовались совершенно полной свободой. Когда я был маленький и приезжал в деревню, мне приходилось один год жить у них, то, несмотря на то, что я был мал, я попал в такую же атмосферу.

Мария Владимировна очень рано, еще при первой советской власти, я думаю, под влиянием старшего сына, стала сочувствовать большевикам. Во всяком случае, когда совершился чешский переворот и было колчаковское подполье — это был абсолютно свой человек, причем человек необычайной воли, сдержанности, большого ума и прекрасный конспиратор. Она могла кого угодно спрятать. Конечно, гибель старшего сына окончательно закрепила ее на этом пути.

Формально она была беспартийная. Когда пришла меркуловщина, Меркулов посадил ее в тюрьму. Она была знаменем для целого ряда слоев. Она просидела несколько

месяцев в тюрьме до падения меркуловщины. По выходе из тюрьмы ей пришлось пережить гибель второго сына, но ее это не сломило, она вступила в партию. В это время ей было лет 56. Она активно работала как учительница. Когда она умерла, перед ее гробом буквально прошел весь Владивосток, потому что это уже была легендарная фигура. Это еще имело значение для Дальнего Востока потому, что они были дальневосточными старожилами.

Когда в ночь с 4 на 5 апреля началось японское наступление, Игорь Сибирцев и я находились в Спасске. Командующий районом — Певзнер — был в это время на Имане. Оставался его помощник Н. Костырев. Выступление не застало нас врасплох, потому что нам по железнодорожному телеграфу сообщили из Никольска относительно того, что там выступили японцы. Это было часов двенадцать — час. У нас же не было никакого движения. Только теперь выяснилось реальное количество японских войск. Мы почему-то их преуменьшали.

У нас не было предварительной подготовки на возможность выступления. Я помню, что буквально за месяц до этого японские части вдруг начали маневры по всему нашему расположению. Мы позвонили по телефону, чтобы все были в казармах, при оружии на всякий случай, но у нас не было никакого разработанного плана, как действовать. Из этого не сделали всех выводов.

Когда получили это известие, встал вопрос, как быть? Сейчас понятно, что по нашим теперешним расчетам, если мы считали, что их так мало, мы должны были напасть. Но мы не решались, потому что у нас была очень строгая директива, и партийная и военная, — идти на какие угодно уступки, но не обострять отношения. Мы не знаем, в чем дело в Никольске; может быть, этот конфликт будет завтра ликвидирован, поэтому начали готовиться к обороне. Решили вывести артиллерию за город, но она должна была уйти из города уже давно, чтобы стрелять по японским казармам. Тут нужно было ее грузить на поезд, везти до разъезда, выгружать и т. д.

Стали вывозить артиллерию, давать указания частям о занятии позиции. Погода была отвратительнейшая. Уссурийский апрель, валил колоссальнейший снег, под

ним была вода. Уездный городишко Спасск утопал в грязи, и было невозможно продвигаться. Пока артиллерия добралась до вокзала, они выступили врасплох, и началась неприглядная картина. По существу, это была паника. В «Таежных походах» я не без удивления прочитал, как организованно мы отступили из-под Спасска и что это объясняется той политической заботой, которую провели тт. Певзнер, Сибирцев, Фадеев.

Игорь был человеком, совершенно не подверженным панике. Он немедленно, еще с одним хорошим товарищем, организовал какую-то группу. Нам помог коммунистический отряд, который был нами сформирован. Это был отряд Певзнера, бойцы которого, придя в Спасск, вступили в партию. При помощи этого отряда мы организовали какой-то отпор. С боем стали отступать. Все-таки паника большая. Народ мчался, какие-то кони, двуколки. В одном месте панику остановишь, в другом начинается. Частей много, пространство большое, бегут там, бегут здесь. При помощи коммунистического отряда организовали какую-то оборону.

Я был ранен так, что не мог идти, и что со мной делать — неизвестно, нужно заниматься этими частями, а бросать меня жалко. Игорь Сибирцев и еще один товарищ Жиляев (между прочим, бывший жандарм, наш партизан, очень проверенный человек), они меня подхватили на руки. Но Игорю нужно было заниматься боем. Вначале он сказал: «Ах, Саша, ах ты, мой бедный», а потом закричал: «Ну, что мне с тобой делать?»

Он увидел партизана, скачущего на лошади, и закричал: «Стой, возьми раненого». Тот продолжал бежать. «Стой, убью». Я верю, что он убил бы, если бы тот не остановился. Взяли у него лошадь. Меня посадили на эту лошадь. Я был ранен около паха и двадцать семь километров проехал на этой лошади без перевязки. В деревне Калиновка, куда мы отступили, я уже лежал перевязанным. Игорь пошел меня отыскивать. Нашел, ни слова не говоря, положил голову на грудь, полежал молча минут пятнадцать. Это было единственное проявление нежности с его стороны за все время.

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

(Заметки к плану)

Ноябрь — декабрь 1952.

К роману

Женщина-врач:
«Смотрите, сколько вам клетчатки принесли».

Акафистов — старый стяжатель, замаскировавшийся под рабочего (и действительно работает на рудообогатительной фабрике), скупщик краденого, хозяин уголовной квартиры. К председателю завкома: «Так ты уж устрой мне, Андреич, а то я, знаешь, такой застенчивый, сам никогда не попрошу». Все выклянчит! Одновременно ему присущи черты того самого старика писателя, лица вымышленного, о котором рассказывают так много анекдотов в писательской среде.

Больной Балышев все время просит «заячью» пищу: капустку, морковку, свеколку. Когда его вынесут на улицу, на мороз — в «мертвый час», все беспокоятся: «Не замерзнете?» — «Нет, я, как кочан капустки, обернут в сотни одежек».

Женщина-врач, Сомова Галина Николаевна, смеется: «Опять капустка». Она — очень русская. Лицо — мягких очертаний, правильный овал, волосы русые, такие же брови и ресницы, глаза серые, умные, живые, ресницы небольшие, нос чуть вздернут, не сильно, а точно как нужно, в губах — не толстых и не тонких, а очень соразмерных лицу и глазам, и в подбородке — волевая складка, но женщина-врач часто смеется, показывая очень ровные (аккуратные), сплошные, не крупные и не мелкие, а совсем такие, как надо, матово-белые зубы, и только между двумя верхними передними, более широкими, тоненькая щелочка, что придает улыбке и всему лицу необыкновенную милость. Лицо у нее моложаво для тридцатичетырехлетней женщины, а телом она женственно-статна, лицо очень здоровое, нет ни лишних морщинок, ни подглазиц, лицо спокойное, ясное по выражению, какое бывает у семейных женщин чистой, трудовой, организованной ими самими жизни, румянец мгновенно вспыхивает на щеках от природной застенчивости, с годами преодоленной в силу характера профессии. Кисти рук, ноги, может быть, чуть-чуть большеваты, а в общем тоже такие, как надо. Если взять все порознь, то трудно, кажется, и отметить что-нибудь приметное, особенное, а в сочетании все особенно, все приметно, все полно обаяния: и эта улыбка, и мгновенно вспыхивающий румянец, соединенный с этой живостью ясных, прямо смотрящих на тебя глаз, и неповторимые жесты полных рук, не широкие, а где-то на уровне груди, легкие и тоже живые, точно обнимающие ладонями и преподносящие вам в этих ладонях что-то круглое, что вылетело только что из раскрывшихся в улыбке природно-алых уст. И только указательный палец правой руки иногда отделится не то поясняюще, не то укоризненно, не то просто для того, чтобы показать, какой это милый палец. Но как они были точны в работе, ее пальцы, руки, как сразу выступали эти складки воли в ее сжатых губах и подбородке, когда она работала. И как она могла быть требовательна и строга! (Ввести эпизод с пресловутым посещением инструктора и деловым письмом вопреки ее приказу и вопреки воле больного. Больной желчно: «Если это еще раз повторится, я выпишусь». Она: «Если это еще раз повторится, я выпишусь вместе с вами». — «То есть?» — «То есть подам на увольнение...»)

И все-таки больной заметил, что и при входе к нему, и при выходе она мгновенно кидала взгляд на лицо свое в зеркало, висевшее над умывальником у входа. Однако и это было так же естественно и мило, как все, что она делала.

Молодая женщина (Голубева Агриппина) с двумя детьми-близнецами. Работала на экскаваторе по уборке строительного мусора на строительстве комбината. Потом начальник горнорудного управления выпросил ее (а еще лучше, это было сделано по настоянию женщины — секретаря правобережного райкома Папиной) на гору, на большой экскаватор УМЗ, работающий на руде. Путь ее к мужу в ссылку и разочарование в муже. В бараке она живет там же, где живет доменщик Каратаев, отец артистки. У нее живет в комнате, приюченная ею, девушка-татарка, работающая на строительстве железобетонных труб новостроящихся коксовых батарей комбината. А может быть, с ней живет более старшая, чем она, одинокая, лишившаяся мужа подруга, — одна из описанных мною во время поездки в Днепропетровск — беленькая.

В поезде на похороны Сомова в специальном вагоне едут зам. министра (или министр) Багдасаров и начальник строительства главка, в прошлом крупный инженер-строитель. Они говорят о Сомове. Споры о материальном факторе в вопросе о том, кто идет в проектные организации, в НИИ и в заводские лаборатории. Споры о роли профессоров и преподавателей в том, какие молодые инженеры выходят из вузов. (В связи с трудностью найти человека с широким горизонтом на место Сомова.)

В вагоне третьего класса, в одном купе того же поезда, не зная о смерти Сомова, едут на его комбинат два только что получивших диплом инженера-металлурга, один — только что получивший диплом архитектора (Лесота) и молоденькая артистка одного из крупных театров Москвы — Вера Каратаева. Она едет в Сталиногорск к

отцу. Вначале студенты не знают, что она артистка. Их то яростные, то очень веселые споры обо всем. Она молчит. Они вначале не знают, что она артистка. Она нравится архитектору, но он не знает, кто она и как к ней подойти. Металлурги знают друг друга по институту, архитектор познакомился с ними, когда они брали билеты на городской станции. Артисточка никому из них не знакома.

Здесь же вкатить длинное, веселое, лирическое, обличающее и очень бытовое обращение к себе и ко всем братьям-писателям о преимуществах езды в вагоне третьего класса перед спальным, а тем более специальным вагоном. А может быть, это произнести устами или в мыслях Балышева (в связи с тем, что он увидал прогуливающихся по перрону этих трех молодых людей и артисточку, вылезших из вагона третьего класса), сделать это устами Балышева, начальника строительства главка («Да здравствует третий класс, да здравствует юность, черт возьми!»).

— Где вы живете? — «В Щитовых».

Вдруг тоненькая артисточка, купившая на одной из крупных станций газету, говорит своим неожиданно сильным, низким, необыкновенного обаяния голосом:

— Боже мой, Сомов умер!

Разговор секретарей обкома — «старого» и «нового». Одного только что сняли, а другого только что назначили (на заседании в ЦК). Оба остановились в гостинице «Москва», обедают в ресторане вместе. «Новый», при всем его внутреннем такте и понимании положения «старого», не выдерживает, когда «старый» только и говорит о том, как другие работники обкома, «его» кадры, «завалили» его на заседании в ЦК, чуть ли не «предали» и т. п.

«Новый»: нельзя воспитать кадры на поощрении того, чтобы они поддакивали и угождали тебе, надо и подби-

рать людей прямых, смелых, способных на критику, пусть ошибающихся по неопытности, но вообще людей способных мыслить самостоятельно. И надо поощрять в людях эти черты, а ошибки умело исправлять и учить их на ошибках. Не надо бояться окружать себя людьми, которые смотрят на иные вещи не твоими глазами. Правда доходит до них в конце концов, а в ряде случаев они тебя поправят. Одно дело люди чуждой идеологии, другое дело — свои, не поддакивающие люди. Вот если их третировать, не замечать, а не то и глушить и «задвигать», их можно оттолкнуть и к чужим. А что касается поддакивающих, угодничающих, то они только кажутся ортодоксальными, а на самом деле в них вырабатывается трусость мысли, они приучаются говорить неправду, а с другой стороны, поскольку это часто все же люди тоже свои и честные, только мелковатые, в них накапливается недовольство этим своим положением. И они не такие уж, по существу, «друзья» и «верные проводники» «линии» («твоей линии!»), — не удивительно, что вдруг почувствовали возможность освободиться от привычного гнета. А поскольку привыкли тебе говорить неправду, могли уже и о тебе сказать «с перегибом» тоже неправду, чтобы угодить людям еще более крупным, чем ты. От этого и в области вся работа плохо шла, что ты неправильно подбирал и воспитывал кадры, — выходит, ты сам в этом виноват и жаловаться тебе не на кого.

Министр Багдасаров посещает ремесленное училище в М., беседует с ремесленниками. Савка (на вопрос министра), как на экзамене или на показательном вечере: «Нам предоставлены все возможности выбирать себе профессию по душе. Я с детства мечтал стать сталеваром. И вот я учусь по этой профессии».

Министр. Нет, так у нас дело не пойдет... Где это ты рос, чтобы мог в детстве мечтать о профессии сталевара? Разве ты в деревне видел, как сталь варят?

Савка. Нет.

Савка — это тот парнишка, разговаривавший с знатным сталеваром Павлушей Кузнецовым, когда он вместе с ними, ремесленниками, ранним утром садился на трам-

вай на правобережной стороне, чтобы ехать на завод. Погожий, ясный осенний (или весенний?) денек. Величественный пейзаж огромного завода-комбината на той стороне озера.

———

Артисточка Вера дома у отца — доменщика Каратаева. Вечер. Пятьсот тонн пыли выбрасывает комбинат на город в сутки. Артисточка одна поет песню из «Кубанских казаков» — ту, где калина в ручей роняет цвет, а девушка не может рассказать парню о своей любви: «Милый мой, хороший, догадайся сам». Она поет одна, но в душе ее гремит оркестр и хор.

Так ее застает архитектор. Но нет, это не он герой этой песни!..

———

«Образование! Почему оно так называется: «о-бра-зо-ва-ние»... Вот ты, например, еще камень дикий, образа твоего еще нет, его надо «о-бра-зо-вать»; понял? А через что образовать? Через образование, чтобы в камне диком образ твой означился. Вот откуда это слово: «образование». Понял теперь?» — Слова мастера, обращенные к Павлу Кузнецову, а может быть, к Савке Черемных.

———

Еще о женщине-враче — Галине Сомовой. Уточнить жесты. Она говорила и смеялась и вдруг точно преподносила, протягивала, подавала вам, охватив ладошками, большой цветной мячик. Или уточняя, или поясняя что-то, она, держа кисти рук перед собой, на уровне груди, вниз ладонями, поочередно то опускала, то поднимала соединенные пальцы то одной, то другой руки. А если на правой руке пальцы поджимались к ладони и действовал только один указательный, это означало, что она хотела что-нибудь особенное внушить, или укоряла, или убеждала. Это от привычки во время работы не прикасаться руками к халату и вообще к посторонним предметам.

В дополнение к рисунку губ: впрочем, можно сказать, что нижняя губка была у нее чуть полнее, чуть-чуть вывернутая и как бы говорила, что в женщине этой есть

и своевольство и каприз — все при известных обстоятельствах и все не слишком, а совсем так, как надо. Если она была обижена, или сердилась, или просто была слишком утомлена, она редко проявляла это, обладая профессиональной выдержкой врача. Это проявлялось только в том, что она уже не смеялась и не краснела, а сжимала губы, и тогда в верхней, более тонкой, губе было уже что-то, делавшее лицо даже неприятным (что-то неприятное).

Можно все это показать глазами больного соседа Балышева, даже так: в веселую минуту он закрывает глаза и описывает ее вслух для нее самой. Он заканчивает описание такими словами: «Як казав мужик: «Баба она — баба, в ней все есть!..» Женщина-врач хохочет, беспрерывно краснея, и все говорит: «Вы меня совсем в краску вогнали... Право, вы заставили меня даже покраснеть»...

Наши энергетики решают задачу передачи постоянного тока на большие расстояния. Сколько бы мы сэкономили энергии и сколько сэкономили бы средств, устранив потери самой энергии, ликвидировав многочисленные подстанции, трансформаторы и пр. и пр.

Татарин — инструктор или инспектор по строительству. Лицо не вымышленное. Катаев изменил его фамилию в романе «Время, вперед!», когда он был еще бригадиром. В своем романе я укажу, что он воспет Катаевым в романе «Время, вперед!», возьму его фамилию такою, какую дал ему Катаев, и покажу, что с ним дальше сталось.

До Магнитки он был знаменитым по укладке бетона в Москве. Здесь он набрал бригаду частью из земляков-татар, частью из русских. С ним приехал Маннуров — тогда еще мальчишка. Он сам помог потом Маннурову переквалифицироваться. Маннуров пошел подручным сталевара, потом сталеваром. Потом образовалась тройка знаменитых сталеваров, получивших сталинскую премию, — Кузнецов, Красовский (эти двое из ремесленников, молодежь) и Маннуров.

Красовский — из колхозников Смоленской области. Мальчишка-пастух, он угонял скот из Смоленщины в глубину России. Родители остались в оккупации. Отец погиб от руки немецких фашистов. Дети умерли, старики тоже. Мать, согнанная с места (все было сожжено), скиталась в немецком тылу. Он не мог ее разыскать, когда немцев прогнали. Она сама нашла его. Когда скот вернулся, тех, кто его угонял, уже никого не было, но она узнала, где сохранялся скот в нашем советском тылу, и дошла до того села (надо по реальным материалам правдоподобно определить, где мог сохраняться скот из Смоленского колхоза). Здесь она нашла ниточку, в своем продолжении, однако, оборвавшуюся. Было известно, что мальчишку взяли в «трудовые резервы», и — все. Она осела в этом колхозе, одинокая, немолодая женщина.

Потом по газетам грамотный человек узнал о знаменитом сталеваре Красновском на Магнитке и обратил ее внимание. Все совпадало. Она написала письмо. Встреча Красовского с матерью должна быть очень драматичной. Встреча — там, на Магнитке. Он приводит ее в цех.

Концовка первой части: мой Кузнецов в числе лучших сталеваров Урала (среди них и сильно преобразованный мною Амосов) в Москве. Они приехали заключать договора по соцсоревнованию с москвичами. (Продумать, как связать их и с ленинградцами.) Кузнецов у родни Маннурова в Москве. Сталевары-ленинградцы. Сталевары-москвичи. Кузнецов в гостях у московского металлурга — Челнокова или его сына Николая, представителя «династии» металлургов. Заносчивость Кузнецова не внешняя (внешне — он скромен, а внутренняя), как представителя новой самой передовой техники, слетает с него перед величием традиций и более высокой культурой питерских и московских рабочих.

Восемьсот лет Москве и двадцать Сталиногорску (он сопоставляет это про себя). Семья Челноковых — олицетворение высокой культуры столичного пролетариата. При более отсталой технике — исключительное мастерство, тщательность в работе, изобретательство. И — общие знания. Сталиногорск в культурном отношении выглядит убого.

В гостях у Николая Челнокова подручные его, как сталевара, — испанцы, из тех, что детьми были вывезены из Испании в СССР во время освободительной войны. Они уже хорошо говорят по-русски, сдружились с нашими, здесь сталевары и их подручные, русские, других печей. Все они немножко подвыпили. В испанцах заговорила родная кровь, они поют песню: «Ай, Кармела», переход через Эбро, юноши, девушки из семьи Челноковых подпевают им. Лучше, если это будет не в квартире Николая Челнокова (она невелика, он женат на... у них двое маленьких детей), а на квартире его старика отца, металлурга, прославленного на весь Союз. Мысли Кузнецова, изложенные выше, все впечатления поездки, проходят в мозгу его, возвышенные аккомпанементом этой песни «Кармела». Тут примешиваются еще соображения, что жена у Николая тоже с полным средним образованием, как и муж, и работает, а его, Павла, Христина недоучка, как и он, Павел, и не работает, а превратилась в домашнюю хозяйку и недовольна своим положением. Так отлетают в сторону ранее обуревавшие его горделивые мысли: «Они, мол, сталь варят здесь, как суп в кастрюльке, и суповой ложкой помешивают, пусть-ка попробуют в наших большегрузных четырехсоттонных!»

Смутно шевелится в его голове сознание, что надо сочетать передовую технику с большой общей культурой, с великими традициями, со школой труда.

Потом калейдоскоп жизни опять на время все это заступает[?], но это — уже в следующих частях. И только после кризиса Кузнецов все это осознает и сам превращается в образованного человека.

На более высокой основе этот кризис проходит и новый директор комбината Шубин, назначенный после смерти Сомова, но у него это, с одной стороны, преодоление известной политической незрелости, превращение в большого политического и хозяйственного руководителя из просто талантливого инженера-новатора, а с другой — тоже отказ от пренебрежительного отношения ко всему «старому», как у Кузнецова, но на высшей основе.

Беседа нового директора Шубина с вдовой Сомова и с шофером покойного Сомова о том, как работал Сомов. Разговор — во время кульминации *его* кризиса, то есть кризиса Шубина.

Ленинград и Москву дать не иллюстративно, а прочно ввязать в сюжет и фабулу, через людей. Возможно, связующим звеном послужит артистка Вера, дочь рабочего с Магнитки, если сделать ее *ленинградской* артисткой. Или отец Бессонова — ижорец.

В конце первой части, когда Кузнецов находится в Москве и в Ленинграде, «обрушить» на его сознание всю красоту и мощь старой русской архитектуры (особенное впечатление она производит на него сравнительно со Сталиногорском). В то же время он, как и все сталиногорцы, —патриот своего города. И нельзя забывать, что, кроме юношеской «заносчивости», Кузнецов полон настоящей гордости и за свой с трехсоттысячным населением город, выросший за двадцать лет, и за передовую роль в области технического прогресса, которую играет для всей страны их металлургический комбинат.

Фабульно, мне кажется, было бы полезно совместить приезд нового директора комбината Шубина и приезд Кузнецова в Москву: тогда все, что они видят, переживают, каждый на уровне своего развития, можно было бы давать параллельно.

Надо, чтобы моя артисточка *родилась* в Сталиногорске. В двадцать девятом или тридцатом году. *Тогда* ее отец Каратаев не мог попасть в Сталиногорск, если это сталевар. Он мог быть доменщиком. Но не хочется делать его по типу П. А мне не нужно двух стариков доменщиков (особенно если учесть, что отец Сомова из

Усть-Катовска (к примеру) тоже доменщик, старый уралец, представляющий в романе старую отжившую уральскую металлургию еще, — на древесном угольке!). И все-таки *возможно* сделать ее отца типа П. Теперь он женат вторым браком, детей нет, все дети его от первой жены, умершей. Он — прост[?], живет с средним сыном и новой женой, как прежде в бараке. Дочь-артистка останавливается у него. Она характером и общим физическим обликом вся в мать, только глаза отцовские. Его сыновья все вышли на самостоятельную дорогу. У него могут быть два сына живых и двое погибших в Отечественной войне. Двое живых сыновей — это хорошо для фабулы. Один — молодой доменщик (или сталевар, или прокатчик). Другой, средний, тот, что живет с отцом, может быть типа Ш., работает на экскаваторе, он еще не женатый, но ему лет двадцать шесть. Все это пока предположительно *(Федор)*.

Женщина, работающая на экскаваторе, Агриппина Голубева — сменщица Федора Каратаева. Должен быть еще третий сменщик (Басов). Работают они на «горé». Любовь этой женщины к Федору. Но... есть горный механик, девушка, с которой... и т. д.

Если отец артистки Андрей Лукьянович Каратаев доменщик, он мог быть в том первоначальном штате, который был набран, когда домна еще только проектировалась и строители расчищали площадку для нее. Дочь его, будущая артистка, родилась, когда домну закладывали и положили грамотку «под пенек». Если так рано не набирают даже предварительного и сокращенного штата, возможно, ее отец, как старый, опытный доменщик-практик с юга, все-таки был вызван заблаговременно, именно как опытный доменщик «снизу» для участия в работах по строительству домны. В те времена это, пожалуй, было возможно, и, во всяком случае, это было в духе Орджоникидзе.

Артистка, Вера Каратаева, с тремя молодыми людьми в вагоне третьего класса. После того как она вслух говорит о смерти Сомова, все обращают внимание на нее. Юный архитектор, хотя он едет в тот же город, даже не знает, кто такой Сомов, что вполне можно понять, поскольку он — «натура художественная». Но двое юных металлургов прекрасно знают, кто такой Сомов, и очень удивлены, что смерть его произвела такое впечатление на очень интеллигентную и очень тоненькую черненькую девушку с короткой толстой косой (или с двумя тоненькими, длинными? А лучше всего сказать, поскольку у девушки черненькие глазки с таким разрезом, как у китаянки, лучше сказать, что ей и по фигуре, и по этим глазкам очень пошли бы две длинных тонких косы, но у нее была короткая, толстая коса, и это придавало ей вид очень своеобразный и безусловно русский).

— Я же там родилась... Я родилась, когда закладывали первую домну...

— Так сколько же вам лет?

— Разве вы не знаете, что такие вещи нельзя спрашивать? — наивно, без всякой улыбки, остановив свои китайские глаза на юном металлурге, сказала она. И, несмотря на всю серьезность обстоятельств, вызвавших этот разговор, смерть одного из крупнейших хозяйственных руководителей и инженеров в стране, в глазах ее одновременно появилось и выражение застенчивости, и мелькнула искорка тайного удовольствия. Если бы металлург не был так юн, он мог бы понять, что он по меньшей мере этой девушке не неприятен. Но он не догадался об этом.

— Значит, вам уже двадцать один, — вот никогда бы не дал... Значит, вы едете на родину? К отцу?

— К отцу, — сказала она покорно.

— А сами вы кто? — сказал другой юный металлург (это третий из молодых людей) в той несколько грубоватой манере, которая к сожалению, стала обычной между современными молодыми людьми.

— Я — артистка, — сказала она откровенно и улыбнулась, и китайские черные глаза ее поочередно остановились на всех троих, на одно лишь мгновение, с выражением простосердечным и вопросительным.

Вполне можно представить себе, что происходит в это время с архитектором.

Отец артистки — Андрей Лукьянович Каратаев — из забайкальских казаков. Работал на Петровском заводе в Забайкалье. Потом попал на завод Брянского общества, ныне имени Петровского, в Екатеринославе, ныне Днепропетровске. Он хорошо знает Балышева — представителя министерства по строительству, как инженера, участвовавшего в реконструкции домен на заводе имени Петровского. При посещении старого друга Балышев, крупный строитель, узнает тоненькую черненькую девушку, которую видел на станции с молодыми людьми, — это дочь его старого друга Каратаева.

Другой вариант — как отец артистки Каратаев попал на южный завод имени Петровского. Он мог быть на германском фронте в казачьей забайкальской части (по одному из последних военных призывов), еще не женатый. По ранению попал в госпиталь в Екатеринослав. Женился на няне — сиделке в госпитале, екатеринославской родом (с одной из Чёчеловок — улиц). Начались перипетии гражданской войны, смена властей, у него последствия ранения, она его прятала. Потом он поступил на завод Брянского общества — поступил сюда, так как уже работал до войны на Петровских заводах в Забайкалье. Он — из бедняцкой казачьей семьи. Наружность взять с еще не старого Степана Шилова.

Такой вариант удобен для фабульных связей. Отец артистки знает смолоду моего инженера-строителя (теперь начальника главка или заместителя начальника). С другой стороны, он знает женщину — секретаря райкома Дашу Панину, когда она была еще девушкой-работницей, комсомолкой, строительницей (надо определить ее квалификацию, очень еще низкую, примитивную в ту пору).

Дарья Никитовна Панина — женщина-секретарь Заречного райкома («Заречная сторона»), где живут многие инженеры и руководители строительного треста и нерядовые строительные рабочие, по приглашению директора

треста посещает строительство прокатного цеха (тонколистового) и видит Агриппину Голубеву, женщину, работающую на экскаваторе, очень впечатлившую ее своей внешностью и манерой работать в этих тяжелых условиях. Узнает ее судьбу. (Сама несчастливая в личной жизни, секретарь райкома Панина очень понимает женщин такой же судьбы и помогает им, — помогает в манере, ей свойственной, очень незаметно, всегда сдержанная, суровая, даже жесткая). Уговорила передать ее на «гору». Уговорила сына моего доменщика Каратаева (отца артистки), скажем, Федора, помочь женщине на экскаваторе на первых порах. Отсюда близость этой женщины к Федору. Но так как Федор любит девушку — горного механика Аню Борознову, Агриппина все-таки остается несчастной в этом смысле. С двумя детьми ей трудно работать по такой тяжелой профессии. В конце концов она идет к секретарю Зареченского райкома, преодолев гордость (а может быть, гордость мешает ей все-таки, а секретарь райкома сама вспоминает о ней, — вспоминает, может быть, под впечатлением своей встречи с любовью юности, с инженером-строителем Балышевым). И Панина устраивает Агриппину воспитательницей в общежитии ремесленников. Балышев и Панина встречаются у Каратаева.

Нужен хороший директор или завуч, или просто учитель, или мастер ремесленной школы металлургов, как один из героев романа. Человек лет тридцати—тридцати двух (Гаврилов Николай Прокофьевич). Вот с ним и находит женщина свою судьбу. Он, правда, слегка попивает. Если дать женщине в подруги не только татарку молоденькую, а женщину еще постарше ее, тоже лет на тридцать, по типу моей белокурой героини из Днепропетровска, но замужней, живущей с запойным мужем в том же бараке, можно целиком использовать мотив моей ненаписанной пьесы в отношении двух подруг (см. старые записные книжки 1937—40 годов). Они вдвоем, поставив пол-литра, обсуждают — выходить ли младшей из них замуж.

Продумать наиболее выгодно, с точки зрения фабульного развития, *кто по специальности* эта старшая из подруг Агриппины.

Любовь между Федором и девушкой Аней — горным механиком. Твердость Федора — он не женится, пока не окончит учебу. Это непонятно девушке, горному-механику, которая готова пожертвовать собой, всей судьбой своей ради любви.

Две подружки, девушки лет по восемнадцати — девятнадцати, живущие в одной комнате: либо они вальцовщицы, либо работают на РОФ. Одна хочет быть похожей на Любку Шевцову, другая на Улю Громову. Первой (она очень живая, но некрасивая) больше нравится кинокартина «Молодая гвардия» из-за того, что там Любка тоже не очень хороша собой, а всех покоряет. А другой больше нравится роман, потому что ей не нравится Уля Громова в фильме, а нравится в романе, — по наружности своей она надеется, что не уступит Уле. Их спор по этому поводу. Обе скрывают, кому они подражают. Все должно быть окрашено прелестной, наивной, немножко эгоистической молодостью и соперничеством, а с моей стороны, нужно найти краски очень тонкого, доброго юмора.

Если женщина, работающая на экскаваторе, Агриппина Голубева, потеряла мужа не на войне, а от того, что он сослан за уголовное преступление, тем более если она с неимоверными трудностями и лишениями в свое время пробралась к нему и там, убедившись в его гнилости и преступности, порвала с ним, — это ее прошлое может висеть над ней. Развертывая в романе уголовную линию, вероятно, придется привести ее мужа с «приятелем» в город, где живет эта женщина. Они еще надеются использовать ее доброту в своих преступных замыслах.

Это дает возможность для изображения исключительно сильных переживаний у такой натуры, как эта женщина. Муж подсылает к ней «приятеля» как раз в то время, когда она стала воспитательницей в общежитии ремесленников (лучше — молодых рабочих).

А в это время развертывается у секретаря Зареченского райкома именно *из-за нее*, из-за *ее* прошлого конфликт с неким Навурским (продумать, кто это должен быть). Секретарь райкома по служебным и бытовым делам

«прижала» Навурского по партийной линии, прижала справедливо. Это тот самый Навурский, который говорит о секретаре райкома, что она «человек черствый», «бездушный», «бюрократка». Сам Навурский человек по общественному положению своему «крупный» и «сильный». Вот он-то и узнает о прошлом женщины с «горы». И, зацепившись за это, пытается свергнуть секретаря райкома (возможно, нужна районная партконференция).

В самый острый период этого конфликта, о котором «женщина с горы», то есть Голубева, знает, и появляется муж ее. Она решается выдать мужа. Гордость не позволяет ей предупредить начальника милиции, что преступники догадаются, что она их «предала», и будут мстить ей. Она действительно получает от мужа ножевое ранение. Его арестовывают.

Мать инженера-строителя Балышева — Лидия Владимировна, учительница, ставшая учительницей в старое время по соображениям идейным. Взять некоторые черты А. Ф. Колесниковой и некоторые черты мамы (см. также статью в «Комсомольской правде»).

Внешне с Константином Балышевым произошла та же метаморфоза, что с гадким утенком, превратившимся в лебедя. Сочетание демократизма, непосредственности, сдержанности, невнимания к своей внешности с какой-то природной элегантностью. Стройный красавец. Несчастлив в любви при исключительном «успехе» среди женщин. Моцартианская натура в инженерии. Все дается легко и в то же время — все подлинное, все основано на знании, опыте, неизвестно как приобретенных, все идет к нему, кажется, без всяких с его стороны усилий. Необыкновенная естественность манер, обаяние. Несмотря па его ярко выраженную интеллигентность (в строгом смысле), граничащую с артистизмом, — любимец рабочих. Сдержанность и темперамент в работе, в жизни; азарт не показной, скрытый. В минуты трудные, опасные — необыкновенная смелость, напор энергии; «бешеный в работе», — говорят про него те, кто с ним работает, а со стороны он может показаться даже легкомысленным, так покойно, весело шутит, так «легко» живет.

Рассказать, как и почему он стал «несчастлив» в любви. (Он холост, хотя ему уже 46—47 лет.)

О поколении пятидесятилетних — поколении Багдасарова и Дорохина. В связи с воспоминаниями об общежитии Горной академии. Общежитии времен перелома от военного коммунизма к нэпу и на переломе от нэпа к наступлению на капиталистические элементы. На плечи этого поколения легли первые пятилетки, оно же шло во главе промышленности во время Отечественной войны, в значительной мере оно возглавляет строительство и в наши дни.

Начать роман можно с очередного заводского рапорта или графика. Принимает рапорт главный инженер комбината Бессонов, поскольку директор Сомов лечится на юге, в Кисловодске. И во время рапорта заходит парторг и сообщает о смерти Сомова, только что получено известие. Главный инженер, не выдержав, тут же в диспетчерской, в трубку, где на проводах все начальники цехов и начальник горнорудного управления, сообщает им трагическую новость. Она становится достоянием комбината.

В поезде, который везет зам. министра Багдасарова и всех, кто с ним, события развертываются таким образом. Сначала дается специальный вагон. Разговор перемежающийся: кроме уже намеченного, говорят о прогрессе техники. Но главная тема: кем заменить Сомова? (Именно в связи с ней идет речь о недостатках преподавания в наших технических вузах.) Конечно, лучшей кандидатурой была бы кандидатура Бессонова, как главного инженера, давно работающего на комбинате. Но дело в том, что буквально два дня назад, когда еще Сомов был жив и ничто не предвещало его скоропостижной кончины в Кисловодске, состоялось решение о назначении Бессонова на место директора металлургического завода в областном городе. Завод этот возник в дни войны, ему предстоит еще строиться и развертываться в мощнейший завод в Союзе. Он сложился из эвакуированных «Электростали», «Красного Октября» («Мюр и Мерелиз!»), в нем смешались разные кадры, старое и новое в технике, не сложился коллектив, завод весь в стройке, — нужен был сильный директор, и вот назначили Бессонова. Отменить решение нельзя, да и неудобно сознаться, будто так слабо с кадрами по этому министерству.

Потом на стоянке представитель строительного главка Балышев выходит из вагона и видит молодежь. Отсюда его мысли о преимуществах третьего класса, идущие как продолжение его мыслей о днях молодости и о возможности встречи с Дашей Паниной, — той, которая впоследствии оказывается секретарем Заречного райкома. И мы переходим в вагон третьего класса — к молодежи.

Конфликтный, приличный по форме, горький по существу, разговор Бессонова с министром Багдасаровым. Бессонов привык к комбинату — здесь все в основном сложилось, дело налажено. Он понимает, что теперь он должен был бы стать его директором, — он, конечно, не стремился к этому, но так судьба сложилась, и вдруг — его бросают на новое дело, сопряженное с переменой жизни, с трудными условиями работы! Линия Бессонова в романе — это тема *освоения нового предприятия.* И это — тема патриотизма в отношении к заводу. Показать, что пока патриотизма нет, дело не идет, показать, как рождается патриотизм и как дело сразу идет вперед. Вначале он видит только одни трудности, изъяны, недостатки и все сравнивает с комбинатом. Все первые месяцы комбинат не выходит из памяти, не сходит с уст. Ему, то есть Бессонову, вправляют мозги либо на коллегии министерства, либо в ЦК (это еще продумать), либо в обкоме.

Ввести через артистку и архитектора тему о необходимости введения антирелигиозной темы в изучение общественных наук в школе; о необходимости знать приобретшие религиозный характер мифы и легенды о Христе, о деве Марии, обо всем, что в старом «Законе божьем» называлось Новым и Старым заветом, потому что без этих знаний будет непонятно мировое искусство многих веков. Вместе с тем это искусство с его реализмом как раз опровергает религиозное истолкование этих легенд и мифов. Привести примеры итальянского Возрождения, фламандской школы (из записных книжек старых и 1952 года).

Вообще говоря, и архитектор и артистка дают возможность развить всесторонне мысли об эстетическом воспитании народа.

Старик рабочий (это должно быть не эпизодическое лицо), увлекающийся старинной русской архитектурой, эдакий въедливый дед-строитель, — нападает на моего архитектора за то, что книги, издаваемые Академией архитектуры, изобилуют непонятными терминами. «Для кого вы их издаете?»

Вместе с тем проблемы эстетики должны быть поставлены моими героями где-нибудь на конференции или в разговоре с большими руководящими людьми. На этой почве разворачиваются и их личные отношения.

— Архитектор, вы становитесь человеком.

Еще о личной жизни инженера-строителя Балышева. Почему он холостяк. Или неудачно женат и не может вновь жениться? Его мрачная шутка: «Мир уже поделен» [1]. В молодости его преследуют неудачи, а когда, казалось бы, счастье могло стать возможным, оно возможно за счет несчастья других, ибо — «мир уже поделен», женщины, нравящиеся ему, уже замужем, причем круг, в котором он вращается, в общем один и тот же, и женщины эти — жены его товарищей или подчиненных.

Артистка Вера в разговоре цитирует Флобера («Сентиментальное воспитание») о глубоких чувствах — проходящих, как порядочные женщины со склоненными головами.

Черная металлургия. Человек *организует* огненную стихию. Жаркое пламя в печах, в которых переплавляется, переделывается шихта — сырье, каким человек его получает от природы.

«Черная металлургия» — роман о великой переплавке, переделке, перевоспитании самого человека, превращении его из человека, каким он вышел из эксплуататорского общества — и даже в современных молодых поколениях еще наследует черты этого общества, — превращение его в человека коммунистического общества.

---

[1] Лучше Соня Новикова говорит: «Мир уже поделен».*

В романе надо хорошо развить тему о положении советской женщины в семье. Две стороны вопроса: что общество уже дало женщине и где она еще фактически связана больше, чем мужчина. Разоблачить, высмеять, бичевать эгоистические навыки мужчины в семье, — особенно, когда дело касается крупных работников, ибо они-то должны были бы показывать пример! Мужья «рады», когда их жены превращаются в домашних хозяек, — мужьям удобнее! Но сколько от этого семья теряет в духовном смысле! Работающая женщина одна несет бремя домашних забот. С другой стороны, улучшение материального положения семьи сразу влечет за собой увеличение числа неработающих женщин — в среде «ответственных работников». Они ведут паразитическое существование. Кто не видал этих жен, спускающихся по лестнице со свертками и авоськами в руках (которые не смог сразу захватить шофер, поджидающий внизу с машиной!), в то время как ответственный муж важно спускается в своей каракулевой шапке и каракулевом воротнике, заложив руки в карманы, — ему «не положено»! Во дворах, в скверах вы можете встретить не только нянь, но и жен «ответственных работников», толкающих перед собой коляску с дитятей, — если они работают, служат, они все-таки выкраивают время, чтобы понянчить дитя свое, но укажите хоть один случай, чтобы «ответственный работник» заменил свою жену у коляски, — как же, «смеяться будут»! Это мелочи, чтобы не говорить о вещах более серьезных, — это пена, плывущая по поверхности реки, но... «и пена есть выражение сущности».

В семьях рабочих и рядовых служащих (за многочисленными, правда, исключениями) мужья помогают своим женам в уходе за детьми, в воспитании детей. В семьях «ответственных» — очень редко.

В специальном вагоне зам. министра в числе прочего разговаривают и о вредителях — врагах народа конца двадцатых — начала тридцатых годов. Вспоминают некоего Ш., с которым учились вместе в Горной академии.

Я должен буду развить в романе три наиболее важных, острых и значительных темы в связи с развитием промышленности: 1) коллективизация сельского хозяйства,

2) действия врагов народа и их разгром, 3) Отечественная война и перебазирование значительной части промышленности на восток. В развитии второй из этих тем материалы о Ш. мне будут нужны. (Возможно, это не связывать с вагоном, в начале романа.)

Я должен использовать все свои знания быта студенческих общежитий начала двадцатых годов. В связи с инженером-строителем Балышевым это не удастся, не хочется делать его настолько пожилым. Это можно сделать в связи с зам. министра — армянином Багдасаровым. Это лучше всего сделать при встречах его со своими ровесниками на Магнитке, учившимися вместе с ним, — металлургами (*или с геологом* Дорохиным, что для меня было бы сюжетно важнее).

Во время одного из серьезнейших разговоров Багдасарова — либо в министерстве, либо на Магнитке с руководителями и инженерами предприятия — пустить одновременно радиопередачу для детей. Она идет параллельно, тихо, не мешая разговору, что-нибудь очень «современное», то есть далекое от жизни, сюсюкающее, — имеет видимость нового по содержанию и по форме, на деле повторяет и по методам подхода к детям, и по тону что-то очень старое, дореволюционное, точно передают не для наших, а для барских детей. Некоторое время разговор и радиопередача идут одновременно. Зам. министра, невольно прислушиваясь к радиопередаче, вдруг восклицает:

— Слушай, кому они это передают? Разве тебя, или его, или меня так воспитывали? Это и в старое время не подошло бы ни тебе, ни ему, ни мне. А теперь ведь таких детей совсем нет, а если есть, то их так мало и это — уродливые дети. Черт его знает, сколько десятилетий прошло, весь мир перевернули, а этот барский штамп подхода к детям все пережил! Ну кто это может слушать? Дети колхозников, рабочих? Твои дети, его дети или мои дети? — И он с возмущением выдергивает штепсель.

Кузнецов в Москве на конференции в защиту мира (это — в последующих частях). Дать конференцию в полный разворот. Дать современность, современников наших, живых, таких, какие они есть, и с настоящими фамилиями: Образцов, Российский, Ангелина, Эренбург, патриарх Алексий, девушка-охотница из Сибири, мусульманский муфтий, Несмеянов, Василевская, Лебедева, Тихонов, Амбарцумян, Кошевая, Яблочкина и пр.

Кузнецов в семье своего сменщика, татарина Маннурова, в Москве. Это дает еще одну фабульную нить для связи периферии с центром и притом по «низовой» линии. Родня татарина строит новый цех московского металлургического завода. Отсюда возможна увязка с Челноковым и вообще с людьми этого завода.

Зам. министра или член коллегии Багдасаров. Сын рабочего, бакинского армянина (откуда-нибудь из Сураханов). С юношеских лет в партии, пережил бакинское подполье при англичанах и муссаватистах, всю эпопею 26 комиссаров. X съезд партии, Кронштадт. Московская горная академия. «Электросталь».

Индустриализация, как основа перехода к коммунизму, — *политический* смысл романа *в этом.*

Врачи в больнице тянут жребий — кому дежурить в новогоднюю ночь. Одинаково сложенные бумажки из маленького блокнотика — в докторскую беленькую шапочку, на одной из бумажек «31». Галина Николаевна: «Не волнуйтесь, я, как всегда, вытащу его». И как это часто бывает в жизни, именно она и вытаскивает себе дежурство на новогоднюю ночь. Именно в эту ночь происходит ее *объяснение* с Балышевым.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(*Главные*)

Сомов Иннокентий Зосимович — директор комбината, инженер-сталеплавильщик.

Сомов Зосим Филиппович — его отец, старый доменщик из Усть-Катовска.

Сомова Галина Николаевна — жена Иннокентия Зосимовича, урожденная Челнокова, врач.

Шубин Сергей Петрович — начальник доменного цеха, впоследствии директор комбината.

Шубина Надежда Степановна — его жена, инженер-доменщик.

Каратаев Андрей Лукьянович — старый доменщик, из забайкальских казаков.

Каратаева Степанида Сергеевна—его вторая жена.

Каратаев Федор — его сын, машинист экскаватора, студент Горно-металлургического института, без отрыва от производства, — 26 лет ему.

Каратаев Григорий — его сын, 28 лет, оператор блюминга (или слябинга).

Каратаева Вера — его младшая дочь, артистка, аспирантка Института истории искусств.

Голубева Агриппина—машинист экскаватора, сменщица Федора Каратаева.

Декабрь 1952 — январь 1953

В старое время требовались десятилетия, а не то и смена нескольких поколений, чтобы индустриальный рабочий, пришедший из деревни, или выходец из городских ремесленников, мещанства, обрел черты индустриального пролетария, тем более — социалистическое сознание.

В наше время процесс этот происходит необыкновенно быстро, а ребята, прошедшие школу трудовых резервов, в большинстве своем обретают эти черты вначале в школе и — буквально спустя несколько лет работы на заводе. Все-таки пережитки собственнической психологии, анархического индивидуализма, недостатки общего культурного развития сказываются еще долго, сказываются не так, как в старое время, а в специфических, очень разнообразных формах, типичных именно для нашего переходного времени.

Рост этого социалистического сознания показать у Кузнецова, когда он находится на вечеринке у московского сталевара Челнокова. Он сравнивает эту сознательную семью московской династии металлургов со своей, которая довольно ловко в тридцатом году увернулась от коллективизации (отец его не был кулаком, но «вышел» в город и стал служить в торговых, пищевых, складских учреждениях, где мог «поживиться» за счет государства). То, что Павлуша Кузнецов понимает это, любуется *династией* сталеваров, хочет походить на них, показывает, какой скачок, отделивший его от семьи с ее пережитками и предрассудками, он совершил, насколько сознанием своим он приблизился именно к передовым рабочим. Вся его линия в романе есть линия преодоления пережитков индивидуализма — мелкого тщеславия, славолюбия в смысле приверженности к внешним проявлениям и «благам» славы, уступок семье (в дурном смысле), преодоления собственнического отношения к жене, очень сложного, где большая любовь сопровождается нежеланием, чтобы жена работала, и пр.

Этот же процесс становления социалистического сознания показать на мальчишках и на девочках — учениках и ученицах ремесленного училища, и прежде всего на Савке Черемных.

Лакшин. Рост профсоюзного работника в борьбе за улучшение бытового положения рабочих, улучшения охраны труда и пр., как необходимая и важнейшая сторона его деятельности по воспитанию и организации рабочих в смысле социалистического отношения к труду, в их производственной деятельности. Мой герой — профсоюзник (Лакшин), юношей работает подручным на приеме «недопала», возле печи обжига известняка, видит ужасные условия этого труда, делает первые выводы свои. Фабульно надо связать его в ту пору дружбой (с его стороны это тайная любовь) с молоденькой женщиной (Паниной Дашей), будущим секретарем Заречного райкома, которая, приехав с молодым мужем на Магнитку, попадает на строительство известкового завода — тоже пока рядовой, низовой строительницей. Впоследствии он выступает на той самой партийной конференции, где развертывается основной конфликт секретаря райкома с одним из руководителей

торговой организации в городе. На этой конференции мой профсоюзник выступает с развернутой речью: как отражаются на здоровье рабочих эти пятьсот тонн пыли, выбрасываемой комбинатом на город... присутствующий на конференции секретарь обкома (или горкома) отмечает его и хочет выдвинуть моего героя на партийную работу. Мой герой сопротивляется. «Оттого и слабости в работе профсоюзов, что стоит человеку показать себя — его берут на партработу». В романе мой герой противостоит другому профсоюзнику — типичному чиновнику, воспитанному не в школе жизни, а на профсоюзных курсах и на аппаратной работе.

Первое столкновение моей героини, секретаря райкома (Даши Паниной), когда она еще совсем юная, со своим мужем происходит перед тем, как они должны пойти зарегистрироваться. Она не хочет менять свою фамилию, — это было типично для того поколения. А он настаивает. Все-таки она не изменила фамилии.

Инженер-строитель Балышев на вечеринке у инженера-коксовика Псурцева. Все жены увлечены моим героем. Он, подпив, в азарте ввязывается с ними в шутливую драку по поводу того, что они не работают и что у них мало детей. Перепалка, резкая по существу, скрашивается его юмором и юмором, который привносят женщины. Нельзя отказать в том, что в их позиции есть сильные стороны: объективная — недостаточная забота о быте женщины, отсутствие помощи со стороны мужей, поощрение мужьями такого положения оттого, что мужьям это выгодно; субъективная — мой герой или неженат, или женат на неработающей жене и бездетен, а ему уже далеко за сорок! Однако он умен, талантлив и ранит их в самое сердце. Многим из женщин кажется: «Он одинок (или несчастлив), а ведь *я* могла бы сделать его счастливым!»

Мой герой, строитель-инженер Балышев, в областной больнице. Его лечит «та самая» женщина-врач — Сомова. А может быть, это происходит и на Магнитке. Продумать фабульно, где выгоднее показать *ее*, женщину-врача. В

Сталиногорске хорошо, потому что покажет рост интеллигенции в новом городе. В областном центре — можно связать ее с медицинским институтом, дать ей перспективу стать врачом, ученым и воспитателем. Но эту перспективу — другим путем — можно ей дать и в Сталиногорске. Споры о профессии врача, как гуманистической профессии, и о тяжелых сторонах этой профессии. Через эту женщину-врача, труженицу, растущую, талантливую, с большой перспективой, человека с большой буквы, через ее быт, семейный уклад *осудить* личный жизненный путь Балышева. Она — жена, вдова покойного Сомова, оставшаяся работать после смерти мужа в той же больнице?

Жена инженера-коксовика Анна Ивановна, хотя и не работает по специальности, но большая общественница, человек, не примирившийся с долей домашней хозяйки, ищущий. Одновременно дать Олимпиаду Анастасьевну, жену инженера по водному хозяйству Кроткого, — «местную львицу» от скуки, и еще одну «жену» — Ольгу Гавриловну, ханжу с претензией на передовые идеи в быту, мнящую себя передовым педагогом и воспитательницей собственных детей, по существу лживую развратницу и мещанку.

Спор на квартире инженера-коксовика все-таки сильно взбудоражил хороших женщин. Разговор жены коксовика с мужем, ночью, после этой вечеринки,—добрый разговор, такие были у них еще в студенческие времена и после рождения первого ребенка, и после того как она бросила работу, то есть как они все «исправят», но, в силу некоторых свойств человеческой натуры, и на этот раз разговор так и останется разговором.

Если женщина-врач — жена покойного Сомова, тогда возможен такой вариант «развязки». Когда инженер-строитель Балышев поправился, он не то что объясняется в любви, а «делает ход». И вдруг все становится ясным. «У детей Сомова не будет второго отца», — говорит она как бы невзначай. И это — ее ответ на его «ход». Но в *этом* смысле и с точки зрения *воспитательной*

(по отношению к людям с такими привычками, как у инженера-строителя Балышева) очень хотелось бы, чтобы женщина-врач не была вдовой, а была замужем, имела много детей и была счастливой во всех отношениях.

Непрерывное производство. Точно, в определенные часы, в 8, в 4, в 12, ранним утром, днем, ночью, идет очередная смена, поток рабочих людей, тысячи и тысячи. Символ дисциплины, организации, сознательности, символ государственности. Все люди разные, все со своими слабостями — но в 8, в 4, в 12 они идут выполнить свой долг, — они научились преодолевать свои слабости к тому моменту, когда надо идти в смену и выполнять свой долг. Можно понять, почему партия коммунистов родилась в рабочем классе. Эту мысль, как финал симфонии, дать в конце романа, а в начале романа дать картину просто зрительно, — пейзаж комбината за озером, «симфонию дымов», потоки рабочих и работниц всех возрастов от «ремесленников» до стариков, — это запевка.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(*Продолжение*)

Басов Виктор — машинист экскаватора, сменщик Федора Каратаева и Голубевой.

Попова Аня — горный мастер.

Кузнецов Павлуша, **Маннуров** Афзал, **Красовский** Коля — сталевары-сменщики одной печи.

Чепчиков Сеня, **Паспарне** Эдуард («Паспортный»), **Жигалин** Миша — сталевары комсомольской печи, бывшие первые подручные Кузнецова, Маннурова, Красовского.

Черемных Савва
Сидойкина Таня
Степуренко Ваня
Шаторная Лида
Оганесов Тевадрос (Федя)
Беленькая Рита
Варламов Пантелей («Тюша-Матюша»)

} «ремесленники» и ФЗО.

Волглый Иван Степанович — директор ремесленного училища.

Гаврилов Николай Прокофьевич — мастер ремесленного училища (или ФЗО).

Лисовский Юлий Андреевич — преподаватель ремесленного училища, математик.

Арамилева Инна Феофановна — преподавательница школы рабочей молодежи (жена парторга ЦК на комбинате).

Арамилев Степан Евстафьевич — парторг ЦК на комбинате.

Бессонов Валентин Иванович — главный инженер комбината, впоследствии директор металлургического завода в областном центре.

Гуляев Максимилиан Фотиевич — главный механик горнорудного управления.

Чирков Михаил Михайлович — директор агломерационной фабрики.

Псурцев Илья Григорьевич — инженер-коксовик.

Псурцева Анна Ивановна — жена его.

Кроткий Семен Ипполитович—инженер по водному хозяйству комбината (или ремонтник, или энергетик, или транспортник).

Кроткая Олимпиада Анастасьевна — жена его.

Ивашенко Матвей Кириллович — инженер, начальник мартеновского цеха.

Шурыгин Алексей Петрович — инженер-прокатчик.

Шурыгина Ольга Гавриловна — жена его.

Григорьев Петр Иванович — инженер-доменщик.

Панина Дарья Никитовна — жена его, секретарь Заречного райкома ВКП(б).

Балышев Константин Витальевич — инженер-строитель, впоследствии работник Министерства черной металлургии по строительству или Министерства строительства.

Балышева Лидия Владимировна — его мать, учительница в крупном промышленном городе на Украине.

Орочко Максим Федорович — директор металлургического завода в том же городе.

Навотная Евгения Ивановна — инженер, начальник бессемеровского цеха на том же заводе.

Багдасаров Григорий Аветович — член коллегии Министерства черной металлургии.

Шур Ефим Яковлевич — директор строительного треста.

Галлиулин — укладчик бетона, теперь инструктор стахановских методов труда.

Исмаилова Куляш — работница на строительстве, казашка.

Новикова Соня } вальцовщицы или работницы
Иванова Васса } РОФ.

Гамалей Александр Фаддеевич — машинист портального крана на углеподготовке.

Надо продумать фигуру старого рабочего, теперь уже на пенсии, честного, немножко путаного, участника революционного движения, но где-то *при* партии (теперь он, конечно, уже в партии), самоучки, всезнайки, умного, но чудаковатого, всю жизнь пишущего свою биографию на фоне истории завода, но так и не могущего ее закончить... Это — для сопоставления с *современным*, вполне практическим, действенным массовым изобретательством—одним из условий технического прогресса.

Савка Черемных идет по главному проспекту города, идет спокойной, уверенной походкой рабочего человека и насвистывает песенку, очень громко, мелодично, — лицо у него спокойное и серьёзное.

Авторское обращение к капиталистическому Западу.

Савка работает на стройке при двадцатиградусном морозе без рукавиц, и руки у него не мерзнут. Он — свободный, здоровый ребенок, он прежде всего никого не боится, а главное— он сыт.

Авторское обращение по тому же адресу.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(*Продолжение*)

Доронин Арсений Дмитриевич — геолог, ровесник Багдасарова, учился в Горной академии на геолого-разведочном факультете, когда Багдасаров учился на металлургическом (соседи по комнате). Впоследствии — главный геолог горнорудного управления.

Голубева Агриппина — Пеша, Пена, Пеночка, как зовут ее подруги.

Партийный руководитель — это воспитатель особого типа, способный учить на опыте и двигать в нужном направлении не только личности, как это обычно изображают, а большие коллективы людей, массы, организации *и* — личности.

Инженеры, окончившие по металлургическому факультету Днепропетровский горный институт, вспоминают «былые дни» (вторая половина двадцатых годов). Профессор Маковский, ректор, крупный специалист по турбогенераторам, друг Г. И. Петровского по временам подполья, хотя сам и беспартийный, очень рассеянный человек. Во время посещения Петровским института, возражая на критику Петровского методов преподавания (отрыв от производства), в волнении и рассеянности налил воду из графина не в стакан, а в фуражку Петровского.

Рассматривая чертеж студента, сложил его готовальню и отправил себе в портфель. Перчил кофе. Исключительное внимание уделял рабочему факультету, где директором был его сын, а жена сына преподавала литературу. Все члены семьи Маковского оказывали охотно индивидуальную помощь в учебе рабфаковцам и студентам из рабочих.

Няня (сиделка) в больнице — Марфа Васильевна. Женщина под шестьдесят, прекрасный работник с чудесной улыбкой, красным носиком и склеротическими полными щеками (любит выпить), полная, спокойная, точная

в работе, неторопливая, всеми уважаемая и любимая за доброту и какое-то детское лукавство.

«Производство потеряла». «Не идет, а пишет». «Погода несамостоятельная».

В современных, так называемых «производственных» романах парторг ЦК на предприятии всегда «крупнее» директора, наставляет, учит последнего. Если бы дело обстояло так в жизни, зачем бы просто не назначить парторга директором предприятия. На самом деле функция парторга *специфически партийная*, — он делает *все в области партийно-политической работы*, в сочетании с которой только и может быть успешной работа директора. В то же время функции директора — хозяйственного, технического в конечном счете тоже политического руководства предприятием (не случайно именно директора, а не парторги бывают членами бюро горкома) — функции их столь сложны, что в жизни, за редчайшими исключениями, *директора предприятий всегда более крупные характеры, чем парторги.* Особенностью Арамилева Степана Евстафьевича, парторга ЦК на комбинате, было как раз то, что он отлично понимал это.

Женщина-врач — жена Сомова. Она — дочь московского или питерского рабочего (именно у ее отца живет первое время дочь Каратаева, артистка). Если Вера Каратаева — в московском театре, то и отец женщины-врача — естественно, тоже москвич. Сомов через жену помог устроить Веру в Москве, когда выяснился талант ее. Жена Сомова — одна из «династии» Челноковых. Тогда все отлично увязывается.

Путь Сомовой как женщины-врача. Мечты об ученой степени в области физиотерапии. Работа в Усть-Катовске рядовым врачом-терапевтом. Болезнь старика Сомова. Знакомство с будущим директором комбината Сомовым. Учеба в институте физиотерапии (дополнительная). Ординатура в клинике московской. Замужество. Трое или четверо детей. Работа, поглощающая все время, в больнице и поликлинике на Магнитке. Смерть Сомова. Работа

над диссертацией. Дружба с женщиной-микробиологом и бактериологом, профессором в областном мединституте. Именно эта, последняя, оказала влияние на Сомову в том смысле, что она не осталась рядовым врачом, а завоевала ученую степень, — это в конце романа.

Артист-халтурщик Вере Каратаевой: «Как вас по отчеству?», «У вас все подходит для русской артистки: Вера Андреевна Каратаева». Вера — сначала бессознательно, потом все более осознанно — борется за новый тип артиста (артистки), всей жизнью своей связанного с народом, с партией, с современностью, идейного и образованного. Такова ее линия в романе. Кончается роман ее большой женской ролью в современной пьесе.

Я должен показать в романе современный советский театр и дать несколько типов старых и молодых поколений актеров и писателей.

Разговор Веры с архитектором о необходимости знания классической мифологии, а также различных легенд христианства, чтобы полностью разбираться в мировом искусстве за тысячелетия. Это не только не испортит молодежь «религиозным» влиянием, а наоборот — это должно быть составной частью антирелигиозного воспитания в школах и вузах при прохождении наук общественных, гуманитарных. Лучшее в мировом искусстве (из того, что создано на «религиозные темы») реализмом своим опровергает религию (обратиться к записным книжкам 52—53 гг.).

Чтобы мне не расплыться, придется, очевидно, дать Ленинград только боком — через Веру, которая учится заочно в Ленинградском институте истории искусств, и — может быть — через экскурсию магнитогорцев. А главное внимание, когда речь пойдет о великих революционных традициях рабочего класса, уделить рабочим Москвы, «Серпу и молоту», «династии» Челноковых.

Надо дать Октябрьскую московскую демонстрацию на Красной площади. Павлуша Кузнецов в колонне «Серпа и молота». Он видит Сталина. А после этого вечеринка на квартире старика Челнокова или его сына — с испанцами и «Кармела».

Как увязать фабульно южные заводы с металлургией востока? Тематически это увязывается коренными вопросами технического прогресса в металлургии. И по этой линии — через работников ЦНИИЧЕРМЕТ и Министерства черной металлургии — действующих лиц романа: Громадина и его работников, Багдасарова, Балышева. По бытовой линии через Каратаева, через Григорьева и Панину и опять-таки через Балышева. Но *драматической* увязки, необходимой для естественного развития романа, пока не видно.

Этот драматизм можно поискать в соревновании металлургии юга и востока по внедрению (освоению) какого-нибудь крупного, общегосударственного значения, технического новшества или ряда новшеств, знаменующих решительный прогресс в металлургии.

Но тогда зачин *этой* темы должен быть конкретно, физически увязан не только с востоком, но и с югом *в первых же главах.* Возможно — в вагоне зам. министра.

Разговор Багдасарова и Доронина.

Д. — Ты знаешь, металлурги чем-то похожи на моряков. Им приходится преодолевать огненную стихию.

Б. — Но в отличие от моряков они сами ее вызывают и организуют.

Д. — Во всяком случае, эта борьба порождает людей с размахом, цельные характеры, и стихия все-таки накладывает на них свой отпечаток.

Б. — В чем ты его видишь?

Д. — Ты только не смейся, но заметил ли ты, что доменщику или сталевару после смены хочется напиться так же, как моряку, когда он ступил на сушу после плавания?

Б. — Твои представления устарели. Сейчас и моряк пошел подтянутый, дисциплинированный, а ты их знаешь

по Станюковичу или, в лучшем случае, по Лавреневу. Что же говорить о металлургах с их современной технической вооруженностью?..

Д. — Слушай, с тобой невозможно разговаривать. С тобой только поделишься каким-нибудь свежим наблюдением, как ты сразу охолодишь его чем-нибудь глубоко правильным, средним и общим. А что мои представления не устарели, ты можешь убедиться, заглянув вот хотя бы в эту забегаловку...

Б. — Э, знаешь, пьяных людей всегда скорей замечаешь, потому что они шумят. Это не значит, что их на свете больше, чем трезвых, которые ведут себя тихо...

Д. — Оказывается, ты тоже не лишен наблюдательности!

Б. — Еще бы! Я даже вижу, что ты, хотя и не металлург, а не прочь завернуть в эту забегаловку. А?..

Крупный ученый Громадин, типа Бардина, либо тоже едет в вагоне министра, либо он приезжает на Магнитку, *которую он когда-то строил* (реальный Бардин строил Кузнецкий комбинат), на похороны *Сомова.*

Основной конфликт в вопросах технического прогресса лучше всего развернуть на проблемах и делах Романова.

Министерство не поняло. Ученый, Громадин, тоже не понял сначала. Оппозиция в научных кругах.

Все понял ЦК партии и повернул дело.

Этот конфликт можно и должно развертывать с самого начала.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(*Продолжение*)

М. П. Павлов — академик, металлург.

Громадин Платон Карпович — академик, возглавляет Научно-исследовательский институт черной металлургии.

Кузнецова Христина (Тина — «по-новому», Христя — «по-старому») — жена Павлуши Кузнецова, в прошлом токарь, теперь домашняя хозяйка.

Челноков Николай Феофанович — старый мастер, сталеплавильщик Московского металлургического завода.

Челноков Николай — его внук, сталевар того же завода, окончил десятилетку, учится в Институте стали без отрыва от производства.

Челнокова Юля — жена Николая.

Челноков Алексей Николаевич — отец Челнокова Николая.

Акафистов Сидор — старик, чернорабочий РОФ, скупщик краденого, хозяин уголовной квартиры.

Голубев Семен — бывший муж Агриппины, сосланный по уголовному делу.

Шишигин — вор и бандит по прозвищу «Хряк».

«Гвоздь», он же «Зуй» — вор.

Линия старого Каратаева в романе кончается его переездом в новую квартиру на Заречной стороне. Это — целое событие. Отказ от старых привычек, от «собственности».

Когда Даша Панина при вторичном посещении Голубевой видит у нее молоденькую казашку Исмаилову Куляш, она вдруг начинает понимать, что Голубева — отличная воспитательница. И тут возникает у нее мысль сделать ее воспитательницей в общежитии молодых работниц и рабочих-строителей.

Все, что в тетради № 1 намечено, как отношения Балышева и Сомовой, нужно написать иначе.

Иннокентий Сомов приезжает в Усть-Катовск (название города условно) к отцу. И заболевает. В больнице его лечащим врачом является Галя Челнокова, недавно окончившая мединститут в Москве, — это первое место ее службы. Галей — именем украинским — ее назвали в семье, потому что ее отцу, Челнокову Николаю Феофановичу, родоначальнику целой династии московских металлургов, очень нравилось это имя.

Почти все, что рассказано мною об отношениях больного Балышева и Сомовой, происходит на деле между

Иннокентием Сомовым и Галей в то время — с соответствующей поправкой на молодость Иннокентия и юность Гали.

И вот два года спустя после смерти Иннокентия Сомова (это — уже к концу моего романа) почти такая же ситуация складывается у больного Балышева и тридцатичетырехлетней Сомовой. Ее потрясает, что Константин Витальевич видит ее такой же или почти такой же, какой видел ее Иннокентий Сомов, и видит именно те же черты ее, что и Иннокентий. Это вдруг так освещает ее жизнь светом юности, в ней возникает чувство к Балышеву гораздно более нежное и сильное, чем чувство благодарности за это *возрождение*, но в тоже время это еще больше привязывает ее к умершему Сомову и к его детям.

Весь, изложенный выше, сюжетный поворот к юности Гали и молодости Сомова, дает мне возможность через отца Иннокентия, старого Зосима Филипповича Сомова, показать в начальных главах романа старый уральский завод и старинный быт уральских металлургов. И одновременно получить хорошую естественную возможность развить сложные отношения Гали Челноковой (Сомовой), представительницы семьи передового московского пролетария, с семьей Зосимы Сомова — очень традиционной и косной уральской семьей, куда она вошла как сноха и невестка. Тем больше она любила Иннокентия, что он, усвоив от отца черты некоторой тяжеловесности, больше чем кто-либо другой усвоил присущую всей этой семье неброскую, положительную русскую талантливость, тот размах, который у одних русских людей проявляется нараспашку, а у других, как у большинства Сомовых, а у Иннокентия в особенности, проявляется только по результатам деятельности. Уж только в самую критическую минуту можно увидеть этот русский размах в человеке, во всей красоте и силе его, когда человек своротивает горы. Почувствовав в Иннокентии эту силу, Галя полюбила его со всей глубиной своей натуры, вначале по-девически даже идеализируя его и отчасти покоряясь ему, а потом увидела и его слабости, и в чем она сильнее его и полюбила еще преданнее.

Дело Романова завязать в самых первых главах. Багдасаров везет письмо его и всю приложенную переписку, чтобы разобраться в дороге, а потом на месте. Академик Громадин не едет с Багдасаровым в поезде. Громадин в это время возвращается с большой поездки по Сибири и Дальнему Востоку. В вагоне Багдасаров говорит о том, что Громадин обязательно приедет на похороны Сомова в Сталиногорск: Громадину дали телеграмму. А кроме того, Большой Казымовский металлургический комбинат имени Сталина — детище Громадина — как он может миновать его! — а Иннокентий Сомов воспитан Громадиным, как инженер и директор.

Через поездку Громадина показать ресурсы металлургии и гигантские перспективы ее. Однако не все приготовила природа в таком виде, чтобы взять было легко. Огромные запасы руд, но бедных. Или — богатые руды, да топливо (уголь) далеко. Или близко и руды богатые и уголь, да уголь — не коксующийся. И т. д. и т. д. в различных сочетаниях (не говоря уже об огнеупорах, о флюсах, о формовочных, о присадочных, о легирующих материалах и пр.).

Громадин — один из последних могикан старой русской металлургии, инженерного склада — академик и практик одновременно, он ученик Курако, человек из «низов», вышедший, преодолев тягчайшие препятствия, в крупные инженеры еще в старое время, — могучий человек большого полета и практической мысли. «Нужна революция в металлургии», — вот его вывод после поездки.

В Сталиногорске они встречаются с Багдасаровым, и, в числе прочего, Багдасаров советуется с ним по «делу Романова». Оказывается, оно проходило через ЦНИИЧЕРМЕТ. Принимают Романова. Громадин, однако, настроен полускептически: «Не доказано на практике, технологически, пусть ищут, но вряд ли правильный взяли путь — дело туманное». Так Громадин прозевал ту самую «революцию», которую несет с собой предложение Романова. Объяснить, как и почему это произошло. Багдасаров, как политик, а не только инженер, делает все же вывод: «Надо помочь». Но помочь именно в лабораторных изысканиях. На этом успокаивается.

Когда докладывает министру, тот, как еще больший политик, дает возможность Романову делать опыты на заводе (возможно, на одном из передовых, *а возможно, и*

отсталых заводов юга, что мне было бы важно по фабуле). Однако все действия министерства и научного института так осторожны, отношение столь скептическое, что это не устраивает Романова, — тем более что на южном заводе он — «чужак», сбоку припека, обуза, и над ним просто посмеиваются.

Особенность *этого* конфликта в том, что в общем вполне прогрессивные люди, немало сделавшие в области нового в металлургии, не в силах понять открытия, несущего «революцию» в привычном производстве. Таким образом, Романов вырастает тоже в одну из главных фигур романа, а вместе с ним — его молодежь, его «орлята». Только Центральный Комитет партии дает в широком масштабе поистине *полный ход* открытию Романова.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(Продолжение)

Романов Григорий Касьянович — научный работник, инженер, профессор Сталиногорского металлургического института.

Сложность положения Романова в дни приезда Багдасарова и Громадина в Сталиногорск. Он уже переведен из института в Пензу, в Пензенский индустриальный институт, переведен именно потому, что, по мнению руководства института, «сворачивает набекрень головы своим ученикам» (формальная причина — склочник, неудачник, «не настоящий» ученый). Багдасаров говорит: «Надо помочь». Он в свойственной ему сдержанной манере «приободрил» Романова. Но отменить решение о переводе в Пензу он не может (в глубине души и не хочет вмешиваться, ибо — не верит в «открытие») — Металлургический институт не в ведении Министерства металлургии, а в ведении Министерства высшего образования. Но если *здесь* Министерство металлургии хотя бы шефствует над институтом, то в Пензе над Индустриальным институтом шефствует уже Министерство тяжелого машиностроения, которому «открытие» Романова вообще уже «ни к чему».

Таким образом, фраза Багдасарова: «Надо помочь» — есть для Романова ничто.

Так, Романов едет в Пензу, а дело его «вертится» в министерстве и в научном институте, пока министр не дает «ход» открытию на южном заводе.

Романов не может бросить работу в Пензе, его выручают «орлята», они все делают по его указаниям. Но пока дело зависит от Министерства черной металлургии, очень большие трудности и с «орлятами», поскольку все они уже не в аспирантуре Романова, одни кончили и работают, другие прервали аспирантуру, ибо не могут перейти к другому профессору и не могут переехать в Пензу.

Трудность применения открытия на чужом, а не на «своем», не специальном заводе в том, что там свой налаженный конвейер выпуска продукции, там *план* с обязательством его перевыполнения, там *масштабы* и напряжение, а всякое новшество типа романовского, если его ставить *хотя бы минимально-производственно,* требует в какой-то части затраты времени, отвлечения лучших инженерских сил, реконструкции, хотя бы частичной, дополнительного напряжения. А открытие-то — туманное, кто его знает!

«Орлята» находят на заводе только одну сочувствующую душу — Евгению Ивановну Навотную. Как женщина, преодолевшая неимоверные трудности, чтобы в металлургическом производстве завоевать себе положение и стать начальником бессемеровского цеха, она их, «орлят», *жалеет.*

«Орлята» знакомятся на этом заводе с прожектерами и лжеизобретателями: «изобретает» пустяк, а шумит на весь Союз, оперирует [?] «заслугами», припугивает партийными органами (которые, бывают, только чтобы не прозевать «новое», поддерживают этих прожектеров). И «орлятам» становится ясным, почему к ним такое недоверие среди людей серьезных.

Можно сделать, что «орлята» — на заводе имени Буранова (вымышл.), а на «Запорожстали» — группа научного института, работающая по кислороду. «Орлята» мечтают перейти на «Запорожсталь» — передовое предприятие. Но «научная» группа, с которой они встречаются, отпугивает их. Здесь дать все двусторонне: критику и «научной» группы и критику руководства завода. Потом министерство *исправляет* это.

В романе сильно подать старую русскую школу металлургов.

Роль Павлова для поколения металлургов, к которому принадлежит Багдасаров.

Курако и Громадин.

Чернов — Байков — и нужен современный металловед из поколения помоложе.

В связи со старыми уральскими делами, а также в связи с современными делами металловедения — *обязательно об Аносове.*

Когда обсуждается вопрос о назначении нового директора комбината, взамен умершего Сомова, и выдвигается кандидатура Шубина, последний долго не соглашается, потому что он не сталеплавильщик, а доменщик, он хорошо знает всю самую «черную» сторону черной металлургии — работу рудообогатительных и агломерационных фабрик, углеподготовку и производство кокса, усреднение доменной шихты и весь процесс производства доменного чугуна, то есть все, что касается процессов *до* производства собственно стали и продуктов проката стали. Ему напоминают, что Громадин, тоже доменщик, строил Большой комбинат.

Между прочим, Громадин в числе многих причин не понял, вернее недооценил открытие Романова тоже и потому, что он, доменщик, не мог сразу принять открытия, ликвидирующего самый доменный процесс, усовершенствованию которого Громадин отдал всю свою жизнь.

Продумать вопрос, не едет ли в вагоне среди молодых инженеров вместе с Верой Каратаевой кто-нибудь из «орлят» Романова? И не лучше ли весь будущий роман Веры развернуть в направлении этого «орленка», а не одного из начинающих инженеров-металлургов? (Неразделенная любовь архитектора — это само собой. Но... все еще может повернуться в его пользу.)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(*Продолжение*)

Лесота Михаил Васильевич — молодой архитектор.

А может быть, один из «орлят» — самый младший Каратаев? Тут есть один замечательный ход. Самому младшему сыну предстоит в будущем ликвидировать профессию отца. Отсюда — острый конфликт в настоящем, в семье Каратаевых. Это не исключает того, что в вагоне с Верой едет старший из «орлят» Романова. Но не много ли действующих лиц?

Пионеры, школьники Сталиногорска.

Дети Сомова. Дети Григорьева и Паниной.

Посадки, зеленые насаждения. Юные натуралисты.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(*Продолжение*)

Губанов Александр Евдокимович — секретарь обкома ВКП(б).

Маслов Ефим Борисович — секретарь Сталиногорского горкома ВКП(б).

Воронин Василий Яковлевич — председатель Сталиногорского горисполкома.

Навурский — работник горторга.

Возможно, из двух молодых металлургов, едущих в вагоне с Верой Каратаевой, один едет дальше вместе с ней до Сталиногорска, а другой слезает в областном центре. Он один из тех молодых инженеров, которые впоследствии помогают Бессонову вытянуть металлургический завод на первое место (электропечи).

Можно сделать Бессонова сыном питерского передового рабочего, и тогда я получаю фабульную нить, чтобы лучше показать ленинградских металлургов. Возможно, отец Бессонова работал на Ижорском заводе или Обуховском (теперь «Большевик»).

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(*Продолжение*)

Чернов Владимир — молодой инженер.
Саблин Алексей — молодой инженер.

Сомов Зосим Филиппович — уникальное порождение Урала, — он точно выскочил из сказов Бажова. Старый быт Урала, домны на древесном угольке, дремучие леса над синими озерами, камни-самоцветы, искрометный талант древних умельцев и устоявшийся полусобственнический уклад полурабочего, полукрестьянина, когда на время покосов останавливалось все металлургическое производство, талант и дикость, русский размах и нелюдимость, наивная светлая мудрость и власть темных инстинктов — все это отразилось в духовном и физическом типе его, в мощных узловатых руках, в курчавой бороде, в глазах, спрятанных под нависшими бровями, глазах, которые казались угрюмыми и даже страшными, а когда присмотришься к старику в спокойном состоянии, видишь в них наивную, светлую, детскую мудрость, как у врубелевского Пана. Крупная голова его обросла густым курчавым темным волосом, под старость он облысел, волосы его стали белыми и курчавым венцом обкладывали мощный череп со столь развитыми и хорошо обозначенными костями, что старика можно было бы демонстрировать в школе. Когда он стоял, казалось, что он навечно прирос к этому месту. Вылез из земли, сотни лет назад, застарел, уже весь в узлах, а ноги все еще наполовину в земле, и так и будет он стоять здесь вечно, — даже удивительно было, когда туловище его начинало передвигаться!

Балышев ночью один в коридоре международного вагона. Балышев, баловень судьбы... ах, как ему грустно!..

Поколение инженеров, получивших крещение в клокочущей огненной купели первой пятилетки. Титаны — Дзержинский, Орджоникидзе — давали им первое практическое напутствие в жизнь.

Разговоры молодых металлургов в вагоне третьего класса — тоже о Чернове и Байкове, о Павлове и начале его пути.

— Слушай, Володя, а твой-то однофамилец Чернов...

— Ты хочешь сказать, что я его однофамилец?

Бессонов — сын рабочего, сталеплавильщика, с Ижорского завода (или с Путиловского, или с Обуховского).

Где-то в середине или в конце романа разговор молодых инженеров об открытии Романова. Они говорят о том, что это — тайна. «Как бы американцы не украли».

— Куда им! Если они и узнают секрет и украдут, они же не смогут перестроить производство на новых основах. Они, брат, не случайно первые открыли атомную бомбу, поскольку дело касается защиты и расширения их прибылей, — с ее помощью они думают мир подчинить... для своих максимальных прибылей. А революции в технике для блага людей они не в силах произвести, они — могила технического прогресса. Ведь такая революция потребовала бы отказаться от прибылей в интересах расширенного воспроизводства на новой технической базе, на это господа империалисты не способны. Нет, они уже ничего не способны дать для жизни, весь их технический «прогресс» направлен к тому, чтобы убивать...

Вернее всего, что это разговор в среде «орлят».

Каратаева, доменщика завода имени Буранова, вывез в Сталиногорск Громадин, когда был назначен директором Большого Казымовского комбината (до этого назначения он был главным инженером на заводе имени Буранова).

Еще раз подумать в отношении Балышева его семейное положение. Все-таки лучше, может быть, сделать его человеком женатым, но бездетным; он живет с претенциозной и неработающей женой. Правда, при такой ситуации, пропадает вся юмористическая сторона его спора с женщинами на квартире у инженера-коксовика. Но вырастает до подлинного трагизма вся линия его отношений с Дашей Паниной, и образ самого Балышева освобождается от специфических черт «красавца холостяка».

Этот вариант в отношении Балышева дает мне возможность развить линию отца жены Балышева — рабочего-изобретателя, неудачника, оригинала, участника революционной борьбы, участника знаменитой стачки южных заводов, в молодости — друга Буранова (большевистского вожака рабочих металлургических заводов юга). Теперь — на пенсии, пишет мемуары, которые, очевидно, никогда не закончит, а в годы, когда Балышев женится на дочери его Юлии, он — рабочий-ремонтник, токарь или автогенный сварщик на заводе имени Буранова.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(*Продолжение*)

Колпаков Николай Дмитриевич — старый рабочий, изобретатель — неудачник.

Балышева Юлия Николаевна — его дочь, жена Балышева.

Юлия Николаевна — «художественная натура». Претензии, — мятущаяся душа! — и ничего не свершено. Мечтая стать художником, измучила своего Костю смолоду тем, что, увлеченная «идеей», не захотела иметь детей. А потом уже не смогла их иметь. Попытка создать «салон». Бунт Константина Витальевича. Незаметно она стала обыкновенной потребительницей жизни, сохранив, однако, претензии и «порывы». Но даже на измену своему Косте у нее не хватило характера! Домашнего ухода, уюта она ему тоже не создала, — вот почему у Балышева ощущение бездомности. Талантливый, бешеный в работе,

которая дается ему легко, сама идет в руки, он вечно в командировках, дом его — такой же очередной полустанок, как гостиница в городе, где осуществляется очередное строительство.

Балышев женился лет тридцати, когда Юле было лет девятнадцать — двадцать.

Мать Балышева воспитана на Чернышевском: свидетельство той *глубокой* идейной вспашки, которая так характерна именно для шестидесятников-революционеров. Детство и отрочество ее падает на восьмидесятые годы, которые принято считать «годами безвременья». На самом деле учение Чернышевского в это время шло в глубокие «низы» демократической интеллигенции, оно, в сущности, только начинало доходить до передовой молодежи из этих «низов» — в самые отдаленные углы, в самую глухую, необъятную российскую провинцию. Для поколения Балышевой учение революционеров-демократов *буквально сомкнулось* с марксизмом девяностых годов.

Спор Балышева с Дашей Пашиной вокруг так называемой «несчастной любви», вокруг «несчастья» вообще, вокруг Гамсуна, и проч. и проч. Даша атакует Константина Витальевича Горьким. Здесь, между прочим, не называя, можно дать бой всей той части современной литературы, которая забывает, *какое* поколение растет, и пытается вопросы любви решать по старинке с достоевщинкой. Образ Даши здесь вырастает буквально в образ *новой* женщины. В сущности, после Чернышевского никто у нас не поднял на щит женщину нового типа, *нашу* женщину.

Вместе с тем надо с силой показать муки неразделенной любви через Голубева. И дать резкую отповедь — через прямое публицистическое обращение «диккенсовского» стиля — тем «критикам», которые, обсуждая современные романы, где дается любовь и семейная жизнь, фальшиво вопят: «Почему столько неудачных личных судеб, столько несчастных любвей, столько несложившихся счастливо семейных жизней!» Надо показать, что это от-

ражает объективные противоречия и трудности роста и формирования коммунистического человека, но что сегодня уже во многом это зависит от самих людей, от их воспитания, а воспитать людей в таком душевном смысле нельзя, если литература не покажет, откуда все это и где те внешние и внутренние «враги» современного человека, которые так часто мешают его полному личному счастью.

Спор между молодыми инженерами-мужчинами по поводу их товарища, молодого инженера-женщины. Она курит. Одни осуждают ее за это, говорят «неженственно». «Вообрази, она тебя целует, а от нее табаком разит!» — «А почему ты думаешь, что ей приятно тебя целовать, если от тебя табаком разит?» — «Я мужчина!» — «А почему все-таки тебе можно, а ей нельзя?» Спор запутывается. В конце концов куренье вредно и нельзя сказать, чтобы оно украшало и мужскую половину рода человеческого. Но поставить вопрос так, что никто не должен курить, а тем более пить — ханжество. Можно ли, однако, искать «равенства» между мужчиной и женщиной в том, чтобы женщины так же безобразно пили и курили, как мужчины?

Схватка Сомовой (Челноковой) — врача с академиком Громадиным по поводу его замечания: «Ошибки инженеров все на виду, а у врачей их, как под землей, не видно».

Громадин. Что значит скоростная плавка? В природе все процессы происходили быстрее. Природа умела работать на кислороде! А в обычной мартеновской печи — не кислород, а воздух, да и ванна глубока, — пока частица пройдет снизу! Надо освободить металлургию от этих задерживающих факторов! Нужен кислород в ванну! ..

Спор между металлургами Сталиногорска и Багдасаровым по поводу требования министерства о присадке марганца во время кипения плавок. Металлурги против присадки. Громадин поддерживает их. Ссылка на то, что мы в два раза больше расходуем, чем страны капитализма (см. тетрадь А).

Когда Бессонов попадает на завод в областной центр, он застает ту неприглядную картину, которая дается в характеристике ряда предприятий периода 1949—1950 годов (см. общую тетрадь А). Вся его линия — это линия освоения предприятия, выведение его в ряд лучших. И смог он это сделать, только когда *полюбил* завод.

Багдасаров со «свитой» осматривает РОФ. Производство пыльное и грязное, мокрое и грязное. Но отношение рабочих, инженеров — от низших до высших — к этой руде, проходящей все стадии дробления, сортировки, промывки, сухого и мокрого обогащения, агломерирования, — отношение к ней на всех стадиях ее прохождения такое же, как у хлебопеков к муке, тесту, потом хлебу. Потому что имеют дело с продуктом таким же насущно важным в жизни людей, как хлеб, — отношение не брезгливое, заинтересованное, свободное, бережное. Когда она выходит из какого-нибудь реечного классификатора или осаживается в медленных осадочных машинах, люди ее берут в жменьку, перетирают между пальцев, щупают, взвешивают, едва не пробуют на язык. Все — даже те, кто пришел (как Багдасаров) в своем обычном во время командировок приличном костюме — ходят запачканные, вымазанные шламом, запыленные, как хлебопеки в муке или в тесте.

Строятся коксовые батареи. Строители возводят стометровую железобетонную дымовую трубу (новинка, строит «Союзтеплострой»). Она уже поднялась под самое небо, близка к концу. Балышев и Багдасаров, после того как осмотрели строящиеся коксовые батареи, остановились, смотрят, как две девчонки (одна из них — казашка, воспитанница Агриппины Голубевой) на дощатом, без всяких перил, узком помосте вокруг трубы, у самой ее вершины, под небом, сидят, закусывают, свесив ноги, болтают ногами. Девчонки веселые, в комбинезонах, измазанных цементом, лиц их хорошенько не видно, но видно, что им весело, что они оживленно обсуждают что-то свое и хохочут. Багдасаров и Балышев — старые приятели, на «ты».

Балышев. Видал?

Багдасаров. А им что на земле, что на небе! Такое поколение... Выросли в век авиации, высотных строек, не боятся высоты. Да и понятие высоты совершенно иное: по отношению к чему высота? Какие-нибудь их подружки водят самолеты или прыгают с парашютом с многокилометровой высоты, да еще, поди, летят почти до самой земли, не раскрывая парашюта, а нас с тобой заставь? Вот именно, разве что заставят!.. — смеется.

Балышев. А прыгнешь, если заставят?

Багдасаров. Дойду до ЦК, а там уж если скажут, — прыгну.

Оба хохочут.

Девчонки на трубе, под самым небом, жуют белые булочки и хохочут по своему совершенно независимому поводу, — дела им нет до двух пожилых инженеров.

Губанов Александр Евдокимович, секретарь обкома, о неравномерности распространения передового опыта на комбинатах и предприятиях. Нежелание ломать привычное (даже на предприятиях, где в других сферах есть свое, передовое), — это с одной стороны, а с другой — прожектерство, шум вокруг пустяков, мнимых изобретений и мнимого новаторства. Государство всегда пойдет навстречу, сломает все препоны бюрократизма и даже действительные объективные трудности поможет преодолеть, если руководитель предприятия подлинный хозяин, организатор, государственно мыслящий человек, докажет опытом, делом, что он не прожектер и тем более не иждивенец на государственных ресурсах, а дает эффективные результаты, если ему помочь. Надо иметь напор и уметь найти максимальные резервы у себя, чтобы осуществить подлинно новое, нечто кардинальное, решающее в реконструкции и движении вперед всего предприятия.

В колхозах, получивших огромную технику, при изобилии земли, нехватка рабочих рук. Вынуждены прибегать к помощи комбината. Колебания секретаря обкома Губанова («Опять»!). Ведь сколько времени ушло от конца войны. А вынуждены опять согласиться!..

Рабочие комбината в колхозе. Две женщины заправляют колхозом. Одна — старая, бездетная, мужа убило

молнией, жила в няньках, Марфа-посадница — председельсовета. Другая — средних лет, многодетная, мужа убили в Отечественной войне (или муж «возвысился» за время войны, женился на другой, ее оставил) — красивая, хозяйственная, а была застенчива и робка смолоду — предколхоза. Когда мужа убили (или муж бросил), Марфа-посадница приходила к ней, нянчила ее детей своими умелыми, сильными руками. Путь Марфы-посадницы от неграмотной женщины к общественной деятельности, давшей возможность полного применения таланта ее. Путь предколхоза — от робкой забитой женщины к подлинной всесоюзной славе.

Ремесленник. Я из детского дома, я дисциплинистый.

Вопрос архитектора (или писательницы) Павлу Кузнецову: С чем можно сравнить кипящий металл?

Кузнецов. Ни с чем. И не надо сравнивать. Он — сам по себе, *с ним* надо сравнивать.

Губанов — инженер, окончил политехнический институт по факультету металлургии (где?) — Свердловск!

Маслов — секретарь горкома, инженер-металлург, — Днепропетровский металлургический институт.

Губанов и Арамилев.

Губанов о партийном просвещении. Здесь главный бич — шаблон. Однако, когда идет речь о воспитании сотен тысяч и миллионов, нельзя обойтись без известного «порядка», «правил», «образца». Сочетание подлинного точного знания с индивидуальностью и талантом в передаче этого знания другим.

Агриппина Голубева — воспитательница. Ребята — «трудовые резервы» — люди бессемейные. Часто живут безалаберно, по-холостяцки. Она приучила ребят делать складчину для поочередного приобретения костюмов и других полезных вещей.

Спор Багдасарова с коксовиками по поводу распределения (поквартального) шахт по комбинатам и заводам (см. тетрадь В., кокс (5), уголь (3). Все хотят иметь шахты со спокойными углями марки К, $К_1$, с углями малой зольности. Он же поясняет: «Надо рассчитывать на систематическое повышение зольности по мере развития механизации добычи угля, ибо запасы малозольных углей невелики. Весь вопрос в улучшении, совершенствовании технологии обогащения углей и выжига кокса, в новаторстве, в смелой инженерной мысли, чтобы решить проблему улучшенного кокса на худших углях». (Все подробности спора в тетради В, — *очень важно.*)

«Автоматика не задремлет, не просчитается».

Аппарат ручного управления загрузкой доменной печи. Контролер скитовой лебедки, переключатель с автоматической на ручную работу. Все присыпалось пылью, нет надобности пускать в действие!

«Автоматизация — вовсе не лишение рабочего индивидуальности, как это принято иногда думать, исходя из капиталистического опыта. У нас автоматика повышает интеллектуальный уровень рабочего. Горновой — это, конечно, эффектно. Машинист вагон-весов на загрузке домен, — он под землей, темновато, пыльно, но он выше по развитию: от него все зависит, ему *доверяют* всю домну. Дело придет к такой степени автоматизации, когда фактически на производстве будут работать одни инженеры. Это путь к ликвидации противоположности между физическим и умственным трудом».

В дискуссии в вагоне Багдасарова использовать кое-что из тетради В (новое в прокатке).

О директорах: «Резервы — вершки и резервы глубокие». Иной переходящее знамя получил, использовав резервы — вершки. В конечном счете выиграет тот, кто

сумеет использовать глубокие резервы. Здесь и о «прожектерах», и об отставании отдельных работ в силу локальных мест с отсталой техникой на самых передовых предприятиях, не ликвидируемых только в силу инертности, рутины, а главное из нежелания *временно* выйти из числа «передовых» («резервы — вершки»), чтобы глубоко реконструировать и взять потом «реванш» — и какой «реванш»! — на резервах глубоких.

Высказывание престарелого рабочего на пенсии, который, однако, продолжает работать в цеху на более легких, чем его подлинная специальность, работах: «Теперь у нас главная сила молодежь, а мы, так сказать, люди доброй воли».

Громадин. Металлургия — на границе природы и техники.

По поводу одного начальника мартеновского цеха: «Это Ленский нашего завода (лучше — завода такого-то...), слегка восторженная речь и кудри черные до плеч!. Это как раз по адресу одного из «прожектеров», любителя славы, изобретателя пустяков.

Размышления автора (от скуки, в поезде) по поводу внутренней связи людей и событий в романе.

Поезд идет по мосту через Днепр, в поезде еду я. Рыбак выезжает с подъемкой на веслах на середину Днепра. Меня провожали школьники, писатели, представители власти, мы долго прощались, было шумно, представитель облисполкома, выпивший на вокзале, целовал меня. *А рыбаку — все это безразлично.* Писатель обязан прежде всего понимать такие вещи. Иначе произведение его будет в *дурном* смысле слова тенденциозным. В романе люди связаны, но они связаны реальными жизненными стечениями обстоятельств, а не только замыслом автора. На обязанности автора вскрыть жизненную связь людей и именно такую и ту, какая нужна ему по мысли. Это, конечно, не будет моей связью, связью человека, едущего

в поезде, с рыбаком, выплывающим на середину Днепра поскольку это чисто случайное совпадение. Но благодаря этой записи я и рыбак уже связаны, нас связала авторская мысль. И не зависящая от моей воли, объективная и случайная ситуация получила свое содержание благодаря заключенной в этой записи авторской мысли.

Мой геолог (Дорохин) в больнице, история с веткой, которая сама находит воду (см. книжку № 16). Сюжетно — это возможная «экспозиция», то есть первое появление Дорохина в романе. И одновременно это первый выход на работу жены Сомова — врача.

Линия инженерская, хозяйственная, быт — все в книжке 16. Вообще не забыть эту книжку, как необходимую в *первую очередь* в разработке плана романа.

Сомов в самолете. Он очень неразговорчив. Бука. Но он летит со своим маленьким сыном. Сын капризничает. И вот маленькая ручка сына в его большой руке. Сомов достает из портфеля книжку Маршака для маленьких детей. И, не обращая внимания на других пассажиров, читает вслух сыну все то лучшее и благородное, что всегда существует в стихах Маршака. Ребенок затих и слушает, слушает папу.

Сельская линия. Старик, участник войны 1905 года, сказал о Ляодунском полуострове: «Их лошади никогда там не паслись».

Великий энтузиазм первых лет строительства и история стройки (см. тетрадь Г.).

В е р а К а р а т а е в а. Разве есть на свете город лучше нашей Магнитки!

Две подруги-вальцовщицы, члены партии, мужей потеряли на фронте, никак не могут выйти замуж. Однажды, в хорошую минуту, сидят, выпивают четвертинку, одна, старшая, говорит:

— Скушно, знаешь, без мужика. Я бы хоть погуляла, да неудобно, скажут, партийная...

— Слыхали вы ее? Партия ей мешает, погулять мешает.

— А ей-богу, мешает.

Смеются.

(Найти в записных книжках старых (37—38 годы) записи — заготовки к пьесе, — вполне подойдут сюда.)

Старик вальцовщик (или кто-нибудь вроде) как-то им говорит:

— Ух, какие вы молодые бабки — привереды. И как же это вы замуж не выскочите у нас на Магнитке? Вы больше на доменщиков, на сталеплавильщиков поглядывайте, там одни мужики...

— Нужны они нам, грязнули! Мы — прокатчицы.

— Ишь аристократия какая!

Багдасаров воспитывает своих детей в демократическом духе, — они похожи и по манере одеваться, и по требовательности, предъявляемой к ним, соединенной с их «пролетарской» свободой, то есть ранней самостоятельностью в жизни, и по всякому отсутствию привилегий в их быту, столь часто предоставляемым ответственными людьми их детям, и по естественности и простоте отношений между родителями и детьми, — они похожи на обыкновенных детей обыкновенных родителей, и именно поэтому они очень хорошие дети.

Семейная жизнь Багдасарова. Его жена. Семейная обстановка. История женитьбы и семейной жизни Багдасарова.

П а в л у ш а К у з н е ц о в. Показать освоение новых марок стали в дни войны. Первые пробы. Это напряженно и величественно!

Ударить по «шпаргалке»!

Разоблачить «работников» и «руководителей», которые не любят «черной» работы и не любят прислушиваться к массам, к голосам жизни снизу, а только заботятся о том, чтобы быть видными «сверху», «изображают» деятельность перед стоящими выше, «угождают» «руководству».

Мой профсоюзник выдвинулся на делах, связанных с агаповскими известковыми карьерами и фабрикой — той самой, в строительстве которой участвовала Даша Панина в первые годы пребывания на Магнитке. Он разоблачил и добился суда над помощником директора по быту. Его борьба за правильную охрану труда. См. тетрадь $Д_2$.

О положении (вернее, о бытовом устройстве) интеллигенции — главным образом учителей, медработников, актеров, библиотекарей, служащих, не связанных непосредственно с заводами и комбинатами, — в городах типа Магнитогорска. Архиважный вопрос, с точки зрения культурного развития города, — без интеллигенции не может быть современного культурного города! Может быть, это Сомова (Челнокова) выскажет напрямик секретарю обкома партии или еще кому-нибудь из «руководящих»!

Может быть, сюжетно связать мой колхоз с городом через одну из девушек колхоза, приехавшую в гости к своим подругам.

В развитие разговора — объяснения Балышева и Сомовой. Возможно, он происходит после того, как Сомова уже побывала у своей подруги в областном центре (подруга — доктор наук, профессор мединститута, бактериолог), договорились о научной деятельности. Перед ней большая дорога. Она говорит: «У детей Сомова другого отца не будет». Он пытается высмеять ее «аскетизм». Она смеется. Нет, она не осуждает тех, кто может, она не осудила бы и себя, если бы *смогла, но она не может.* «Но вы еще молоды, неужели вы думаете, что выдержите так всю жизнь? Не зарекайтесь!» — «Я не зарекаюсь, я знаю себя». Удивительно цельный характер: при

физическом здоровье, жизнелюбии, жизнерадостности — это ее заверение не плод ума, а плод чувства. Она могла любить в жизни *только* Сомова. И уже совсем не могла любить Балышева. Он убеждается, что она бессознательно забавлялась им, как может забавляться очень добрый, уравновешенный и веселый ребенок чужой замысловатой, яркой игрушкой: привлекла внимание, повеселился, а взять ее себе даже желания не возникает, настолько органично чувство — «не мое».

Сомова делает маникюр, а рядом местная «львица» Олимпиада тоже делает маникюр у Леночки. «Львица» только что из Сочи, руки, плечи — все покрыл южный загар.

— А вы где загорели, Леночка?

— На трамвайных остановках.

Сомова заливается краской.

Каратаева, Голубева и другие живут в поселке «Щитовых»; если от них идти в «Зеленстрою», дорога идет мимо поселка индивидуальных домов «Чапаевского», мимо тюрьмы.

Продумать, нельзя ли мне в обрисовке села «обыграть» переселенную (когда создавали заводское озеро) станицу Магнитную. Вспомнить, что мастер доменной печи Савичев родился в этой станице (см. тетрадь $Д_1$).

О стимулах повышения производительности труда при коммунизме. Отмирание индивидуалистического стимула и все большее место — стимул государственный, народный. При всеобщем достатке отпадет ревность в вопросе: «иметь и не иметь». Но стимул «славы», нового честолюбия — в смысле все бо́льшего признания тебя за пользу, принесенную тобой народу, — вырастет ли он или нет? Естественно, он, этот стимул, а главное — *норма поведения* в этих делах — станут (уже становятся) совершенно иными.

Два характера, и два типа красавиц.

1. Очень светлая блондинка лет тридцати, белозубая, зеленоглазая, умная, опытная, даже скептик, с полными характерными губами (уголки книзу), с подпухшими (чуть-чуть!) веками, подбородок мягкий и сильный, — очень складная, неторопливая, полноватая, в мягком теплом тонком белом шерстяном платке, вольно, свободно повязанном, как бы небрежно накинутом, в яркой пестрой кофточке (знает, что надеть!), в черной юбке и черных ботинках на высоких каблуках. Улыбка — необъяснимая: и поманит и не допустит. Особенность выражения ее лицу придают брови: они светлые, но четко очерченные, и внутренние крылья бровей чуть шире и поставлены выше, чем тонкие, внешние. В спокойном состоянии в ее лице есть что-то грустное или печальное, что-то ею пережито тяжелое, — и вдруг — эта улыбка необъяснимая. Но может вдруг улыбнуться так, что пойдешь за ней, — уж очень женская и умная улыбка! Иногда она так огорчается, или сердится, или обижается, или презирает, что нижняя губка ее подпухает, даже тень ложится под губой. На самой бороздке над верхней губой у нее родинка, родинка на подбородке. Все формы ее тела и черты лица пропорциональные, округлые, такие же движения.

2. Крупная, броско-красивая, с широкими бедрами, крупными руками, каштановыми волосами, темно-карими глазами и черными бровями, яркими губами, очень подвижная, сильная, свободная в движениях, вольная в жестах, необыкновенно ясный, чистый лоб, стройные сильные ноги. Ей 27—28 лет, одевается она просто, в цвета более темные, скромные, — все же она знает, какой платок ей носить — темно-малиновый, и когда она проходит, все оглядываются. Она во всем советуется со старшей и более опытной подругой, но в то же время обладает большей решительностью, стремительностью характера и в минуты, требующие быстрого решения, увлекает подругу своей непосредственностью. Все формы ее тела и черты лица резко обозначенные, в лице даже что-то асимметричное, но это еще больше ее красит.

Обе — отличные мастерицы, и обе — необыкновенно хороши. Обе потеряли в войну мужей, и обе — очень разборчивые вдовушки. Половина их разговоров друг с дру-

гом вертится вокруг будущих мужей, и порой они так солоно острят по этому поводу, что не дай бог подслушать претендентам — особенно тем, кому уже лет под сорок, а таких — увы — большинство, если говорить о людях с серьезными намерениями!

Возможно, *обе они* — сменщицы, машинистки поста управления рольгангов и шлепперов где-нибудь на передаче с ролико-правильной машины (для правки рельс) на штемпельные добавочные пресса (см. тетрадь Б., завод имени Петровского).

Во весь голос о роли гуманитарной интеллигенции в культурном подъеме и воспитании народа. *Без* нее на одной технике и на одной технической интеллигенции не выедешь. Врачи, учителя, библиотекари, научные работники, армия работников политического просвещения, артисты, художники, писатели, музыканты, архитекторы!

Новые города типа Магнитки могли бы куда быстрее шагнуть в области культурного развития, меньше было бы общекультурной отсталости, невежества (на фоне технического *невиданного* прогресса!), если бы больше внимания, заботы было о кадрах гуманитарной интеллигенции.

Вера Каратаева — в местном театре. Посещение инкогнито вместе с приятелями-стахановцами и стахановками. (Описать в подробностях мое с В. Захаровым и его женой посещение спектакля «Свадьба Кречинского» на Магнитке.)

Как ни странно, но именно «жизнь», продолжающаяся в металле, когда он выходит из печи, и является причиной всех дальнейших пороков металла. Если бы в формах застывал уже безжизненный, мертвый металл, это было бы тем идеалом, к которому металлургия должна стремиться! (см. Байков, тетрадь $Д_1$).

Со всею яростью *продраить* в романе виновников небрежного строительства жилых домов.

Когда Бессонов выводит на одно из первых мест новый завод, он вспоминает все начальные ошибки свои и Сомова на Большом Казымовском комбинате и начинает с азов... Но он, Бессонов, делает все это после того, как получил нагоняй в министерстве или в ЦК. *Продумать, нельзя ли это «новое рождение» Бессонова совместить сюжетно с «новым рождением» Шубина и со сменой руководства в области.*

Поездки Паниной с мужем в Днепропетровск. Семья мужа. Встречи со старыми товарищами. Сюжетная связь с югом — кроме Балышева.

Гигантский завод-комбинат, как непрерывно действующий, неустанный часовой механизм.

Когда Бессонов покидает Большой Казымовский, он бродит по прокату, вспоминает, как здесь охотились на куропаток, потом, — как осваивали [1 *неразобр.*] стан «302», — так тяжело, так грустно было ему расставаться! Особенно, когда видит стариков рабочих, вальцовщиков своего поколения, с которыми вместе с таким трудом и энтузиазмом строили и осваивали все это!

Каратаев — доменщик старого закала, но сказалось, что работал у Громадина и у его кума — обер-мастера. Выдвинулся, когда не пошел с теми, кто «судил пушку «Брозиус», а заставил ее работать.

Путь Сомова, особенно в дни войны, см. тетрадь. Д., беседу с Бурцевым.

Даша Панина — секретарь райкома, по профессии строитель, женщина тридцати восьми лет. Ее муж лет сорока, Григорьев. Инженер на комбинате. Они из Днепропетровска, с «Чечеловок». Балышев тоже оттуда, мать его старая учительница церковно-приходской школы. Неудачный роман Балышева с Паниной в юности. Начало романа — в деревне, во время коллективизации. Ему приходится снимать свою любовь с райкома комсомола за перегибы (после статьи Сталина «Головокружение от успехов»). В то время она — работница-строитель с пятиклассным образованием, выдвиженка, он — инженер, окончивший вуз в Москве. Он работает по реконструкции завода имени Буранова. Ее «задвигают» обратно, и она работает там же чуть ли не чернорабочей. Ее любовь длится около двух лет, неразделенная. Выходит замуж за своего теперешнего мужа, который тогда — молодой рабочий на заводе. Но между Балышевым и ею дружба. Он преодолевает все «низкие» чувства, он любит ее, он держится, как ее старый друг. Он советует молодой паре — в неясную, трудную пору их совместной жизни и развития ехать на строительство Большого Казымовского комбината. Они работают в Сталинске, потом — сначала он, муж, а через некоторое время и она — попадают на ученье в Москву. Балышев уже в Москве, в министерстве. Переписка Балышева с неразделенной его любовью прекратилась некоторое время спустя после их отъезда в Сталинск, потому что он, спустя год, неудачно, но страстно влюбился и женился, и семейная жизнь у него трагична. Попытки Даши связаться с ним в Москве, хотя бы увидеться, так как ее брак испытывает самый большой кризис. Она видит, что вышла замуж за человека заурядного. Выше его на несколько голов, она нагоняет и обгоняет его в ученье. Очень большой удар, моральный для Даши, что Балышев ее попыток *не замечает*. Объяснить, как это могло и внешне и психологически получиться, что они даже не видятся. Он не отвечает на ее письмо. Когда Даша с мужем возвращается в Сталинск, они работают каждый по своей специальности — она как строитель, он — как металлург. Дети, трое детей. Мечта о той несостоявшейся любви. Гордость. Нежелание «искать» новой любви, «завлекать» любовь. Лучше примириться с тем, что есть. Она — сильный, цельный и женственный характер. Все несостоявшееся прошлое оборачивается как что-то вол-

шебное, мимо чего она прошла. Но все это затаено, гордость мешает даже напомнить о себе, так как там, в Москве, ей дважды не ответили. Душевное состояние Балышева в Москве — в тот период, когда Даша училась. Почему он не ответил первый раз и как получилось, что второй его ответ не попал к ней. Встреча его с Дашей — секретарем райкома в начале романа. В этой встрече показать ее как человека и женщину во всей красоте и силе ее чувств. Оба понимают: «Поздно!» (Кстати: когда Балышев едет в поезде, он не думает, что она с мужем могут быть еще там — с тех лет, но он знает, куда едет, и думает о том, как хорошо было бы ехать туда двадцать лет тому назад!) Перед их встречей показать разбор на райкоме дела Навурского, после которого Навурский объявляет своему другу, что Панина — «человек бездушный». И все величие души ее раскрывается во время встречи с Балышевым.

Вместе с Балышевым в купе международного вагона едет тот самый полковник, теперь генерал, который когда-то, сразу после войны, бросил свою жену Фросю — теперь знатную женщину, предколхоза, с двумя детьми. Продумать — на какую должность в областной центр или в Сталинск едет этот генерал (а может быть, он теперь полковник, а был, скажем капитан или майор — Герой Советского Союза) и едет ли он один или с женой — и какая у него жена?

В больнице «сестра», совсем молоденькая, молчаливая, всегда немножко грустноватая (о себе говорит сама — «скучная»), зовут ее Тамара.

— А фамилия ваша?

— Ульянова... — Немножко помолчав, говорит тем же грустным голосом, без улыбки: — Нет, Петрова... — Опять помолчав: — Я всего три месяца назад вышла замуж, никак не могу привыкнуть, что я — Петрова.

Забавы Дорохина в больнице. Лежит в палате «ответственных», — еще три крупных инженера. Он — геолог — рассказывает древнее поверье об определении подземных

вод с помощью ветки в руках. Сам проделывает это в палате (тополевую ветку принесли из парка). Ветка пригибается в направлении водопровода. Дорохину завязывают глаза, вертят посреди комнаты, чтобы спутал направление, ветка неизменно указывает на водопровод. Хохот стоит ужасный. Дорохин утверждает, что народная примета верна (поворачивает же подсолнух — или анютины глазки — голову по ходу солнца), но не всякие руки могут чувствовать это движение ветки. Другим признаком, подтверждающим это народное поверье, является, по словам Дорохина, следующий: лиственные деревья, их ветви, растущие у воды, всегда имеют склонение, свисание к воде. Это — чудачество Дорохина, хорошего талантливого человека, именно хорошее чудачество!

Начало: молодой сталевар Павлуша Кузнецов едет на трамвае с Заречной стороны на работу. Висят на подножках трамвая. Ремесленники. Савка. И серьезный паренек (главный герой в *этом* возрасте). Мысли о доме. Панорама завода. Лучше всего — весна и — утренняя смена. Авторские мысли о рабочем классе. Путь сталевара — до мартена — все в бытовых подробностях. Встреча с Агриппиной Голубевой. И — совсем другая картина — поезд со специальным вагоном и молодежью в третьем классе. А может быть, посредине, *между* этими главами — глава: совещание по качеству во главе с Бессоновым. Или субботний график. Тогда Павлуша Кузнецов едет на дневную смену.

Бригадир штукатуров или еще кто-нибудь из девушек, героинь романа, с отцом — сторожем — на катере Досфлота.

Каратаев-сын и девушка — горный мастер. Милая моя Голубева с ее судьбой и — Каратаев. Здесь с Каратаевым на экскаваторе очень хорошо увязывается вся гора, все судьбы, связанные с горой — и фабрика, и электровоз с его машинистом и составителем — казахом. Увязка бригады Кузнецова через Маннурова с Галлиулиным — реликвией первых лет Большого Казымовского комбината. А московские связи Галлиулина, Маннурова связывают Большой Казымовский — с московской металлургией.

Балышев, Каратаевы, Панина и ее муж — через них связь Большого Казымовского и южных заводов.

Дорохин — и вся геологическая тема.

«Освоение» новым директором, Шубиным, его места. Что он видит и что он не видит — сначала. Техника. Экономика. Хозяйственно-политическое руководство в широком смысле. Как он ошибается в ряде вопросов *политически*. Как упускает многие стороны как руководитель. Об этом кричат, а он не слышит. Как он вырастает, наконец, в масштабе руководства в широком смысле. Только победив, он начинает понимать предшественника своего Сомова.

Дружба между двумя корифеями — реликвиями первых лет стройки — каменщиком — бригадиром Галлиулиным и плотником Стёпиным. Оба малограмотные, оба многосемейные, у обоих образованные дети разных профессий, разных судеб.

Партийная тема. Продумать: смена секретарей обкомов в начале романа. Или вначале еще действует старый незадачливый секретарь, а потом присылают нового? Секретарь обкома с Багдасаровым едут на похороны Сомова.

Секретарь обкома (старый и новый) — и тема геологическая. Секретарь обкома — и тема семейная. Обком и Большой Казымовский горком. Парторг. Во весь разворот тему партпросвещения с большой критикой.

Тема профсоюзная. Профсоюзник с «крыльями». Когда Панина строит известковую фабрику, он, этот паренек, еще ФЗО. Потом его хотят забрать на работу партийную. *Не идет.* Поднять значение и роль профсоюзов. Начать с «известки» и грязного водопроводного дела. И — одновременно — профсоюзник-чиновник.

Тема молодежная, комсомольская.

Тема самого младшего поколения рабочего класса — ремесленников, ФЗО, трудовых резервов.

Быт широко, мощно. Люди — хозяева. Люди живут «бесстрашно», ощущение свободы — все свое, общее: школа, больница, поликлиника, баня, милиция, сад, клуб, каток, дом отдыха, улица, магазин продовольственный, промтоварный, ларьки, проспект Пушкина и улица Маяковского, кино, театр, трамвай, автомашины, стадион, водная станция, охота, рыбная ловля. Дать вечеринки, свадьбы, похороны, гулянье в саду, детвору на улицах, первый ЗИМ в городе.

Отрицательное. Недостатки элементарной культуры, пьянка, драки, хулиганство, уголовщина. Область культуры, область воспитания, просвещения отстает от области материальной.

К теме инженерской и хозяйственной

Почему даже самые передовые предприятия имеют отсталые звенья. Почему отсталые предприятия с таким трудом и усилием выходят в передовые. Личные (местные) усилия и помощь государства. Государственные возможности и желаемое. Кто может быть победителем в своем стремлении вперед. Кому государство поможет, а кому поостережется. О людях лжеинициативных, лженоваторах, «барабанщиках», — только шумят, жалуются. Настоящих рук нет. Таким государство навстречу не пойдет. Оно пойдет навстречу, во-первых, тогда, когда увидит, что это действительно первостепенное, во-вторых, тогда, когда знает, что человек, поднявший новое, не прожектер, а может осуществить то, что поднял. Настоящий хозяйственник — инженер не только «с головой», но и «с рукой, рукастый».

Балышев реконструировал завод имени Буранова, потом строил «Запорожсталь». И он же взрывал «Запорожсталь».

Вопросы политвоспитания, просвещения. Вспомнить пленум обкома «О счастье жизни», «О земле и солнце». Не надо смеяться над такими вопросами. Смеются потому, что привыкли к трафарету. Это надо связать с общей партийной темой. Очень было бы уместно вложить в уста секретаря обкома очень ясные, спокойные, мудрые разъяснения по этим вопросам.

Вопросы религии. Две новых церкви на Большом Казымовском.

Разговор с читателем о том, что он не имеет права не знать техники.

Григорьев — инженер прокатчик. В грубом смысле слова это тип инженера без перспектив, инженера-«деляги». В нем та честность и практический ум, которые в результате, к сорока годам, сделали из него опытного, ценного инженера, умеющего приспосабливаться к требованиям времени. В должностном смысле он пошел «выше» и дальше, чем жена его Даша. Но он не может являться одной из движущих сил технического прогресса, потому что мысль его не работает на будущее, она просто привыкла приспособляться к новому. Поэтому он не из тех, кто толкает прогресс, но и не из тех, кто тормозит его, он из тех, кто не мешает прогрессу, На партсобраниях он всегда молчит, из нежелания доставить себе лишние хлопоты. Он и честен и не трус, а все ж таки лучше помолчать, а не то, не дай бог, выдвинут еще по общественной линии, когда и так работы много. А ему нужно время и на выпивку в хорошей, привычной, домашней компании, и на преферанс, и на охоту. «На что нам столько общественных деятелей в семье, пусть уж жена там выдвигается», — шутливо говорит он в такой домашней компании за столом. Жена привыкла к нему, знает, что он работник, знает, что он добр и любит детей, знает, что он честен и предан делу, но за эти черты «обывательщины» в нем она его втайне немножко презирает. Художественную литературу он читает не потому, что это для него душевная потребность, а потому, что надо же знать — для разговора с другими людьми, — кто это и за что получил очередную сталинскую премию. Но это для него

почти одно и то же, что неизбежные и тоже скучные для него занятия по марксизму-ленинизму по «индивидуальному заданию». И высказывается он о явлениях художественной литературы и по вопросам внешней политики теми самыми словами, какими и все, то есть взятыми из газет и житейских разговоров. В своем же деле он может высказать и свое дельное предложение и настоять на своем, проявить твердость и руку, и если его, можно сказать, насильственно, при глубоком внутреннем его сопротивлении, втаскивают в технический прогресс, то зато он за версту чувствует барабанщика — прожектера, и уж никогда тому не сломить Григорьева. Поэтому его ценят как инженера: «Работать может» и «беды с ним не наживешь».

Куйбышев и Губанов на вечеринке молодых инженеров. «Я ненавижу капитализм, — не допущу!..» А потом он, принимая Губанова в Госплане, извинился, и что же он сказал? Он сказал: «Извините, это было нескромно».

Дзержинский и Громадин. Громадин у него на приеме. Дзержинский цитирует «Что делать?» Ленина.

О металлургии и вообще тяжелой промышленности на Востоке. Ломоносов. Менделеев. Ленин. Сталин.

О равнодушии и о «равнении только наверх». Дела прокурорские, судебные. История Я. с ее четырьмя детьми (так называемое «нарушение» Устава сельскохозяйственной артели, где, однако, нет ни грана корысти). История ребят Ф. и других. Эту историю возможно использовать, развернуть, сделав одного из ребят сыном кого-либо из *главных* героев романа. Может быть, Сомовой? А общую мысль о том, что нельзя решить вопрос по справедливости, «без психологии», вложить в самой прямой и очень народной интерпретации в уста моей старухи колхозницы, председсельсовета: либо в споре с Губановым, либо развить ее точку зрения в остроконфликтной форме в столкновении с областным прокурором. Тогда надо и его вывести. Воз-

можно, после столкновения с ним она идет к Губанову. Показать, что ей трудно было пробиться и к Губанову. Точка зрения прокурора — общая — образец формализма и равнодушия: «У нас есть закон, мы не можем заниматься психологией». А когда Губанов вызывает его, он: «Я вам покажу сотни дел, когда трудно поверить, сам знаю людей, а преступление налицо». Губанов: «А я уверен, что это и есть на девяносто процентов дутые дела». Разговор приобретает характер «чистосердечный». Прокурор: «Вы не будете отвечать, а я буду отвечать. Знаете, за что полетел Панкратов? За либерализм, за доброту в отношении нарушителей государственных законов». Губанов: «И правильно, что он за это полетел. Но нельзя из-за боязни либерализма становиться подлецом, жить хотя бы даже с кусочком подлости в душе».

К спору инженеров о молодежи. О тех, кто гонится за рублем. О тех, кто основной экономический закон социализма рассматривает только с точки зрения личного благополучия. Вся духовная жизнь с ее этическими и эстетическими потребностями и идеалами остается за бортом у молодых людей этого типа. Есть периоды исторического развития нашего социалистического общества, когда народная жизнь протекает бурно, когда в активное историческое действие сразу вовлекаются самые глубокие, казалось бы «неподвижные» пласты общества, когда наглядно вскрываются лучшие народные силы, — в такие периоды легче видеть, как народ рождает героев, — яркие таланты во всех областях деятельности. Вот эти периоды: Октябрь, гражданская война, первая пятилетка, Отечественная война. Это не значит, что в периоды между «бурями» духовная жизнь имеет принципиально иное содержание и нет развития, — наоборот, именно эти мирные периоды и есть периоды жатвы после посева. Но если в периоды «бури и натиска» генеральные черты времени выступают заостренно и конденсированно, то в периоды более «спокойного» развития их уже надо уметь видеть среди всего остального. В споре инженеров о молодежи у многих из них, порожденных как раз в периоды «бури и натиска», не хватает подлинного знания и понимания тех сложных и противоречивых процессов духовного развития, которые характерны для нашей современной

молодежи. Отсюда черты второстепенные, «пятна» заслоняют для многих из них главное, генеральное в духовной жизни молодежи наших дней. Инженеры поколения Багдасарова, а также поколения Бессонова, Шубина напрасно втайне вздыхают о «своем времени». Наше время, после Великой Отечественной войны, рождает таланты, несущие в себе лучшие черты времени перехода от социализма к коммунизму и притом в таком количестве, как никогда раньше. Но это надо уметь видеть, понимать, *как* это происходит в живой жизни и *что* приходится преодолевать современной молодежи.

Узнать, где в империалистическую войну воевали Забайкальские части? Просмотреть книги по истории гражданской войны в Забайкалье.

Балышев много и разносторонне читает. Среди своих товарищей по министерству, среди инженеров он так выделяется этим, что сам этого стесняется. Ему часто не с кем поделиться. Он ловит себя на том, что иногда точно «приседает» до уровня товарищей.

Вера Каратаева кончает заочно Институт истории искусств в Ленинграде и там же — заочно — поступает в аспирантуру. Она ездит сдавать экзамены или дипломные работы. Показ Ленинграда через нее. Возможно, вместе с молодым архитектором. Возможно, вместе с отцом Бессонова (тогда последнему принадлежат мысли о непонятности книжек по архитектуре). Возможно, это совпадает с поездкой Павлуши Кузнецова (экскурсия). Но лучше, чтобы мысли о книжках по архитектуре принадлежали не металлургу, а строителю. Может быть, старик вроде Стёпина-плотника? Лаврен Борознов?

Ненормальный рабочий день ответственных работников — наследие гражданской войны, периода коллективизации и индустриализации, потом Великой Отечественной войны.

Что происходит, когда день наконец изменился в 1953 году!

Большегорск и Запорожье связать по соревнованию.

Учение Чернышевского до *очень* низовой русской интеллигенции, как мать Балышева, например, продолжало доходить еще и в семидесятых и в восьмидесятых годах — отчасти потому, что цензурные рогатки задерживали возможность распространения быстрого, отчасти потому, что Россия велика: пока дойдет до глухих углов та или иная брошюра или листовка или сочинение, изданные легально! Балышева была воспитана именно на Чернышевском, чувствовала себя ученицей Чернышевского, «шестидесятницей», была натура цельная, волевая, последовательная во всем — в делах общественных и в делах личных, в отличие от окружавших ее типичных «восьмидесятниц», натур уже рефлектирующих, надломленных, хлипких.

Когда учитель ремесленного училища объясняется с Агриппиной Голубевой в любви, он объясняется с ней хотя и простыми, но настолько необычными человеческими словами, полными такого уважения к ней, которых она даже и не слыхала в наше время. Не потому, что таких слов теперь нет и не потому, что людей таких нет,— так объясняющихся в любви, а просто ей никогда не приходилось такие слышать.

Надо отличать резкость и прямоту суждений от грубости, проистекающей от невежества. Это надо хорошо различать. Давно пора начать серьезную борьбу с грубостью в быту, с грубостью в суждениях, с грубостью в критике. В искусстве тоже иные суждения и приговоры произносит топор, а не перо или карандаш, и это приносит только вред, как и всякое невежество.

Павел Кузнецов в Москве. Вся красота старой архитектуры и мощь архитектуры новой — высоких зданий, университета. Нужно либо весь эпизод перенести в 1953 год, но это трудно по сюжету, либо в одной из последующих частей, во время очередной поездки Павла Кузнецова в Москву, дать *только* новую Москву с ее архитектурой — метро (новые станции), университет и пр. И новую строительную технику, величественную,

масштабную. Но надо найти такой повод этой поездки Кузнецова, какой по самому своему внутреннему смыслу перенес бы нас *именно в наши дни.*

Еще раз проблема заработной платы мастеров-доменщиков и сталеплавильщиков по сравнению с стахановцами производства—рабочими. Невыгодно быть мастером!

Сокращение прогулов оттого, что рабочие, приходящие теперь из ремесленных училищ, в большинстве — сознательные рабочие социалистического производства.

Небрежное отношение к «ремесленникам», использование их на подсобных работах, на побегушках, фактическое отстранение от передовой техники — все эти явления, которые еще совсем недавно имели массовое распространение и отчасти живы и теперь, представляют из себя варварство, атавизм, возвращение к дореволюционным формам обучения подростков. Тогда, в дореволюционное время, человек, уже изрядно поживший, становился квалифицированным рабочим. Сейчас — при социалистических методах обучения — он достигает совершенства еще юнцом, обгоняя стариков. Небрежное отношение можно наблюдать и сегодня на заводах со старой «традицией».

Я — такой-то и такой-то (страшно длинное название его должности), — сказал он, стараясь соблюсти достоинство в этом длинном перечне.

Фамилия — Едвабный.

Толстый красный старый официант, подвыпив, утверждает, что у него два сердца: одно с левой, другое — с правой стороны.

Человек может исправиться. Ничто так не сбрасывает его обратно в яму, как недоверие. Недоверие унижает человека. (Из переживаний Агриппины Голубевой.)

Муж жалуется на жену: «Она все человечество делит надвое — на пьющих и непьющих. Пьющие плохие, а непьющие хорошие. И вот она только «хороших» приглашает в дом. Не удивительно, что я так охотно убегаю из дома».

Марфа Васильевна: «То солнечно, то наволочно».

«Дело не секрет». «Всевозможно». «Ефстивно» (шофер говорит).

Теплое дуновение ветра, как прикосновение щеки.

Сумерки спустились. Последний стриж прочертил месяц.

Круг света вокруг луны, — будет дождливое время.

22/VIII. 8 часов вечера. Месяц, несколько дней от рождения, идет к закату солнца.

26/VIII. 10 часов вечера. Только что прошла гроза. Небо очистилось. Месяц, больше половины, тяжелый, низкий, висит над лесом. Туман редкий, недвижимый над прудом. И вся природа, облитая луной и точно налившаяся тяжестью, холодная, влажная, застыла в темной неподвижности.

Одеколон «Жигули».

Утренники побили картофельную ботву, она повяла, почернела, и от нее в полях стоит запах сладковатого сена.

6/V. Чудесные березы с высыпавшими мелкими, необыкновенно изящного рисунка, воздушными листочками. Липа в надутых, вот-вот готовых лопнуть почках, а там очередь уже только за дубом. В сырости сумеречного леса так и накатывают волны этого еще детского запаха влажных листочков и почек, среди которых гудят и путаются запоздавшие ко сну шмели.

Вороны ловко ловят нерестящуюся рыбу в травке у берега, подкарауливая ее, спрятавшись среди веток вербы.

Описания природы, когда Красовский гонит скот из Смоленщины в глубь страны, брать из книжек 45—51 годов, особенно из «большой» книжки 48—51 (Барвиха — Переделкино — Москва).

Подвыпивший старик Каратаев жене: «Ух, как хорошо закружило, как на карусели. Выпей и ты, покружимся вместе».

В Кузнецове сочетание мальчишеской, мужественной хитрости и доброты.

Галина Сомова (урожденная Челнокова), прошедшая в первые годы совместной жизни с Сомовым трудный жизненный путь, полный испытаний, а в общем путь трудовой, сходный с путем миллионов, очень призадумалась над своей судьбой женщины — врача, труженицы, над судьбой детей своих, когда муж круто пошел на повышение и на семью посыпались материальные блага и удобства. Именно потому, что все жены и все дети в семьях этого типа уверенно и очень естественно воспринимают эти блага и удобства, не задумываясь над тем, заслуживают ли они их сами по себе, независимо от заслуг главы семьи, именно поэтому Сомова избрала для себя необычный... путь — не пользоваться этими благами и удобствами там, где жизнь

ее и детей носит или может и должна носить независимый характер. Столкновения с мужем на этой почве. Непонимание этого не только со стороны жен других ответственных работников, но даже и со стороны людей простой жизни. Как много ей пришлось пережить и понять и в себе, и в окружающих, чтобы все-таки неуклонно провести эту линию через всю свою жизнь, не став в глазах других ни позеркой, ни ханжой, ни кривлякой. Она все преодолела трудом, естественной, неподкупной простотой и скромностью. Нет ничего прекрасней женщины, в которой принципиальность, несгибаемая и неподкупная, никак не выпячена, а так же естественна, скромна и женственна, как и все, что бы эта женщина ни делала. Такова была Галина Сомова.

Секретарь обкома, вспомнив, как он в молодости вел кружок по истории партии, решил тряхнуть стариной, показать пример и провести занятия в кружке на заводе — там, где раскритиковал положение с делом пропаганды и «поучал» вволю пропагандиста. И вот, когда он стал готовиться к занятию, он увидел, насколько труднее провести одно конкретное, живое, увлекательное для слушателей и участников занятие в кружке, чем давать «указания» и «директивы» о том, как лучше вести пропаганду. «Ах ты, черт!»

А может быть, мальчишка, совершивший «преступление» —сын Губанова? Очень было бы хорошо сделать так: по ходу романа, где-то пораньше происходит столкновение старухи колхозницы с прокуратурой вокруг вопроса о нарушении колхозного устава, она жалуется Губанову, и вся «прокурорская» тема обсуждается у Губанова. Губанов решает данный вопрос правильно, но общие «установки» прокурора еще не вызывают в сознании Губанова такой протест, пока он не сталкивается с подобным же казенным формальным отношением к делу в связи с «преступлением» своего сына. Но что всего возмутительнее: оказывается, что прокурор вполне может повернуть дело на оправдание сына, это не так сложно сделать, на всякий закон есть и другие законы, а главное, многие, очень многие дела можно подвести не под этот, а под другой закон. Почему же в первом случае прокурор боялся

сделать это, а во втором — нет? Потому что в первом случае он имел дело с колхозницей, а во втором — с секретарем обкома. Губанов добивается того, что прокурора снимают с должности. Ему бы следовало, однако, чтобы быть последовательным до конца, согласиться с осуждением сына. Но этого он уже не в силах сделать.

Обращение к читателю по поводу техники и технических терминов в романе — в одной из первых глав, в связи с тем, что Маннуров, добиваясь рекорда, поджег динасовый свод мартеновской печи. Придраться к тому, что такое «динасовый свод», объяснить это читателю, а потом его же, читателя, отругать за то, что он этого не знает. В наш век он это обязан знать! Почему у читателя не вызывают смущения, когда он читает классический роман, такие «технические» термины, как «изба, поставленная глаголем», или «пятистенная изба», или «бричка», «линейка», «карета», или названия созвездий и звезд, или такие слова и понятия, как «попёва», «дежка», «косье», «просто сидит» (про косу), «лобогрейка» или щеголяние охотничьими терминами, профессиональными и вообще специфическими терминами при описании, например, собак или лошадей — у Толстого, Куприна, Эртеля? Ведь современный наш читатель в большинстве своем не видел, не знает этого, а это кажется ему, однако, в порядке вещей. Он к этому привык. Он обязан привыкнуть к технической терминологии в современном романе, ибо нельзя написать современный роман, обходя вопросы техники, в наш век невиданного технического развития. Без знания техники уже многое становится непонятным в любом номере газеты, выходящей в наши дни. К тому же писатель обращается не только к настоящему, а и к будущему, а в будущем его будет читать народ с политехническим всеобщим средним образованием. Уже сейчас можно сказать, что читатель, не знающий техники, через десять — двадцать лет будет выглядеть троглодитом. Литература не может равняться на троглодитов! Другое дело, что предметом литературы является не техника, а человек. Значит, надо писать о человеке, а техника тогда само собой приобретает такое же естественное звучание в романе, как

естественно звучала старая техника или описания природы, или специфическая собачья и лошадиная терминология в классическом романе.

Панина у Губанова по делам в связи с той борьбой, которую она ведет с Навурским (а возможно, ее тоже увязать с «прокурорскими» делами). Тут они выясняют, что и он и она — воспитанники детского дома. Губанов говорит: «Обратите внимание, сколько встречается среди современных работников, среди военных людей и вообще среди хороших людей разных профессий — воспитанников детских домов. Своими детскими домами социалистическое общество за тридцать пять лет своего существования спасло от гибели физической и моральной и сделало полноценными людьми, работниками миллионы детей, оставшихся сиротами, потерявших родителей своих в ту мировую войну, в гражданскую войну, в голодный 1921 год, в период коллективизации, в Великую Отечественную войну. Ну, кем бы мы были с вами, если бы не наши детские дома? Нас или не было бы, или были бы мы — я, скажем, чернорабочим, грузчиком, например, а может быть, вором, а вы всю жизнь проработали бы на каких-нибудь торфяных болотах или прислугой, или... нет, даже страшно подумать, не только сказать... И мне так приятно смотреть на вас, точно землячку встретил. Знаете что? Этой работы все равно никогда всей не переделать, пойдемте-ка ко мне домой да выпьем с вами за мой и ваш детский дом, который заменил нам и мать и отца! Жена будет рада».

Панина. Уж будет ли она рада? Ну, если дадите сладкого винца, так пойдем...

Либерализм особенно отвратителен в наши дни, ибо означает покровительство, поблажку, слюнявую доброту по отношению к антинародным силам. На этом основании, однако, все бюрократы, карьеристы, стяжатели, эгоисты, обыватели на постах, скрывающих номенклатурой данного поста антинародную черствую душу человека, сидящего на посту, — считают «либерализмом» всякое проявление

человечности по отношению к людям, совершившим ошибку, так или иначе согрешившим, попавим в ту или иную общественную беду.

Мать Христины так и осталась деревенская, все ее чувства, мысли, вся жизнь ее осталась там, она только и говорит о своей «вёске». Лаврен Борознов, муж ее, тоже любит послушать, — он уже давно оторвался от деревни, он стал уже строителем по призванию и никогда бы не был способен вернуться в деревню, — но ему уже пятьдесят восемь лет, близится старость, и рассказы жены напоминают ему время, когда он был молодым. А Тина слушает мать, а вернее делает вид, что слушает, из дочернего такта, а ей все это стало чуждым и далеким. Ремесленное училище с практикой на заводе уже перевернуло ее с четырнадцати — пятнадцати лет, она стала заводская — и теперь, когда она просто домашняя хозяйка, она тоскует не по деревне, а по заводу, по заводскому труду.

Коля Красовский так же, как и Христина, медленно формирующийся характер; кроме того, ей нравится, что он смоленский, сосед ее, фамилия и говор типичны для «смолян» и родственны белорусской душе Христины, они оба — из «западных славян», хотя и не сознают этой подпочвы их робкой симпатии друг к другу.

Размышления секретаря обкома о душевной неподкупности и о компромиссах допустимых и недопустимых.

Дружба в труде — самый высокий вид дружбы. В числе прочего это и самый прочный и самый принципиальный и в то же время наиболее широкий вид дружбы — в ней люди ценят друг друга по самому лучшему и высокому друг в друге, поэтому она может объединить людей самых разных по характерам, по достоинствам и недостаткам; ничто обывательское не может ее разрушить, если объединяющий трудовой принцип не поколеблен.

Обывательский предрассудок, будто женщины, особенно уже сформировавшиеся женщины, не могут так же прочно и верно дружить между собой, как мужчины (якобы из-за более или менее осознанной или скрытой «конкуренции» между женщинами перед лицом мужчин). Это справедливо только по отношению к праздным женщинам. Жизнь дает примеры исключительной дружбы между трудовыми женщинами, женщинами, объединенными общностью труда или общественного дела.

Современные плохие писатели, плохие прежде всего именно в моральном отношении, любят выводить в сатирическом освещении типы своих собратьев по перу, любят выводить их людьми, оторванными от народа, пьяницами, красивыми говорунами без правды в душе, подхалимами перед людьми вышестоящими, халтурщиками и сребролюбцами. Это первый признак, что у автора у самого нет любви и уважения к своей профессии, нет моральной основы в своей профессии, а есть некоторое смутное ощущение собственной неполноценности и фальши. Изображая своих собратьев скверными и маленькими, они надеются тем самым спастись от суда народа и возвыситься перед народом. Но народ не чернит [?], не знает скверных писателей, он видит в писателе своего учителя и часто совесть свою, он знает, что писатели — это духовные руководители народа, такие же, как и его, народа, политические вожди, и относится к профессии писателя с любовью и уважением.

Писатель, который в своем произведении оплевывает писателя, это прежде всего трус, боящийся народа своего.

Подруга говорит Вассе: «Мужчины боятся таких, как ты», — и объясняет, почему мужчины больше любят таких, как Тина.

Шубин не хочет, чтобы его из начальников доменного цеха превратили в директора комбината. Его разговор с Багдасаровым. «Я хотел бы учить молодежь доменному делу». — «В профессора, что ли? В доктора наук?.. А кандидатский минимум?..» И здесь развернуть вновь — в их

споре — всю тему о высшем образовании, о научно-исследовательской работе, о проектантах, о работниках лабораторий заводских и т. д. Багдасаров вынужден соглашаться. «Почему же вы не ставите этот вопрос в целом перед правительством, разве это не ваша обязанность? Поставите?» Багдасаров, подумав: «Нет, не поставлю». Объяснить, почему Багдасарову действительно трудно ставить вопросы, не имеющие прямого и непосредственного отношения к *выполнению плана,* к тем прямым и непосредственным обязанностям, которые возложены на министерство, тем более что они выполняются далеко не так, как надо. Рассуждение о том, что наше государство — молодое государство, где формы государственного управления неизбежно меняются и надо вовремя видеть, где и что бюрократически «сложилось», застыло и тормозит рождение нового и живого. Багдасаров понимает это, но соразмеряет свои силы и сознательно отходит в сторону там, где это прямо его не касается. Он чувствует, что у него «не найдется времени» для того, чтобы весь вопрос изучить и поднять настолько, чтобы иметь успех в правительстве. И в то же время понимает, что все это может иметь успех при всех условиях только после большой борьбы. И, зная «ресурсы» свои, не берется за это. И это — слабое место Багдасарова как государственного деятеля. Беда в том, что рано или поздно и *его* непосредственное дело упрется в эту проблему, как в тормоз.

Все изложенное выше применить и к проблемам строительства и строителей металлургии (см. беседу с Н. И. Лукашкиным, тетрадь Г.).

Галина Сомова. Я извиняюсь перед пирамидоном за ваше невежество. (На слова, что пирамидон не лечит, а только утишает боль.)

Ударить прямо, в лоб, по ханжеству в связи с так называемыми несчастливыми судьбами.

«Перенесение порток на другой гвоздок».

Рабочий все время говорит: «Суду все ясно».

Гамалей—мягкий, добрый, спокойный, положительный человек, но долговременная, умеренная холостая жизнь приучила его к экономности, доходящей до скупости, а кроме того, привила ему привычку к независимости в домашнем обиходе, и, когда он, наконец, женился, он живет в семье точно отдельным хозяйством.

Даша назначила Балышеву встречу в райкоме утром, в воскресенье, когда там никого нет, кроме дежурной в приемной, — больше им негде было бы встретиться наедине. И в этой приемной, пока дежурная докладывала о нем, Балышев испытывал волнение, сходное с волнением перед экзаменом. Он не видел Дашу двадцать лет. Встретив ее на заводе, он был поражен ее женственностью в расцвете сил, ее новым душевным и физическим обликом, и в нем проснулось былое чувство любви. Но сейчас это не было волнение любви. В юности, хотя она не ответила ему на чувство его — и в этом тогда была ее власть над ним,—он все же был настолько более развитой и сформировавшийся человек, что в чувствах его было и покровительство по отношению к ней, молчаливо ею признаваемое. Может быть, она сразу и не ответила на его чувство, потому что не чувствовала себя ровней, — он был человеком другого душевного мира и склада, она не во всем понимала его, немного опасалась, кроме того, ей мешали самолюбие и гордость. В переписке, которая возникла между ними, когда она вышла замуж, это самолюбие и гордость мешали ей показать, что теперь она его понимает и жалеет о том, что не ответила на его чувство,— разве она могла сама написать ему, что теперь... роли переменились. И всякий раз, получая письма ее, будучи тоже женат, он вновь и вновь испытывал волнение былой любви. Но это казалось уже прошлым. И в письмах его, очень человечных, все сильнее звучал этот оттенок доброго покровительства. И вот теперь он впервые понял, что же он потерял в жизни. Во всем ее облике была цельность и чистота, нравственная высота познавшей жизнь женщины с ее долгом по отношению к нелюбимому мужу, со всем, что она выстрадала, рожая от него детей, воспитывая их и вкладывая в них

все самое лучшее, что было в ней самой. Новая духовная жизнь светилась в глазах ее, она обрела эту жизнь через образование, через большой трудовой и общественный опыт, давшие природному ясному уму ее осмысленную цель существования. Это не была уже девушка-работница, ищущая себя, с поразившими его тогда особенностями пробуждения ее индивидуальности. Это была созревшая, цельная, умная женщина в расцвете духовной и физической красоты. Она предстала перед Балышевым как бы на пьедестале, теперь он стоял внизу. И вот он волновался теперь, примет ли она его душою, не отвергнет ли вновь, не придется ли теперь, когда лучшая часть жизни осталась позади, вновь снискивать любви ее, но уже на основе неравенства, обернувшегося не в его пользу. А в общем черт его знает, почему он волновался, все-таки в этом было что-то и от обычного волнения влюбленного юноши, неуверенного в том, как будет принята любовь его, которую нельзя скрыть...

Когда он вошел, она встала из-за своего стола секретаря райкома и быстро пошла навстречу ему вдоль залитого солнцем зеленого поля, — так казалось ему, — на самом деле она шла навстречу ему вдоль стола заседаний, покрытого зеленым сукном. Она смотрела на него, но он не видел ее лица, пока она не остановилась перед ним. И как двадцать лет назад он увидел сверху, на уровне своих плеч, обращенные на него умные, твердые, с неуловимым оттенком печали темно-серые глаза, — нет, такими они были тогда, а теперь в них светились любовь, робость, стыд... Она смотрела так на него одно мгновение, потом быстро положила маленькие руки свои на его широкие плечи и припала головой к его груди.

И волнение, которое не было волнением чувств, а волнением, вызванным побочными движениями души, мгновенно оставило его, — великий покой, который снисходит на путника или пловца с немыслимым напряжением сил достигшего цели своей, сошел на его душу, и большое чувство человеческой благодарности, нежности к Даше, маленькой женщине, так непосредственно после двадцати лет разлуки отдавшей ему всю себя, — пронзило его... Он обнял ее, и вся она оказалась спрятанной в его больших руках. Он прижался щекой к ее волосам. Так они стояли, не говоря ни слова. Та, другая жизнь, которую они прожили отдельно друг от друга, которую нельзя было ни

переменить, ни прожить сначала, в это мгновение с более отчетливой ясностью, чем они знали это давно, встала перед ними, как заблуждение, случайность, еще и до сих пор определяющая выбор жизненного пути для миллионов и миллионов юношей и девушек. В старину говорили: «Они созданы друг для друга», — пусть так! Да, они были созданы друг для друга! Они мучительно искали друг друга, они, как сквозь дебри, пробирались друг к другу сквозь два десятилетия, исказившие их жизнь. И вот они были теперь вместе, и это и была та единственная правда, какую только и можно назвать любовью. Они оба чувствовали это и длили это мгновение, принесшее глубокий счастливый покой их душам, они длили его, зная, что вслед за этим счастливым мгновением в их души вновь ворвется все то, что не дало им возможности жить по правде любви и что уже было непоправимо.

Кто из настоящих инженеров или передовых рабочих, попав в другой город или район, где есть металлургическое производство, не зайдет в гости к приятелю и не попросит показать ему завода, — всегда интересно знать, что делается у других.

Кто-то из инженеров Большегорского комбината, приятель Бессонова, всегда заезжает к нему и смотрит, что нового на заводе. Теперь уже Бессонов патриот своего завода, хотя был главным инженером Большегорска, — говорит: «у нас», «у вас». В 1954 году в Большегорском комбинате должен быть пущен новый мартеновский цех, но из-за того, что шагнула вперед прокатка, не хватает металла, покупают слитки у других.

— Какие ты можешь продать нам слитки и сколько?

— Об этом дотолкуемся... Да стоит ли мне вам продавать, когда от вас никогда, ни в чем не дождешься помощи? Просил помочь кадрами... Это ты, говорят, не пустил ко мне Гунна?

— Да, Гунна, признаться, я задержал.

— А почему Иванова не дали?

— Иванов сам не захотел.

— Неправда, он мне звонил, говорил, что согласен, но не пускают.

— Значит, цену себе набивал.

Гамалей жене (примирительно, — она плохо стряпает, но очень ревнива к стряпне своей):

— Нет, это ты добрый борщ сварила, Маруся, — за время воссоединения Украины с Россией это второй такой борщ: первым наш Богдан угощал русских послов, а вторым — ты угощаешь меня.

Из черновиков первых глав взять кое-что, не использованное там: о детях Павлуши и отношениях между ними; некоторые черты Красовского, Вассы, Тины и особенно Муси из сцены свадьбы, а может быть, и всю свадьбу; наметки того, как сложилась «тройка» сталеваров; новый взгляд Павлуши на жену, когда он видит ее через смятенную, страдающую, не умеющую себя выразить душу ее (стр. 13 черновика); характеристику Вассы (на обороте 15-й стр.); отношения между Павлушей и Маннуровым и Красовским; детали отношений между Вассой и Тиной (на обороте стр. 36 и дальше на оборотах страниц), — как одеваются девушки, в частности; как Вассу оценивает Павлуша; эгоизм Тины и большая душа Вассы (все, что на обороте 44-й стр. *особенно*); отношения Павлуши, Тины, Вассы в тот период, когда Павлуша ухаживает за Тиной; характеристика отношения мужчин к Вассе (на обороте 47-й стр.).

ИЗ ЧЕРНОВИКОВ ПЕРВЫХ ГЛАВ

Ах, каким прекрасным вдруг показалось ей то — кажется, уже такое далекое, далекое — время до замужества, когда жизнь так много сулила ей всего, всего. Да, как ее все любили в цеху, ее и Вассу Иванову, подругу еще по ремесленному училищу, о них уже заговорили как об инициаторах движения за продление жизни машин, на Урале они были первыми, кто поднял это движение в одно время с Ниной Назаровой *. Но она, Христина Борознова, вышла замуж и все бросила ради мужа и семьи. Как все это получилось? Как она пошла на это? Она все пыталась вспомнить, как это началось, и она хорошо помнила, что Павлуша очень хотел этого, но ведь ей тоже показалось таким увлекательным — наладить их жизнь, их дом, ведь им так посчастливилось, они сразу начали все, как самостоятельные люди, никого не было на их плечах, им никто не мешал. Она любила и теперь Павлушу до полного забвения себя, она видела много таких же молодых семейств вокруг и могла сравнивать, и она просто знала, что Павлуша — редкий муж, ей многие могли позавидовать, и завидовали. Она отдавала ему всю себя беззаветно, и

* В сорок шестом году не могло быть движения за сохранность машин. Надо найти другой повод для соревнования, отвечающий тому времени.

Нет, они наметили это, но Тина вышла замуж, и в силу распадения их дружеского союза распалось и это начинание. Тем обиднее было Тине, когда это подняли другие.

действительно, три-четыре года она прожила, как в счастливом сне, хотя было так много тяжелого и трудного: она с трудом рожала, и вторые ее роды были даже тяжелей первых, у них долгое время ничего не получалось с квартирой, и так трудно было им в одной комнате. Но она как-то прожила три-четыре года, почти не замечая всего этого, вернее, тотчас же забывая все тяжелое из того бесконечного наслаждения и упоения жизнью, которое приносило ей это новое положение жены и то внезапное ощущение свободы, которое ей принесло это новое положение. И она могла считать это свободой! Какая же она была еще наивная! Она так долго не замечала, какое значение и влияние в доме все больше приобретала родня Павлуши, все Кузнецовы, ей казалось все это естественным. На всю страну гремели имена ее сверстниц и подруг, с которыми она познакомилась на стахановских слетах — Нины Назаровой, Руффины Рассомахиной, Романовской, — но она не замечала и этого.

И вот она оказалась ввергнутой неизвестно когда и как в этот невыносимый конвейер таких обильных и разных и в то же время таких скучных[?] и мучительно однообразных дел, и вдруг начала замечать и себя, и мужа, и всех окружающих, но прежде всего понимать свое место среди всех этих и близких и далеких людей вокруг нее. И вот она проснулась и поняла, что жизнь ее безрадостна, что она, Тина, не только стоит на месте, она катится вниз.

Разве можно было считать ее дружбу с Вассой, если она, Тина, оставила подругу в тот самый момент, когда они взбулгачили весь ремонтный цех. Как ни быстра на подъем, как ни решительна была Васса, сама она ничего не умела продумать, все знали, что она, Тина, хотя и была тихой, но более вдумчивый и упорный работник. Она не умела говорить и всегда выпускала вперед Вассу, но все знали, что она застрельщица в соревновании, охватившим все цеха комбината.

И вдруг она вспомнила, с чего это началось, как она «проснулась»: ее «разбудила» Васса, с которой она сама не заметила, как рассталась некоторое время спустя после ее, Тины, женитьбы. Ведь как же они дружили в те тяжелые годы войны в ремесленном! Только такие подруги, как они, могли признаться друг другу, когда они уже немного

пожили вместе, что одна из них никакая не Васса, а просто Василиса, и что она дочь бондаря из Ельца, а другая — вовсе не Тина, а Христина, и что дома мать зовет ее Христей, что сама она природная белоруска из деревни, как и мать ее и отец, — это можно сразу узнать по ее говору — и фамилия ее даже не Борознова, а просто Борозна, но что, когда отец получал свой первый паспорт, — он работал тогда уже здесь в Большегорске, ему для простоты заменили имя Лаврен на Лаврентий, а фамилию сделали Борознов: его так звали в бригаде, где все были русские, и милиции так было удобнее, а ему это было все равно.

Им вдруг стало смешно, как же это им пришло в голову назвать себя, когда они поступили в училище и их поселили вместе, и они знакомились с другими девушками и с ребятами не своими именами, а назвать себя Вассой, Тиной. Васса сказала, что она слышала где-то такое имя и оно показалось ей красивей, чем Василиса; Васса — можно без уменьшительного, и оно ей подходит, такая она крупная, а никто бы не стал ее звать Василисой, а звали бы, как в детстве, уменьшительным — Васей, а не то Васькой, как мальчишку, и она уже давным-давно придумала назвать себя Вассой, как только станет самостоятельной. А Тина подумала-подумала, и не могла вспомнить, откуда она подхватила это имя — она нигде его не вычитала, и нигде не слыхала его, и никогда оно ей не приходило в голову, но, после того как она пожила в Большегорске в первый год войны и отец отдал ее в ремесленное, ей сразу показалось, что другим может показаться некрасивым ее имя Христя, и ей оно самой разонравилось, и она даже сама не может объяснить, как она всем стала говорить, что ее зовут Тиной. Должно быть, это как-то само собой пришло к ней из городского воздуха. (Потом она видела, что Павлуше нравится, что ее зовут Тина, сам он любил называть ее Тинкой, и она замечала, что он бывал недоволен, когда мать и отец по-прежнему называли ее Христей, хотя он, конечно, никогда бы не мог сказать им это.)

* Несомненно, они дополняли одна другую. И в жизни

---

* Очень важно: Павлуша этого не понимал в жене, а люди — организаторы и руководители — понимали положительные стороны такого характера.

и в работе всякое решение, за которым должен был следовать поступок, вызревало в Тине медленно. Нельзя сказать, чтобы даже теперь, а в те юные годы и подавно, она умела взвесить и обдумать всякое дело со всех сторон, нет, это происходило в ней само собой, больше даже в чувствах, чем в мыслях, но ей нужно было время для этого. И когда это назревало и она приходила к решению, она действовала уже очень последовательно и не отступала от того, на что пошла. В ней был природный здравый смысл, привитый с детства. Она была аккуратна в делах домашних, житейских и в ученье, и в работе на станке ей присуща была спорость — именно спорость, а не скорость, то есть методичность, точность, аккуратность, приводившие всегда к тому, что всякое дело получалось, это была не суетливая, не броская удачливость, при равных условиях она всегда приходила к одинаковому результату, — она работала незаметно, ровно, с естественным природным расчетом и какой-то непрерывностью в труде, поэтому на нее всегда можно было положиться, что все будет сделано, если условия останутся неизменными.

Но, как уже было сказано, она и в женском, и в человеческом смысле развивалась медленно, характер ее все еще не сформировался. Это сказывалось даже в первые годы замужней жизни, сказывалось, конечно, только на ней, потому что она была покорна мужу, а он был увлечен ею, и сам, человек очень темпераментный, ничего не замечал. Но очень много времени прошло, пока в ней пробудилась чувственность, и еще ничто не говорило, что в ней может раскрыться страстная натура, не менее страстная, чем Павлуша, — это в ней еще не пробудилось даже и в намеке.

Такой же она была и в работе. Она не была находчива, если условия труда менялись, терялась при любом срыве, не говоря уже об аварии. А если надо было вступить в борьбу, она не умела постоять за себя, — в лучшем случае она могла не уступить, но никогда не могла чего-нибудь добиться. Это не значит, что она была застенчива или робка, — нет, даже понятие «скромность» не вполне выразило бы, кем она была на самом деле, она не бежала от трудностей, не уклонялась, а шла прямо на них, но шла покорно, молчаливо как на заклание, — она не краснела, не потупляла головы перед людьми, она просто

не умела возразить, если с ней были не согласны или наступали на нее, она смотрела на противника своими необыкновенной чистоты синими глазами, которые, казалось, ничего не выражали, и молчала, а потом поворачивалась и уходила, тоненькая, строгая, не изменившись в лице, прямо, можно было подумать даже горделиво, держа изящную свою головку с этими ровно переливающимися, как спелый лен на солнце, волосами, которые всегда лежали так одинаково и ровно и были, казалось, так же невозмутимы и никогда не могли смешаться, спутаться, как и она сама, как и ее неразвившаяся душа.

И совсем другой была Васса. Крупная, броско-красивая, с широкими бедрами, крупными руками, темными, почти черными волосами, черными глазами и черными бровями, она была очень подвижная, сильная, свободная в движениях и вольная в жестах, вся очень открытая, смелая, и голос у нее был уверенный, громкий. Черты ее лица с его неуловимой ассиметричностью и формы ее тела были резко обозначены, — это особенно стало заметным, когда она стала постарше, но поскольку наружность также неотрывна от движения, как характер от поступка, при этой ее свободе в движениях, смелости, стремительности, решительности, той непосредственности, против которой уже ничто не могло устоять и все было вовлечено ею в круговорот ее собственной деятельности, при этих ее особенностях все эти резко обозначенные черты ее лица и формы тела, крупного, сильного, были так ловко увязаны в ней самой природой, что все казалось в ней гармоничным, ее и в глаза и за глаза называли красавицей — она и была красавицей. Поскольку она была старше Тины на год и при этих особенностях ее характера и ее внешности, при ее общительности и активности в любом общественном деле, в то время как Тину никогда нельзя было услышать на комсомольском (Тина — беспартийная и не комсомолка) собрании, ее можно было бы и не увидеть, если бы на головку ее с этими невиданными волосами так не заглядывались ребята, — вообще Тина была пассивна там, где было много людей и надо было говорить, а особенно потому, что во всех, решительно во всех трудных случаях жизни и работы Тина неизменно выпускала вперед подругу, многие думали, что в этой девичьей дружбе, а в особенности, когда она переросла еще и в дружбу на производстве, где обе девушки быстро

выдвинулись, первую скрипку играет Васса. Но те, кто лучше знал их, видели, что в характере Вассы было много стихийного, она все делала рывками, была изменчива в настроениях, и многое вертелось и в ней самой, и вокруг нее без ясно осознанных цели и смысла. Когда она оставалась без подруги, у нее ничего не получалось, а Тина могла работать и без нее. И тогда все увидели, что в этой дружбе все идет так, как посоветует Тина, посоветует не на людях, не здесь, а тогда, когда их никто не может услышать, когда они останутся одни и начнут шептаться и делиться своими соображениями, удачами и неудачами, горестями и радостями, и еще никому, никому, кроме них, не известными интимными делами, вот, как тогда, когда они лежали в постели и шептались, а потом заснули, и к ним ворвались Павлуша Кузнецов и Коля Красовский. Но то, что Тина могла надумать и посоветовать Вассе и что они могли потом принять, как общее решение, никогда не могло бы быть развито до своего логического конца, а главное, никогда не могло бы стать общественным, а не индивидуальным делом, если бы Васса не начинала развивать это дело со свойственной ей решительностью и не пробивала пото́м дорогу как таран, сокрушая все на своем пути. Ее можно было видеть и там и здесь — свободная, сильная, она уже идет по пролету цеха, а вот, не чувствуя ступеней, — так, несмотря на ее крупный рост, она подвижна, легка на ходу, — взбегает по лестнице в контору, где в крохотной комнатке нашла себе приют комсомольская группа комитета, она не идет, она летит на стройных, сильных своих ногах, и все мужчины оглядываются на нее, вот она говорит с мастером, она смело смотрит на него своими большими карими глазами, оттененными этими черными бровями и длинными ресницами, лоб у нее необыкновенно ясный и чистый, а в глазах у мастера примерно такое выражение, — нет, ты не девка, ты просто дьявольское наваждение и, если не пойти тебе навстречу... нет, самое главное, что нельзя не пойти тебе навстречу! И вот она уже с другими девушками и женщинами в душевой, она хохочет так, что только ее одну и слышно, и за струями падающего дождя видны ее сверкающие белые зубы, — нет, она в самом деле дьявольски красивая девка, она хохочет потому, что, конечно же, она добилась всего, что они с Тиной надумали.

Разность их характеров сказывалась и в том, как они одевались. Тина любила тона светлые и скромные, она не гналась за преходящей модой, вкусы ее были постоянны, важно, чтобы все, что она носит, подходило к ее глазам и волосам, она знала, что именно в этом ее главная прелесть и чтобы все было скроено так, чтобы не скрыть, а выделить ее тоненькую девичью фигуру,— она понимала, что, при ее не маленьком, а вполне нормальном женском росте, эта тоненькая фигура и эти ее волосы цвета спелого льна в сочетании с синими глазами и есть главная ее прелесть. А Васса любила цвета поярче, она любила, чтобы ее все видели, чтобы ее все замечали, чтобы на нее все оглядывались.

И даже теперь, когда ее личная судьба сложилась так неудачно, когда она осталась, в сущности, уже переросшей девушкой, — ведь ей было уже двадцать пять лет, — даже теперь, когда она стала более сдержанной на людях и в одежде своей перешла па тона темные, скромные, она отлично знала, например, какой платок ей носить — малиновый, и какие туфли — сверкающие черные, лаковые и на высоком каблуке. Все-таки самое красивое, что в ней было, это ее ноги, стройные, сильные, тонко выточенные в лодыжках, и линия подъема казалась такой упругой и натянутой до предела благодаря этим высоким каблукам.

Как же так получилось, что дружба их распалась?

После этой их случайной встречи во Дворце металлургов, год тому назад, обозначившей душевный перелом в семейной жизни Тины, она не раз мысленно возвращалась к прошлому и думала: как же это у них получилось?

Когда она продумывала те ранние четыре года — в ремесленном, а потом, когда они вместе работали в ремкусте, — Тине казалось, что души их были до конца открыты и не было не только занозы в сердце одной против другой, не было ничего в жизни каждой из них, чего бы не знала другая. Ах, как Тина ошиблась! Но она и сейчас еще не видела и не понимала, что это было не совсем так. Почему она ошиблась? Она и тогда и теперь не в силах была понимать, что она всегда была больше занята собой, в то время как душа Вассы щедро изливала себя на всех людей. Тина привыкла к заботам, вниманию Вассы о ней, привыкла к резковатым, порой даже

суровым, — по бесконечно искренним проявлениям ее доброты и пониманию с полуслова всех ее душевных движений. Нельзя сказать, чтобы Тина злоупотребляла этим свойством души своей подруги, нет, она не эксплуатировала их, она пассивно принимала их, принимала как само собой разумеющееся, — ей было удобно, легко, естественно, уютно с Вассой и в их скромном быту, и в смысле душевном. Но она никогда не задумывалась над тем, что, будучи равной с подругой в обязанностях, часто выполняя даже больше, потому что она была более ровна и методична во всем, чем Васса, — она, в сущности, мало интересовалась тем, что происходит в душе Вассы, ее, Тины, душа не видела необходимости, не чувствовала потребности понять душевный мир подруги, принимала только факт ее совместного с ней существования. А если так, ей нечего было и дать Вассе в смысле глубокого удовлетворения ее душевных запросов и движений.

Чувствовала ли это Васса? Она никогда бы не догадалась об этом и не допустила себя до такой мысли, настолько она любила Тину, но она чувствовала это. И бессознательно это проявлялось в том, что в самых сокровенных и в самых трудных вопросах души она не была откровенна с Тиной, а если она не была откровенной с Тиной, ей уже не с кем было поделиться ими. С самых ранних дней их дружбы у нее были тайны от Тины, а значит, и тайны от всех, в то время как душевный мир Тины был всегда для нее открытым.

* Люди, не судите друг о друге по первым бросающимся в глаза случайным признакам! Как часто люди, легко и свободно вращающиеся среди других людей, вольные в обращении, с душой открытой и отданной всем, благодаря душевной доброте своей, бывают более одиноки, чем люди, кажущиеся как раз более замкнутыми, сдержанными и молчаливыми. Как это может быть? Это может быть по очень простой причине. Люди второго склада часто только кажутся такими, а на самом деле они просто бедны душою. В то время как люди первого склада несут в себе так много, что в них всегда найдется еще что-то, самое главное и сокровенное, что не может быть открыто и отдано, если нет встречного потока такого же богатства и открытости и доброты души.

---

* Очень важно!

В дружбе Тины и Вассы Тина была более выдержанна и потому более счастлива, а Васса была одинока.

Но этого Тина не видела даже сейчас.

Началось ли это тогда, когда Тина вышла замуж и перебралась в комнату к Павлуше — все там же, в «Шестом Западном»? Да, несомненно, это началось с того времени, но Тина не могла вспомнить ничего такого ни в дни ее замужества, ни в первый год ее жизни с Павлушей, что можно было бы считать признаками охлаждения между ними. Оно началось, оно развивалось исподволь, незаметно, это их охлаждение друг к другу. Им даже трудно было бы назвать, с какого времени, когда они стали все реже и реже встречаться, а потом все больше ловили себя на том, что им даже не о чем поговорить.

Помнится, — это было года три тому назад, — Тина как-то сказала Павлуше:

— Как давно Васса не заходила!.. Вот так живешь, живешь, не думаешь, а ведь она к нам совсем и ходить перестала... — Она сказала это без горечи, без грусти, даже без удивления, а просто с раздумьем: шла, шла и вдруг наткнулась и на мгновение остановилась и посмотрела, на что наткнулась, — не нашла и пошла дальше. — Ничем мы вроде ее и не обидели, — сказала Тина после того, как не нашла, обо что она споткнулась, и жизнь их с Павлушей потекла дальше, уже без Вассы.

Она запомнила, что Павлуша сказал ей по этому поводу такое, что не показалось ей правильным, но она не возразила Павлуше, и жизнь их потекла дальше. А Павлуша сказал вот что:

— Слушай, ты ведь теперь замужняя женщина, у тебя ребенок, а она — ведь она старше тебя, ей уже двадцать два, — а она все в девках ходит. Она себе мужа ищет, — а какой ей может быть теперь интерес в тебе или во мне... У нее не только интереса к нам не может быть, ей — она девушка красивая — может быть, даже завидно глядеть на нас, ведь в ней, знаешь, сколько горячей крови, — как в кобылице! — сказал Павлуша, метнув на Тину лукавый мальчишеский взгляд, и засмеялся. Он любил иногда подразнить Тину эдак, издалека, чтобы вызвать в ней ревность, но она его ни к кому не ревновала: в ней еще не было этого чувства, даже если бы Павлуша дал к нему какой-нибудь повод. Но поводов действительно Павлуша не давал — по крайней мере, тогда.

В том, как Павлуша сказал это, было не осознанное им самодовольство: он имел в виду не то, что Вассе завидно глядеть на них, а то, что Васса завидует счастливой судьбе своей подруги.

Васса завидует ей, Тине! Нет, Тина не только не допускала, она знала, что это не могло быть правдой. Она помнила, что с самой той поры, как она призналась Вассе в своей любви к Павлуше, призналась в одну из тех счастливых минут откровения, когда они отдыхали вот так, обнявшись, на кровати и шептались, шептались друг с другом, — а то, что Павлуша в нее влюблен, об этом знало все общежитие, все клубы и парки города, вся молодежь, которая проводит свой досуг на улицах, — с той самой поры, как она призналась подруге в своей любви к Павлуше, Васса была счастлива ее счастьем, жила ее чувствами и интересами, она, Васса, в ту пору совсем отрешилась от себя. Тина прекрасно знала, что Павлуша, с которым Васса дружила, как со всеми ребятами, вовсе не нравился ей в том особенном смысле, в котором можно было бы говорить если не о ревности, то о зависти.

Правда, ей, Тине, странно было, как это такая девушка, как Васса, о красоте которой твердили все, за которой ухаживало столько ребят и столько взрослых мужчин, и один из них, заместитель председателя профессионального цехкома ремонтников, такой видный мужчина, всерьез страдал из-за нее и даже хотел оставить свою жену и двух детей из-за Вассы, хотя она и наотрез отказалась выйти за него замуж. Но его отговорили товарищи, сказав, что нехорошо оставлять семью ради другой женщины, даже если есть возможность жениться, а уж оставлять семью ради одной любви, — это просто глупо и нерасчетливо, — как это она сама ни в кого не влюбится, а так вот и живет вечная комсомолка, живет всегда в окружении девчат и ребят, живет беспечно, весело, живет, как трава растет, но так же век ведь не проживешь?

— Неужто так-таки никого и никого? Ну, вот просто, ну, никогошеньки, никого? — допытывалась Тина у подруги во время [*1 неразобр.*], таких смешных и волнительных перешептываний на койке общежития.

А Васса смеялась, откинувшись от подруги, сверкая своими белыми зубами, или вдруг, покачивая своими раз-

витыми не по летам бедрами, говорила страшным, манящим шепотом:

— Как, никогошеньки, никого? Я ж тебе говорила, отдайте мне того скромненького, что влетел тогда к нам в комнату за Павлушей, — как его, Коля, что ли? Отдайте мне моего Коленьку, ух, я его задушу — закачаю! — и начинала так мять и тискать и щекотать бедную Тину, что та заливалась хохотом и выпрыгивала из кровати, едва вырвавшись из сильных и жарких объятий подруги. А та все тянулась руками и говорила страшным шепотом:

— Ну, куда ж ты, куда ж ты ушел, мой Коленька, иди, я еще тебя погрею... — И вдруг, уткнувшись в подушку, она фыркала, — прямо[?] как кобылица, и вдруг говорила самым обыкновенным голосом: — И правда, куда ж ты удрала, только-только разговорились о самом интересном, а ты со своими глупостями, давай, давай еще помечтаем...

И Тина видела, что Вассе не нужен ни Коля, ни Павлуша и никто другой, — видно, еще не пришла пора ее подруги, хотя она была старшей.

Нет, Васса не могла завидовать ей, Тине, она так радовалась ее счастью, она так щедро дарила ей свою доброту, любовь, ласку в эти дни, когда судьба Тины уже решалась. Иногда она точно чувствовала, что в новой судьбе Тины таится угроза их дружбе. Иногда она вдруг прижимала ее к себе и долго-долго не отпускала. Иногда ей становилось порой жалко Тины, и она так ее ласкала и целовала, как будто в том, что предстояло Тине, таилась какая-то угроза дальнейшей ее судьбе.

Несколько раз до свадьбы, когда они оставались вдвоем в комнатке, все еще в той комнатке, где они жили, когда были ремесленницами, из которой Тина должна была переехать сразу, как они с Павлушей зарегистрируются, и к Вассе должна будет въехать какая-нибудь другая девушка или одинокая женщина и даже не по выбору Вассы, а по тому указанию свыше, равному почти предопределению судьбы, по которому будет предоставлена эта койка, независимо от желаний Вассы, — несколько раз Васса вдруг мрачнела и, остановившись среди комнаты с опущенными большими руками, отчего она сразу становилась какой-то неуклюжей и тяжеловесной, как

только прекращалось непрестанное искрометное движение в пространстве ее большого тела, и говорила:

— А это как же все будет, все, что мы начали?.. Ой, Тинка, мне как-то не верится, что ты будешь замужней женщиной, ведь ты уже не будешь такой свободной, какой мы были здесь с тобой, а как же работа?

Но Тине казалось, что в жизни ее совершается такое важное событие, — при чем же тут работа? И она говорила небрежно:

— При чем тут работа? Работа как была, так и останется работой.

Теперь она часто вспоминала, как Васса спрашивала ее об этом. А после этой их встречи во Дворце металлургов Тина все больше думала о том, что дружба их распалась из-за того, что они перестали работать вместе, а теперь она думала об этом с чувством еще более жестоким по отношению к себе: нет, дружба их распалась из-за того, что она, Тина, бросила свою профессию, труд на производстве ради семьи, а Васса не пошла на это и стала известным в стране человеком. Правда, она осталась одинокой и вряд ли счастливой в личной своей жизни, но разве это произошло оттого, что она продолжала работать в цеху и изменила свою квалификацию на более высшую, — нет, наверно, ее одиночество объясняется какими-нибудь другими причинами. Ведь большинство замужних женщин в стране не оставляет своей работы, какой бы она ни была, эта работа, и многие из них растут в работе и повышают свою квалификацию, — значит, дело здесь не в замужестве.

В тот день, когда Павлуша и Тина справляли свадьбу, у родителей Тины собралось много народу, молодого и старого, — были ребята, и девушки, и уже женатые молодые люди из тех, с кем Павлуша и Тина учились в ремесленном и с кем они работали теперь в мартеновском цехе и в ремкусте сортопрокатного цеха. Даже оба сменщика Павлуши по печи — Афзал Мапнуров и Коля Красовский — оба присутствовали на свадьбе своего друга. Иващенко, начальник второго мартеновского цеха, разрешил по случаю такого выдающегося дня, чтобы Афзала и Колю подменили их первые подручные, а иначе Коля

Заметка на полях: Вассе нужен был Павлуша. Тина этого не видела. Тина видела, что она нравится Коле Красовскому.

смог бы прийти уже после восьми вечера, а Афзал — уйти с таким расчетом, чтобы в восемь часов вечера принять смену от Коли. Конечно, это расстроило бы всю компанию. А самое главное, что в этот день Павлуше был дан выходной, и пиршество их началось в пять тридцать вечера и, конечно, часам к семи Афзал уже не был бы способен варить сталь. В этой их дружной тройке совсем почти не пил Коля Красовский, Павлуша мог сильно выпить при случае, но у него не было привычки к вину, и он всегда мог управлять собой. А Маннуров был пристрастен к вину и не знал чувства меры. Он принадлежал к более старшему поколению, — в то время ему было двадцать девять лет, — он вырос из самого человеческого низа, он начинал свой путь неграмотным, и еще мальчишкой попал на строительство в Москве в бригаду знаменитого Галлиулина, он рос среди мастеровых людей старого закала, где мало было непьющих людей, и пристрастился к вину с ранних лет.

Конечно, если бы Маннурову не разрешено было передать в этот день свою смену первому подручному, это вовсе не означало, что он не вышел бы на работу в точно назначенное время и не провел бы свою смену с соблюдением всех внешних приличий. Да, он был мастеровым старого закала, и в том отношении, что сколько бы он ни выпил, он никогда не мог нарушить дисциплину труда, и не было такого случая, чтобы он не вышел на работу в положенное время. Поэтому было бы несправедливостью сказать, что его принадлежность к старым мастеровым отличала его в дурную сторону от молодежи. Среди молодых рабочих в возрасте Павлуши и Коли, который был на год моложе Павлуши, не меньше было таких же пристрастных к вину, что и среди старших поколений, но сколько было среди них людей без чувства долга и дисциплины и не таких выносливых, а набалованных, их развозило после нескольких рюмок, и они теряли свое лицо рабочего человека настолько, что вся работа шла прахом.

В этом отношении Афзалу Маннурову спосу не было. Очень высокий, худой, жилистый, со смуглым лицом, с двумя резкими продольными и мужественными морщинами на впалых щеках, с черными жесткими волосами, которые он стриг под «бокс» так, что затылок и виски были голыми и только на темени торчала во все стороны

челка этих жестких черных волос, он никогда не считал нужным ни приглаживать, ни причесывать их, и они торчали как хотели. Глаза у него были черно-карие, узкие, хитрые, пронзительные, и, когда он смеялся, а смеялся он охотно, они приобретали выражение не столько веселое, сколько опасное, — а может быть, это опасное выражение возникало не столь в глазах его, сколько от сочетания этого смеющегося, хитрого, пронзительного выражения в узких черно-карих глазах с оскалом рта, и смеялся он тихо-тихо, почти неслышно, в то же время так широко раздвигая губы свои, что на впалых щеках его под скулами ложились резкие морщины и видны были почти все его сплошные крупные крепкие зубы, а с правой стороны сверху обнаруживался недостаток четырех зубов, выбитых в драке его двоюродным братом, каменщиком, когда Маннуров и этот брат его... ⟨*пропуск в рукописи*⟩.

Одним словом, получилось так, что в течение суток, на которые выпало это торжество, комсомольская печь — рекордсменка, тогда еще только набиравшая всесоюзную славу, была оставлена сталеварами на попечение своих подручных, и, конечно, Иващенко сам никогда не пошел бы на это, если бы сам директор комбината Сомов не поддержал Павлушу Кузнецова в его просьбе дать выходной всем троим в день его свадьбы.

В этот памятный вечер Васса нарочно подстроила так, чтобы попасть соседкой к Коле Красовскому. Тина видела, что она сделала это для того, чтобы самой посмеяться и посмешить ее, Тину. Она была в ударе, Васса, в этот вечер, который был для двух подруг и вечером прощания, — Тина должна была уже ночевать у Павлуши. Васса выпила неожиданно много вина, но она не опьянела нисколько, нет, только сильный румянец, немного тяжелый, лег на скулы ее матово-смуглого лица, большие карие глаза ее искрились, она подмечала все смешное и так и заливалась хохотом, в то же время она успевала ухаживать за всеми. А когда Тина, сидевшая рядом с Павлушей, останавливала на ней иногда свой притихший взгляд, Васса вдруг делала заметное только ей движе-

---

Заметка на полях: Маннуров никогда не брал с собой жену в гости, ее можно было видеть только у него дома, когда она выступала в роли хозяйки.

ние руками и глазами, будто она хочет сейчас схватить сидящего рядом с ней Колю Красовского своими полными сильными руками и стиснуть его в жарком и страстном объятии. Ноздри ее раздувались, казалось, она вот-вот сделает это; Тина, не выдержав, смеялась, потупив нежное лицо свое, чтобы Коля не заметил, что они смеются над ним, но Коля ничего и не замечал.

Тине было в тайне души не так смешно, как неловко, оттого что Васса, незаметно для Коли, делала его смешным в ее глазах. Коля Красовский был очень молчаливый, очень скромный и, должно быть, даже застенчивый юноша, но эта его спокойная молчаливость и открытый взгляд черных глаз из-под разлетных, черных как смоль бровей скрывали его застенчивость от людей неопытных. Из-за этой своей молчаливости и скромности Коля вообще редко выявлял свои чувства, его все любили, но мало кто мог рассказать о том, что происходит в душе этого паренька, да никто и не задумывался над этим, настолько Коля ни на что не претендовал. Но чутьем девушки, по признакам таким неуловимым, что она сама не могла бы их определить, Тина видела, что она нравится Коле, нравится с того самого июльского дня, когда Павлуша и Коля ворвались так внезапно в комнату подруг. Она, не давая в том себе отчета, знала что она даже больше. чем нравится Коле, и где-то чувствовала, какую большую нравственную душевную работу должен был он проделать над собой в эти военные и позднее — послевоенные годы, чтобы сохранить к лучшему другу своему Павлуше Кузнецову неизменным чувство ровного дружеского доверия и уважения, хотя нигде и никогда не переходящего в подчинение, но все же признающего за Павлушей как бы положение руководства (сохранить простые ровные и открытые отношения с ...), спрятать свои чувства от Тины и подавить в себе возможность какого бы то ни было проявления таких чувств, которые могли бы разрушить счастье его друга.

Но Тина видела и чувствовала это, и это вызывало в ней чувство признательности и даже какое-то материнское чувство по отношению к Коле Красовскому (всю линию Красовского здесь не развивать, так как все это должно быть дано в дальнейшем).

Она так плясала на этой свадебной вечеринке, что затмила всех, эта красавица Васса. В ней была такая

мощь темперамента — впору женщине, а не девушке; физически развитая и сильная, казалось, над всеми смеющаяся, непреклонная, она и манила и отпугивала ребят-юношей, точно каждый невольно спрашивал себя: «А справишься ли», — и боялся не справиться. В конце концов она все-таки обняла Колю Красовского, и он со своей спокойной молчаливостью подчинялся всем ее выдумкам, казалось, даже и не заботясь о том, что о нем подумают и как он выглядит перед товарищами, но все-таки она не в силах была развеселить его.

Так они то пели, то плясали, то снова садились за стол и пили за молодых и за стариков и заставляли целоваться Тину с Павлушей, а потом опять плясали и пели. Но гулянка уже шла на убыль, и вдруг, когда сели уже за последний, внезапно притихший стол, когда одни уже упились, другие устали, а молодые уже хотели бы остаться одни, Васса, по-прежнему сидевшая рядом с Колей, вдруг вся вытянулась, помрачнела, румянец сошел с ее щек, и все черты лица ее выступили в их резкой обозначенности, неподвижности, и только большие глаза ее некоторое время напряженно смотрели куда-то уже за пределы этой комнаты, над этим пиршественным столом, составленным из нескольких столов, мимо жениха и невесты, в окно, за которым стояла светлая июньская ночь, но она не казалась светлой, потому что Лаврентий Устинович, отец Христины, по случаю праздника ввернул под абажур над столом двухсотсвечовую лампочку. Так смотрела она, смотрела, Васса, этими своими большими, карими глазами и вдруг упала лицом на крупные руки свои, сложенные одна на другую на краю стола, и зарыдала.

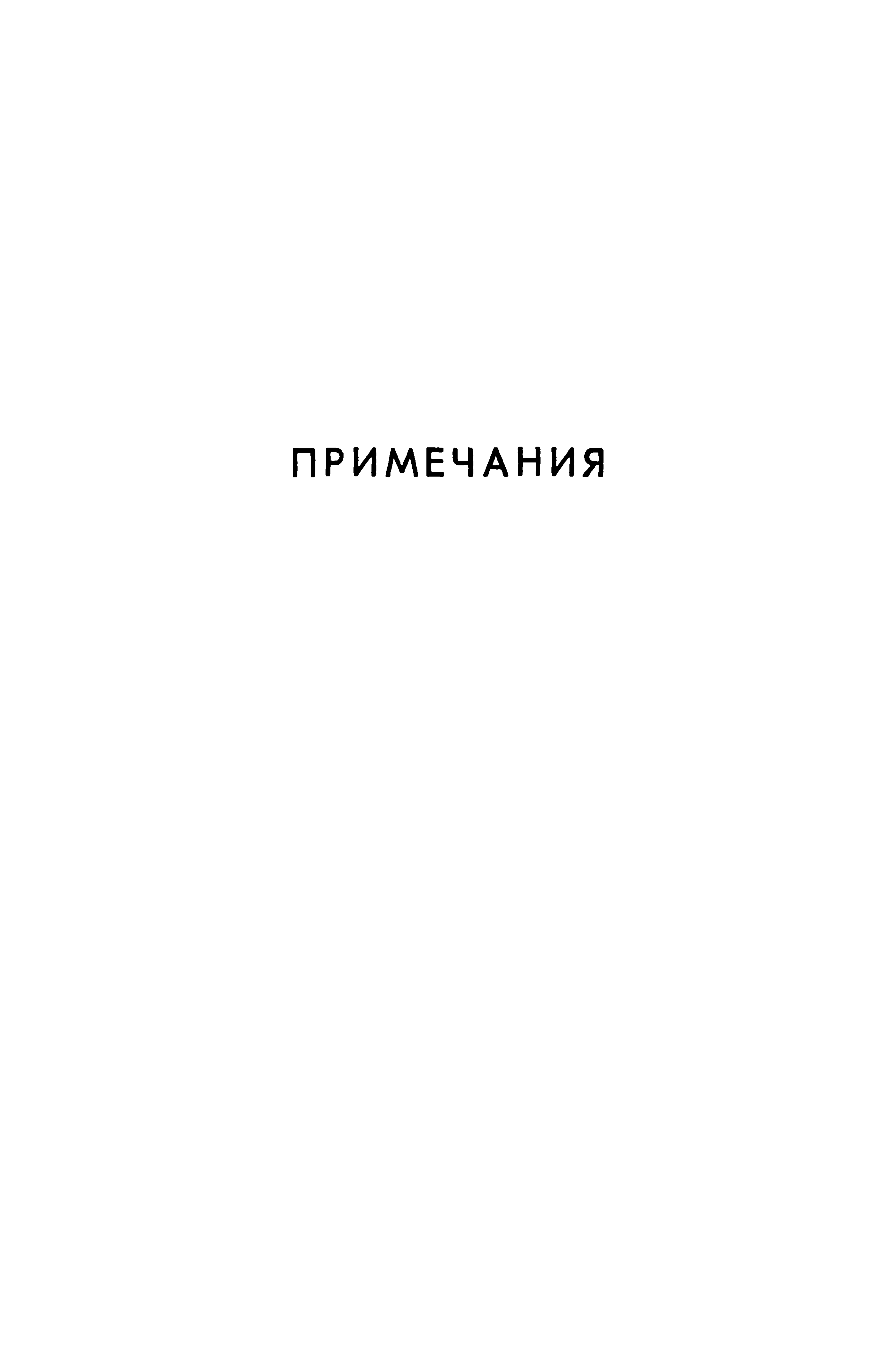
Тина подумала, что Васса зарыдала оттого, что они расстаются. И она тут же, спросив взглядом Павлушу, можно ли, ловко выгнула свое легкое тело из того тесного пространства, которое было ей отведено на скамье между Павлушей, Афзалом Маннуровым, столом и окном, и, легко проскользнув за спинами гостей вдоль стены, обежала стол и кинулась к подруге, обняла ее и стала ее утешать. Она была расстроена, но не заплакала, — она никогда не плакала с той поры, как вышла из детского возраста. Коля

Заметка на полях: Не забыть, как была одета невеста! Как была одета Васса.

Красовский, с лицом недоуменным и жалостливым, смотрел сбоку на подруг.

Люди постарше подумали втайне, что девушка немного приняла лишнего за этот вечер и вот сердце дает разрядку на ее необузданное веселье. Большинство молодых людей не придавали рыданиям Вассы никакого значения, потому что девчонки либо хохочут, либо ревут, и такое состояние является для них вполне естественным. Одна старая, старая старуха, попавшая на эту вечеринку только потому, что она... осуждала Вассу за неприличие со стороны незамужней девушки на свадьбе. Были такие, что и не заметили, что происходит с Вассой, потому что они уже ничего не способны были заметить, иные уже крепко спали.

И только пьяный, но способный еще выпить четырежды столько и не свалиться, Афзал Маннуров смотрел на плачущую Вассу своими узкими пронзительными черно-карими глазами и смеялся своим тихим опасным смехом, обнажив крупные белые сплошные зубы с темным, как оскал, провалом там, где у него было выбито четыре зуба.



ПРИМЕЧАНИЯ

ОЧЕРКИ

СЕРГЕЙ ЛАЗО

Очерк впервые опубликован в 1937 году в журнале «Красная новь», № 11.

«Большевики Дальнего Востока вписали в историю пролетарской революции одну из наиболее ярких, наиболее героических страниц, — отмечала 11 ноября 1936 года газета «Правда». — Имя Лазо огненными буквами вписано в историю социалистических побед».

Сергей Георгиевич Лазо (1894—1920) — один из организаторов революционной борьбы в Сибири и Приморье — командовал Забайкальским фронтом, а затем партизанскими отрядами Приморья. В одном из этих отрядов сражался Александр Фадеев.

Собираясь перерабатывать роман «Последний из удэге», писатель хотел ввести туда образ С. Лазо.

В том же, 1937 году, был написан и очерк «Как погиб Сергей Лазо», в котором А. Фадеев рассказал о трагической гибели Лазо и его товарищей, Алексея Николаевича Луцкого (1883—1920) и Всеволода Михайловича Сибирцева (1893—1920), предательски захваченных в плен во Владивостоке 4 апреля 1920 года:

«Лишь много лет спустя, собирая каплю по капле показания некоторых свидетелей и сопоставляя документы, удалось выяснить всю правду о трагической гибели Лазо и его товарищей.

А было это так.

Глухой темной ночью к станции Уссури[1] подошел военный состав с японцами. Его встретила на перроне группа белогвардейцев. Из одной теплушки японские солдаты с трудом выволокли три больших мешка и передали их в руки белобандитам из остатков армии Колчака. В мешках что-то шевелилось. Белогвар-

[1] Неточность — нужно: к станции Муравьев-Амурская (ныне станция Лазо). (*Прим. Б. Л. Беляева.*)

дейцы потащили мешки к железнодорожному тупику, где стоял паровоз под всеми парами. Они грубо приказали паровозной бригаде удалиться. Машинист, почуяв недоброе, притаился за будкой стрелочника, откуда ему видна была внутренность паровоза.

Белые втащили мешки в паровозную будку. Начальник группы шашкой распорол один мешок, который держали крепко остальные белогвардейцы. И, когда мешок распался, при свете огня из паровозной топки машинист узнал Сергея Лазо.

Сергей Лазо со связанными ногами и кистями рук вступил в последнюю борьбу с подлыми убийцами. Схватив его за ноги и поперек туловища, они стали толкать его в паровозную топку, но Лазо связанными руками упирался в края топки. Белые ничего не могли поделать с этим богатырем.

Тогда один из них несколько раз ударил Лазо наганом по голове. Лазо лишился сознания, и его сунули в топку.

Борьба с Лазо утомила палачей. Других товарищей, в которых мы можем предполагать Сибирцева и Луцкого, они пристрелили в мешках и тоже бросили в топку.

Машинист в ужасе, шатаясь, побежал от страшного места казни...» (А. Фадеев, Как погиб Сергей Лазо, Детиздат, М. 1937, стр. 27—30).

ОСОБЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

Очерк опубликован впервые в газете «Лесная промышленность» 24 февраля 1938 года. Посвящен боевой жизни Свиягинского партизанского отряда, в рядах которого сражались А. Фадеев и И. Сибирцев в 1919—1920 годах.

А. Фадеев, вступив в сентябре 1918 года в ряды Коммунистической партии, стал участником большевистского антиколчаковского подполья во Владивостоке, а с весны 1919 года становится красным партизаном на Сучане, участвует в боях с белогвардейцами и японскими интервентами. С отрядом, которым командовал Петров-Тетерин, затем в отряде Мелехина Фадеев — Булыга прошел тот путь, который впоследствии был описан им в «Разгроме». В сентябре 1919 года с остатками этого отряда, понесшего тяжелые потери, Фадеев пришел в свое родное село — таежную Чугуевку. Здесь он и вступил в Свиягинский партизанский отряд, получивший позднее название «Особого коммунистического».

Отряд совершал смелые операции, действуя вдоль линии Уссурийской железной дороги на участке: Спасск—Свиягино—Шмаковка. В январе 1920 года он участвовал во взятии Спасска-Приморского.

Особый Коммунистический отряд принял на себя всю тяжесть удара японцев, вероломно напавших на Спасск в апреле 1920 года, а позднее участвовал в боях с белогвардейцами и интервентами под Хабаровском и в Забайкалье.

«Исключительная организованность в наших спасских частях, огромная степень сопротивляемости, сознательность в значительной степени объясняются той партийной и политико-просветительной работой, организаторами которой были товарищи Певзнер, Игорь Сибирцев, Александр Фадеев, Баранов, Коваль (Петр. — *Б. Б.*), Пищелка и др.»,— пишет М. И. Губельман (Сборник «Таежные походы», под редакцией М. Горького, П. Постышева, И. Минца, Государственное издательство «История гражданской войны», М. 1936, стр. 228).

Люди, о которых Фадеев рассказывает в этом очерке, послужили прототипами некоторых героев «Разгрома» и отчасти рассказа — «Рождение Амгуньского полка».

Так, одним из прототипов Левинсона был командир Особого Коммунистического отряда — рабочий-слесарь Иосиф Максимович *Певзнер* (1893—1942). Певзнер сыграл большую роль в партизанском движении в Приморье, в создании Народно-революционной армии Дальневосточной республики. В 1921 году военно-партийная конференция Дальнего Востока избрала его вместе с А. Фадеевым делегатом на X съезд РКП(б). В дальнейшем Певзнер был на военной и хозяйственной работе.

Игорь Михайлович *Сибирцев* (1898—1921) — двоюродный брат Александра Фадеева, участник большевистского подполья во Владивостоке и партизанского движения в Приморье, прошел путь от рядового бойца до комиссара одной из бригад Народно-революционной армии. Погиб в декабре 1921 года в бою с белогвардейцами под Хабаровском.

Андрей Петрович *Баранов* (р. 1903 г.) — один из организаторов «Особого Коммунистического отряда», помощник И. М. Певзнера. В образе Бакланова из «Разгрома» — «коренастого парнишки с недремлющим кольтом у пояса» — А. Фадеев воспроизвел некоторые черты своего боевого товарища А. П. Баранова.

«Наша юность с тобой так связана вместе... — писал А. Фадеев Семену Прокопьевичу *Пищелке* 20 августа 1947 года. — Я как увидел твою фотографию, твоих уже взрослых детей, сразу подумал о том, какие мы стали старые, но «штурмовые ночи Спасска» до сих пор стоят в моей памяти... Очень запомнился бой в Спасске и как ты ногами топтал свою фуражку под ураганным огнем японцев и не хотел уходить.

До сих пор сохраняю в своей душе глубокую благодарность

к тебе и ко всем нашим ребятам коммунистического отряда за то, что вы тогда вынесли меня через болота по грудь в воде, раненого, из японского окружения».

«...Хорошо я помню, как ты командовал бронепоездом (описанном в «Рождении Амгуньского полка», в этом рассказе С. Пищелка выведен под фамилией Шептало.— *Б. Б.*), — писал А. Фадеев С. Пищелке 16 апреля 1950 года. — Ведь я лежал тогда раненый в штабном вагоне, там же, где жил и Игорь <Сибирцев>, и вы все, старые мои друзья, приходили меня навещать. Под Красной Речкой на долю бронепоезда выпала нелегкая задача прикрыть отступление, а вернее, бегство наших частей, когда японцы шуганули нас из-под Хабаровска. А потом уже и штаб, и основная «база» бронепоезда была на Корфовской, и вы буквально каждый день выезжали проведаться с японцами на Красную Речку».

«В Москве живет — и я с ним часто встречаюсь — фельдшер *Марченко-Ветров,* который был с вами на бронепоезде», — добавляет Фадеев. В «Разгроме» он выведен как фельдшер Харченко.

Тимофей Акимович Ветров-Марченко вспоминает о ранении А. Фадеева в бою под Спасском, о первой помощи, которая ему была оказана: «После отступления наших боевых подразделений из военного городка в близлежащие селения и эвакуации раненых я разыскал Сашу в одной из деревень в избе, где он был временно помещен.

Я решил произвести более тщательное исследование и обработку его раны, так как на поле боя ему была лишь оказана первая помощь... Ему было очень больно, но он не издал ни единого стона и держался молодцом.

...После неудачной попытки нашего наступления на Хабаровск и боя с японцами под Красной Речкой наши части отступили в казачьи станицы, расположенные на берегу реки Уссури. Командование приняло решение перебросить свои силы, вооружение и снаряжение на левый берег Амура на пароходе «Пролетарий» по протоке, соединяющей реку Уссури с Амуром, недалеко от Хабаровска. Это была опасная переправа — в непосредственной близости и почти на виду у противника (В Хабаровске находились японские войска).

Саша был еще болен, он не мог оставаться долгое время бездеятельным. Помогая Игорю Сибирцеву и Туманову (помощнику И. М. Певзнера. — *Б. Б.*), он принимает на себя большую ответственность за сохранение жизни людей и ценного военного имущества...

В один из рейсов парохода «Пролетарий» был переброшен на левый берег Амура и личный состав 1-го Дальневосточного

Коммунистического отряда, в составе которого находился и пишущий эти строки» (Т. Ветров-Марченко, Саша Булыга — боец первой «Молодой гвардии». — Сборник: А. Фадеев. Письма дальневосточникам. А. Фадеев в воспоминаниях, Владивосток, 1960, стр. 430, 433).

«Иногда проездом на курорт бывает у меня партизан из отряда Певзнера — *Свергун*. Он работает в Ворошилово (Уссурийске. — *Б. Б.*), на железной дороге в депо, а раньше был машинистом и, должно быть, неплохим, т. к. был награжден орденом Ленина. Сам он родом из Зеньковки, и через его семью мы добывали в Зеньковке продовольствие, когда жили в тайге, — писал А. Фадеев 30 октября 1955 года другому соратнику по партизанской борьбе в Приморье В. С. Темнову. — Совсем недавно был у меня в гостях Ефим Кононов, этого Вы, наверно, помните по Спасску. Он был очень ловким и удалым связным в период партизанчества, а в Спасске работал по военному снабжению».

Ефим Петрович *Кононов* был связным между партизанским отрядом Певзнера и большевистским подпольем во Владивостоке, привозил бойцам в отряд письма и посылки от родных из города, а однажды даже привез в Кронштадтку Антонину Владимировну Фадееву — мать А. Фадеева. Кононов послужил прототипом проворного рыжеватого партизана-разведчика Канунникова в «Разгроме».

Развернутое изображение в романе «Разгром» получил эпизод, описанный в очерке «Особый Коммунистический» — нападение партизан на белогвардейский поезд.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ФРУНЗЕ

Очерк впервые опубликован в 1938 году, в журнале «Октябрь», № 2.

В связи с работой над киносценарием «Перекоп» А. Фадеев тщательно изучал в эти годы биографии выдающихся полководцев гражданской войны. Особое его внимание привлек М. В. Фрунзе — бесстрашный революционер, выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, скромный человек и талантливый военачальник, верный ученик и соратник В. И. Ленина, герой гражданской войны.

«Фрунзе принадлежал к той славной, стальной гвардии большевиков,— говорилось в обращении ЦК РКП (б) по случаю его смерти, — которая в глубоком подполье, под бичами и скорпионами царизма подрывала устои проклятого самодержавия; которая среди непроглядного мрака сумела организовать массы,

сплотить ряды несокрушимой пролетарской партии, вести в бой революционные миллионы трудящихся; которая сумела руководить победой в битвах, еще не виданных в истории человечества; которая вела и ведет партию, а через нее и весь народ, к великому строительству социализма» («Правда», 1 ноября 1925 г.).

ПО ЧЕХОСЛОВАКИИ 1938 ГОДА

Очерк впервые опубликован с некоторыми сокращениями в 1938 году в газете «Правда», 9, 10, 11 августа (№№ 218—220); в том же году напечатан полностью в журнале «Красная новь», № 9, и выпущен отдельной брошюрой в Госполитиздате.

А. Фадеев впервые побывал в Чехословакии в октябре 1935 года в составе делегации советских писателей и журналистов, в которую входили также М. Кольцов (председатель делегации), А. Толстой, А. Караваева, И. Микитенко, Я. Купала и другие.

«На каждом шагу мы наталкивались на самые трогательные проявления симпатии к СССР со стороны широчайших масс,— рассказывал по возвращении из поездки М. Кольцов. — Во всех городах и селах Чехословакии официальные встречи и приветствия со стороны властей сопровождались также массовыми манифестациями рабочих и крестьян, приходивших с цветами, знаменами и подарками. Идея дружбы с СССР проникла глубоко и крепко в самую гущу чехословацкого народа... Все без исключения члены нашей делегации выступали по нескольку раз с речами, приветствиями и докладами» (Правда», 22 октября 1935 г.).

В 1938 году Фадеев совершил вторую поездку в Чехословакию.

«Последним (перед оккупацией гитлеровцами Чехословакии. — *Б. Б.*) посетил нас Александр Фадеев, — писал проф. Зденек Неедлы, большой друг Советской страны, впоследствии президент Чехословацкой Академии наук. — Он приехал в Чехословакию, когда уже близилась международная буря, — за два месяца до Мюнхена, в июле 1938 года. Но именно благодаря этому визит Фадеева приобрел особенное значение. Фадеев видел Чехословакию в бурный период. Видел решимость чешского народа защищать свою свободу. Видел гнусную интригу Гейнлейна против Чехословакии и противогейнлейновскую манифестацию чешских и немецких рабочих в самом центре Судетской области — в Либерце. Он видел Чехию, какою она тогда была в действительности, и имел возможность убедиться, насколько лживо то, что кричала о ней гитлеровская пропаганда. По возвращении Фадеев рассказал обо всем этом советскому читателю в брошюре «По Чехословакии»... Эта брошюра была выступлением искреннего и горя-

чего друга Чехословакии. Таким Фадеев и остался. Он не раз на чешском языке обращался по радио к чехословацким слушателям. И чехи смотрят на Фадеева как на близкого друга» (Зденек Неедлы, Из истории связей советской и чехословацкой литератур. — Журн. «Интернациональная литература», 1943, № 1, стр. 125).

ИЗВЕРГИ-РАЗРУШИТЕЛИ И ЛЮДИ-СОЗИДАТЕЛИ

С первых дней Великой Отечественной войны А. Фадеев — военный корреспондент «Правды» и Совинформбюро. Его статьи и очерки с Западного, Ленинградского и Центрального фронтов печатались в газетах и журналах Москвы и Ленинграда.

В августе 1941 года, вместе с М. А. Шолоховым и Е. П. Петровым, Фадеев выезжал корреспондентом «Правды» на Западный фронт, под Духовщину, в 19-ю армию, которой командовал генерал армии И. С. Конев.

«Наша встреча в эти очень тяжелые дни была, как я считаю, интересной, — рассказывает Маршал Советского Союза И. С. Конев. — Для писателей она явилась полезной тем, что они увидели войну, а для меня тем, что я почувствовал: страна правильно понимает, как нелегко нам приходится, и вот лучшие ее писатели приходят к нам, солдатам, идут на передовую, в боевые порядки. Не скрою, в те дни это было для нас большой моральной поддержкой. Кроме всего прочего, это лишний раз подтверждало, что передовая советская интеллигенция готова до конца разделить участь своего народа и что она верит в окончательную победу» (И. С. Конев, Сорок пятый, Воениздат, М. 1966, стр. 185—186).

В результате этой поездки Фадеевым были написаны очерки «Штурм немецкой обороны» и «Артиллерийская подготовка», опубликованные в газете «Правда» 30 и 31 августа 1941 года. В «Правде» были напечатаны также его очерки «Герои партизанской войны», «Изверги-разрушители и люди-созидатели», «Гвардейцы» и др.

В январе 1942 года писатель снова выезжает на фронт, под Ржев. О том, как активно и самоотверженно собирал Фадеев материал для своих корреспонденций, вспоминает Борис Полевой — тогда военный корреспондент «Правды» на Калининском фронте: «...Он заявил, что хочет видеть подлинную войну, даже если это не даст в корреспонденцию ни строчки. Он считает себя не вправе писать с фронта, не увидев все своими глазами. Разубедить его невозможно, да и стыдно как-то разубеждать: а вдруг подумает, что ты трусишь...

Фадееву не сидится. Он все бродит от артиллеристов к саперам, от саперов к пехоте. Мы тоже стараемся не отставать, хотя уже, по чести говоря, еле таскаем ноги... В полку по сотне, а то и по нескольку десятков активных штыков. Но зато, что это за люди! Люди, знающие горечь отступлений и ликование победы, люди, участвовавшие во множестве боев...» (Б. Полевой, Дорогой товарищ. — В сборнике «Фадеев. Воспоминания современников», «Советский писатель», М. 1965, 309—310).

«Нет большей чести для советского литератора и нет более высокой задачи у советского искусства, чем повседневное и неустанное служение оружием художественного слова своему народу в грозные часы битвы,— писал Фадеев в 1942 году.— ... До конца разделить с народом его лишения и победы, его труды, походы, битвы, воспитывать в нем чувства патриотизма, бесстрашия, презрения к смерти, поддерживать в его сердце священный огонь ненависти к врагу, воспевать героев народа, разить и разоблачать врагов его, «положить в жертву мести и жизнь, и к родине любовь», как писал поэт, — это ли не самое великое счастье, какое выпало на долю советского писателя?» («Отечественная война и советская литература»).

Несколько месяцев писатель провел в городе Ленина и на Ленинградском фронте. «Я был в Ленинграде дважды, — писал он К. П. Серову 14 февраля 1944 года, — в 42 году, с апреля по июль включительно, и в 43 году, с конца января по середину марта». О жизни города-героя писатель рассказал в очерках, вошедших в книгу «Ленинград в дни блокады».

В декабре 1942 года Фадеев выехал на Центральный фронт, а затем до начала января 1943 года был в частях Советской Армии, участвовавших в освобождении Великих Лук.

«... Мы с Борисом Полевым попали в район жарких боев...— писал Фадеев с фронта жене А. И. Степановой. — В течение семи-восьми дней шла борьба за дома и улицы, сопровождавшаяся сильными боями в воздухе и артиллерийским огнем... Потом, когда была занята половина города, мы перебрались в эту часть и здесь повидали столько величественного, трагического и прекрасного, что об этом вкратце не расскажешь». 10 января 1943 года на страницах «Правды» публикуется очерк Фадеева «Великие Луки».

Фронтовые поездки Фадеева, работа над статьями и очерками военных лет сыграли большую роль при написании «Молодой гвардии», помогли осветить «все самое истинно прекрасное, что было воспитано в советском человеке двадцатью пятью годами Советского строя» (А. Фадеев).

В 1943—1944 годах, уже работая над романом «Молодая гвардия», Фадеев дважды выезжал на фронт: в ноябре 1943 года в район Торопца и Невеля, в мае 1944 года — на Третий Украинский фронт, под Бендеры. Очерк «Изверги-разрушители и люди-созидатели» впервые напечатан в газете «Правда» 14 января 1942 года.

ЛЁТНЫЙ ДЕНЬ

Очерк «Лётный день» был написан Фадеевым в декабре 1942 года между Ржевом и Великими Луками, после посещения одного из авиаполков авиационной дивизии, которой командовал Герой Советского союза Г. Ф. Байдуков. Опубликован в газете «Правда» 17, 18 декабря (№№ 351, 352).

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Очерк впервые опубликован в газете «Правда» 10 января 1943 года.

БРАТСТВО, СКРЕПЛЕННОЕ КРОВЬЮ

Очерк впервые опубликован 8 апреля 1943 года в газете «Правда» (№ 92).

Он был напечатан спустя месяц после боя под селом Соколово Харьковской области, в которой получил боевое крещение 1-й Чехословацкий отдельный батальон, под командованием Людвика Свободы.

Статья А. Фадеева произвела большое впечатление на чехословацкую общественность, на воинов 1-го отдельного Чехословацкого батальона.

«Мы получили «Правду» из Москвы с незабываемой статьей А. Фадеева «Братство, скрепленное кровью», — вспоминает Л. Свобода, — кровью, совместно пролитой в борьбе против общего врага за действительную и нерушимую свободу, за братскую, вечную дружбу с Советским Союзом, с советскими людьми, которые всегда были рядом с нами и которые одни не покинули нас в 1938 году...» (Людвиг Свобода, От Бузулука до Праги, Воениздат, М. 1969, стр. 157).

В 1943 году А. Фадеев, выступая по московскому радио, обращался на русском и чешском языках к своим друзьям в порабощенной немецкими фашистами Чехословакии, призывая к усилению сопротивления фашистским захватчикам.

ВОЕН

Очерк впервые опубликован в 1943 году в журнале «Красноармеец», № 15.

БЕССМЕРТИЕ

Очерк о героях краснодонской организации «Молодая гвардия» был опубликован 15 сентября 1943 года в газете «Правда» одновременно с Указом Президиума Верховного Совета СССР о посмертном присвоении звания Героя Советского Союза членам штаба «Молодой гвардии»: Олегу Кошевому, Ивану Земнухову, Сергею Тюленину, Ульяне Громовой, Любови Шевцовой — и награждении молодогвардейцев орденами Советского Союза.

Весной 1943 года ЦК ВЛКСМ обратился к А. Фадееву с предложением написать книгу о героях Краснодона.

«Тому, что я написал этот роман, — говорил позднее Фадеев, — я прежде всего обязан ЦК ВЛКСМ. Задолго до того, как были опубликованы материалы в печати, ЦК комсомола представил в мое распоряжение материалы комиссии, которая работала в Краснодоне после его освобождения. Материалы произвели на меня огромное впечатление...»

Очерк «Бессмертие» был первым откликом писателя на боевые подвиги молодогвардейцев. А. Фадеев дал в нем краткие, но выразительные характеристики пяти отважных молодогвардейцев, получившие позднее художественное развитие в романе. Но, не располагая в то время всеми сведениями о деятельности коммунистов в Краснодонском подполье, писатель пришел к выводу, что комсомольцы действовали самостоятельно, без руководства подпольного райкома партии. После войны было установлено, что молодежная организация Краснодона была одним из звеньев подпольного движения в Донбассе, руководимого коммунистами (подробнее об этом см. примечания к т. III наст. изд.).

ЛЕНИНГРАД В ДНИ БЛОКАДЫ

Большинство очерков А. Фадеева о городе-герое, вошедших в книгу «Ленинград в дни блокады» (изд-во «Советский писатель», 1944), публиковались первоначально в газетах и журналах в 1942 — 1943 годах.

«Город великих зодчих» — фрагменты этого очерка вошли в очерк «Что я видел в Ленинграде», опубликованный в «Ленинградской правде» 19 июня 1942 года. Полностью очерк напечатан в журнале «Славяне», 1942, № 5—6, под названием «Город великих зодчих».

«Хорош блиндаж, да жаль, что седьмой этаж» — в сокращенном виде вошел в очерк «Шестая симфония», опубликованный в газете «Литература и искусство» 1 мая 1943 года.

«Моя сестра» — в журнале «Красноармеец», 1943, № 12, под названием «Встреча».

«Дети» — в сокращенном виде вошел в очерк «Дети героического города», опубликованный в «Комсомольской правде» 12 мая 1943 года. Полностью напечатан в журнале «Ленинград», 1943, № 15—16, под названием «Дети».

«Школа» — в сокращенном виде вошел в очерк «Дети героического города», опубликованный в «Комсомольской правде» 12 мая 1943 года.

«Дорога жизни» — опубликован в журнале «Славяне», 1942, № 5—6, как продолжение очерка «Город великих зодчих».

«Носящий имя Кирова» — в журнале «Огонек», 1942, № 48, под названием «Имени Кирова» и, в сокращенном виде, в газете «Литература и искусство» 5 декабря 1942 года, под названием «Носящий имя Кирова».

«Октябрина», «Подполковник Ф. никуда не уйдет», «Катерники», «Подводная лодка Маяковского», «Балтийский почерк» — опубликованы в журнале «Краснофлотец», 1942, № 19—20, в цикле очерков «На Балтике». Во втором очерке была указана фамилия командира — Федоров. Третий очерк назывался «В гостях у катерников».

«Катя Брауде» — опубликован в 1943 году в журналах «Ленинград», № 5, и «Огонек», № 17, в последнем — под названием «Командир полка».

«Защитники Ханко» — напечатан в «Ленинградской правде» 28 июня 1942 года под названием «Сосновые леса». В книгу очерк был включен автором в новой редакции.

В завершающий книгу очерк «Ленинград бессмертен» вошел фрагмент «Шестой симфонии», опубликованный в газете «Литература и искусство» 1 мая 1943 года.

В 1956 году из очерков «Ленинград в дни блокады» автор сделал для сборника «За тридцать лет» монтаж «Писатели в дни ленинградской блокады». Специально для этого монтажа Фадеевым было написано к очерку «Подводная лодка Маяковского» следующее начало:

«Много ленинградских писателей работало непосредственно в действующих частях армии и флота и на кораблях. Большие группы писателей работали при Политуправлении фронта и Политуправлении флота и выезжали на различные участки фронта и на корабли по заданиям. Большинство самоотверженно работало

в городе, обслуживая по мере надобности фронт, госпитали, заводы, школы, население. Немало было создано за эти месяцы выдающихся произведений. Среди них я должен назвать поэму «Пулковский меридиан» Веры Инбер.

Мне часто приходилось выезжать на участки фронта, и на корабли, и в школы, и в клубы. Спутниками моими — в том или ином сочетании — большей частью были Александр Прокофьев, Всеволод Вишневский, Николай Тихонов, Вера Инбер, Ольга Берггольц, Александр Крон, Виссарион Саянов, Анатолий Тарасенков, Александр Розен, Илья Груздев, Николай Браун, Илья Авраменко.

С Прокофьевым мы выезжали в осажденное Колпино, с Тихоновым и Прокофьевым — к бывшим защитникам Ханко, которые занимали теперь один из участков фронта на Карельском перешейке.

Кто бывал когда-нибудь в орудийной башне современного линкора, тот знает, что орудие на корабле — это целая фабрика. Моряки-балтийцы поддерживали Ленинград не только живой силой, но и своей мощной дальнобойной артиллерией, действующей на различных участках фронта как крепостная. С Николаем Тихоновым и Всеволодом Вишневским мы провели памятные в нашей жизни часы на одной из таких фабрик, покоящихся на своем бетонном основании уже девять месяцев».

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

«Черная металлургия» — последнее произведение А. Фадеева; оно осталось незавершенным, смерть писателя оборвала работу над романом.

При жизни автора были опубликованы лишь восемь первых глав романа (газ. «Челябинский рабочий» от 6, 7, 10 и 17 октября 1954 г.; журнал «Огонек», 1954 г., № 42—45; «Литературная газета» от 11 ноября 1954 г.). А. Фадеев не считал законченной работу над этими главами. В письме к В. Захарову в ноябре 1954 года он объясняет, что напечатал их «по той простой причине, что надо было мне показать читателю хотя бы отдельные главы из новой своей работы, поскольку до съезда писателей я не успею опубликовать первой книги нового романа». В других письмах отмечалось, что напечатаны отдельные бытовые сценки и что они грешат «излишней детализацией» (письмо Б. Шарову в ноябре 1954 г.).

Работа над «Черной металлургией» началась еще в 1951 году. Выступая в июне перед городским активом города Челябинска,

А. Фадеев рассказал: «Сейчас я работаю над большим романом о металлургах и строителях, над романом, в котором хочу показать наш прогресс, рост наших кадров, — людей очень молодого поколения, старших советских людей, со всеми типичными организациями — профсоюзными, комсомольскими, чтобы все дышало воздухом нашего советского времени. Хочу показать роль партии как организующей силы, показать, как мы идем к коммунизму». В одном из июльских писем писатель сообщает, что он «...целиком ушел в работу над новым романом». В декабре 1951 года на вечере, посвященном его пятидесятилетию, А. Фадеев говорил о том, что своим романом он хочет «спеть песню» о героическом советском рабочем классе, о нашей славной коммунистической партии.

Об интенсивной работе над романом свидетельствует ряд писем, датированных 1952 годом (Н. Охлопкову от 29 февраля, Т. Головниной от 28 мая и др.). Из писем известно о предполагаемом объеме книги («листов на 50—60»), о первоначально намеченных сроках окончания первой части (в первой половине 1953 г.).

В 1952—1953 годах Фадеев занят сбором материалов для своей книги, он по многу недель проводит на металлургических заводах Магнитогорска, Челябинска, Москвы, Днепропетровска, Запорожья, часто встречается с рабочими, инженерами, учеными, знакомится со специальной литературой. О проделанной работе и об увлеченности автора романом выразительно сказано в его письме А. Суркову в апреле—мае 1953 года: «За это время я изучил жизнь, быт, производство 9-ти крупнейших металлургических заводов Востока и Юга страны, а также Москвы, проштудировал, по совету академика Бардина, 2 учебника металлургии как следует, прочел немыслимое количество брошюр новатора производства, изучил биографии таких крупнейших русских металлургов, как Аносов, Чернов, Павлов, Байков, Бардин, изучил биографии Дзержинского, Куйбышева, Орджоникидзе, которые будут показаны в моем романе. Я вложил в роман все лучшее из своего собственного жизненного опыта, все, что я передумал и перечувствовал за 50 лет своей жизни, в этом романе сейчас вся моя душа, все мое сердце».

Писатель ставил перед собой значительную цель: нарисовать типические характеры современников, создать образы большого художественного обобщения. Одну из своих записных книжек А. Фадеев заканчивает 29 июля 1952 года таким обращением к самому себе: «Наказ тебе, Саша: очень много ты всего насмотрелся и очень много людей, о которых хочется тебе рассказать. Сгущай, соединяй вместе, выводи типы, а не лица!»

В июле 1953 года Фадеев переписывает начисто восемь первых глав «Черной металлургии». В последующие месяцы обдумываются планы перестройки первоначального замысла романа. В 1954 году называется новый срок окончания первой книги — конец 1954 года. Затем он переносится на 1955 год. Письма 1955 — 1956 годов говорят о творческих затруднениях, испытываемых автором. А. Фадеев пишет, что происшедшие в жизни глубокие перемены поставили перед ним новые проблемы, что роман предстоит перестраивать.

Во многом эти трудности носили личный характер: прогрессирующая болезнь все чаще отрывала писателя от письменного стола, общественной деятельности, тяжело отражалась на его моральном состоянии («работа идет медленнее, чем хотелось бы... работоспособность уже не та»,— замечает он в письме к А. Колесниковой). Нелегким оказался и сам замысел многопланового эпического произведения с множеством сюжетных линий и действующих лиц. Наконец автору нужно было пересмотреть некоторые мотивы книги, определявшие вначале ход повествования. В письме М. Колосову от 29 апреля 1956 года говорится: «...За это время в жизни совершилось так много принципиально нового, что роман мой вновь должен претерпеть крупные изменения».

История первоначального замысла романа следующим образом изложена Фадеевым в письме к В. Важдаеву: «То, что было задумано и сочинено и уже начало писаться в 1951—1952 годах, оказалось во многих своих гранях устарелым и даже неверным в наши дни. В борьбе за некоторые технические открытия, называвшиеся тогда «революцией в металлургии», оказались правыми не «новаторы» (ибо это были раздутые лженоваторы), а «рутинеры» (ибо они оказались просто честными и знающими людьми). Это не сняло основной темы борьбы за технический прогресс, — наоборот, она стала еще более животрепещущей, — но надо менять объект. Те, кого объявляли тогда врагами (именно в металлургической области и на том *послевоенном* этапе развития), оказались просто оклеветанными.

Теперь для части положительных героев моих «нет работы», и приходится «переключать» их на борьбу... с бюрократической косностью. По-новому стоит вопрос о технической учебе у Запада, чтобы «догнать и перегнать»: по-новому выглядит роль иностранных специалистов в огляде историческом на первую пятилетку (не все же и тогда были проходимцами!). Одним словом, одни персонажи у меня «погорели», возникли новые — и приходится перерабатывать всю первую книгу». А. Фадеев, как он сам рассказывал,

упорно искал пути перестройки некоторых конфликов, переосмысливания характеров отдельных персонажей.

Главные темы и предполагаемое содержание «Черной металлургии» возможно восстановить лишь на основе имеющихся архивных материалов. Но бесспорна широта и общественно-литературная значимость авторского замысла.

Совершенно ошибочно мнение некоторых критиков, будто бы в романе решались чуть ли не технологические проблемы. «Это вовсе не только роман о металлургии, — отмечал А. Фадеев в уже цитировавшемся письме к А. Суркову, — она в центре этого романа, но это роман о советском обществе наших дней». Писатель хотел показать, «как социалистическое производство перевоспитывает человека, как человек растет в труде». В «Черной металлургии» должны были тесно переплестись области материальной и духовной жизни, конфликты производственные и личные, показан и труд советских людей, и их быт, семейные отношения. Предполагалось охватить в романе широкий материал современности: жизнь рабочих-металлургов, их борьбу за технический прогресс, деятельность ученых, партийную и профсоюзную работу, воспитание молодежи и т. д. Автор ставил перед собой задачу исключительной важности: показать «процесс становления социалистического сознания». В такой исторической проекции осмысливается главная тема романа («индустриализация, — сказано в планах книги, — как основа перехода к коммунизму, — политический смысл романа в этом»). Символический характер носит и название произведения; оно так объяснено в записных книжках автора:

«Черная металлургия» — роман о великой переплавке, переделке, перевоспитании самого человека, превращении его из человека, каким он вышел из эксплуататорского общества, — и даже в современных молодых поколениях еще наследует черты этого общества, — превращение его в человека коммунистического общества».

В одном из писем Фадеев рассказывал: «Роман мой вполне современный: он охватывает период от 1951 года по 1954 год, но в связи с судьбами отдельных героев я хочу показать и прошлое и заглянуть в будущее».

Действие романа должно было развиваться одновременно в самых различных местах: на Урале — в металлургическом комбинате Большегорска (в первых записях этот город назывался Сталиногорском), в Москве, Ленинграде, на одном из южных заводов страны, в Пензе, в колхозе, куда приезжают на полевые работы горожане. Широк и круг действующих лиц романа; о нем так

сказано в одном из писем А. Фадеева: «...дело не обойдется без того, чтобы, кроме людей рабочих, показать в романе и наших крестьян-колхозников, и нашу интеллигенцию».

Об основных сюжетных линиях задуманного романа можно судить лишь по сохранившимся фрагментам («Заметки к плану»). Разумеется, черновые записи не дают полного представления о содержании произведения; вполне возможно, что какие-то мотивы были бы заменены в окончательном варианте или переработаны. Не случайно и в записных книжках не раз указывается на возможные изменения в образах, в судьбах персонажей. Автор, например, размышлял над тем, в каких обстоятельствах должно было состояться знакомство Галины Сомовой и инженера Балышева. По-разному определяется в черновых записях семейное положение Балышева. Изменилась биография Агриппины Голубевой; автор решил изобразить ее не вдовой бойца, а женой преступника, и это заставило его ввести в роман новую, «уголовную линию». «Записные книжки» хранят и другие следы писательских поисков. Однако они дают возможность не только заглянуть в творческую лабораторию автора, но и получить некоторое представление о содержании романа. Конечно, при этом надо иметь в виду черновой характер записей; некоторые мысли высказаны здесь без необходимой полноты, отдельные замечания выглядят неточными, требуют соответствующих комментариев.

Из восьми законченных автором глав «Черной металлургии» читатель узнает о семье Павла и Тины Кузнецовых, об их знакомых, сведения же о последующих событиях содержатся лишь в дневниковых записях, где сказано, что далее предполагалось описать приезд в Большегорск работников министерства, совещание на заводе. Автор, видимо, собирался развивать одновременно несколько сюжетных линий. Некоторые из них воспроизведены в записных книжках А. Фадеева с относительной полнотой.

В записных книжках еще фигурирует история открытия, которое меняет весь металлургический процесс; соответственно намечаются взаимоотношения новатора Романова, академика Громадина и других персонажей. Но к этой ситуации дело не сводится. Не сумев тогда верно разобраться в существе специальной проблемы, автор тем не менее широко ставит общие вопросы борьбы за технический прогресс. А. Фадеев горячо высказывается за поддержку творческой, новаторской мысли и в то же время обрушивается на мнимых изобретателей, прожектеров, спекулирующих на внимании к новаторам. Автор задумал показать героический труд рабочих и инженеров комбината, поставить ряд вопросов об организации и культуре производства, о стиле и ме-

тодах руководства промышленностью, о стимулах и формах повышения производительности труда и т. д. Намечалась целая галерея человеческих типов: члены высококультурной рабочей семьи Челноковых, знатные сталевары Павел Кузнецов, Маннуров, Красовский, ремесленник Савка Черемных, инженеры, партийные и профсоюзные работники. Предстояло показать конфликты, характерные именно для нашей эпохи, бурный рост сознания людей, преодоление ими пережитков индивидуализма. В частности, в публикуемых записях подробно рассказано о том, как Павел Кузнецов и другие большегорцы в результате знакомства с рабочей «династией» Челноковых отрешались от некоторой недооценки столичной культуры и поняли, что «надо сочетать передовую технику с большой общей культурой, с великими традициями, со школой труда».

С конфликтами «производственного» характера тесно слиты конфликты, охватывающие область личных, семейных, бытовых отношений; задумывая их, автор исходил из своей творческой установки: показывать «быт широко, мощно». Он мечтал создать произведение широкого охвата действительности, синтетического художественного осмысления ее, при котором текущий день изображается в его бытовой конкретности и вместе с тем в исторической проекции.

Вопрос о положении женщины, как явствует из фрагментов романа, должен был занять видное место в произведении. А. Фадеев считал нужным художественно осветить «две стороны вопроса: что общество уже дало женщине и где она еще фактически связана больше, чем мужчина». С полемическим заострением пишет автор о женщинах-мещанках, о мужьях, которые не помогают женам в домашних заботах, причем особый счет предъявляет к тем, кто должен быть примером — к «ответственным работникам». Однако эта тема решается отнюдь не в негативном плане. Людям отсталым писатель противопоставляет людей передовых, которые, подобно заместителю министра Багдасарову, правильно построили свою семейную жизнь, хорошо воспитывают детей; женщинам-мещанкам противопоставлены большие яркие женские характеры. Даже из отдельных набросков вырастает обаятельный образ секретаря райкома партии Даши Паниной, запоминаются женщина-врач Галина Сомова и работница Агриппина Голубева, выросшая в активную и сознательную общественницу.

А. Фадеев пишет о душевном богатстве своих героинь, с большим поэтическим чувством рисует портреты не только главных, но и второстепенных персонажей. Очень характерна, в частности,

живописная зарисовка двух подруг-работниц, в которых узнаются девушки-подружки из пьесы «Маленький человек», над которой писатель работал в 1937 году.

Живо интересовали А. Фадеева вопросы коммунистического воспитания. Записи о молодежи, ремесленниках, об организации политической учебы, атеистической пропаганды, эстетического воспитания народа свидетельствуют о том, что эти вопросы предполагалось поставить широко и продуманно. Писатель размышлял также об отношении к людям оступившимся, совершившим проступки или преступления, о борьбе за социалистическую законность против бездушия и формализма в судебных делах. Он непримирим к таким закоренелым преступникам, как муж Агриппины, но считает неправильным преследование колхозницы за мелкое нарушение Устава сельскохозяйственной артели. С позиций советского гуманизма оценивается в фрагментах романа деятельность областного прокурора: его рассуждения о мнимом в данном случае либерализме скрывают за собой нетерпимые в наших условиях равнодушие и формализм. Недаром секретарь обкома партии Губанов решительно осуждает взгляды и практику прокурора.

В записных книжках А. Фадеева не случайно встречаются пометки: «тема партийная», «тема профсоюзная». Писатель не мыслил изображения жизни и работы советских людей без показа той роли, которую играют в ней партийные и общественные организации. К образам партийных деятелей стягиваются линии развития многих персонажей произведения, в том числе Романова, Балышева, Агриппины Голубевой. Большое место отводится секретарю райкома партии Паниной, в решении главнейших проблем должен был участвовать и секретарь обкома Губанов. А. Фадеев думал ввести в действие романа и других руководящих работников: директоров комбинатов, начальников крупных цехов, парторга комбината, профсоюзных деятелей. В широком кругу действующих лиц, естественно, могли оказаться и люди неумелые, недобросовестные, такие, к примеру, как бюрократ — «старый» секретарь обкома или упоминаемый в заметках профсоюзник-чиновник. Автор не устанавливает искусственных пропорций в изображении положительных и отрицательных персонажей, но художественные акценты в «Черной металлургии» сделаны на образах деятельных и инициативных работников, действие в романе ведут именно они: Панина, Губанов, Лакшин и другие.

А. Фадеев с большим знанием дела и тактом пишет о сложных проблемах партийной работы, борьбе с недостатками. Говоря о формализме в постановке партийного просвещения, он в то

же время высказывается за определенную систему в этом сложном деле. Рассказывая о неправильной работе с кадрами «старого» секретаря обкома, он устами его преемника формулирует большевистские принципы подхода к людям. Не скрывая недостатков в воспитании молодежи, автор отвергает нигилистическую оценку молодого поколения, прозвучавшую в споре группы инженеров.

Трудно сказать, какие темы получили бы наибольшее развитие в окончательном варианте романа, а какие могли бы отступить на второй план. Но в большинстве случаев намечены очень актуальные темы, заслуживающие глубокого освещения в художественном произведении, хотя и сформулированные иногда очень «приблизительно». Можно спорить, действительно ли в новых промышленных городах недооценивают гуманитарную интеллигенцию, но правильна мысль о необходимости особого внимания к ней. Вряд ли можно согласиться с утверждением, что писатели «такие же» духовные руководители народа, как политические вожди, но закономерно указание на огромную роль писателей в нашей общественной жизни и на недопустимость по-обывательски чернить их. Кстати, вопросы искусства должны были занять большое место в романе. Здесь намечалось рассказать о борьбе молодой артистки Веры Каратаевой и ее друзей за новый тип работника искусства, тесно связанного с народом, служащего народу всей своей жизнью.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Киносценарии

КОМСОМОЛЬСК НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

Интерес к работе киносценариста пробудился у А. Фадеева еще в 1930 году, когда в июле этого года он был приглашен консультантом на съемки фильма по роману «Разгром» (сценарий Ю. Лаптева и Н. Береснева). Главные фрагменты фильма снимались в Красноярске под руководством режиссера Н. Береснева. В 1933 году Фадеев уже сам пробует свои силы в области кинодраматургии.

В начале сентября 1933 года А. А. Фадеев приехал на Дальний Восток с киноэкспедицией режиссера А. П. Довженко для совместной работы над сценарием «Аэроград». «Этот фильм, — как писал об этом Фадеев,— по своему назначению должен быть таким, чтобы людям из других концов Советского Союза захотелось,

не боясь трудностей, ехать в этот богатый, интереснейший, с большим будущим край. Из фильма должно было отчетливо вытекать: социализм на Дальнем Востоке мы не только строим, но и будем защищать, и можем его защищать — силы у нас для этого хватит» (газета «Тихоокеанская звезда», 12 сентября 1933 г.).

Вместе с Довженко писатель совершил грандиозную поездку по маршруту: Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск, Северный Сахалин, морем во Владивосток, затем на Сучан, дальше триста километров таежными тропами — в Улахинскую долину, Чугуевку — родное село Фадеева. Впечатления от этого путешествия получили отражение в киносценарии «Комсомольск на Тихом океане». Сценарий остался незаконченным и был опубликован по рукописи только после смерти писателя. А. Довженко был снят кинофильм «Аэроград» по собственному сценарию.

ПЕРЕКОП

Киносценарий «Перекоп» публиковался отдельными частями в различных периодических изданиях, полностью был напечатан в 1940 году в журнале «Молодая гвардия», № 7.

Сценарий написан А. Фадеевым совместно с Л. Никулиным в 1938—1939 годах. Писатели собрали большой документальный материал, беседовали с участниками легендарных боев за Крым, выезжали в декабре 1939 года на место событий.

«...написать сценарий так же трудно, как драму, как повесть, — утверждал Фадеев. — Мало того, сценарий обладает своими специфическими трудностями. Помимо общих требований большой идейной насыщенности, точной психологической разработки, яркого диалога, хороший сценарий должен обладать очень крепкой, сконцентрированной драматургией, последовательностью и динамичностью сюжета, кратким, лаконичным и очень конкретным изложением» («О кинодраматургии»).

«Фадеев предложил мне быть его соавтором, — вспоминал Л. Никулин, — он сказал, что ему трудно строить драматургическое действие, хотя это не так: он был в полном смысле профессиональный писатель и все умел... Он не делал никаких скидок: писал сценарий вполне серьезно, увлекаясь работой. Был взыскателен к эпизодам, которые писал я...

Мы принялись за сочинение сценария, потом втянулись, и, слушая народные эпизоды, которые писал и тут же читал Фадеев, я почувствовал силу его таланта и крепость его мировоззрения коммуниста, оно было органическим, народные сцены были проникнуты этим мировоззрением...

Я писал эпизоды во врангелевском штабе, сцены у махновцев, Фадеев — батальные эпизоды и «подбрасывал» мне «вкусные» детали, и меня удивляло, откуда он брал эти особенности белогвардейского быта эпохи гражданской войны. Он ответил:

— А на что воображение?

И заговорил о том, как высоко Лев Толстой ставил «воображение». (Лев Никулин, Невозвратимое-незабываемое.—В сборнике «Фадеев, Воспоминания современников. «Советский писатель», М. 1965, стр. 291—292).

СЕРГЕЙ ЛАЗО

Киносценарий создавался в 1938—1939 годах в соавторстве с Ольгой Андреевной Лазо, женой и боевым товарищем Сергея Лазо. Эта работа осталась незаконченной. Отрывки из сценария были опубликованы к двадцатилетию со дня гибели Сергея Лазо в газете «Правда» («На клич Лазо») и в «Литературной газете» («Декабрь, 1917») 5 апреля 1940 года.

СЕМЬЯ СИБИРЦЕВЫХ

Публикуемый фрагмент представляет собою стенограмму воспоминаний А. Фадеева. Дата записи предположительно 1947 год.

Впервые с редакторскими купюрами и незначительной правкой опубликован в книге «А. Фадеев. Повесть нашей юности», Детгиз, М. 1964.

В ноябре 1951 г. А. Фадеев писал одному из своих корреспондентов: «Как большевик я воспитан в этой семье <Сибирцевых> в не меньшей мере, чем в собственной семье, и я всегда чувствую моральную необходимость каким-нибудь образом отблагодарить семью Сибирцевых, почтить ее память».

Семья Сибирцевых обосновалась во Владивостоке еще в 90-х годах прошлого столетия. Михаил Яковлевич Сибирцев (1863—1932) — сын миргородского фельдшера, внук декабриста, в студенческие годы участвовал в революционных кружках, подвергался преследованиям полиции, окончил естественно-исторический факультет Петербургского университета, во Владивостоке был учителем мужской гимназии. В годы первой русской революции квартира Сибирцевых служила убежищем для революционеров. Его жена — Мария Владимировна Сибирцева (1867—1923), воспитанница Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге, учительница, организовала во Владивостоке небольшую прогимназию, в которой учились преимущественно дети малообеспеченных родителей.

В 1908 году по приглашению Марии Владимировны — родной сестры матери Фадеева, семья Фадеевых приехала на Дальний Восток, обосновавшись вскоре в таежном селе Чугуевке.

Учась во Владивостокском коммерческом училище, Фадеев подолгу жил в семье Сибирцевых, подружился с двоюродными братьями — Всеволодом (1893—1920) и Игорем (1898—1921). Они оказали большое влияние на формирование мировоззрения Фадеева, во многом определили его дальнейший путь — вступление в ряды Коммунистической партии, участие в вооруженной борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке.

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
ЗАМЕТКИ К ПЛАНУ
ИЗ ЧЕРНОВИКОВ ПЕРВЫХ ГЛАВ

В архиве А. Фадеева сохранились многочисленные черновые материалы и заготовки к «Черной металлургии». Среди них четыре больших блокнота, озаглавленных «Заметки к плану (для памяти)», семь «общих тетрадей», объемом около двадцати авторских листов, двадцать одна записная книжка, двадцать три специальных папки с подготовительными материалами к роману.

В «общих тетрадях» и записных книжках Фадеева, которые мы публикуем в извлечениях, находим конспекты прочитанных писателем книг, описания различных заводов и цехов, выписки из газет и журналов. Часть специальных папок заполнена материалами о металлургическом процессе, другая посвящена экономике предприятий, в третьих — хранятся статьи о строительстве предприятий, в четвертых — сведения об отдельных экономических районах страны и т. д. Заметки о технологии металлургического производства перемежаются с зарисовками жизни и быта рабочих и инженеров. В записях воспроизведены заинтересовавшие Фадеева высказывания металлургов, биографии различных людей, детали заводского быта. Некоторые из этих записей автор перенес в «Заметки к плану». Это главным образом то, что он намеревался использовать непосредственно в романе: сообщения о возможных героях книги, ее сюжетных мотивах. Подобные записи носят обобщающий характер и уже не прикреплены к конкретным лицам и предприятиям.

Впервые опубликовано в изд.: А. Фадеев, Собрание сочинений, т. 3, Гослитиздат, М. 1960.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Александрович

ФАДЕЕВ

Собрание сочинений, т. 4

Редактор *В. Волина*

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Ф. Артемьева

Корректоры *Р. Пунга* и *А. Юрьева*

Сдано в набор 24/II 1970 г. Подписано к печати 30/IX 1970 г. Бумага типогр. № 1 84×108$^{1}/_{32}$. 15,5 печ. л. 26,04 усл. печ. л. 25,82 уч.-изд. л. Тираж 100 000. Заказ № 635. Цена 1 р. 25 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой
Главполиграфпрома Комитета по
печати при Совете Министров СССР,
Измайловский проспект, 29.

1р. 25 к.